А.И. КУПРИН

4

А. И. Куприн

собрание
сочинений
в девяти томах

ТОМ 4

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

Собрание сочинений
выходит под наблюдением
Э. Ротштейна и П. Вячеславова.

Произведения

1905-1907

ПОЕДИНОК

I

Вечерние занятия в шестой роте приходили к концу, и младшие офицеры все чаще и нетерпеливее посматривали на часы. Изучался практически устав гарнизонной службы. По всему плацу солдаты стояли вразброс: около тополей, окаймлявших шоссе, около гимнастических машин, возле дверей ротной школы, у прицельных станков. Все это были воображаемые посты, как, например, пост у порохового погреба, у знамени, в караульном доме, у денежного ящика. Между ними ходили разводящие и ставили часовых; производилась смена караулов; унтер-офицеры проверяли посты и испытывали познания своих солдат, стараясь то хитростью выманить у часового его винтовку, то заставить его сойти с места, то всучить ему на сохранение какую-нибудь вещь, большею частью собственную фуражку. Старослуживые, тверже знавшие эту игрушечную казуистику, отвечали в таких случаях преувеличенно суровым тоном: «Отходи! Не имею полного права никому отдавать ружье, кроме как получу приказание от самого государя императора». Но молодые путались. Они еще не умели отделить шутки, примера от настоящих требований службы и впадали то в одну, то в другую крайность.

— Хлебников! Дьявол косорукой! — кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко, и в голосе его слышалось начальственное страдание.— Я ж тебя учил-учил, дурня! Ты же чье сейчас приказанье спол-

нил? Арестованного? А, чтоб тебя!.. Отвечай, для чего ты поставлен на пост?

В третьем взводе произошло серьезное замешательство. Молодой солдат Мухамеджинов, татарин, едва понимавший и говоривший по-русски, окончательно был сбит с толку подвохами своего начальства — и настоящего и воображаемого. Он вдруг рассвирепел, взял ружье на руку и на все убеждения и приказания отвечал одним решительным словом:

— З-заколу!

— Да постой... да дурак ты...— уговаривал его унтерофицер Бобылев.— Ведь я кто? Я же твой караульный начальник, стало быть...

— Заколу! — кричал татарин испуганно и злобно и с глазами, налившимися кровью, нервно совал штыком во всякого, кто к нему приближался. Вокруг него собралась кучка солдат, обрадовавшихся смешному приключению и минутному роздыху в надоевшем ученье.

Ротный командир, капитан Слива, пошел разбирать дело. Пока он плелся вялой походкой, сгорбившись и волоча ноги, на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое: поручик Веткин—лысый, усатый человек лет тридцати трех, весельчак, говорун, певун и пьяница, подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку, и подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами и с вечной улыбкой на толстых наивных губах,— весь точно начиненный старыми офицерскими анекдотами.

— Свинство,— сказал Веткин, взглянув на свои мельхиоровые часы и сердито щелкнув крышкой.— Какого черта он держит до сих пор роту? Эфиоп!

— А вы бы ему это объяснили, Павел Павлыч,— посоветовал с хитрым лицом Лбов.

— Черта с два. Подите, объясняйте сами. Главное — что? Главное — ведь это все напрасно. Всегда они перед смотрами горячку порют. И всегда переборщат. Задергают солдата, замучат, затуркают, а на смотру он будет стоять, как пень. Знаете известный случай, как два ротных командира поспорили, чей солдат больше съест хлеба? Выбрали они оба жесточайших обжор. Пари было большое — что-то около ста рублей. Вот один сол-

дат съел семь фунтов и отвалился, больше не может. Ротный сейчас на фельдфебеля: «Ты что же, такой, разэтакий, подвел меня?» А фельдфебель только глазами лупает: «Так что не могу знать, вашескородие, что с ими случилось. Утром делали репетицию — восемь фунтов стрескал в один присест...» Так вот и наши... Репетят без толку, а на смотру сядут в калошу.

— Вчера...— Лбов вдруг прыснул от смеха.— Вчера, уж во всех ротах кончили занятия, я иду на квартиру, часов уже восемь, пожалуй, темно совсем. Смотрю, в одиннадцатой роте сигналы учат. Хором. «Наве-ди, до гру-ди, по-па-ди!» Я спрашиваю поручика Андрусевича: «Почему это у вас до сих пор идет такая музыка?» А он говорит: «Это мы, вроде собак, на луну воем».

— Все надоело, Кука! — сказал Веткин и зевнул.— Постойте-ка, кто это едет верхом? Кажется, Бек?

— Да. Бек-Агамалов,— решил зоркий Лбов.— Как красиво сидит.

— Очень красиво,—согласился Ромашов.—По-моему, он лучше всякого кавалериста ездит. О-о-о! Заплясала. Кокетничает Бек.

По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким, по-английски, хвостом. Она горячилась, нетерпеливо мотала крутой, собранной мундштуком шеей и часто перебирала тонкими ногами.

— Павел Павлыч, это правда, что он природный черкес? — спросил Ромашов у Веткина.

— Я думаю, правда. Иногда действительно армяшки выдают себя за черкесов и за лезгин, но Бек вообще, кажется, не врет. Да вы посмотрите, каков он на лошади!

— Подождите, я ему крикну,— сказал Лбов.

Он приложил руки ко рту и закричал сдавленным голосом, так, чтобы не слышал рогный командир:

— Поручик Агамалов! Бек!

Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся вправо. Потом, повернув лошадь в эту сторону и слегка согнувшись в седле, он заставил ее упругим движением перепрыгнуть через канаву и сдержанным галопом поскакал к офицерам.

Он был меньше среднего роста, сухой, жилистый, очень сильный. Лицо его, с покатым назад лбом, тонким горбатым носом и решительными, крепкими губами, было мужественно и красиво и еще до сих пор не утратило характерной восточной бледности — одновременно смуглой и матовой.

— Здравствуй, Бек,—сказал Веткин.—Ты перед кем там выфинчивал? Дэвыцы?

Бек-Агамалов пожимал руки офицерам, низко и небрежно склоняясь с седла. Он улыбнулся, и казалось, что его белые стиснутые зубы бросили отраженный свет на весь низ его лица и на маленькие черные, холеные усы...

— Ходили там две хорошенькие жидовочки. Да мне что? Я нуль внимания.

— Знаем мы, как вы плохо в шашки играете! — мотнул головой Веткин.

— Послушайте, господа,— заговорил Лбов и опять заранее засмеялся.— Вы знаете, что сказал генерал Дохтуров о пехотных адъютантах? Это к тебе, Бек, относится. Что они самые отчаянные наездники во всем мире...

— Не ври, фендрик! — сказал Бек-Агамалов.

Он толкнул лошадь шенкелями и сделал вид, что хочет наехать на подпрапорщика.

— Ей-богу же! У всех у них, говорит, не лошади, а какие-то гитары, шкапы — с запалом, хромые, кривоглазые, опоенные. А дашь ему приказание —знай себе жарит, куда попало, во весь карьер. Забор — так забор, овраг —так овраг. Через кусты валяет. Поводья упустил, стремена растерял, шапка к черту! Лихие ездоки!

— Что слышно нового, Бек? — спросил Веткин.

— Что нового? Ничего нового. Сейчас, вот только что, застал полковой командир в собрании подполковника Леха. Разорался на него так, что на соборной площади было слышно. А Лех пьян, как змий, не может папу-маму выговорить. Стоит на месте и качается, руки за спину заложил. А Шульгович как рявкнет на него: «Когда разговариваете с полковым командиром, извольте руки на заднице не держать!» И прислуга здесь же была.

— Крепко завинчено! — сказал Веткин с усмешкой— не то иронической, не то поощрительной.—В четвертой роте он вчера, говорят, кричал: «Что вы мне устав в нос

тычете? Я — для вас устав, и никаких больше разговоров! Я здесь царь и бог!»

Лбов вдруг опять засмеялся своим мыслям.

— А вот еще, господа, был случай с адъютантом в N-ском полку...

— Заткнитесь, Лбов,— серьезно заметил ему Веткин.— Эко вас прорвало сегодня.

— Есть и еще новость,— продолжал Бек-Агамалов. Он снова повернул лошадь передом ко Лбову и, шутя, стал наезжать на него. Лошадь мотала головой и фыркала, разбрасывая вокруг себя пену.— Есть и еще новость. Командир во всех ротах требует от офицеров рубку чучел. В девятой роте такого холоду нагнал, что ужас. Епифанова закатал под арест за то, что шашка оказалась не отточена... Чего ты трусишь, фендрик! — крикнул вдруг Бек-Агамалов на подпрапорщика.— Привыкай. Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде.

— Ну ты, азиат!.. Убирайся со своим одром дохлым,— отмахивался Лбов от лошадиной морды.— Ты слыхал, Бек, как в N-ском полку один адъютант купил лошадь из цирка? Выехал на ней на смотр, а она вдруг перед самим командующим войсками начала испанским шагом парадировать. Знаешь, так: ноги вверх и этак с боку на бок. Врезался, наконец, в головную роту — суматоха, крик, безобразие. А лошадь — никакого внимания, знай себе испанским шагом разделывает. Так Драгомиров сделал рупор — вот так вот — и кричит: «Поручи-ик, тем же аллюром на гауптвахту, на двадцать один день, ма-арш!..»

— Э, пустяки,—сморщился Веткин.— Слушай, Бек, ты нам с этой рубкой действительно сюрприз преподнес. Это значит что же? Совсем свободного времени не останется? Вот и нам вчера эту уроду принесли.

Он показал на середину плаца, где стояло сделанное из сырой глины чучело, представлявшее некоторое подобие человеческой фигуры, только без рук и без ног.

— Что же вы? Рубили? — спросил с любопытством Бек-Агамалов.— Ромашов, вы не пробовали?

— Нет еще.

— Тоже! Стану я ерундой заниматься,— заворчал Веткин.— Когда это у меня время, чтобы рубить? С де-

вяти утра до шести вечера только и знаешь, что торчишь здесь. Едва успеешь пожрать и водки выпить. Я им, слава богу, не мальчик дался...

— Чудак. Да ведь надо же офицеру уметь владеть шашкой.

— Зачем это, спрашивается? На войне? При теперешнем огнестрельном оружии тебя и на сто шагов не подпустят. На кой мне черт твоя шашка? Я не кавалерист. А понадобится, я уж лучше возьму ружье да прикладом — бац-бац по башкам. Это вернее.

— Ну, хорошо, а в мирное время? Мало ли сколько может быть случаев. Бунт, возмущение там или что...

— Так что же? При чем же здесь опять-таки шашка? Не буду же я заниматься черной работой, сечь людям головы. Ро-ота, пли! — и дело в шляпе...

Бек-Агамалов сделал недовольное лицо.

— Э, ты все глупишь, Павел Павлыч. Нет, ты отвечай серьезно. Вот идешь ты где-нибудь на гулянье или в театре, или, положим, тебя в ресторане оскорбил какой-нибудь шпак... возьмем крайность — даст тебе какой-нибудь штатский пощечину. Ты что же будешь делать?

Веткин поднял кверху плечи и презрительно поджал губы.

— Н-ну! Во-первых, меня никакой шпак не ударит, потому что бьют только того, кто боится, что его побьют. А во-вторых... ну, что же я сделаю? Бацну в него из револьвера.

— А если револьвер дома остался? — спросил Лбов.

— Ну, черт... ну съезжу за ним... Вот глупости. Был же случай, что оскорбили одного корнета в кафешантане. И он съездил домой на извозчике, привез револьвер и ухлопал двух каких-то рябчиков. И все!..

Бек-Агамалов с досадой покачал головой.

— Знаю. Слышал. Однако суд признал, что он действовал с заранее обдуманным намерением, и приговорил его. Что же тут хорошего? Нет, уж я, если бы меня кто оскорбил или ударил...

Он не договорил, но так крепко сжал в кулак свою маленькую руку, державшую поводья, что она задрожала. Лбов вдруг затрясся от смеха и прыснул.

— Опять! — строго заметил Веткин.

— Господа... пожалуйста... Ха-ха-ха! В М-ском полку был случай. Подпрапорщик Краузе в Благородном собрании сделал скандал. Тогда буфетчик схватил его за погон и почти оторвал. Тогда Краузе вынул револьвер — рраз ему в голову! На месте! Тут ему еще какой-то адвокатишка подвернулся, он и его бах! Ну, понятно, все разбежались. А тогда Краузе спокойно пошел себе в лагерь, на переднюю линейку, к знамени. Часовой окрикивает: «Кто идет?» — «Подпрапорщик Краузе, умереть под знаменем!» Лег и прострелил себе руку. Потом суд его оправдал.

— Молодчина! — сказал Бек-Агамалов.

Начался обычный, любимый молодыми офицерами разговор о случаях неожиданных кровавых расправ на месте и о том, как эти случаи проходили почти всегда безнаказанно. В одном маленьком городишке безусый пьяный корнет врубился с шашкой в толпу евреев, у которых он предварительно «разнес пасхальную кучку». В Киеве пехотный подпоручик зарубил в танцевальной зале студента насмерть за то, что тот толкнул его локтем у буфета. В каком-то большом городе — не то в Москве, не то в Петербурге — офицер застрелил, «как собаку», штатского, который в ресторане сделал ему замечание, что порядочные люди к незнакомым дамам не пристают.

Ромашов, который до сих пор молчал, вдруг, краснея от замешательства, без надобности поправляя очки и откашливаясь, вмешался в разговор:

— А вот, господа, что я скажу с своей стороны. Буфетчика я, положим, не считаю... да... Но если штатский .. как бы это сказать?.. Да... Ну, если он порядочный человек, дворянин и так далее... зачем же я буду на него, безоружного, нападать с шашкой? Отчего же я не могу у него потребовать удовлетворения? Все-таки же мы люди культурные, так сказать...

— Э, чепуху вы говорите, Ромашов,— перебил его Веткин.— Вы потребуете удовлетворения, а он скажет: «Нет... э-э-э... я, знаете ли, вээбще... э-э... не признаю дуэли. Я противник кровопролития... И кроме того, э-э... у нас есть мировой судья...» Вот и ходите тогда всю жизнь с битой мордой.

Бек-Агамалов широко улыбнулся своей сияющей улыбкой.

— Что? Ага! Соглашаешься со мной? Я тебе, Веткин, говорю: учись рубке. У нас на Кавказе все с детства учатся. На прутьях, на бараньих тушах, на воде...

— А на людях? — вставил Лбов.

— И на людях,— спокойно ответил Бек-Агамалов.— Да еще как рубят! Одним ударом рассекают человека от плеча к бедру, наискось. Вот это удар! А то, что и мараться.

— А ты, Бек, можешь так?

Бек-Агамалов вздохнул с сожалением:

— Нет, не могу... Барашка молодого пополам пересеку... пробовал даже телячью тушу... а человека, пожалуй, нет... не разрублю. Голову снесу к черту, это я знаю, а так, чтобы наискось... нет. Мой отец это делал легко...

— А ну-ка, господа, пойдемте попробуем,— сказал Лбов молящим тоном, с загоревшимися глазами.— Бек, милочка, пожалуйста, пойдем...

Офицеры подошли к глиняному чучелу. Первым рубил Веткин. Придав озверелое выражение своему доброму, простоватому лицу, он изо всей силы, с большим, неловким размахом, ударил по глине. В то же время он невольно издал горлом тот характерный звук— хрясь!— который делают мясники, когда рубят говядину. Лезвие вошло в глину на четверть аршина, и Веткин с трудом вывязил его оттуда.

— Плохо! — заметил, покачав головой, Бек-Агамалов.— Вы, Ромашов...

Ромашов вытащил шашку из ножен и сконфуженно поправил рукой очки. Он был среднего роста, худощав, и хотя довольно силен для своего сложения, но от большой застенчивости неловок. Фехтовать на эспадронах он не умел даже в училище, а за полтора года службы и совсем забыл это искусство. Занеся высоко над головой оружие, он в то же время инстинктивно выставил вперед левую руку.

— Руку! — крикнул Бек-Агамалов.

Но было уже поздно. Конец шашки только лишь слегка черкнул по глине. Ожидавший бо́льшего сопротивления, Ромашов потерял равновесие и пошатнулся. Лезвие

шашки, ударившись об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток кожи у основания указательного пальца. Брызнула кровь.

— Эх! Вот видите! — воскликнул сердито Бек-Агамалов, слезая с лошади.— Так и руку недолго отрубить. Разве же можно так обращаться с оружием? Да ничего, пустяки, завяжите платком потуже. Институтка. Подержи коня, фендрик. Вот, смотрите. Главная суть удара не в плече и не в локте, а вот здесь, в сгибе кисти.— Он сделал несколько быстрых кругообразных движений кистью правой руки, и клинок шашки превратился над его головой в один сплошной сверкающий круг.— Теперь глядите: левую руку я убираю назад, за спину. Когда вы наносите удар, то не бейте и не рубите предмет, а режьте его, как бы пилите, отдергивайте шашку назад... Понимаете? И притом помните твердо: плоскость шашки должна быть непременно наклонна к плоскости удара, непременно. От этого угол становится острее. Вот, смотрите.

Бек-Агамалов отошел на два шага от глиняного болвана, впился в него острым, прицеливающимся взглядом и вдруг, блеснув шашкой высоко в воздухе, страшным, неуловимым для глаз движением, весь упав наперед, нанес быстрый удар. Ромашов слышал только, как пронзительно свистнул разрезанный воздух, и тотчас же верхняя половина чучела мягко и тяжело шлепнулась на землю. Плоскость отреза была гладка, точно отполированная.

— Ах, черт! Вот это удар! — воскликнул восхищенный Лбов.— Бек, голубчик, пожалуйста, еще раз.

— А ну-ка, Бек, еще,— попросил Веткин.

Но Бек-Агамалов, точно боясь испортить произведенный эффект, улыбаясь, вкладывал шашку в ножны. Он тяжело дышал, и весь он в эту минуту, с широко раскрытыми злобными глазами, с горбатым носом и с оскаленными зубами, был похож на какую-то хищную, злую и гордую птицу.

— Это что? Это разве рубка?—говорил он с напускным пренебрежением.— Моему отцу, на Кавказе, было шестьдесят лет, а он лошади перерубал шею. Пополам! Надо, дети мои, постоянно упражняться. У нас вот как делают: поставят ивовый прут в тиски и рубят, или во-

ду пустят сверху тоненькой струйкой и рубят. Если нет брызгов, значит, удар был верный. Ну, Лбов, теперь ты.

К Веткину подбежал с испуганным видом унтер-офицер Бобылев.

— Ваше благородие... Командир полка едут!

— Сми-ирррна! — закричал протяжно, строго и возбужденно капитан Слива с другого конца площади.

Офицеры торопливо разошлись по своим взводам.

Большая неуклюжая коляска медленно съехала с шоссе на плац и остановилась. Из нее с одной стороны тяжело вылез, наклонив весь кузов набок, полковой командир, а с другой легко соскочил на землю полковой адъютант, поручик Федоровский — высокий, щеголеватый офицер.

— Здорово, шестая! — послышался густой, спокойный голос полковника.

Солдаты громко и нестройно закричали с разных углов плаца:

— Здравия желаем, ваш-о-о-о!

Офицеры приложили руки к козырькам фуражек.

— Прошу продолжать занятия,— сказал командир полка и подошел к ближайшему взводу.

Полковник Шульгович был сильно не в духе. Он обходил взводы, предлагал солдатам вопросы из гарнизонной службы и время от времени ругался матерными словами с той особенной молодеческой виртуозностью, которая в этих случаях присуща старым фронтовым служакам. Солдат точно гипнотизировал пристальный, упорный взгляд его старчески-бледных, выцветших, строгих глаз, и они смотрели на него, не моргая, едва дыша, вытягиваясь в ужасе всем телом. Полковник был огромный, тучный, осанистый старик. Его мясистое лицо, очень широкое в скулах, суживалось вверх, ко лбу, а внизу переходило в густую серебряную бороду заступом и таким образом имело форму большого, тяжелого ромба. Брови были седые, лохматые, грозные. Говорил он почти не повышая тона, но каждый звук его необыкновенного, знаменитого в дивизии голоса — голоса, которым он, кстати сказать, сделал всю свою служебную карьеру,— был ясно слышен в самых дальних местах обширного плаца и даже по шоссе.

— Ты кто такой? — отрывисто спросил полковник, внезапно остановившись перед молодым солдатом Шарафутдиновым, стоявшим у гимнастического забора.

— Рядовой шестой роты Шарафутдинов, ваша высокоблагородия! — старательно, хрипло крикнул татарин.

— Дурак! Я тебя спрашиваю, на какой пост ты наряжен?

Солдат, растерявшись от окрика и сердитого командирского вида, молчал и только моргал веками.

— Н-ну? — возвысил голос Шульгович.

— Который лицо часовой... неприкосновенно...—залепетал наобум татарин.— Не могу знать, ваша высокоблагородия,— закончил он вдруг тихо и решительно.

Полное лицо командира покраснело густым кирпичным старческим румянцем, а его кустистые брови гневно сдвинулись. Он обернулся вокруг себя и резко спросил:

— Кто здесь младший офицер?

Ромашов выдвинулся вперед и приложил руку к фуражке.

— Я, господин полковник.

— А-а! Подпоручик Ромашов. Хорошо вы, должно быть, занимаетесь с людьми. Колени вместе! — гаркнул вдруг Шульгович, выкатывая глаза.— Как стоите в присутствии своего полкового командира? Капитан Слива, ставлю вам на вид, что ваш субалтерн-офицер не умеет себя держать перед начальством при исполнении служебных обязанностей... Ты, собачья душа,— повернулся Шульгович к Шарафутдинову,— кто у тебя полковой командир?

— Не могу знать,—ответил с унынием, но поспешно и твердо татарин.

— У!..... Я тебя спрашиваю, кто твой командир полка? Кто — я? Понимаешь, я, я, я, я, я!..— И Шульгович несколько раз изо всей силы ударил себя ладонью по груди.

— Не могу знать...

—.....—...— выругался полковник длинной, в двадцать слов, запутанной и циничной фразой.— Капитан Слива, извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть сгниет, каналья, под ружьем. Вы, подпоручик, больше о бабьих хвостах думаете, чем о службе-с. Вальсы танцуете? Поль де Ко-

ков читаете?.. Что же это— солдат, по-вашему? — ткнул он пальцем в губы Шарафутдинову.—Это — срам, позор, омерзение, а не солдат. Фамилию своего полкового командира не знает... У-д-дивляюсь вам, подпоручик!..

Ромашов глядел в седое, красное, раздраженное лицо и чувствовал, как у него от обиды и от волнения колотится сердце и темнеет перед глазами... И вдруг, почти неожиданно для самого себя, он сказал глухо:

— Это — татарин, господин полковник. Он ничего не понимает по-русски, и кроме того...

У Шульговича мгновенно побледнело лицо, запрыгали дряблые щеки и глаза сделались совсем пустыми и страшными.

— Что?! —заревел он таким неестественно-оглушительным голосом, что еврейские мальчишки, сидевшие около шоссе на заборе, посыпались, как воробьи, в разные стороны.—Что? Разговаривать? Ма-ал-чать! Молокосос, прапорщик позволяет себе... Поручик Федоровский, объявите в сегодняшнем приказе о том, что я подвергаю подпоручика Ромашова домашнему аресту на четверо суток за непонимание воинской дисциплины. А капитану Сливе объявляю строгий выговор за то, что не умеет внушить своим младшим офицерам настоящих понятий о служебном долге.

Адъютант с почтительным и бесстрастным видом отдал честь. Слива, сгорбившись, стоял с деревянным, ничего не выражающим лицом и все время держал трясущуюся руку у козырька фуражки.

— Стыдно вам-с, капитан Слива-с,— ворчал Шульгович, постепенно успокаиваясь.— Один из лучших офицеров в полку, старый служака — и так распускаете молодежь. Подтягивайте их, жучьте их без стеснения. Нечего с ними стесняться. Не барышни, не размокнут...

Он круто повернулся и в сопровождении адъютанта пошел к коляске. И пока он садился, пока коляска повернула на шоссе и скрылась за зданием ротной школы,— на плацу стояла робкая, недоумелая тишина.

— Эх, ба-тень-ка! — с презрением, сухо и недружелюбно сказал Слива несколько минут спустя, когда офицеры расходились по домам.— Дернуло вас разговаривать. Стояли бы и молчали, если уж бог убил. Теперь вот мне из-за вас в приказе выговор. И на кой мне черт

вас в роту прислали? Нужны вы мне, как собаке пятая нога. Вам бы сиську сосать, а не...

Он не договорил, устало махнул рукой и, повернувшись спиной к молодому офицеру, весь сгорбившись, опустившись, поплелся домой, в свою грязную, старческую холостую квартиру. Ромашов поглядел ему вслед, на его унылую, узкую и длинную спину, и вдруг почувствовал, что в его сердце, сквозь горечь недавней обиды и публичного позора, шевелится сожаление к этому одинокому, огрубевшему, никем не любимому человеку, у которого во всем мире остались только две привязанности: строевая красота своей роты и тихое, уединенное ежедневное пьянство по вечерам — «до подушки», как выражались в полку старые запойные бурбоны.

И так как у Ромашова была немножко смешная, наивная привычка, часто свойственная очень молодым людям, думать о самом себе в третьем лице, словами шаблонных романов, то и теперь он произнес внутренне:

«Его добрые, выразительные глаза подернулись облаком грусти...»

II

Солдаты разошлись повзводно на квартиры. Плац опустел. Ромашов некоторое время стоял в нерешимости на шоссе. Уже не в первый раз за полтора года своей офицерской службы испытывал он это мучительное сознание своего одиночества и затерянности среди чужих, недоброжелательных или равнодушных людей,— это тоскливое чувство незнания, куда девать сегодняшний вечер. Мысли о своей квартире, об офицерском собрании были ему противны. В собрании теперь пустота; наверно, два подпрапорщика играют на скверном, маленьком бильярде, пьют пиво, курят и над каждым шаром ожесточенно божатся и сквернословят; в комнатах стоит застарелый запах плохого кухмистерского обеда — скучно!..

«Пойду на вокзал,— сказал сам себе Ромашов.— Все равно».

В бедном еврейском местечке не было ни одного ресторана. Клубы, как военный, так и гражданский, находились в самом жалком, запущенном виде, и поэтому вокзал служил единственным местом, куда обыватели ез-

дили частенько покутить и встряхнуться и даже поиграть в карты. Ездили туда и дамы к приходу пассажирских поездов, что служило маленьким разнообразием в глубокой скуке провинциальной жизни.

Ромашов любил ходить на вокзал по вечерам, к курьерскому поезду, который останавливался здесь в последний раз перед прусской границей. Со странным очарованием, взволнованно следил он, как к станции, стремительно выскочив из-за поворота, подлетал на всех парах этот поезд, состоявший всего из пяти новеньких, блестящих вагонов, как быстро росли и разгорались его огненные глаза, бросавшие вперед себя на рельсы светлые пятна, и как он, уже готовый проскочить станцию, мгновенно, с шипением и грохотом, останавливался — «точно великан, ухватившийся с разбега за скалу»,— думал Ромашов. Из вагонов, сияющих насквозь веселыми праздничными огнями, выходили красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпах, в необыкновенно изящных костюмах, выходили штатские господа, прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими барскими голосами, с французским и немецким языком, с свободными жестами, с ленивым смехом. Никто из них никогда, даже мельком, не обращал внимания на Ромашова, но он видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь — вечный праздник и торжество...

Проходило восемь минут. Звенел звонок, свистел паровоз, и сияющий поезд отходил от станции. Торопливо тушились огни на перроне и в буфете. Сразу наступали темные будни. И Ромашов всегда подолгу с тихой, мечтательной грустью следил за красным фонариком, который плавно раскачивался сзади последнего вагона, уходя во мрак ночи и становясь едва заметной искоркой.

«Пойду на вокзал»,— подумал Ромашов. Но тотчас же он поглядел на свои калоши и покраснел от колючего стыда. Это были тяжелые резиновые калоши в полторы четверти глубиной, облепленные доверху густой, как тесто, черной грязью. Такие калоши носили все офицеры в полку. Потом он посмотрел на свою шинель, обрезанную, тоже ради грязи, по колени, с висящей внизу бахромой, с засаленными и растянутыми петлями, и вздохнул. На прошлой неделе, когда он проходил по плат-

форме мимо того же курьерского поезда, он заметил высокую, стройную, очень красивую даму в черном платье, стоявшую в дверях вагона первого класса. Она была без шляпы, и Ромашов быстро, но отчетливо успел разглядеть ее тонкий, правильный нос, прелестные маленькие и полные губы и блестящие черные волнистые волосы, которые от прямого пробора посредине головы спускались вниз к щекам, закрывая виски, концы бровей и уши. Сзади нее, выглядывая из-за ее плеча, стоял рослый молодой человек в светлой паре, с надменным лицом и с усами вверх, как у императора Вильгельма, даже похожий несколько на Вильгельма. Дама тоже посмотрела на Ромашова и, как ему показалось, посмотрела пристально, со вниманием, и, проходя мимо нее, подпоручик подумал, по своему обыкновению: «Глаза прекрасной незнакомки с удовольствием остановились на стройной, худощавой фигуре молодого офицера». Но когда, пройдя десять шагов, Ромашов внезапно обернулся назад, чтобы еще раз встретить взгляд красивой дамы, он увидел, что и она и ее спутник с увлечением смеются, глядя ему вслед. Тогда Ромашов вдруг с поразительной ясностью и как будто со стороны представил себе самого себя, свои калоши, шинель, бледное лицо, близорукость, свою обычную растерянность и неловкость, вспомнил свою только что сейчас подуманную красивую фразу и покраснел мучительно, до острой боли, от нестерпимого стыда. И даже теперь, идя один в полутьме весеннего вечера, он опять еще раз покраснел от стыда за этот прошлый стыд.

— Нет, куда уж на вокзал,— прошептал с горькой безнадежностью Ромашов.— Похожу немного, а потом домой...

Было начало апреля. Сумерки сгущались незаметно для глаза. Тополи, окаймлявшие шоссе, белые, низкие домики с черепичными крышами по сторонам дороги, фигуры редких прохожих — все почернело, утратило цвета и перспективу; все предметы обратились в черные плоские силуэты, но очертания их с прелестной четкостью стояли в смуглом воздухе. На западе за городом горела заря. Точно в жерло раскаленного, пылающего жидким золотом вулкана сваливались тяжелые сизые облака и рдели кроваво-красными, и янтарными, и фиолетовыми

огнями. А над вулканом поднималось куполом вверх, зеленея бирюзой и аквамарином, кроткое вечернее весеннее небо.

Медленно идя по шоссе, с трудом волоча ноги в огромных калошах, Ромашов неотступно глядел на этот волшебный пожар. Как и всегда, с самого детства, ему чудилась за яркой вечерней зарей какая-то таинственная, светозарная жизнь. Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пылал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепительно-прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском мостовые из золотых плиток, возвышались причудливые купола и башни с пурпурными крышами, сверкали брильянты в окнах, трепетали в воздухе яркие разноцветные флаги. И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похожа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже грусть — очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и фонтанами, ходят, богоподобные, светлые, полные неописуемой радости, не знающие преград в счастии и желаниях, не омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой...

Неожиданно вспомнилась Ромашову недавняя сцена на плацу, грубые крики полкового командира, чувство пережитой обиды, чувство острой и в то же время мальчишеской неловкости перед солдатами. Всего больнее было для него то, что на него кричали совсем точно так же, как и он иногда кричал на этих молчаливых свидетелей его сегодняшнего позора, и в этом сознании было что-то уничтожавшее разницу положений, что-то принижавшее его офицерское и, как он думал, человеческое достоинство.

И в нем тотчас же, точно в мальчике,— в нем и в самом деле осталось еще много ребяческого,— закипели мстительные, фантастические, опьяняющие мечты. «Глупости! Вся жизнь передо мной! — думал Ромашов, и, в увлечении своими мыслями, он зашагал бодрее и задышал глубже.— Вот, назло им всем, завтра же с утра засяду за книги, подготовлюсь и поступлю в академию. Труд! О, трудом можно сделать все, что захочешь. Взять

только себя в руки. Буду зубрить, как бешеный... И вот, неожиданно для всех, я выдерживаю блистательно экзамен. И тогда наверно все они скажут: «Что же тут такого удивительного? Мы были заранее в этом уверены. Такой способный, милый, талантливый молодой человек».

И Ромашов поразительно живо увидел себя ученым офицером генерального штаба, подающим громадные надежды... Имя его записано в академии на золотую доску. Профессора сулят ему блестящую будущность, предлагают остаться при академии, но — нет — он идет в строй. Надо отбывать срок командования ротой. Непременно, уж непременно в своем полку. Вот он приезжает сюда — изящный, снисходительно-небрежный, корректный и дерзко-вежливый, как те офицеры генерального штаба, которых он видел на прошлогодних больших маневрах и на съемках. От общества офицеров он сторонится. Грубые армейские привычки, фамильярность, карты, попойки — нет, это не для него: он помнит, что здесь только этап на пути его дальнейшей карьеры и славы.

Вот начались маневры. Большой двухсторонний бой. Полковник Шульгович не понимает диспозиции, путается, суетит людей и сам суетится,— ему уже делал два раза замечание через ординарцев командир корпуса. «Ну, капитан, выручайте,— обращается он к Ромашову.—Знаете, по старой дружбе. Помните, хе-хе-хе, как мы с вами ссорились? Уж, пожалуйста». Лицо сконфуженное и заискивающее. Но Ромашов, безукоризненно отдавая честь и подавшись вперед на седле, отвечает с спокойно-высокомерным видом: «Виноват, господин полковник... Это — ваша обязанность распоряжаться передвижениями полка. Мое дело — принимать приказания и исполнять их...» А уж от командира корпуса летит третий ординарец с новым выговором.

Блестящий офицер генерального штаба Ромашов идет все выше и выше по пути служебной карьеры... Вот вспыхнуло возмущение рабочих на большом сталелитейном заводе. Спешно вытребована рота Ромашова. Ночь, зарево пожара, огромная воющая толпа, летят камни... Стройный, красивый капитан выходит вперед роты. Это— Ромашов. «Братцы,— обращается он к рабочим,— в третий и последний раз предупреждаю, что буду стрелять!..»

Крики, свист, хохот... Камень ударяет в плечо Ромашову, но его мужественное, открытое лицо остается спокойным. Он поворачивается назад, к солдатам, у которых глаза пылают гневом, потому что обидели их обожаемого начальника. «Прямо по толпе, пальба ротою... Рота-а, пли!..» Сто выстрелов сливаются в один... Рев ужаса. Десятки мертвых и раненых валятся в кучу... Остальные бегут в беспорядке, некоторые становятся на колени, умоляя о пощаде. Бунт усмирен. Ромашова ждет впереди благодарность начальства и награда за примерное мужество.

А там война... Нет, до войны лучше Ромашов поедет военным шпионом в Германию. Изучит немецкий язык до полного совершенства и поедет. Какая упоительная отвага! Один, совсем один, с немецким паспортом в кармане, с шарманкой за плечами. Обязательно с шарманкой. Ходит из города в город, вертит ручку шарманки, собирает пфенниги, притворяется дураком и в то же время потихоньку снимает планы укреплений, складов, казарм, лагерей. Кругом вечная опасность. Свое правительство отступилось от него, он вне законов. Удастся ему достать ценные сведения — у него деньги, чины, положение, известность, нет — его расстреляют без суда, без всяких формальностей, рано утром во рву какого-нибудь косого капонира. Вот ему сострадательно предлагают завязать глаза косынкой, но он с гордостью швыряет ее на землю. «Разве вы думаете, что настоящий офицер боится поглядеть в лицо смерти?» Старый полковник говорит участливо: «Послушайте, вы молоды, мой сын в таком же возрасте, как и вы. Назовите вашу фамилию, назовите только вашу национальность, и мы заменим вам смертную казнь заключением». Но Ромашов перебивает его с холодной вежливостью: «Это напрасно, полковник, благодарю вас. Делайте свое дело». Затем он обращается ко взводу стрелков. «Солдаты,— говорит он твердым голосом, конечно, по-немецки,— прошу вас о товарищеской услуге: цельтесь в сердце!» Чувствительный лейтенант, едва скрывая слезы, машет белым платком. Залп...

Эта картина вышла в воображении такой живой и яркой, что Ромашов, уже давно шагавший частыми, большими шагами и глубоко дышавший, вдруг задрожал и в ужасе остановился на месте со сжатыми судорожно кулаками и бьющимся сердцем. Но тотчас же, слабо

и виновато улыбнувшись самому себе в темноте, он съежился и продолжал путь.

Но скоро быстрые, как поток, неодолимые мечты опять овладели им. Началась ожесточенная, кровопролитная война с Пруссией и Австрией. Огромное поле сражения, трупы, гранаты, кровь, смерть! Это генеральный бой, решающий всю судьбу кампании. Подходят последние резервы, ждут с минуты на минуту появления в тылу неприятеля обходной русской колонны. Надо выдержать ужасный натиск врага, надо отстояться во что бы то ни стало. И самый страшный огонь, самые яростные усилия неприятеля направлены на Керенский полк. Солдаты дерутся, как львы, они ни разу не поколебались, хотя ряды их с каждой секундой тают под градом вражеских выстрелов. Исторический момент! Продержаться бы еще минуту, две — и победа будет вырвана у противника. Но полковник Шульгович в смятении; он храбр — это бесспорно, но его нервы не выдерживают этого ужаса. Он закрывает глаза, содрогается, бледнеет... Вот он уже сделал знак горнисту играть отступление, вот уже солдат приложил рожок к губам, но в эту секунду из-за холма на взмыленной арабской лошади вылетает начальник дивизионного штаба, полковник Ромашов. «Полковник, не сметь отступать! Здесь решается судьба России!.» Шульгович вспыхивает: «Полковник! Здесь я командую, и я отвечаю перед богом и государем! Горнист, отбой!» Но Ромашов уже выхватил из рук трубача рожок. «Ребята, вперед! Царь и родина смотрят на вас! Ура!» Бешено, с потрясающим криком ринулись солдаты вперед, вслед за Ромашовым. Все смешалось, заволоклось дымом, покатилось куда-то в пропасть. Неприятельские ряды дрогнули и отступают в беспорядке. А сзади их, далеко за холмами, уже блестят штыки свежей, обходной колонны. «Ура, братцы, победа!..»

Ромашов, который теперь уже не шел, а бежал, оживленно размахивая руками, вдруг остановился и с трудом пришел в себя. По его спине, по рукам и ногам, под одеждой, по голому телу, казалось, бегали чьи-то холодные пальцы, волосы на голове шевелились, глаза резало от восторженных слез. Он и сам не заметил, как дошел до своего дома, и теперь, очнувшись от пылких грез, с удивлением глядел на хорошо знакомые ему ворота, на

жидкий фруктовый сад за ними и на белый крошечный флигелек в глубине сада.

— Какие, однако, глупости лезут в башку! — прошептал он сконфуженно. И его голова робко ушла в приподнятые кверху плечи.

III

Придя к себе, Ромашов, как был в пальто, не сняв даже шашки, лег на кровать и долго лежал, не двигаясь, тупо и пристально глядя в потолок. У него болела голова и ломило спину, а в душе была такая пустота, точно там никогда не рождалось ни мыслей, ни воспоминаний, ни чувств; не ощущалось даже ни раздражения, ни скуки, а просто лежало что-то большое, темное и равнодушное.

За окном мягко гасли грустные и нежные зеленоватые апрельские сумерки. В сенях тихо возился денщик, осторожно гремя чем-то металлическим.

«Вот странно,— говорил про себя Ромашов,— где-то я читал, что человек не может ни одной секунды не думать. А я вот лежу и ни о чем не думаю. Так ли это? Нет, я сейчас думал о том, что ничего не думаю,— значит, все-таки какое-то колесо в мозгу вертелось. И вот сейчас опять проверяю себя, стало быть опять-таки думаю...»

И он до тех пор разбирался в этих нудных, запутанных мыслях, пока ему вдруг не стало почти физически противно: как будто у него под черепом расплылась серая, грязная паутина, от которой никак нельзя было освободиться. Он поднял голову с подушки и крикнул:

— Гайна́н!..

В сенях что-то грохнуло и покатилось — должно быть, самоварная труба. В комнату ворвался денщик, так быстро и с таким шумом отворив и затворив дверь, точно за ним гнались сзади.

— Я, ваше благородие! — крикнул Гайнан испуганным голосом.

— От поручика Николаева никто не был?

— Никак нет, ваше благородие! — крикнул Гайнан.

Между офицером и денщиком давно уже установились простые, доверчивые, даже несколько любовно-фа-

мильярные отношения. Но когда дело доходило до казенных официальных ответов, вроде «точно так», «никак нет», «здравия желаю», «не могу знать», то Гайнан невольно выкрикивал их тем деревянным, сдавленным, бессмысленным криком, каким всегда говорят солдаты с офицерами в строю. Это была бессознательная привычка, которая въелась в него с первых дней его новобранства и, вероятно, засела на всю жизнь.

Гайнан был родом черемис, а по религии — идолопоклонник. Последнее обстоятельство почему-то очень льстило Ромашову. В полку между молодыми офицерами была распространена довольно наивная, мальчишеская, смехотворная игра: обучать денщиков разным диковинным, необыкновенным вещам. Веткин, например, когда к нему приходили в гости товарищи, обыкновенно спрашивал своего денщика-молдаванина: «А что, Бузескул, осталось у нас в погребе еще шампанское?» Бузескул отвечал на это совершенно серьезно: «Никак нет, ваше благородие, вчера изволили выпить последнюю дюжину». Другой офицер, подпоручик Епифанов, любил задавать своему денщику мудреные, пожалуй, вряд ли ему самому понятные вопросы. «Какого ты мнения, друг мой,— спрашивал он,— о реставрации монархического начала в современной Франции?» И денщик, не сморгнув, отвечал: «Точно так, ваше благородие, это выходит очень хорошо». Поручик Бобетинский учил денщика катехизису, и тот без запинки отвечал на самые удивительные, оторванные от всего вопросы: «Почему сие важно в-третьих?» — «Сие в-третьих не важно», или: «Какого мнения о сем святая церковь?» — «Святая церковь о сем умалчивает». У него же денщик декламировал с нелепыми трагическими жестами монолог Пимена из «Бориса Годунова». Распространена была также манера заставлять денщиков говорить по-французски: бонжур, мусьё; бонн нюит, мусьё; вуле ву дю те, мусьё [1],— и все в том же роде, что придумывалось, как оттяжка, от скуки, от узости замкнутой жизни, от отсутствия других интересов, кроме служебных.

[1] Здравствуйте, сударь; доброй ночи, сударь; хотите чаю, сударь *(франц.)*.

Ромашов часто разговаривал с Гайнаном о его богах, о которых, впрочем, сам черемис имел довольно темные и скудные понятия, а также, в особенности, о том, как он принимал присягу на верность престолу и родине. А принимал он присягу действительно весьма оригинально. В то время когда формулу присяги читал православным — священник, католикам — ксендз, евреям — раввин, протестантам, за неимением пастора — штабс-капитан Диц, а магометанам — поручик Бек-Агамалов,— с Гайнаном была совсем особая история. Полковой адъютант поднес поочередно ему и двум его землякам и единоверцам по куску хлеба с солью на острие шашки, и те, не касаясь хлеба руками, взяли его ртом и тут же съели. Символический смысл этого обряда был, кажется, таков: вот я съел хлеб и соль на службе у нового хозяина,— пусть же меня покарает железо, если я буду неверен. Гайнан, по-видимому, несколько гордился этим исключительным обрядом и охотно о нем вспоминал. А так как с каждым новым разом он вносил в свой рассказ все новые и новые подробности, то в конце концов у него получилась какая-то фантастическая, невероятно-нелепая и вправду смешная сказка, весьма занимавшая Ромашова и приходивших к нему подпоручиков.

Гайнан и теперь думал, что поручик сейчас же начнет с ним привычный разговор о богах и о присяге, и потому стоял и хитро улыбался в ожидании. Но Ромашов сказал вяло:

— Ну, хорошо... ступай себе...

— Суртук тебе новый приготовить, ваше благородие? — заботливо спросил Гайнан.

Ромашов молчал и колебался. Ему хотелось сказать — да... потом — нет, потом опять — да. Он глубоко, по-детски, в несколько приемов, вздохнул и ответил уныло:

— Нет уж, Гайнан... зачем уж... бог с ними... Давай, братец, самовар, да потом сбегаешь в собрание за ужином. Что уж!

«Сегодня нарочно не пойду,— упрямо, но бессильно подумал он.— Невозможно каждый день надоедать людям, да и... вовсе мне там, кажется, не рады».

В уме это решение казалось твердым, но где-то глубоко и потаенно в душе, почти не проникая в сознание,

копошилась уверенность, что он сегодня, как и вчера, как делал это почти ежедневно в последние три месяца, все-таки пойдет к Николаевым. Каждый день, уходя от них в двенадцать часов ночи, он, со стыдом и раздражением на собственную бесхарактерность, давал себе честное слово пропустить неделю или две, а то и вовсе перестать ходить к ним. И пока он шел к себе, пока ложился в постель, пока засыпал, он верил тому, что ему будет легко сдержать свое слово. Но проходила ночь, медленно и противно влачился день, наступал вечер, и его опять неудержимо тянуло в этот чистый, светлый дом, в уютные комнаты, к этим спокойным и веселым людям и, главное, к сладостному обаянию женской красоты, ласки и кокетства.

Ромашов сел на кровати. Становилось темно, но он еще хорошо видел всю свою комнату. О, как надоело ему видеть каждый день все те же убогие немногочисленные предметы его «обстановки». Лампа с розовым колпаком-тюльпаном на крошечном письменном столе, рядом с круглым, торопливо стучащим будильником и чернильницей в виде мопса; на стене вдоль кровати войлочный ковер с изображением тигра и верхового арапа с копьем; жиденькая этажерка с книгами в одном углу, а в другом фантастический силуэт виолончельного футляра; над единственным окном соломенная штора, свернутая в трубку; около двери простыня, закрывающая вешалку с платьем. У каждого холостого офицера, у каждого подпрапорщика были неизменно точно такие же вещи, за исключением, впрочем, виолончели; ее Ромашов взял из полкового оркестра, где она была совсем не нужна, но, не выучив даже мажорной гаммы, забросил и ее и музыку еще год тому назад.

Год тому назад с небольшим Ромашов, только что выйдя из военного училища, с наслаждением и гордостью обзаводился этими пошлыми предметами. Конечно — своя квартира, собственные вещи, возможность покупать, выбирать по своему усмотрению, устраиваться по своему вкусу — все это наполняло самолюбивым восторгом душу двадцатилетнего мальчика, вчера только сидевшего на ученической скамейке и ходившего к чаю и завтраку в строю, вместе с товарищами. И как много бы-

ло надежд и планов в то время, когда покупались эти жалкие предметы роскоши!.. Какая строгая программа жизни намечалась! В первые два года — основательное знакомство с классической литературой, систематическое изучение французского и немецкого языков, занятия музыкой. В последний год — подготовка к академии. Необходимо было следить за общественной жизнью, за литературой и наукой, и для этого Ромашов подписался на газету и на ежемесячный популярный журнал. Для самообразования были приобретены: «Психология» Вундта, «Физиология» Льюиса, «Самодеятельность» Смайльса...

И вот книги лежат уже девять месяцев на этажерке, и Гайнан забывает сметать с них пыль, газеты с неразорванными бандеролями валяются под письменным столом, журнал больше не высылают за невзнос очередной полугодовой платы, а сам подпоручик Ромашов пьет много водки в собрании, имеет длинную, грязную и скучную связь с полковой дамой, с которой вместе обманывает ее чахоточного и ревнивого мужа, играет в штос и все чаще и чаще тяготится и службой, и товарищами, и собственной жизнью.

— Виноват, ваше благородие!—крикнул денщик, внезапно с грохотом выскочив из сеней. Но тотчас же он заговорил совершенно другим, простым и добродушным тоном:

— Забыл сказать. Тебе от барыни Петерсон письма пришла. Денщик принес, велел тебе ответ писать.

Ромашов, поморщившись, разорвал длинный, узкий розовый конверт, на углу которого летел голубь с письмом в клюве.

— Зажги лампу, Гайнан,— приказал он денщику.

«Милый, дорогой, усатенький Жоржик,— читал Ромашов хорошо знакомые ему, катящиеся вниз, неряшливые строки.— Ты не был у нас вот уже целую неделю, и я так за тобой скучилась, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если ты хочешь с меня смеяться, то я этой измены не перенесу. Один глоток с пузырька с морфием, и я перестану навек страдать, а тебя сгрызет совесть. Приходи непременно сегодня в $7\frac{1}{2}$ часов вечера. *Его* не будет дома, он будет на тактических занятиях, и я тебя крепко, крепко, крепко расцелую, как только смо-

гу. Приходи же. Целую тебя 1 000 000 000... раз. Вся твоя *Раиса.*

Р. S. Помнишь ли, милая, ветки могучие
Ивы над этой рекой,
Ты мне дарила лобзания жгучие,
Их разделял я с тобой.

Р.

Р. Р. S Вы непременно, непременно должны быть в собрании на вечере в следующую субботу. Я вас заранее приглашаю на 3-ю кадриль. По значению!!!!!!

R. Р.»

И наконец в самом низу четвертой страницы было изображено следующее:

Я здесь поцеловала

От письма пахло знакомыми духами — персидской сиренью; капли этих духов желтыми пятнами засохли кое-где на бумаге, и под ними многие буквы расплылись в разные стороны. Этот приторный запах, вместе с пошло-игривым тоном письма, вместе с выплывшим в воображении рыжеволосым, маленьким, лживым лицом, вдруг поднял в Ромашове нестерпимое отвращение. Он со злобным наслаждением разорвал письмо пополам, потом сложил и разорвал на четыре части, и еще, и еще, и когда, наконец, рукам стало трудно рвать, бросил клочки под стол, крепко стиснув и оскалив зубы. И все-таки Ромашов в эту секунду успел по своей привычке подумать о самом себе картинно в третьем лице:

«И он рассмеялся горьким, презрительным смехом».

Вместе с тем он сейчас же понял, что непременно пойдет к Николаевым. «Но это уж в самый, самый последний раз!» — пробовал он обмануть самого себя. И ему сразу стало весело и спокойно:

— Гайнан, одеваться!

Он с нетерпением умылся, надел новый сюртук, надушил чистый носовой платок цветочным одеколоном. Но когда он, уже совсем одетый, собрался выходить, его неожиданно остановил Гайнан.

— Ваше благородие! — сказал черемис необычным мягким и просительным тоном и вдруг затанцевал на месте.

Он всегда так танцевал, когда сильно волновался или смущался чем-нибудь: выдвигал то одно, то другое колено вперед, поводил плечами, вытягивал и прямил шею и нервно шевелил пальцами опущенных рук.

— Что тебе еще?

— Ваше благородие, хочу тебе, поджаласта, очень попросить. Подари мне белый господин.

— Что такое? Какой белый господин?

— А который велел выбросить. Вот этот, вот...

Он показал пальцем за печку, где стоял на полу бюст Пушкина, приобретенный как-то Ромашовым у захожего разносчика. Этот бюст, кстати, изображавший, несмотря на надпись на нем, старого еврейского маклера, а не великого русского поэта, был так уродливо сработан, так засижен мухами и так намозолил Ромашову глаза, что он действительно приказал на днях Гайнану выбросить его на двор.

— Зачем он тебе? — спросил подпоручик смеясь.— Да бери, сделай милость, бери. Я очень рад. Мне не нужно. Только зачем тебе?

Гайнан молчал и переминался с ноги на ногу.

— Ну, да ладно, бог с тобой,— сказал Ромашов.— Только ты знаешь, кто это?

Гайнан ласково и смущенно улыбнулся и затанцевал пуще прежнего.

— Я не знай...— И утер рукавом губы.

— Не знаешь — так знай. Это — Пушкин. Александр Сергеич Пушкин. Понял? Повтори за мной: Александр Сергеич...

— Бесиев,— повторил решительно Гайнан.

— Бесиев? Ну, пусть будет Бесиев,— согласился Ромашов.— Однако я ушел. Если придут от Петерсонов, скажешь, что подпоручик ушел, а куда — неизвестно. Понял? А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева. Прощай, старина!.. Возьми из собрания мой ужин и можешь его съесть.

Он дружелюбно хлопнул по плечу черемиса, который в ответ молча улыбнулся ему широко, радостно и фамильярно.

IV

На дворе стояла совершенно черная, непроницаемая ночь, так что сначала Ромашову приходилось, точно слепому, ощупывать перед собой дорогу. Ноги его в огромных калошах уходили глубоко в густую, как рахат-лукум, грязь и вылезали оттуда со свистом и чавканьем. Иногда одну из калош засасывало так сильно, что из нее выскакивала нога, и тогда Ромашову приходилось, балансируя на одной ноге, другой ногой впотьмах наугад отыскивать исчезнувшую калошу.

Местечко точно вымерло, даже собаки не лаяли. Из окон низеньких белых домов кое-где струился туманными прямыми полосами свет и длинными косяками ложился на желто-бурую блестящую землю. Но от мокрых и липких заборов, вдоль которых все время держался Ромашов, от сырой коры тополей, от дорожной грязи пахло чем-то весенним, крепким, счастливым, чем-то бессознательно и весело раздражающим. Даже сильный ветер, стремительно носившийся по улицам, дул по-весеннему неровно, прерывисто, точно вздрагивая, путаясь и шаля.

Перед домом, который занимали Николаевы, подпоручик остановился, охваченный минутной слабостью и колебанием. Маленькие окна были закрыты плотными коричневыми занавесками, но за ними чувствовался ровный, яркий свет. В одном месте портьера загнулась, образовав длинную, узкую щель. Ромашов припал головой к стеклу, волнуясь и стараясь дышать как можно тише, точно его могли услышать в комнате.

Он увидел лицо и плечи Александры Петровны, сидевшей глубоко и немного сгорбившись на знакомом диване из зеленого рипса. По этой позе и по легким движениям тела, по опущенной низко голове видно было, что она занята рукодельем.

Вот она внезапно выпрямилась, подняла голову кверху и глубоко передохнула... Губы ее шевелятся... «Что она говорит? — думал Ромашов.— Вот улыбнулась. Как это странно — глядеть сквозь окно на говорящего человека и не слышать его!»

Улыбка внезапно сошла с лица Александры Петровны, лоб нахмурился. Опять быстро, с настойчивым выра-

жением зашевелились губы, и вдруг опять улыбка — шаловливая и насмешливая. Вот покачала головой медленно и отрицательно. «Может быть, это про меня?» — робко подумал Ромашов. Чем-то тихим, чистым, беспечно-спокойным веяло на него от этой молодой женщины, которую он рассматривал теперь, точно нарисованную на какой-то живой, милой, давно знакомой картине. «Шурочка!» — прошептал Ромашов нежно.

Александра Петровна неожиданно подняла лицо от работы и быстро, с тревожным выражением повернула его к окну. Ромашову показалось, что она смотрит прямо ему в глаза. У него от испуга сжалось и похолодело сердце, и он поспешно отпрянул за выступ стены. На одну минуту ему стало совестно. Он уже почти готов был вернуться домой, но преодолел себя и через калитку прошел в кухню.

В то время как денщик Николаевых снимал с него грязные калоши и очищал ему кухонной тряпкой сапоги, а он протирал платком запотевшие в тепле очки, поднося их вплотную к близоруким глазам, из гостиной послышался звонкий голос Александры Петровны:

— Степан, это приказ принесли?

«Это она нарочно! — подумал, точно казня себя, подпоручик.— Знает ведь, что я всегда в такое время прихожу».

— Нет, это я, Александра Петровна! — крикнул он в дверь фальшивым голосом.

— А! Ромочка! Ну, входите, входите. Чего вы там застряли? Володя, это Ромашов пришел.

Ромашов вошел, смущенно и неловко сгорбившись и без нужды потирая руки.

— Воображаю, как я вам надоел, Александра Петровна.

Он сказал это, думая, что у него выйдет весело и развязно, но вышло неловко и, как ему тотчас же показалось, страшно-неестественно.

— Опять за глупости! — воскликнула Александра Петровна.— Садитесь, будем чай пить.

Глядя ему в глаза внимательно и ясно, она, по обыкновению, энергично пожала своей маленькой, теплой и мягкой рукой его холодную руку.

Николаев сидел спиной к ним, у стола, заваленного книгами, атласами и чертежами. Он в этом году должен был держать экзамен в академию генерального штаба и весь год упорно, без отдыха готовился к нему. Это был уже третий экзамен, так как два года подряд он проваливался.

Не оборачиваясь назад, глядя в раскрытую перед ним книгу, Николаев протянул Ромашову руку через плечо и сказал спокойным, густым голосом:

— Здравствуйте, Юрий Алексеич. Новостей нет? Шурочка! Дай ему чаю. Уж простите меня, я занят.

«Конечно, я напрасно пришел,— опять с отчаянием подумал Ромашов.— О, я дурак!»

— Нет, какие же новости... Центавр разнес в собрании подполковника Леха. Тот был совсем пьян, говорят. Везде в ротах требует рубку чучел... Епифана закатал под арест.

— Да? — рассеянно переспросил Николаев.— Скажите пожалуйста.

— Мне тоже влетело — на четверо суток... Одним словом, новости старые.

Ромашову казалось, что голос у него какой-то чужой и такой сдавленный, точно в горле что-то застряло. «Каким я, должно быть, кажусь жалким!» — подумал он, но тотчас же успокоил себя тем обычным приемом, к которому часто прибегают застенчивые люди: «Ведь это всегда, когда конфузишься, то думаешь, что все это видят, а на самом деле только тебе это заметно, а другим вовсе нет».

Он сел на кресло рядом с Шурочкой, которая, быстро мелькая крючком, вязала какое-то кружево. Она никогда не сидела без дела, и все скатерти, салфеточки, абажуры и занавески в доме были связаны ее руками.

Ромашов осторожно взял пальцами нитку, шедшую от клубка к ее руке, и спросил:

— Как называется это вязанье?

— Гипюр. Вы в десятый раз спрашиваете.

Шурочка вдруг быстро, внимательно взглянула на подпоручика и так же быстро опустила глаза на вязанье. Но сейчас же опять подняла их и засмеялась.

— Да вы ничего, Юрий Алексеич... вы посидите и оправьтесь немного. «Оправьсь!» — как у вас командуют.

Ромашов вздохнул и покосился на могучую шею Николаева, резко белевшую над воротником серой тужурки.

— Счастливец Владимир Ефимыч,— сказал он.— Вот летом в Петербург поедет... в академию поступит.

— Ну, это еще надо посмотреть! — задорно, по адресу мужа, воскликнула Шурочка.— Два раза с позором возвращались в полк. Теперь уж в последний.

Николаев обернулся назад. Его воинственное и доброе лицо с пушистыми усами покраснело, а большие, темные, воловьи глаза сердито блеснули.

— Не болтай глупостей, Шурочка! Я сказал: выдержу — и выдержу.— Он крепко стукнул ребром ладони по столу.— Ты только сидишь и каркаешь. Я сказал!..

— Я сказал! — передразнила его жена и тоже, как и он, ударила маленькой смуглой ладонью по колену.— А ты вот лучше скажи-ка мне, каким условиям должен удовлетворять боевой порядок части? Вы знаете,— бойко и лукаво засмеялась она глазами Ромашову,— я ведь лучше его тактику знаю. Ну-ка, ты, Володя, офицер генерального штаба,— каким условиям?

— Глупости, Шурочка, отстань,— недовольно буркнул Николаев.

Но вдруг он вместе со стулом повернулся к жене, и в его широко раскрывшихся красивых и глуповатых глазах показалось растерянное недоумение, почти испуг.

— Постой, девочка, а ведь я и в самом деле не все помню. Боевой порядок? Боевой порядок должен быть так построен, чтобы он как можно меньше терял от огня, потом, чтобы было удобно командовать... Потом... постой...

— За постой деньги платят,— торжествующе перебила Шурочка.

И она заговорила скороговоркой, точно первая ученица, опустив веки и покачиваясь:

— Боевой порядок должен удовлетворять следующим условиям: поворотливости, подвижности, гибкости, удобству командования, приспособляемости к местности; он должен возможно меньше терпеть от огня, легко свертываться и развертываться и быстро переходить в походный порядок... Все!..

Она открыла глаза, с трудом перевела дух и, обратив смеющееся, подвижное лицо к Ромашову, спросила:

— Хорошо?

— Черт, какая память! — завистливо, но с восхищением произнес Николаев, углубляясь в свои тетрадки.

— Мы ведь всё вместе,— пояснила Шурочка.— Я бы хоть сейчас выдержала экзамен. Самое главное,— она ударила по воздуху вязальным крючком,— самое главное — система. Наша система — это мое изобретение, моя гордость. Ежедневно мы проходим кусок из математики, кусок из военных наук — вот артиллерия мне, правда, не дается: все какие-то противные формулы, особенно в баллистике,— потом кусочек из уставов. Затем через день оба языка и через день география с историей.

— А русский? — спросил Ромашов из вежливости.

— Русский? Это — пустое. Правописание по Гроту мы уже одолели. А сочинения ведь известно какие. Одни и те же каждый год. «Para pacem, para bellum» [1]. «Характеристика Онегина в связи с его эпохой»...

И вдруг, вся оживившись, отнимая из рук подпоручика нитку, как бы для того, чтобы его ничто не развлекало, она страстно заговорила о том, что составляло весь интерес, всю главную суть ее теперешней жизни.

— Я не могу, не могу здесь оставаться, Ромочка! Поймите меня! Остаться здесь — это значит опуститься, стать полковой дамой, ходить на ваши дикие вечера, сплетничать, интриговать и злиться по поводу разных суточных и прогонных... каких-то грошей!.. бррр... устраивать поочередно с приятельницами эти пошлые «балки», играть в винт... Вот, вы говорите, у нас уютно. Да посмотрите же, ради бога, на это мещанское благополучие! Эти филе и гипюрчики — я их сама связала, это платье, которое я сама переделывала, этот омерзительный мохнатенький ковер из кусочков... все это гадость, гадость! Поймите же, милый Ромочка, что мне нужно общество, большое, настоящее общество, свет, музыка, поклонение, тонкая лесть, умные собеседники. Вы знаете, Володя пороху не выдумает, но он честный, смелый, трудолюбивый человек. Пусть он только пройдет в генеральный штаб, и — клянусь — я ему сделаю блестящую карьеру. Я знаю языки, я сумею себя держать в каком угодно обществе, во мне есть — я не знаю, как это выразить,— есть такая

[1] «Если хочешь мира, готовься к войне» *(лат.)*.

гибкость души, что я всюду найдусь, ко всему сумею приспособиться... Наконец, Ромочка, поглядите на меня, поглядите внимательно. Неужели я уж так неинтересна как человек и некрасива как женщина, чтобы мне всю жизнь киснуть в этой трущобе, в этом гадком местечке, которого нет ни на одной географической карте!

И она, поспешно закрыв лицо платком, вдруг расплакалась злыми, самолюбивыми, гордыми слезами.

Муж, обеспокоенный, с недоумевающим и растерянным видом, тотчас же подбежал к ней. Но Шурочка уже успела справиться с собой и отняла платок от лица. Слез больше не было, хотя глаза ее еще сверкали злобным, страстным огоньком.

— Ничего, Володя, ничего, милый,— отстранила она его рукой.

И, уже со смехом обращаясь к Ромашову и опять отнимая у него из рук нитку, она спросила с капризным и кокетливым смехом:

— Отвечайте же, неуклюжий Ромочка, хороша я или нет? Если женщина напрашивается на комплимент, то не ответить ей — верх невежливости!

— Шурочка, ну как тебе не стыдно,— рассудительно произнес с своего места Николаев.

Ромашов страдальчески-застенчиво улыбнулся, но вдруг ответил чуть-чуть задрожавшим голосом, серьезно и печально:

— Очень красивы!..

Шурочка крепко зажмурила глаза и шаловливо затрясла головой, так что разбившиеся волосы запрыгали у нее по лбу.

— Ро-омочка, какой вы смешно-ой! — пропела она тоненьким детским голоском.

А подпоручик, покраснев, подумал про себя, по обыкновению: «Его сердце было жестоко разбито...»

Все помолчали. Шурочка быстро мелькала крючком. Владимир Ефимович, переводивший на немецкий язык фразы из самоучителя Туссена и Лангеншейдта, тихонько бормотал их себе под нос. Слышно было, как потрескивал и шипел огонь в лампе, прикрытой желтым шелковым абажуром в виде шатра. Ромашов опять завладел ниткой и потихоньку, еле заметно для самого себя, потя-

гивал ее из рук молодой женщины. Ему доставляло тонкое и нежное наслаждение чувствовать, как руки Шурочки бессознательно сопротивлялись его осторожным усилиям. Казалось, что какой-то таинственный, связывающий и волнующий ток струился по этой нитке.

В то же время он сбоку, незаметно, но неотступно глядел на ее склоненную вниз голову и думал, едва-едва шевеля губами, произнося слова внутри себя, молчаливым шепотом, точно ведя с Шурочкой интимный и чувственный разговор:

«Как она смело спросила: хороша ли я? О! Ты прекрасна! Милая! Вот я сижу и гляжу на тебя — какое счастье! Слушай же: я расскажу тебе, как ты красива. Слушай. У тебя бледное и смуглое лицо. Страстное лицо. И на нем красные, горящие губы — как они должны целовать! — и глаза, окруженные желтоватой тенью... Когда ты смотришь прямо, то белки твоих глаз чуть-чуть голубые, а в больших зрачках мутная, глубокая синева. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское. Но зато твои волосы так чисты и тонки и сходятся сзади в узел с таким аккуратным, наивным и деловитым выражением, что хочется тихонько потрогать их пальцами. Ты маленькая, ты легкая, я бы поднял тебя на руки, как ребенка. Но ты гибкая и сильная, у тебя грудь, как у девушки, ты вся — порывистая, подвижная. На левом ухе, внизу, у тебя маленькая родинка, точно след от сережки,— это прелестно!..»

— Вы не читали в газетах об офицерском поединке? — спросила вдруг Шурочка.

Ромашов встрепенулся и с трудом отвел от нее глаза.

— Нет, не читал. Но слышал. А что?

— Конечно, вы, по обыкновению, ничего не читаете. Право, Юрий Алексеевич, вы опускаетесь. По-моему, вышло что-то нелепое. Я понимаю: поединки между офицерами — необходимая и разумная вещь.— Шурочка убедительно прижала вязанье к груди.— Но зачем такая бестактность? Подумайте: один поручик оскорбил другого. Оскорбление тяжелое, и общество офицеров постановляет поединок. Но дальше идет чепуха и глупость. Условия — прямо вроде смертной казни: пятнадцать шагов дистанции и драться до тяжелой раны... Если оба противника стоят на ногах, выстрелы возобновляются.

Но ведь это — бойня, это... я не знаю что! Но, погодите, это только цветочки. На место дуэли приезжают все офицеры полка, чуть ли даже не полковые дамы, и даже где-то в кустах помещается фотограф. Ведь это ужас, Ромочка! И несчастный подпоручик, фендрик, как говорит Володя, вроде вас, да еще вдобавок обиженный, а не обидчик, получает после третьего выстрела страшную рану в живот и к вечеру умирает в мучениях. А у него, оказывается, была старушка мать и сестра, старая барышня, которые с ним жили, вот как у нашего Михина... Да послушайте же: для чего, кому нужно было делать из поединка такую кровавую буффонаду? И это, заметьте, на самых первых порах, сейчас же после разрешения поединков. И вот поверьте мне, поверьте! — воскликнула Шурочка, сверкая загоревшимися глазами,— сейчас же сентиментальные противники офицерских дуэлей,— о, я знаю этих презренных либеральных трусов!— сейчас же они загалдят: «Ах, варварство! Ах, пережиток диких времен! Ах, братоубийство!»

— Однако вы кровожадны, Александра Петровна! — вставил Ромашов.

— Не кровожадна,— нет! — резко возразила она.— Я жалостлива. Я жучка, который мне щекочет шею, сниму и постараюсь не сделать ему больно. Но, попробуйте понять, Ромашов, здесь простая логика. Для чего офицеры? Для войны. Что для войны раньше всего требуется? Смелость, гордость, умение не сморгнуть перед смертью. Где эти качества всего ярче проявляются в мирное время? В дуэлях. Вот и все. Кажется, ясно. Именно не французским офицерам необходимы поединки,— потому что понятие о чести, да еще преувеличенное, в крови у каждого француза,— не немецким,— потому что от рождения все немцы порядочны и дисциплинированны,— а нам, нам, нам! Тогда у нас не будет в офицерской среде карточных шулеров, как Арчаковский, или беспросыпных пьяниц, вроде вашего Назанского; тогда само собой выведется амикошонство, фамильярное зубоскальство в собрании, при прислуге, это ваше взаимное сквернословие, пускание в голову друг другу графинов, с целью все-таки не попасть, а промахнуться. Тогда вы не будете за глаза так поносить друг друга. У офицера каждое слово должно быть взвешено. Офицер — это образец коррект-

ности. И потом, что за нежности: боязнь выстрела! Ваша профессия — рисковать жизнью. Ах, да что!

Она капризно оборвала свою речь и с сердцем ушла в работу. Опять стало тихо.

— Шурочка, как перевести по-немецки — соперник? — спросил Николаев, подымая голову от книги.

— Соперник? — Шурочка задумчиво потрогала крючком пробор своих мягких волос.— А скажи всю фразу.

— Тут сказано... сейчас, сейчас... Наш заграничный соперник...

— Unser ausländischer Nebenbuhler,— быстро, тотчас же перевела Шурочка.

— Унзер,— повторил шепотом Ромашов, мечтательно заглядевшись на огонь лампы. «Когда ее что-нибудь взволнует,— подумал он,— то слова у нее вылетают так стремительно, звонко и отчетливо, точно сыплется дробь на серебряный поднос». Унзер — какое смешное слово... Унзер, унзер, унзер...

— Что вы шепчете, Ромочка? — вдруг строго спросила Александра Петровна.— Не смейте бредить в моем присутствии.

Он улыбнулся рассеянной улыбкой.

— Я не брежу... Я все повторял про себя: унзер, унзер. Какое смешное слово...

— Что за глупости... Унзер? Отчего смешное?

— Видите ли...— Он затруднялся, как объяснить свою мысль.— Если долго повторять какое-нибудь одно слово и вдумываться в него, то оно вдруг потеряет смысл и станет таким... как бы вам сказать?..

— Ах, знаю, знаю! — торопливо и радостно перебила его Шурочка.— Но только это теперь не так легко делать, а вот раньше, в детстве,— ах как это было забавно!..

— Да, да, именно в детстве. Да.

— Как же, я отлично помню. Даже помню слово, которое меня особенно поражало: «может быть». Я все качалась с закрытыми глазами и твердила: «Может быть, может быть...» И вдруг — совсем позабывала, что́ оно значит, потом старалась — и не могла вспомнить. Мне все казалось, будто это какое-то коричневое, красноватое пятно с двумя хвостиками. Правда ведь?

Ромашов с нежностью поглядел на нее.

— Как это странно, что у нас одни и те же мысли,— сказал он тихо.— А унзер, понимаете, это что-то высокое-высокое, что-то худощавое и с жалом. Вроде как какое-то длинное, тонкое насекомое, и очень злое.

— Унзер? — Шурочка подняла голову и, прищурясь, посмотрела вдаль, в темный угол комнаты, стараясь представить себе то, о чем говорил Ромашов.— Нет, погодите: это что-то зеленое, острое. Ну да, ну да, конечно же — насекомое! Вроде кузнечика, только противнее и злее... Фу, какие мы с вами глупые, Ромочка.

— А то вот еще бывает,— начал таинственно Ромашов,— и опять-таки в детстве это было гораздо ярче. Произношу я какое-нибудь слово и стараюсь тянуть его как можно дольше. Растягиваю бесконечно каждую букву. И вдруг на один момент мне сделается так странно, странно, как будто бы все вокруг меня исчезло. И тогда мне делается удивительно, что это я говорю, что я живу, что я думаю.

— О, я тоже это знаю! — весело подхватила Шурочка.— Но только не так. Я, бывало, затаиваю дыхание, пока хватит сил, и думаю: вот я не дышу, и теперь еще не дышу, и вот до сих пор, и до сих, и до сих... И тогда наступало это странное. Я чувствовала, как мимо меня проходило время. Нет, это не то: может быть, вовсе времени не было. Это нельзя объяснить.

Ромашов глядел на нее восхищенными глазами и повторял глухим, счастливым, тихим голосом:

— Да, да... этого нельзя объяснить... Это странно... Это необъяснимо...

— Ну, однако, господа психоло́ги, или как вас там, довольно, пора ужинать,— сказал Николаев, вставая со стула.

От долгого сидения у него затекли ноги и заболела спина. Вытянувшись во весь рост, он сильно потянулся вверх руками и выгнул грудь, и все его большое, мускулистое тело захрустело в суставах от этого мощного движения.

В крошечной, но хорошенькой столовой, ярко освещенной висячей фарфоровой матово-белой лампой, была накрыта холодная закуска. Николаев не пил, но для Ромашова был поставлен графинчик с водкой. Собрав свое

милое лицо в брезгливую гримасу, Шурочка спросила небрежно, как она и часто спрашивала:

— Вы, конечно, не можете без этой гадости обойтись?

Ромашов виновато улыбнулся и от замешательства поперхнулся водкой и закашлялся.

— Как вам не совестно! — наставительно заметила хозяйка.— Еще и пить не умеете, а тоже... Я понимаю, вашему возлюбленному Назанскому простительно, он отпетый человек, но вам-то зачем? Молодой такой, славный, способный мальчик, а без водки не сядете за стол... Ну зачем? Это все Назанский вас портит.

Ее муж, читавший в это время только что принесенный приказ, вдруг воскликнул:

— Ах, кстати: Назанский увольняется в отпуск на один месяц по домашним обстоятельствам. Тю-тю-у! Это значит — запил. Вы, Юрий Алексеич, наверно, его видели? Что он, закурил?

Ромашов смущенно заморгал веками.

— Нет, я не заметил. Впрочем, кажется, пьет...

— Ваш Назанский — противный! — с озлоблением, сдержанным низким голосом сказала Шурочка.— Если бы от меня зависело, я бы этаких людей стреляла, как бешеных собак. Такие офицеры — позор для полка, мерзость!

Тотчас же после ужина Николаев, который ел так же много и усердно, как и занимался своими науками, стал зевать и, наконец, откровенно заметил:

— Господа, а что, если бы на минутку пойти поспать? «Соснуть», как говорилось в старых добрых романах.

— Это совершенно справедливо, Владимир Ефимыч,— подхватил Ромашов с какой-то, как ему самому показалось, торопливой и угодливой развязностью. В то же время, вставая из-за стола, он подумал уныло: «Да, со мной здесь не церемонятся. И только зачем я лезу?»

У него было такое впечатление, как будто Николаев с удовольствием выгоняет его из дому. Но тем не менее, прощаясь с ним нарочно раньше, чем с Шурочкой, он думал с наслаждением, что вот сию минуту он почувствует крепкое и ласкающее пожатие милой женской руки. Об этом он думал каждый раз уходя. И когда этот момент наступил, то он до такой степени весь ушел ду-

шой в это очаровательное пожатие, что не слышал, как Шурочка сказала ему:

— Вы, смотрите, не забывайте нас. Здесь вам всегда рады. Чем пьянствовать со своим Назанским, сидите лучше у нас. Только помните: мы с вами не церемонимся.

Он услышал эти слова в своем сознании и понял их, только выйдя на улицу.

— Да, со мной не церемонятся,— прошептал он с той горькой обидчивостью, к которой так болезненно склонны молодые и самолюбивые люди его возраста.

V

Ромашов вышел на крыльцо. Ночь стала точно еще гуще, еще чернее и теплее. Подпоручик ощупью шел вдоль плетня, держась за него руками, и дожидался, пока его глаза привыкнут к мраку. В это время дверь, ведущая в кухню Николаевых, вдруг открылась, выбросив на мгновение в темноту большую полосу туманного желтого света. Кто-то зашлепал по грязи, и Ромашов услышал сердитый голос денщика Николаевых, Степана:

— Ходить, ходить кажын день. И чего ходить, черт его знает!..

А другой солдатский голос, незнакомый подпоручику, ответил равнодушно, вместе с продолжительным, ленивым зевком:

— Дела, братец ты мой... С жиру это все. Ну, прощевай, что ли, Степан.

— Прощай, Баулин. Заходи когда.

Ромашов прилип к забору. От острого стыда он покраснел, несмотря на темноту; все тело его покрылось сразу испариной, и точно тысячи иголок закололи его кожу на ногах и на спине. «Кончено! Даже денщики смеются»,— подумал он с отчаянием. Тотчас же ему припомнился весь сегодняшний вечер, и в разных словах, в тоне фраз, во взглядах, которыми обменивались хозяева, он сразу увидел много не замеченных им раньше мелочей, которые, как ему теперь казалось, свидетельствовали о небрежности и о насмешке, о нетерпеливом раздражении против надоедливого гостя.

— Какой позор, какой позор! — шептал подпоручик, не двигаясь с места.— Дойти до того, что тебя едва тер-

пят, когда ты приходишь... Нет, довольно. Теперь я уж твердо знаю, что довольно!

В гостиной у Николаевых потух огонь. «Вот они уже в спальне»,— подумал Ромашов и необыкновенно ясно представил себе, как Николаевы, ложась спать, раздеваются друг при друге с привычным равнодушием и бесстыдством давно женатых людей и говорят о нем. Она в одной юбке причесывает перед зеркалом на ночь волосы. Владимир Ефимович сидит в нижнем белье на кровати, снимает сапог и, краснея от усилия, говорит сердито и сонно: «Мне, знаешь, Шурочка, твой Ромашов надоел вот до каких пор. Удивляюсь, чего ты с ним так возишься?» А Шурочка, не выпуская изо рта шпилек и не оборачиваясь, отвечает ему в зеркало недовольным тоном: «Вовсе он не мой, а твой!..»

Прошло еще пять минут, пока Ромашов, терзаемый этими мучительными и горькими мыслями, решился двинуться дальше. Мимо всего длинного плетня, ограждавшего дом Николаевых, он прошел крадучись, осторожно вытаскивая ноги из грязи, как будто его могли услышать и поймать на чем-то нехорошем. Домой идти ему не хотелось: даже было жутко и противно вспоминать о своей узкой и длинной, об одном окне, комнате со всеми надоевшими до отвращения предметами. «Вот, *назло ей*, пойду к Назанскому,— решил он внезапно и сразу почувствовал в этом какое-то мстительное удовлетворение.— Она выговаривала мне за дружбу с Назанским, так вот же назло! И пускай!..»

Подняв глаза к небу и крепко прижав руку к груди, он с жаром сказал про себя: «Клянусь, клянусь, что я в последний раз приходил к ним. Не хочу больше испытывать такого унижения. Клянусь!»

И сейчас же, по своей привычке, прибавил мысленно:

«Его выразительные черные глаза сверкали решимостью и презрением!»

Хотя глаза у него были вовсе не черные, а самые обыкновенные — желтоватые, с зеленым ободком.

Назанский снимал комнату у своего товарища, поручика Зегржта. Этот Зегржт был, вероятно, самым старым поручиком во всей русской армии, несмотря на безукоризненную службу и на участие в турецкой кампа-

нии. Каким-то роковым и необъяснимым образом ему не везло в чинопроизводстве. Он был вдов, с четырьмя маленькими детьми, и все-таки кое-как изворачивался на своем сорокавосьмирублевом жалованье. Он снимал большие квартиры и сдавал их по комнатам холостым офицерам, держал столовников, разводил кур и индюшек, умел как-то особенно дешево и заблаговременно покупать дрова. Детей своих он сам купал в корытцах, сам лечил их домашней аптечкой и сам шил им на швейной машине лифчики, панталончики и рубашечки. Еще до женитьбы Зегржт, как и очень многие холостые офицеры, пристрастился к ручным женским работам, теперь же его заставляла заниматься ими крутая нужда. Злые языки говорили про него, что он тайно, под рукой отсылает свои рукоделия куда-то на продажу.

Но все эти мелочные хозяйственные ухищрения плохо помогали Зегржту. Домашняя птица дохла от повальных болезней, комнаты пустовали, нахлебники ругались из-за плохого стола и не платили денег, и периодически, раза четыре в год, можно было видеть, как худой, длинный, бородатый Зегржт с растерянным потным лицом носился по городу в чаянии перехватить где-нибудь денег, причем его блинообразная фуражка сидела козырьком набоку, а древняя николаевская шинель, сшитая еще до войны, трепетала и развевалась у него за плечами наподобие крыльев.

Теперь у него в комнатах светился огонь, и, подойдя к окну, Ромашов увидел самого Зегржта. Он сидел у круглого стола под висячей лампой и, низко наклонив свою плешивую голову с измызганным, морщинистым и кротким лицом, вышивал красной бумагой какую-то полотняную вставку — должно быть, грудь для малороссийской рубашки. Ромашов побарабанил в стекло. Зегржт вздрогнул, отложил работу в сторону и подошел к окну.

— Это я, Адам Иванович. Отворите-ка на секунду,— сказал Ромашов.

Зегржт влез на подоконник и просунул в форточку свой лысый лоб и свалявшуюся на один бок жидкую бороду.

— Это вы, подпоручик Ромашов? А что?

— Назанский дома?

— Дома, дома. Куда ж ему идти? Ах, господи,— борода Зегржта затряслась в форточке,— морочит мне голову ваш Назанский. Второй месяц посылаю ему обеды, а он все только обещается заплатить. Когда он переезжал, я его убедительно просил, во избежание недоразумений...

— Да, да, да... это... в самом деле...— перебил рассеянно Ромашов.— А, скажите, каков он? Можно его видеть?

— Думаю, можно... Ходит все по комнате.— Зегржт на секунду прислушался.— Вот и теперь ходит. Вы понимаете, я ему ясно говорил: во избежание недоразумений условимся, чтобы плата...

— Извините, Адам Иванович, я сейчас,— прервал его Ромашов.— Если позволите, я зайду в другой раз. Очень спешное дело...

Он прошел дальше и завернул за угол. В глубине палисадника, у Назанского горел огонь. Одно из окон было раскрыто настежь. Сам Назанский, без сюртука, в нижней рубашке, расстегнутой у ворота, ходил взад и вперед быстрыми шагами по комнате; его белая фигура и золотоволосая голова то мелькали в просветах окон, то скрывались за простенками. Ромашов перелез через забор палисадника и окликнул его.

— Кто это? — спокойно, точно он ожидал оклика, спросил Назанский, высунувшись наружу через подоконник.— А, это вы, Георгий Алексеич? Подождите: через двери вам будет далеко и темно. Лезьте в окно. Давайте вашу руку.

Комната у Назанского была еще беднее, чем у Ромашова. Вдоль стены у окна стояла узенькая, низкая, вся вогнувшаяся дугой кровать, такая тощая, точно на ее железках лежало всего одно только розовое пикейное одеяло; у другой стены — простой некрашеный стол и две грубых табуретки. В одном из углов комнаты был плотно пригнан, на манер кивота, узенький деревянный поставец. В ногах кровати помещался кожаный рыжий чемодан, весь облепленный железнодорожными бумажками. Кроме этих предметов, не считая лампы на столе, в комнате не было больше ни одной вещи.

— Здравствуйте, мой дорогой,— сказал Назан-

ский, крепко пожимая и встряхивая руку Ромашова и глядя ему прямо в глаза задумчивыми, прекрасными голубыми глазами.— Садитесь-ка вот здесь, на кровать. Вы слышали, что я подал рапорт о болезни?

— Да. Мне сейчас об этом говорил Николаев.

Опять Ромашову вспомнились ужасные слова денщика Степана, и лицо его страдальчески сморщилось.

— А! Вы были у Николаевых? — вдруг с живостью и с видимым интересом спросил Назанский.— Вы часто бываете у них?

Какой-то смутный инстинкт осторожности, вызванный необычным тоном этого вопроса, заставил Ромашова солгать, и он ответил небрежно:

— Нет, совсем не часто. Так, случайно зашел.

Назанский, ходивший взад и вперед по комнате, остановился около поставца и отворил его. Там на полке стоял графин с водкой и лежало яблоко, разрезанное аккуратными, тонкими ломтями. Стоя спиной к гостю, он торопливо налил себе рюмку и выпил. Ромашов видел, как конвульсивно содрогнулась его спина под тонкой полотняной рубашкой.

— Не хотите ли? — предложил Назанский, указывая на поставец.— Закуска небогатая, но, если голодны, можно соорудить яичницу. Можно воздействовать на Адама, ветхого человека.

— Спасибо. Я потом.

Назанский прошелся по комнате, засунув руки в карманы. Сделав два конца, он заговорил, точно продолжая только что прерванную беседу:

— Да. Так вот я все хожу и все думаю. И, знаете, Ромашов, я счастлив. В полку завтра все скажут, что у меня запой. А что ж, это, пожалуй, и верно, только это не совсем так. Я теперь счастлив, а вовсе не болен и не страдаю. В обыкновенное время мой ум и моя воля подавлены. Я сливаюсь тогда с голодной, трусливой серединой и бываю пошл, скучен самому себе, благоразумен и рассудителен. Я ненавижу, например, военную службу, но служу. Почему я служу? Да черт его знает почему! Потому что мне с детства твердили и теперь все кругом говорят, что самое главное в жизни — это служить и быть сытым и хорошо одетым. А философия, говорят они, это чепуха, это хорошо тому, кому нечего

делать, кому маменька оставила наследство. И вот я делаю вещи, к которым у меня совершенно не лежит душа, исполняю ради животного страха жизни приказания, которые мне кажутся порой жестокими, а порой бессмысленными. Мое существование однообразно, как забор, и серо, как солдатское сукно. Я не смею задуматься,— не говорю о том, чтобы рассуждать вслух,— о любви, о красоте, о моих отношениях к человечеству, о природе, о равенстве и счастии людей, о поэзии, о боге. Они смеются: ха-ха-ха, это все философия!.. Смешно, и дико, и непозволительно думать офицеру армейской пехоты о возвышенных материях. Это философия, черт возьми, следовательно — чепуха, праздная и нелепая болтовня.

— Но это — главное в жизни,— задумчиво произнес Ромашов.

— И вот наступает для меня это время, которое они зовут таким жестоким именем,— продолжал, не слушая его, Назанский. Он все ходил взад и вперед и по временам делал убедительные жесты, обращаясь, впрочем, не к Ромашову, а к двум противоположным углам, до которых по очереди доходил.— Это время моей свободы, Ромашов, свободы духа, воли и ума! Я живу тогда, может быть, странной, но глубокой, чудесной внутренней жизнью. Такой полной жизнью! Все, что я видел, о чем читал или слышал,— все оживляется во мне, все приобретает необычайно яркий свет и глубокий, бездонный смысл. Тогда память моя — точно музей редких откровений. Понимаете — я Ротшильд! Беру первое, что мне попадается, и размышляю о нем, долго, проникновенно, с наслаждением. О лицах, о встречах, о характерах, о книгах, о женщинах — ах, особенно о женщинах и о женской любви!.. Иногда я думаю об ушедших великих людях, о мучениках науки, о мудрецах и героях и об их удивительных словах. Я не верю в бога, Ромашов, но иногда я думаю о святых угодниках, подвижниках и страстотерпцах и возобновляю в памяти каноны и умилительные акафисты. Я ведь, дорогой мой, в бурсе учился, и память у меня чудовищная. Думаю я обо всем об этом и, случается, так вдруг иногда горячо прочувствую чужую радость, или чужую скорбь, или бессмертную красоту какого-нибудь поступка, что хожу вот так, один... и пла́чу,— страстно, жарко пла̀чу...

Ромашов потихоньку встал с кровати и сел с ногами на открытое окно, так что его спина и его подошвы упирались в противоположные косяки рамы. Отсюда, из освещенной комнаты, ночь казалась еще темнее, еще глубже, еще таинственнее. Теплый, порывистый, но беззвучный ветер шевелил внизу, под окном, черные листья каких-то низеньких кустов. И в этом мягком воздухе, полном странных весенних ароматов, в этой тишине, темноте, в этих преувеличенно ярких и точно теплых звездах — чувствовалось тайное и страстное брожение, угадывалась жажда материнства и расточительное сладострастие земли, растений, деревьев — целого мира.

А Назанский все ходил по комнате и говорил, не глядя на Ромашова, точно обращаясь к стенам и к углам комнаты:

— Мысль в эти часы бежит так прихотливо, так пестро и так неожиданно. Ум становится острым и ярким, воображение — точно поток! Все вещи и лица, которые я вызываю, стоят передо мною так рельефно и так восхитительно-ясно, точно я вижу их в камер-обскуре. Я знаю, я знаю, мой милый, что это обострение чувств, все это духовное озарение—увы!—не что иное, как физиологическое действие алкоголя на нервную систему. Сначала, когда я впервые испытал этот чудный подъем внутренней жизни, я думал, что это — само вдохновение. Но нет: в нем нет ничего творческого, нет даже ничего прочного. Это просто болезненный процесс. Это просто внезапные приливы, которые с каждым разом все больше и больше разъедают дно. Да. Но все-таки это безумие сладко мне, и... к черту спасительная бережливость и вместе с ней к черту дурацкая надежда прожить до ста десяти лет и попасть в газетную смесь, как редкий пример долговечия... Я счастлив — и все тут!

Назанский опять подошел к поставцу и, выпив, аккуратно притворил дверцы. Ромашов лениво, почти бессознательно, встал и сделал то же самое.

— О чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилыч? — спросил он, садясь по-прежнему на подоконник.

Но Назанский почти не слыхал его вопроса.

— Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах! — воскликнул он, дойдя до дальнего угла и об-

ращаясь к этому углу с широким, убедительным жестом.— Нет, не грязно думать. Зачем? Никогда не надо делать человека, даже в мыслях, участником зла, а тем более грязи. Я думаю часто о нежных, чистых, изящных женщинах, об их светлых слезах и прелестных улыбках, думаю о молодых, целомудренных матерях, о любовницах, идущих ради любви на смерть, о прекрасных, невинных и гордых девушках с белоснежной душой, знающих все и ничего не боящихся. Таких женщин нет. Впрочем, я не прав. Наверно, Ромашов, такие женщины есть, но мы с вами их никогда не увидим. Вы еще, может быть, увидите, но я — нет.

Он стоял теперь перед Ромашовым и глядел ему прямо в лицо, но по мечтательному выражению его глаз и по неопределенной улыбке, блуждавшей вокруг его губ, было заметно, что он не видит своего собеседника. Никогда еще лицо Назанского, даже в его лучшие, трезвые минуты, не казалось Ромашову таким красивым и интересным. Золотые волосы падали крупными цельными локонами вокруг его высокого, чистого лба, густая, четырехугольной формы, рыжая, небольшая борода лежала правильными волнами, точно нагофрированная, и вся его массивная и изящная голова, с обнаженной шеей благородного рисунка, была похожа на голову одного из тех греческих героев или мудрецов, великолепные бюсты которых Ромашов видел где-то на гравюрах. Ясные, чуть-чуть влажные голубые глаза смотрели оживленно, умно и кротко. Даже цвет этого красивого, правильного лица поражал своим ровным, нежным, розовым тоном, и только очень опытный взгляд различил бы в этой кажущейся свежести, вместе с некоторой опухлостью черт, результат алкогольного воспаления крови.

— Любовь! К женщине! Какая бездна тайны! Какое наслаждение и какое острое, сладкое страдание! — вдруг воскликнул восторженно Назанский.

Он в волнении схватил себя руками за волосы и опять метнулся в угол, но, дойдя до него, остановился, повернулся лицом к Ромашову и весело захохотал. Подпоручик с тревогой следил за ним.

— Вспомнилась мне одна смешная история,— добродушно и просто заговорил Назанский.— Эх, мысли-то у меня как прыгают!.. Сидел я однажды в Рязани на стан-

ции «Ока» и ждал парохода. Ждать приходилось, пожалуй, около суток,— это было во время весеннего разлива,— и я — вы, конечно, понимаете — свил себе гнездо в буфете. А за буфетом стояла девушка, так лет восемнадцати,— такая, знаете ли, некрасивая, в оспинках, но бойкая такая, черноглазая, с чудесной улыбкой и в конце концов премилая. И было нас только трое на станции: она, я и маленький белобрысый телеграфист. Впрочем, был и ее отец, знаете, такая красная, толстая, сивая подрядческая морда, вроде старого и свирепого меделянского пса. Но отец был как бы за кулисами. Выйдет на две минуты за прилавок и все зевает, и все чешет под жилетом брюхо, не может никак глаз разлепить. Потом уйдет опять спать. Но телеграфистик приходил постоянно. Помню, облокотился он на стойку локтями и молчит. И она молчит, смотрит в окно, на разлив. А там вдруг юноша запоет говорком:

Лю-юбовь — что такое?
Что тако-ое любовь?
Это чувство неземное,
Что волнует нашу кровь.

И опять замолчит. А через пять минут она замурлычет: «Любовь—что такое? Что такое любовь?..» Знаете, такой пошленький-пошленький мотивчик. Должно быть, оба слышали его где-нибудь в оперетке или с эстрады... небось нарочно в город пешком ходили. Да. Попоют и опять помолчат. А потом она, как будто незаметно, все поглядывая в окошечко, глядь — и забудет руку на стойке, — а он возьмет ее в свои руки и перебирает палец за пальцем. И опять: «Любовь — что такое?..» На дворе — весна, разлив, томность. И так они круглые сутки. Тогда эта «любовь» мне порядком надоела, а теперь, знаете, трогательно вспомнить. Ведь таким манером они, должно быть, любезничали до меня недели две, а может быть, и после меня с месяц. И я только потом почувствовал, какое это счастие, какой луч света в их бедной, узенькой-узенькой жизни, ограниченной еще больше, чем наша нелепая жизнь — о, куда! — в сто раз больше!.. Впрочем... Постойте-ка, Ромашов. Мысли у меня путаются. К чему это я о телеграфисте?

Назанский опять подошел к поставцу. Но он не пил, а, повернувшись спиной к Ромашову, мучительно тер лоб

и крепко сжимал виски пальцами правой руки. И в этом нервном движении было что-то жалкое, бессильное, приниженное.

— Вы говорили о женской любви — о бездне, о тайне, о радости,— напомнил Ромашов.

— Да, любовь! — воскликнул Назанский ликующим голосом. Он быстро выпил рюмку, отвернулся с загоревшимися глазами от поставца и торопливо утер губы рукавом рубашки.— Любовь! Кто понимает ее? Из нее сделали тему для грязных, помойных опереток, для похабных карточек, для мерзких анекдотов, для мерзких-мерзких стишков. Это мы, офицеры, сделали. Вчера у меня был Диц. Он сидел на том же самом месте, где теперь сидите вы. Он играл своим золотым пенсне и говорил о женщинах. Ромашов, дорогой мой, если бы животные, например собаки, обладали даром понимания человеческой речи и если бы одна из них услышала вчера Дица, ей-богу, она ушла бы из комнаты от стыда. Вы знаете — Диц хороший человек, да и все хорошие, Ромашов: дурных людей нет. Но он стыдится иначе говорить о женщинах, стыдится из боязни потерять свое реноме циника, развратника и победителя. Тут какой-то общий обман, какое-то напускное мужское молодечество, какое-то хвастливое презрение к женщине. И все это оттого, что для большинства в любви, в обладании женщиной, понимаете, в окончательном обладании,— таится что-то грубо-животное, что-то эгоистичное, только для себя, что-то сокровенно-низменное, блудливое и постыдное — черт! — я не умею этого выразить. И оттого-то у большинства вслед за обладанием идет холодность, отвращение, вражда. Оттого-то люди и отвели для любви ночь, так же как для воровства и для убийства... Тут, дорогой мой, природа устроила для людей какую-то засаду с приманкой и с петлей.

— Это правда,— тихо и печально согласился Ромашов.

— Нет, неправда! — громко крикнул Назанский.— А я вам говорю — неправда. Природа, как и во всем, распорядилась гениально. То-то и дело, что для поручика Дица вслед за любовью идет брезгливость и пресыщение, а для Данте вся любовь — прелесть, очарование, весна! Нет, нет, не думайте: я говорю о любви в самом

прямом, телесном смысле. Но она — удел избранников. Вот вам пример: все люди обладают музыкальным слухом, но у миллионов он, как у рыбы трески или как у штабс-капитана Васильченки, а один из этого миллиона — Бетховен. Так во всем: в поэзии, в художестве, в мудрости... И любовь, говорю я вам, имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов.

Он подошел к окну, прислонился лбом к углу стены рядом с Ромашовым и, задумчиво глядя в теплый мрак весенней ночи, заговорил вздрагивающим, глубоким, проникновенным голосом:

— О, как мы не умеем ценить ее тонких, неуловимых прелестей, мы — грубые, ленивые, недальновидные. Понимаете ли вы, сколько разнообразного счастия и очаровательных мучений заключается в нераздельной, безнадежной любви? Когда я был помоложе, во мне жила одна греза: влюбиться в недосягаемую, необыкновенную женщину, такую, знаете ли, с которой у меня никогда и ничего не может быть общего. Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей. Все равно: наняться поденщиком, поступить в лакеи, в кучера — переодеваться, хитрить, чтобы только хоть раз в год случайно увидеть ее, поцеловать следы ее ног на лестнице, чтобы — о, какое безумное блаженство! — раз в жизни прикоснуться к ее платью.

— И кончить сумасшествием,— мрачно сказал Ромашов.

— Ах, милый мой, не все ли равно! — возразил с пылкостью Назанский и опять нервно забегал по комнате.—Может быть,—почем знать?—вы тогда-то и вступите в блаженную сказочную жизнь. Ну, хорошо: вы сойдете с ума от этой удивительной, невероятной любви, а поручик Диц сойдет с ума от прогрессивного паралича и от гадких болезней. Что же лучше? Но подумайте только, какое счастье — стоять целую ночь на другой стороне улицы, в тени, и глядеть в окно обожаемой женщины. Вот осветилось оно изнутри, на занавеске движется тень. Не она ли это? Что она делает? Что думает? Погас свет. Спи мирно, моя радость, спи, возлюбленная моя!.. И день уже полон — это победа! Дни, месяцы, годы употреблять все силы изобретательности и настойчивости, и вот — великий, умопомрачительный восторг: у

тебя в руках ее платок, бумажка от конфеты, оброненная афиша. Она ничего не знает о тебе, никогда не услышит о тебе, глаза ее скользят по тебе, не видя, но ты тут, подле, всегда обожающий, всегда готовый отдать за нее — нет, зачем за нее — за ее каприз, за ее мужа, за любовника, за ее любимую собачонку — отдать и жизнь, и честь, и все, что только возможно отдать! Ромашов, таких радостей не знают красавцы и победители.

— О, как это верно! Как хорошо все, что вы говорите! — воскликнул взволнованный Ромашов. Он уже давно встал с подоконника и так же, как и Назанский, ходил по узкой, длинной комнате, ежеминутно сталкиваясь с ним и останавливаясь.— Какие мысли приходят вам в голову! Я вам расскажу про себя. Я был влюблен в одну... женщину. Это было не здесь, не здесь... еще в Москве... я был... юнкером. Но она не знала об этом. И мне доставляло чудесное удовольствие сидеть около нее и, когда она что-нибудь работала, взять нитку и тихонько тянуть к себе. Только и всего. Она не замечала этого, совсем не замечала, а у меня от счастья кружилась голова.

— Да, да, я понимаю,— кивал головой Назанский, весело и ласково улыбаясь.— Я понимаю вас. Это — точно проволока, точно электрический ток? Да? Какое-то тонкое, нежное общение? Ах, милый мой, жизнь так прекрасна!..

Назанский замолчал, растроганный своими мыслями, и его голубые глаза, наполнившись слезами, заблестели. Ромашова также охватила какая-то неопределенная, мягкая жалость и немного истеричное умиление. Эти чувства относились одинаково и к Назанскому и к нему самому.

— Василий Нилыч, я удивляюсь вам,— сказал он, взяв Назанского за обе руки и крепко сжимая их.—Вы— такой талантливый, чуткий, широкий человек, и вот... точно нарочно губите себя. О нет, нет, я не смею читать вам пошлой морали... Я сам... Но что, если бы вы встретили в своей жизни женщину, которая сумела бы вас оценить и была бы вас достойна. Я часто об этом думаю!..

Назанский остановился и долго смотрел в раскрытое окно.

— Женщина...— протянул он задумчиво.— Да! Я вам расскажу! — воскликнул он вдруг решительно.— Я встретился один-единственный раз в жизни с чудной, необыкновенной женщиной. С девушкой... Но знаете, как это у Гейне: «Она была достойна любви, и он любил ее, но он был недостоин любви, и она не любила его». Она разлюбила меня за то, что я пью... впрочем, я не знаю, может быть, я и пью оттого, что она меня разлюбила. Она... ее здесь тоже нет... это было давно. Ведь вы знаете, я прослужил сначала три года, потом был четыре года в запасе, а потом три года тому назад опять поступил в полк. Между нами не было романа. Всего десять — пятнадцать встреч, пять-шесть интимных разговоров. Но — думали ли вы когда-нибудь о неотразимой, обаятельной власти прошедшего? Так вот, в этих невинных мелочах — все мое богатство. Я люблю ее до сих пор. Подождите, Ромашов... Вы стоите этого. Я вам прочту ее единственное письмо — первое и последнее, которое она мне написала.

Он сел на корточки перед чемоданом и стал неторопливо переворачивать в нем какие-то бумаги. В то же время он продолжал говорить:

— Пожалуй, она никогда и никого не любила, кроме себя. В ней пропасть властолюбия, какая-то злая и гордая сила. И в то же время она — такая добрая, женственная, бесконечно милая. Точно в ней два человека: один — с сухим, эгоистичным умом, другой — с нежным и страстным сердцем. Вот оно, читайте, Ромашов. Что сверху — это лишнее.— Назанский отогнул несколько строк сверху.— Вот отсюда. Читайте.

Что-то, казалось, постороннее ударило Ромашову в голову, и вся комната пошатнулась перед его глазами. Письмо было написано крупным, нервным, тонким почерком, который мог принадлежать только одной Александре Петровне — так он был своеобразен, неправилен и изящен. Ромашов, часто получавший от нее записки с приглашениями на обед и на партию винта, мог бы узнать этот почерк из тысячи различных писем.

«...и горько и тяжело произнести его,— читал он из-под руки Назанского.— Но вы сами сделали все, чтобы привести наше знакомство к такому печальному концу.

Больше всего в жизни я стыжусь лжи, всегда идущей от трусости и от слабости, и потому не стану вам лгать. Я любила вас и до сих пор еще люблю, и знаю, что мне нескоро и нелегко будет уйти от этого чувства. Но в конце концов я все-таки одержу над ним победу. Что было бы, если бы я поступила иначе? Во мне, правда, хватило бы сил и самоотверженности быть вожатым, нянькой, сестрой милосердия при безвольном, опустившемся, нравственно разлагающемся человеке, но я ненавижу чувства жалости и постоянного унизительного всепрощения и не хочу, чтобы *вы* их во мне возбуждали. Я не хочу, чтобы *вы* питались милостыней сострадания и собачьей преданности. А другим вы быть не можете, несмотря на ваш ум и прекрасную душу. Скажите честно, искренно, ведь не можете? Ах, дорогой Василий Нилыч, если бы вы могли! Если бы! К вам стремится все мое сердце, все мои желания, я люблю вас. Но вы сами не захотели меня. Ведь для любимого человека можно перевернуть весь мир, а я вас просила так о немногом. Вы не можете?

Прощайте. Мысленно целую вас в лоб... как покойника, потому что вы умерли для меня. Советую это письмо уничтожить. Не потому, чтобы я чего-нибудь боялась, но потому, что со временем оно будет для вас источником тоски и мучительных воспоминаний. Еще раз повторяю...»

— Дальше вам не интересно,— сказал Назанский, вынимая из рук Ромашова письмо.— Это было ее единственное письмо ко мне.

— Что же было потом? — с трудом спросил Ромашов.

— Потом? Потом мы не видались больше. Она... она уехала куда-то и, кажется, вышла замуж за... одного инженера. Это второстепенное.

— И вы никогда не бываете у Александры Петровны?

Эти слова Ромашов сказал совсем шепотом, но оба офицера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаз друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздвинулись все преграды человеческой хитрости, притворства и непроницаемости, и они свободно читали в душах друг у друга. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор таили про себя, и весь их се-

годняшний разговор принял вдруг какой-то особый, глубокий, точно трагический смысл.

— Как? И вы — тоже? — тихо, с выражением безумного страха в глазах, произнес, наконец, Назанский.

Но он тотчас же опомнился и с натянутым смехом воскликнул:

— Фу, какое недоразумение! Мы с вами совсем удалились от темы. Письмо, которое я вам показал, писано сто лет тому назад, и эта женщина живет теперь где-то далеко, кажется в Закавказье... Итак, на чем же мы остановились?

— Мне пора домой, Василий Нилыч. Поздно,— сказал Ромашов, вставая.

Назанский не стал его удерживать. Простились они не холодно и не сухо, но точно стыдясь друг друга. Ромашов теперь еще более был уверен, что письмо писано Шурочкой. Идя домой, он все время думал об этом письме и сам не мог понять, какие чувства оно в нем возбуждало. Тут была и ревнивая зависть к Назанскому — ревность к прошлому, и какое-то торжествующее злое сожаление к Николаеву, но в то же время была и какая-то новая надежда — неопределенная, туманная, но сладкая и манящая. Точно это письмо и ему давало в руки какую-то таинственную, незримую нить, идущую в будущее.

Ветер утих.

Ночь была полна глубокой тишиной, и темнота ее казалась бархатной и теплой. Но тайная творческая жизнь чуялась в бессонном воздухе, в спокойствии невидимых деревьев, в запахе земли. Ромашов шел, не видя дороги, и ему все представлялось, что вот-вот кто-то могучий, властный и ласковый дохнет ему в лицо жарким дыханием. И была у него в душе ревнивая грусть по его прежним, детским, таким ярким и невозвратимым веснам, была тихая, беззлобная зависть к своему чистому, нежному прошлому...

Придя к себе, он застал вторую записку от Раисы Александровны Петерсон. Она нелепым и выспренним слогом писала о коварном обмане, о том, что она все понимает, и о всех ужасах мести, на которые способно разбитое женское сердце.

«Я знаю, что мне теперь делать! — говорилось в пись-

ме.— Если только я не умру на чахотку от вашего подлого поведения, то, поверьте, я жестоко отплачу вам. Может быть, вы думаете, что никто не знает, где вы бываете каждый вечер? Слепец! И у стен есть уши. Мне известен каждый ваш шаг. Но, все равно, с вашей наружностью и красноречием вы *там* ничего не добьетесь, кроме того, что N вас вышвырнет за дверь, как щенка. А со мною советую вам быть осторожнее. Я не из тех женщин, которые прощают нанесенные обиды.

Владеть кинжалом я умею,
Я близ Кавказа рождена!!!

Прежде ваша, теперь ничья *Раиса.*

P. S. Непременно будьте в ту субботу в собрании. Нам надо объясниться. Я для вас оставлю 3-ю кадриль, но уж теперь *не по значению.*

Р. П.»

Глупостью, пошлостью, провинциальным болотом и злой сплетней повеяло на Ромашова от этого безграмотного и бестолкового письма. И сам себе он показался с ног до головы запачканным тяжелой, несмываемой грязью, которую на него наложила эта связь с нелюбимой женщиной — связь, тянувшаяся почти полгода. Он лег в постель, удрученный, точно раздавленный всем нынешним днем, и, уже засыпая, подумал про себя словами, которые он слышал вечером от Назанского:

«Его мысли были серы, как солдатское сукно».

Он заснул скоро, тяжелым сном. И, как это всегда с ним бывало в последнее время после крупных огорчений, он увидел себя во сне мальчиком. Не было грязи, тоски, однообразия жизни, в теле чувствовалась бодрость, душа была светла и чиста и играла бессознательной радостью. И весь мир был светел и чист, а посреди его — милые, знакомые улицы Москвы блистали тем прекрасным сиянием, какое можно видеть только во сне. Но где-то на краю этого ликующего мира, далеко на горизонте, оставалось темное, зловещее пятно: там притаился серенький, унылый городишко с тяжелой и скучной службой, с ротными школами, с пьянством в собрании, с тяжестью и противной любовной связью, с тоской и одиночеством. Вся жизнь звенела и сияла ра-

достью, но темное враждебное пятно тайно, как черный призрак, подстерегало Ромашова и ждало своей очереди. И один маленький Ромашов — чистый, беззаботный, невинный — страстно плакал о своем старшем двойнике, уходящем, точно расплывающемся в этой злобной тьме.

Среди ночи он проснулся и заметил, что его подушка влажна от слез. Он не мог сразу удержать их, и они еще долго сбегали по его щекам теплыми, мокрыми, быстрыми струйками.

VI

За исключением немногих честолюбцев и карьеристов, все офицеры несли службу как принудительную, неприятную, опротивевшую барщину, томясь ею и не любя ее. Младшие офицеры, совсем по-школьнически, опаздывали на занятия и потихоньку убегали с них, если знали, что им за это не достанется. Ротные командиры, большею частью люди многосемейные, погруженные в домашние дрязги и в романы своих жен, придавленные жестокой бедностью и жизнью сверх средств, кряхтели под бременем непомерных расходов и векселей. Они строили заплату на заплате, хватая деньги в одном месте, чтобы заткнуть долг в другом; многие из них решались — и чаще всего по настоянию своих жен — заимствовать деньги из ротных сумм или из платы, приходившейся солдатам за вольные работы; иные по месяцам и даже годам задерживали денежные солдатские письма, которые они, по правилам, должны были распечатывать. Некоторые только и жили, что винтом, штоссом и ландскнехтом: кое-кто играл нечисто,— об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. При этом все сильно пьянствовали как в собрании, так и в гостях друг у друга, иные же, вроде Сливы,— в одиночку.

Таким образом, офицерам даже некогда было серьезно относиться к своим обязанностям. Обыкновенно весь внутренний механизм роты приводил в движение и регулировал фельдфебель; он же вел всю канцелярскую отчетность и держал ротного командира незаметно, но крепко, в своих жилистых, многоопытных руках. На службу ротные ходили с таким же отвращением, как и субалтерн-офицеры, и «подтягивали фендриков» только для

соблюдения престижа, а еще реже из властолюбивого самодурства.

Батальонные командиры ровно ничего не делали, особенно зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания— батальонного и бригадного командиров: начальники эти всегда находятся в самом неопределенном и бездеятельном положении. Летом им все-таки приходилось делать батальонные учения, участвовать в полковых и дивизионных занятиях и нести трудности маневров. В свободное же время они сидели в собрании, с усердием читали «Инвалид» и спорили о чинопроизводстве, играли в карты, позволяли охотно младшим офицерам угощать себя, устраивали у себя на домах вечеринки и старались выдавать своих многочисленных дочерей замуж.

Однако перед большими смотрами все, от мала до велика, подтягивались и тянули друг друга. Тогда уже не знали отдыха, наверстывая лишними часами занятий и напряженной, хотя и бестолковой энергией то, что было пропущено. С силами солдат не считались, доводя людей до изнурения. Ротные жестоко резали и осаживали младших офицеров, младшие офицеры сквернословили неестественно неумело и безобразно, унтер-офицеры, охрипшие от ругани, жестоко дрались. Впрочем, дрались и не одни только унтер-офицеры.

Такие дни бывали настоящей страдой, и о воскресном отдыхе с лишними часами сна мечтал, как о райском блаженстве, весь полк, начиная с командира до последнего затрепанного и замурзанного денщика.

Этой весной в полку усиленно готовились к майскому параду. Стало наверно известным, что смотр будет производить командир корпуса, взыскательный боевой генерал, известный в мировой военной литературе своими записками о войне карлистов и о франко-прусской кампании 1870 года, в которых он участвовал в качестве волонтера. Еще более широкою известностью пользовались его приказы, написанные в лапидарном суворовском духе. Провинившихся подчиненных он разделывал в этих приказах со свойственным ему хлестким и грубым сарказмом, которого офицеры боялись больше всяких дисциплинарных наказаний. Поэтому в ротах шла, вот уже две недели, поспешная, лихорадочная работа, и воскресный день с одинаковым нетерпением ожидал-

ся как усталыми офицерами, так и задерганными, ошалевшими солдатами.

Но для Ромашова благодаря аресту пропала вся прелесть этого сладкого отдыха. Встал он очень рано и, как ни старался, не мог потом заснуть. Он вяло одевался, с отвращением пил чай и даже раз за что-то грубо прикрикнул на Гайнана, который, как и всегда, был весел, подвижен и неуклюж, как молодой щенок.

В серой расстегнутой тужурке кружился Ромашов по своей крошечной комнате, задевая ногами за ножки кровати, а локтями за шаткую пыльную этажерку. В первый раз за полтора года — и то благодаря несчастному и случайному обстоятельству — он остался наедине сам с собою. Прежде этому мешала служба, дежурства, вечера в собрании, карточная игра, ухаживание за Петерсон, вечера у Николаевых. Иногда, если и случался свободный, ничем не заполненный час, то Ромашов, томимый скукой и бездельем, точно боясь самого себя, торопливо бежал в клуб, или к знакомым, или просто на улицу, до встречи с кем-нибудь из холостых товарищей, что всегда кончалось выпивкой. Теперь же он с тоской думал, что впереди — целый день одиночества, и в голову ему лезли все такие странные, неудобные и ненужные мысли.

В городе зазвонили к поздней обедне. Сквозь вторую, еще не выставленную раму до Ромашова доносились дрожащие, точно рождающиеся один из другого звуки благовеста, по-весеннему очаровательно грустные. Сейчас же за окном начинался сад, где во множестве росли черешни, все белые от цветов, круглые и кудрявые, точно стадо белоснежных овец, точно толпа девочек в белых платьях. Между ними там и сям возвышались стройные, прямые тополи с ветками, молитвенно устремленными вверх, в небо, и широко раскидывали свои мощные купообразные вершины старые каштаны; деревья были еще пусты и чернели голыми сучьями, но уже начинали, едва заметно для глаза, желтеть первой, пушистой, радостной зеленью. Утро выдалось ясное, яркое, влажное. Деревья тихо вздрагивали и медленно качались. Чувствовалось, что между ними бродит ласковый прохладный ветерок и заигрывает, и шалит, и, наклоняя цветы книзу, целует их.

Из окна направо была видна через ворота часть грязной, черной улицы, с чьим-то забором по ту сторону. Вдоль этого забора, бережно ступая ногами в сухие места, медленно проходили люди. «У них целый день еще впереди,— думал Ромашов, завистливо следя за ними глазами,— оттого они и не торопятся. Целый свободный день!»

И ему вдруг нетерпеливо, страстно, до слез захотелось сейчас же одеться и уйти из комнаты. Его потянуло не в собрание, как всегда, а просто на улицу, на воздух. Он как будто не знал раньше цены свободе и теперь сам удивлялся тому, как много счастья может заключаться в простой возможности идти, куда хочешь, повернуть в любой переулок, выйти на площадь, зайти в церковь и делать это не боясь, не думая о последствиях. Эта возможность вдруг представилась ему каким-то огромным праздником души.

И вместе с тем вспомнилось ему, как в раннем детстве, еще до корпуса, мать наказывала его тем, что привязывала его тоненькой ниткой за ногу к кровати, а сама уходила. И маленький Ромашов сидел покорно целыми часами. В другое время он ни на секунду не задумался бы над тем, чтобы убежать из дому на весь день, хотя бы для этого пришлось спускаться по водосточному желобу из окна второго этажа. Он часто, ускользнув таким образом, увязывался на другой конец Москвы за военной музыкой или за похоронами, он отважно воровал у матери сахар, варенье и папиросы для старших товарищей, но нитка! — нитка оказывала на него странное, гипнотизирующее действие. Он даже боялся натягивать ее немного посильнее, чтобы она как-нибудь не лопнула. Здесь был не страх наказания, и, конечно, не добросовестность, и не раскаяние, а именно гипноз, нечто вроде суеверного страха перед могущественными и непостижимыми действиями взрослых, нечто вроде почтительного ужаса дикаря перед магическим кругом шамана.

«И вот я теперь сижу, как школьник, как мальчик, привязанный за ногу,— думал Ромашов, слоняясь по комнате.— Дверь открыта, мне хочется идти, куда хочу, делать, что хочу, говорить, смеяться,— а я сижу на нитке. Это я сижу. Я. Ведь это — Я! Но ведь это только он решил, что я должен сидеть. Я не давал своего согласия».

— Я! — Ромашов остановился среди комнаты и с расставленными врозь ногами, опустив голову вниз, крепко задумался.— Я! Я! Я! — вдруг воскликнул он громко, с удивлением, точно в первый раз поняв это короткое слово.— Кто же это стоит здесь и смотрит вниз, на черную щель в полу? Это — Я. О, как странно!.. Я-а,— протянул он медленно, вникая всем сознанием в этот звук.

Он рассеянно и неловко улыбнулся, но тотчас же нахмурился и побледнел от напряжения мысли. Подобное с ним случалось нередко за последние пять-шесть лет, как оно бывает почти со всеми молодыми людьми в период созревания души. Простая истина, поговорка, общеизвестное изречение, смысл которого он давно уже механически знал, вдруг благодаря какому-то внезапному внутреннему освещению приобретали глубокое философское значение, и тогда ему казалось, что он впервые их слышит, почти сам открыл их. Он даже помнил, как это было с ним в первый раз. В корпусе, на уроке закона божия, священник толковал притчу о работниках, переносивших камни. Один носил сначала мелкие, а потом приступил к тяжелым и последних камней уж не мог дотащить; другой же поступил наоборот и кончил свою работу благополучно. Для Ромашова вдруг сразу отверзлась целая бездна практической мудрости, скрытой в этой бесхитростной притче, которую он знал и понимал с тех пор, как выучился читать. То же самое случилось вскоре с знакомой поговоркой «Семь раз отмерь — один раз отрежь». В один какой-то счастливый, проникновенный миг он понял в ней все: благоразумие, дальновидность, осторожную бережливость, расчет. Огромный житейский опыт уложился в этих пяти-шести словах. Так и теперь его вдруг ошеломило и потрясло неожиданно-яркое сознание своей индивидуальности...

«Я — это внутри,— думал Ромашов,— а все остальное — это постороннее, это — не Я. Вот эта комната, улица, деревья, небо, полковой командир, поручик Андрусевич, служба, знамя, солдаты — все это не Я. Нет, нет, это не Я. Вот мои руки и ноги,— Ромашов с удивлением посмотрел на свои руки, поднеся их близко к лицу и точно впервые разглядывая их,— нет, это все — не Я. А вот я ущипну себя за руку... да, вот так... это Я.

Я вижу руку, подымаю ее кверху — это Я. То, что я теперь думаю,— это тоже Я. И если я захочу пойти,— это Я. И вот я остановился — это Я.

О, как это странно, как просто и как изумительно. Может быть, у всех есть это Я? А может быть, не у всех? Может быть, ни у кого, кроме меня? А что — если есть? Вот — стоят передо мной сто солдат, я кричу им: «Глаза напра-во!» — и сто человек, из которых у каждого есть свое Я и которые во мне видят что-то чужое, постороннее, не Я,— они все сразу поворачивают головы направо. Но я не различаю их друг от друга, они — масса. А для полковника Шульговича, может быть, и я, и Веткин, и Лбов, и все поручики, и капитаны так же сливаются в одно лицо, и мы ему так же чужие, и он не отличает нас друг от друга?»

Загремела дверь, и в комнату вскочил Гайнан. Переминаясь с ноги на ногу и вздергивая плечами, точно приплясывая, он крикнул:

— Ваша благородия. Буфенчик больше не даваит папиросов. Говорит, поручик Скрябин не велел тебе в долг давать.

— Ах, черт! — вырвалось у Ромашова.— Ну, иди, иди себе... Как же я буду без папирос?.. Ну, все равно, можешь идти, Гайнан.

«О чем я сейчас думал? — спросил самого себя Ромашов, оставшись один. Он утерял нить мыслей и, по непривычке думать последовательно, не мог сразу найти ее.— О чем я сейчас думал? О чем-то важном и нужном... Постой: надо вернуться назад... сижу под арестом... по улице ходят люди... в детстве мама привязывала... *Меня* привязывала... Да, да... У солдата тоже — Я... Полковник Шульгович... Вспомнил... Ну, теперь дальше, дальше...

Я сижу в комнате. Не заперт. Хочу и не смею выйти из нее. Отчего не смею? Сделал ли я какое-нибудь преступление? Воровство? Убийство? Нет; говоря с другим, посторонним мне человеком, я не держал ног вместе и что-то сказал. Может быть, я был должен держать ноги вместе? Почему? Неужели это — важно? Неужели это — главное в жизни? Вот пройдет еще двадцать — тридцать лет — одна секунда в том времени, которое было до меня и будет после меня. Одна секунда! Мое Я

погаснет, точно лампа, у которой прикрутили фитиль. Но лампу зажгут снова, и снова, и снова, а Меня уже не будет. И не будет ни этой комнаты, ни неба, ни полка, ни всего войска, ни звезд, ни земного шара, ни моих рук и ног... Потому что не будет Меня...

Да, да... это так... Ну, хорошо... подожди... надо постепенно... ну, дальше... Меня не будет. Было темно, кто-то зажег мою жизнь и сейчас же потушил ее, и опять стало темно навсегда, на веки веков... Что же я делал в этот коротенький миг? Я держал руки по швам и каблуки вместе, тянул носок вниз при маршировке, кричал во все горло: «На плечо!»,— ругался и злился из-за приклада, «недовернутого на себя», трепетал перед сотнями людей... Зачем? Эти призраки, которые умрут с моим Я, заставляли меня делать сотни ненужных мне и неприятных вещей и за это оскорбляли и унижали *Меня*. Меня!!! Почему же мое Я подчинялось призракам?»

Ромашов сел к столу, облокотился на него и сжал голову руками. Он с трудом удерживал эти необычные для него, разбегающиеся мысли:

«Гм... а ты позабыл? Отечество? Колыбель? Прах отцов? Алтари?.. А воинская честь и дисциплина? Кто будет защищать твою родину, если в нее вторгнутся иноземные враги?.. Да, но я умру, и не будет больше ни родины, ни врагов, ни чести. Они живут, пока живет мое сознание. Но исчезни родина, и честь, и мундир, и все великие слова,— мое Я останется неприкосновенным. Стало быть, все-таки мое Я важнее всех этих понятий о долге, о чести, о любви? Вот я служу... А вдруг мое Я скажет: не хочу! Нет — не мое Я, а больше... весь миллион Я, составляющих армию, нет — еще больше — все Я, населяющие земной шар, вдруг скажут: «Не хочу!» И сейчас же война станет немыслимой, и уж никогда, никогда не будет этих «ряды вздвой!» и «полуоборот направо!»— потому что в них не будет надобности. Да, да, да! Это верно, это верно! — закричал внутри Ромашова какой-то торжествующий голос.— Вся эта военная доблесть, и дисциплина, и чинопочитание, и честь мундира, и вся военная наука,— все зиждется только на том, что человечество не хочет, или не умеет, или не смеет сказать «не хочу!».

Что же такое все это хитро сложенное здание военного ремесла? Ничто. Пуф, здание, висящее на воздухе, основанное даже не на двух коротких словах «не хочу», а только на том, что эти слова почему-то до сих пор не произнесены людьми. Мое Я никогда ведь не скажет: «не хочу есть, не хочу дышать, не хочу видеть». Но если ему предложат умереть, оно непременно, непременно скажет «не хочу». Что же такое тогда война, с ее неизбежными смертями, и все военное искусство, изучающее лучшие способы убивать? Мировая ошибка? Ослепление?

Нет, ты постой, подожди... Должно быть, я сам ошибаюсь. Не может быть, чтобы я не ошибался, потому что это «не хочу»—так просто, так естественно, что должно было бы прийти в голову каждому. Ну, хорошо; ну, разберемся. Положим, завтра, положим, сию секунду эта мысль пришла в голову всем: русским, немцам, англичанам, японцам... И вот уже нет больше войны, нет офицеров и солдат, все разошлись по домам. Что же будет? Да, что будет тогда? Я знаю, Шульгович мне на это ответит: «Тогда придут к нам нежданно и отнимут у нас земли и дома, вытопчут пашни, уведут наших жен и сестер». А бунтовщики? Социалисты? Революционеры?.. Да нет же, это неправда. Ведь все, все человечество сказало: не хочу кровопролития. Кто же тогда пойдет с оружием и с насилием? Никто. Что же случится? Или, может быть, тогда все помирятся? Уступят друг другу? Поделятся? Простят? Господи, господи, что же будет?»

Ромашов не заметил, занятый своими мыслями, как Гайнан тихо подошел к нему сзади и вдруг протянул через его плечо руку. Он вздрогнул и слегка вскрикнул от испуга:

— Что тебе надо, черт!..

Гайнан положил на стол коричневую бумажную пачку.

— Тебе! — сказал он фамильярно и ласково, и Ромашов почувствовал, что он дружески улыбается за его спиной.— Тебе папиросы. Куры!

Ромашов посмотрел на пачку. На ней было напечатано: папиросы «Трубач», цена 3 коп. 20 шт.

— Что это такое? Зачем? — спросил он с удивлением.— Откуда ты взял?

— Вижу, тебе папиросов нет. Купил за свой деньга. Куры, пожалюста, куры. Ничего. Дару тебе.

Гайнан сконфузился и стремглав выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Подпоручик закурил папиросу. В комнате запахло сургучом и жженными перьями.

«О, милый! — подумал растроганный Ромашов.— Я на него сержусь, кричу, заставляю его по вечерам снимать с меня не только сапоги, но носки и брюки. А он вот купил мне папирос за свои жалкие, последние солдатские копейки. «Куры, пожалюста!» За что же это?..»

Он опять встал и, заложив руки за спину, зашагал по комнате.

«Вот их сто человек в нашей роте. И каждый из них— человек с мыслями, с чувствами, со своим особенным характером, с житейским опытом, с личными привязанностями и антипатиями. Знаю ли я что-нибудь о них? Нет— ничего, кроме их физиономий. Вот они с правого фланга: Солтыс, Рябошапка, Веденеев, Егоров, Ящишин... Серые, однообразные лица. Что я сделал, чтобы прикоснуться душой к их душам, своим Я к ихнему Я? — Ничего».

Ромашову вдруг вспомнился один ненастный вечер поздней осени. Несколько офицеров, и вместе с ними Ромашов, сидели в собрании и пили водку, когда вбежал фельдфебель девятой роты Гуменюк и, запыхавшись, крикнул своему ротному командиру:

— Ваше высокоблагородие, молодых пригнали!..

Да, именно пригнали. Они стояли на полковом дворе, сбившись в кучу, под дождем, точно стадо испуганных и покорных животных, глядели недоверчиво, исподлобья. Но у всех у них были особые лица. Может быть, это так казалось от разнообразия одежд? «Этот вот, наверно, был слесарем,— думал тогда Ромашов, проходя мимо и вглядываясь в лица,— а этот, должно быть, весельчак и мастер играть на гармонии. Этот — грамотный, расторопный и жуликоватый, с быстрым, складным говорком,— не был ли он раньше в половых?» И видно было также, что их действительно пригнали, что еще несколько дней тому назад их с воем и причитаниями провожали бабы и дети и что они сами молодечествовали и крепились, чтобы не заплакать сквозь пьяный рек-

рутский угар... Но прошел год, и вот они стоят длинной, мертвой шеренгой — серые, обезличенные, деревянные — *солдаты!* Они не хотели идти. *Их Я не хотело.* Господи, где же причины этого страшного недоразумения? Где начало этого узла? Или все это — то же самое, что известный опыт с петухом? Наклонят петуху голову к столу — он бьется. Но проведут ему мелом черту по носу и потом дальше по столу, и он уж думает, что его привязали, и сидит, не шелохнувшись, выпучив глаза, в каком-то сверхъестественном ужасе.

Ромашов дошел до кровати и повалился на нее.

«Что же мне остается делать в таком случае? — сурово, почти злобно спросил он самого себя.— Да, что мне делать? Уйти со службы? Но что ты знаешь? Что умеешь делать? Сначала пансион, потом кадетский корпус, военное училище, замкнутая офицерская жизнь... Знал ли ты борьбу? Нужду? Нет, ты жил на всем готовом, думая, как институтка, что французские булки растут на деревьях. Попробуй-ка, уйди. Тебя заклюют, ты сопьешься, ты упадешь на первом шагу к самостоятельной жизни. Постой. Кто из офицеров, о которых ты знаешь, ушел добровольно со службы? Да никто. Все они цепляются за свое офицерство, потому что ведь они больше никуда не годятся, ничего не знают. А если и уйдут, то ходят потом в засаленной фуражке с околышком: «Эйе ла бонте... благородный русский офицер... компрене ву...» [1] Ах, что же мне делать! Что же мне делать!..»

— Арестантик, арестантик! — зазвенел под окном ясный женский голос.

Ромашов вскочил с кровати и подбежал к окну. На дворе стояла Шурочка. Она, закрывая глаза с боков ладонями от света, близко прильнула смеющимся свежим лицом к стеклу и говорила нараспев:

— Пода-айте бе-едному заключенненькому...

Ромашов взялся было за скобку, но вспомнил, что окно еще не выставлено. Тогда, охваченный внезапным порывом веселой решимости, он изо всех сил дернул к себе раму. Она подалась и с треском распахнулась, осыпав голову Ромашова кусками известки и сухой замазки. Прохладный воздух, наполненный нежным, тонким и ра-

[1] «Будьте так добры... вы понимаете...» *(франц.)*

достным благоуханием белых цветов, потоком ворвался в комнату.

«Вот так! Вот так надо искать выхода!» — закричал в душе Ромашова смеющийся, ликующий голос.

— Ромочка! Сумасшедший! Что вы делаете?

Он взял ее протянутую через окно маленькую руку, крепко облитую коричневой перчаткой, и смело поцеловал ее сначала сверху, а потом снизу, в сгибе, в кругленькую дырочку над пуговицами. Он никогда не делал этого раньше, но она бессознательно, точно подчиняясь той волне восторженной отваги, которая так внезапно взмыла в нем, не противилась его поцелуям и только глядела на него со смущенным удивлением и улыбаясь.

— Александра Петровна! Как мне благодарить вас? Милая!

— Ромочка, да что это с вами? Чему вы обрадовались? — сказала она, смеясь, но все еще пристально и с любопытством вглядываясь в Ромашова.— У вас глаза блестят. Постойте, я вам калачик принесла, как арестованному. Сегодня у нас чудесные яблочные пирожки, сладкие... Степан, да несите же корзинку.

Он смотрел на нее сияющими, влюбленными глазами, не выпуская ее руки из своей,— она опять не сопротивлялась этому,— и говорил поспешно:

— Ах, если бы вы знали, о чем я думал нынче все утро... Если бы вы только знали! Но это потом...

— Да, потом... Вот идет мой супруг и повелитель... Пустите руку. Какой вы сегодня удивительный, Юрий Алексеевич. Даже похорошели.

К окну подошел Николаев. Он хмурился и не совсем любезно поздоровался с Ромашовым.

— Иди, Шурочка, иди,— торопил он жену.— Это же бог знает что такое. Вы, право, оба сумасшедшие. Дойдет до командира — что хорошего! Ведь он под арестом. Прощайте, Ромашов. Заходите.

— Заходите, Юрий Алексеевич,— повторила и Шурочка.

Она отошла от окна, но тотчас же вернулась и сказала быстрым шепотом:

— Слушайте, Ромочка: нет, правда, не забывайте нас. У меня единственный человек, с кем я, как с дру-

гом,— это вы. Слышите? Только не смейте делать на меня таких бараньих глаз. А то и видеть вас не хочу. Пожалуйста, Ромочка, не воображайте о себе. Вы и не мужчина вовсе.

VII

В половине четвертого к Ромашову заехал полковой адъютант, поручик Федоровский. Это был высокий и, как выражались полковые дамы, представительный молодой человек с холодными глазами и с усами, продолженными до плеч густыми подусниками. Он держал себя преувеличенно-вежливо, но строго-официально с младшими офицерами, ни с кем не дружил и был высокого мнения о своем служебном положении. Ротные командиры в нем заискивали.

Зайдя в комнату, он бегло окинул прищуренными глазами всю жалкую обстановку Ромашова. Подпоручик, который в это время лежал на кровати, быстро вскочил и, краснея, стал торопливо застегивать пуговицы тужурки.

— Я к вам по поручению командира полка,— сказал Федоровский сухим гоном,— потрудитесь одеться и ехать со мною.

— Виноват... я сейчас... форма одежды обыкновенная? Простите, я по-домашнему.

— Пожалуйста, не стесняйтесь. Сюртук. Если вы позволите, я бы присел?

— Ах, извините. Прошу вас. Не угодно ли чаю? — заторопился Ромашов.

— Нет, благодарю. Пожалуйста, поскорее.

Он, не снимая пальто и перчаток, сел на стул, и, пока Ромашов одевался, волнуясь, без надобности суетясь и конфузясь за свою не особенно чистую сорочку, он сидел все время прямо и неподвижно с каменным лицом, держа руки на эфесе шашки.

— Вы не знаете, зачем меня зовут?

Адъютант пожал плечами.

— Странный вопрос. Откуда же я могу знать? Вам это, должно быть, без сомнения, лучше моего известно... Готовы? Советую вам продеть портупею под погон, а не сверху. Вы знаете, как командир полка этого не любит. Вот так... Ну-с, поедемте.

У ворот стояла коляска, запряженная парою рослых, раскормленных полковых коней. Офицеры сели и поехали. Ромашов из вежливости старался держаться боком, чтобы не теснить адъютанта, а тот как будто вовсе не замечал этого. По дороге им встретился Веткин. Он обменялся с адъютантом честью, но тотчас же за спиной его сделал обернувшемуся Ромашову особый, непередаваемый юмористический жест, который как будто говорил: «Что, брат, поволокли тебя на расправу?» Встречались и еще офицеры. Иные из них внимательно, другие с удивлением, а некоторые точно с насмешкой глядели на Ромашова, и он невольно ежился под их взглядами.

Полковник Шульгович не сразу принял Ромашова: у него был кто-то в кабинете. Пришлось ждать в полутемной передней, где пахло яблоками, нафталином, свежелакированной мебелью и еще чем-то особенным, не неприятным, чем пахнут одежда и вещи в зажиточных, аккуратных немецких семействах. Топчась в передней, Ромашов несколько раз взглядывал на себя в стенное трюмо, оправленное в светлую ясеневую раму, и всякий раз его собственное лицо казалось ему противно-бледным, некрасивым и каким-то неестественным, сюртук — слишком заношенным, а погоны — чересчур помятыми.

Сначала из кабинета доносился только глухой однотонный звук низкого командирского баса. Слов не было слышно, но по сердитым раскатистым интонациям можно было догадаться, что полковник кого-то распекает с настойчивым и непреклонным гневом. Это продолжалось минут пять. Потом Шульгович вдруг замолчал; послышался чей-то дрожащий, умоляющий голос, и вдруг, после мгновенной паузы, Ромашов явственно, до последнего оттенка, услышал слова, произнесенные со страшным выражением высокомерия, негодования и презрения:

— Что вы мне очки втираете? Дети? Жена? Плевать я хочу на ваших детей! Прежде чем наделать детей, вы бы подумали, чем их кормить. Что? Ага, теперь — виноват, господин полковник. Господин полковник в вашем деле ничем не виноват. Вы, капитан, знаете, что если господин полковник теперь не отдает вас под суд, то я этим совершаю преступление по службе. Что-о-о? Извольте ма-алчать! Не ошибка-с, а преступление-с. Вам место не в полку, а вы сами знаете — где. Что?

Опять задребезжал робкий, молящий голос, такой жалкий, что в нем, казалось, не было ничего человеческого. «Господи, что же это? — подумал Ромашов, который точно приклеился около трюмо, глядя прямо в свое побледневшее лицо и не видя его, чувствуя, как у него покатилось и болезненно затрепыхалось сердце.— Господи, какой ужас!..»

Жалобный голос говорил довольно долго. Когда он кончил, опять раскатился глубокий бас командира, но теперь более спокойный и смягченный, точно Шульгович уже успел вылить свой гнев в крике и удовлетворил свою жажду власти видом чужого унижения.

Он говорил отрывисто:

— Хорошо-с. В последний раз. Но пом-ни-те, это в последний раз. Слышите? Зарубите это на своем красном, пьяном носу. Если до меня еще раз дойдут слухи, что вы пьянствуете... Что? Ладно, ладно, знаю я ваши обещания. Роту мне чтоб подготовили к смотру. Не рота, а б.....! Через неделю приеду сам и посмотрю... Ну, а затем вот вам мой совет-с: первым делом очиститесь вы с солдатскими деньгами и с отчетностью. Слышите? Это чтобы завтра же было сделано. Что? А мне что за дело? Хоть родите... Затем, капитан, я вас не держу. Имею честь кланяться.

Кто-то нерешительно завозился в кабинете и на цыпочках, скрипя сапогами, пошел к выходу. Но его сейчас же остановил голос командира, ставший вдруг чересчур суровым, чтобы не быть поддельным:

— Постой-ка, поди сюда, чертова перечница... Небось, побежишь к жидишкам? А? Векселя писать? Эх ты, дура, дура, дурья ты голова... Ну, уж на́ тебе, дьявол тебе в печень. Одна, две... раз, две, три, четыре... Триста. Больше не могу. Отдашь, когда сможешь. Фу, черт, что за гадость вы делаете, капитан! — заорал полковник, возвышая голос по восходящей гамме.— Не смейте никогда этого делать! Это низость!.. Однако марш, марш, марш! К черту-с, к черту-с. Мое почтение-с!..

В переднюю вышел, весь красный, с каплями пота на носу и на висках и с перевернутым, смущенным лицом, маленький капитан Световидов. Правая рука была у него в кармане и судорожно хрустела новенькими бу-

мажками. Увидев Ромашова, он засеменил ногами, шутовски-неестественно захихикал и крепко вцепился своей влажной, горячей, трясущейся рукой в руку подпоручика. Глаза у него напряженно и конфузливо бегали и в то же время точно щупали Ромашова: слыхал он или нет?

— Лют! Аки тигра! — развязно и приниженно зашептал он, кивая по направлению кабинета.— Но ничего! — Световидов быстро и нервно перекрестился два раза.— Ничего. Слава тебе, господи, слава тебе, господи!

— Бон-да-рен-ко! — крикнул из-за стены полковой командир, и звук его огромного голоса сразу наполнил все закоулки дома и, казалось, заколебал тонкие перегородки передней. Он никогда не употреблял в дело звонка, полагаясь на свое необыкновенное горло.— Бондаренко! Кто там есть еще? Проси.

— Аки скимен!—шепнул Световидов с кривой улыбкой.— Прощайте, поручик. Желаю вам легкого пару.

Из дверей выюркнул денщик — типичный командирский денщик, с благообразно-наглым лицом, с масляным пробором сбоку головы, в белых нитяных перчатках. Он сказал почтительным тоном, но в то же время дерзко, даже чуть-чуть прищурившись, глядя прямо в глаза подпоручику:

— Их высокоблагородие просят ваше благородие.

Он отворил дверь в кабинет, стоя боком, и сам попятился назад, давая дорогу. Ромашов вошел.

Полковник Шульгович сидел за столом, в левом углу от входа. Он был в серой тужурке, из-под которой виднелось великолепное блестящее белье. Мясистые красные руки лежали на ручках деревянного кресла. Огромное старческое лицо с седой короткой щеткой волос на голове и с седой бородой клином было сурово и холодно. Бесцветные светлые глаза глядели враждебно. На поклон подпоручика он коротко кивнул головой. Ромашов вдруг заметил у него в ухе серебряную серьгу в виде полумесяца с крестом и подумал: «А ведь я этой серьги раньше не видал».

— Нехорошо-с,— начал командир рычащим басом, раздававшимся точно из глубины его живота, и сделал длинную паузу.— Стыдно-с! — продолжал он, повышая голос.— Служите без году неделю, а начинаете хвостом крутить. Имею многие основания быть вами недоволь-

ным. Помилуйте, что же это такое? Командир полка делает ему замечание, а он, несчастный прапорщик, фендрик, позволяет себе возражать какую-то ерундистику. Безобразие! — вдруг закричал полковник так оглушительно, что Ромашов вздрогнул.— Немысленно! Разврат!

Ромашов угрюмо смотрел вбок, и ему казалось, что никакая сила в мире не может заставить его перевести глаза и поглядеть в лицо полковнику. «Где мое Я! — вдруг насмешливо пронеслось у него в голове.— Вот ты должен стоять навытяжку и молчать».

— Какими путями до меня дошло, я уж этого не буду вам передавать, но мне известно доподлинно, что вы пьете. Это омерзительно. Мальчишка, желторотый птенец, только что вышедший из школы, и напивается в собрании, как последний сапожный подмастерье. Я, милый мой, все знаю; от меня ничто не укроется. Мне известно многое, о чем вы даже не подозреваете. Что ж, если хотите катиться вниз по наклонной плоскости — воля ваша. Но говорю вам в последний раз: вникните в мои слова. Так всегда бывает, мой друг: начинают рюмочкой, потом другой, а потом, глядь, и кончают жизнь под забором. Внедрите себе это в голову-с. А кроме того, знайте: мы терпеливы, но ведь и ангельское терпение может лопнуть... Смотрите, не доводите нас до крайности. Вы один, а общество офицеров — это целая семья. Значит, всегда можно и того... за хвост и из компании вон.

«Я стою, я молчу,— с тоской думал Ромашов, глядя неотступно на серьгу в ухе полковника,— а мне нужно было бы сказать, что я и сам не дорожу этой семьей и хоть сейчас готов вырваться из нее, уйти в запас. Сказать? Посмею ли я?»

Сердце у Ромашова опять дрогнуло и заколотилось, он даже сделал какое-то бессильное движение губами и проглотил слюну, но по-прежнему оставался неподвижным.

— Да и вообще ваше поведение...— продолжал жестоким тоном Шульгович.— Вот вы в прошлом году, не успев прослужить и года, просились, например, в отпуск. Говорили что-то такое о болезни вашей матушки, показывали там письмо какое-то от нее... Что ж, я не смею, по-

нимаете ли — не *смею* не верить своему офицеру. Раз вы говорите — матушка, пусть будет матушка. Что ж, всяко бывает. Но знаете — все это как-то одно к одному, и, понимаете...

Ромашов давно уже чувствовал, как у него начало, сначала едва заметно, а потом все сильнее и сильнее, дрожать колено правой ноги. Наконец это непроизвольное нервное движение стало так заметно, что от него задрожало все тело. Это было очень неловко и очень неприятно, и Ромашов со стыдом думал, что Шульгович может принять эту дрожь за проявление страха перед ним. Но когда полковник заговорил о его матери, кровь вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову, и дрожь мгновенно прекратилась. В первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу Шульговичу с ненавистью, с твердым и—это он сам чувствовал у себя на лице — с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделяющую маленького подчиненного от грозного начальника. Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески. Густой голос командира упал в какую-то беззвучную глубину. Наступил промежуток чудовищной темноты и тишины — без мыслей, без воли, без всяких внешних впечатлений, почти без сознания, кроме одного страшного убеждения, что сейчас, вот сию минуту, произойдет что-то нелепое, непоправимое, ужасное. Странный, точно чужой голос шепнул вдруг извне в ухо Ромашову: «Сейчас я его ударю»,— и Ромашов медленно перевел глаза на мясистую, большую старческую щеку и на серебряную серьгу в ухе, с крестом и полумесяцем.

Затем, как во сне, увидел он, еще не понимая этого, что в глазах Шульговича попеременно отразились удивление, страх, тревога, жалость... Безумная, неизбежная волна, захватившая так грозно и так стихийно душу Ромашова, вдруг упала, растаяла, отхлынула далеко. Ромашов, точно просыпясь, глубоко и сильно вздохнул. Все стало сразу простым и обыденным в его глазах. Шульгович суетливо показывал ему на стул и говорил с неожиданной грубоватой лаской:

— Фу, черт... какой же вы обидчивый... Да садитесь же, черт вас задери! Ну, да... все вы вот так. Глядите

на меня, как на зверя. Кричит, мол, старый хрен без толку, без смысла, черт бы его драл. А я,— густой голос заколыхался теплыми, взволнованными нотами,— а я, ей-богу, мой милый, люблю вас всех, как своих детей. Что же, вы думаете, не страдаю я за вас? Не болею? Эх, господа, господа, не понимаете вы меня. Ну, ладно, ну, погорячился я, перехватил через край — разве же можно на старика сердиться? Э-эх, молодежь. Ну, мир—кончено. Руку. И пойдем обедать.

Ромашов молча поклонился и пожал протянутую ему руку, большую, пухлую и холодную руку. Чувство обиды у него прошло, но ему не было легче. После сегодняшних утренних важных и гордых мыслей он чувствовал себя теперь маленьким, жалким, бледным школьником, каким-то нелюбимым, робким и заброшенным мальчуганом, и этот переход был постыден. И потому-то, идя в столовую вслед за полковником, он подумал про себя, по своей привычке, в третьем лице: «Мрачное раздумье бороздило его чело».

Шульгович был бездетен. К столу вышла его жена, полная, крупная, важная и молчаливая дама, без шеи, со многими подбородками. Несмотря на пенсне и на высокомерный взгляд, лицо у нее было простоватое и производило такое впечатление, как будто его наспех, боком, выпекли из теста, воткнув изюминки вместо глаз. Вслед за ней, часто шаркая ногами, приплелась древняя мамаша полковника, маленькая, глухая, но еще бодрая, ядовитая и властная старушонка. Пристально и бесцеремонно разглядывая Ромашова снизу вверх, через верх очков, она протянула ему и ткнула прямо в губы свою крошечную, темную, всю сморщенную руку, похожую на кусочек мощей. Затем обратилась к полковнику и спросила таким тоном, как будто бы, кроме их двоих, в столовой никого не было:

— Это кто же такой? Не помню что-то.

Шульгович сложил ладони рук в трубу около рта и закричал старушке в самое ухо:

— Подпоручик Ромашов, мамаша. Прекрасный офицер... фронтовик и молодчинище... из кадетского корпуса... Ах, да! — спохватился он вдруг.— Ведь вы, подпоручик, кажется, наш, пензенский?

— Точно так, господин полковник, пензенский.

— Ну да, ну да... Я теперь вспомнил. Ведь мы же земляки с вами. Наровчатского уезда, кажется?

— Точно так. Наровчатского.

— Ну да... Как же это я забыл? Наровчат, одни колышки торчат. А мы — инсарские. Мамаша! — опять затрубил он матери на ухо,—подпоручик Ромашов — наш, пензенский!.. Из Наровчата!.. Земляк!..

— А-а! — старушка многозначительно повела бровями.— Так, так, так... То-то, я думаю... Значит, вы, выходит, сынок Сергея Петровича Шишкина?

— Мамаша! Ошиблись! Подпоручика фамилия — Ромашов, а совсем не Шишкин!..

— Вот, вот, вот... Я и говорю... Сергей-то Петровича я не знала... Понаслышке только. А вот Петра Петровича — того даже очень часто видела. Именья, почитай, рядом были. Очень, оч-чень приятно, молодой человек... Похвально с вашей стороны.

— Ну, пошла теперь скрипеть, старая скворечница,— сказал полковник вполголоса, с грубым добродушием.— Садитесь, подпоручик... Поручик Федоровский! — крикнул он в дверь.— Кончайте там и идите пить водку!..

В столовую быстро вошел адъютант, который, по заведенному во многих полках обычаю, обедал всегда у командира. Мягко и развязно позвякивая шпорами, он подошел к отдельному майоликовому столику с закуской, налил себе водки и не торопясь выпил и закусил. Ромашов почувствовал к нему зависть и какое-то смешное, мелкое уважение.

— А вы водки?—спросил Шульгович.—Ведь пьете?

— Нет. Благодарю покорно. Мне что-то не хочется,— ответил Ромашов сиплым голосом и прокашлялся.

— И-и пре-екрасно. Самое лучшее. Желаю и впредь так же.

Обед был сытный и вкусный. Видно было, что бездетные полковник и полковница прилепились к невинной страстишке — хорошо поесть. Подавали душистый суп из молодых кореньев и зелени, жареного леща с кашей, прекрасно откормленную домашнюю утку и спаржу. На столе стояли три бутылки — с белым и красным вином и с мадерой,— правда, уже начатые и заткнутые серебряными фигурными пробками, но дорогие, хороших

иностранных марок. Полковник — точно недавний гнев прекрасно повлиял на его аппетит — ел с особенным вкусом и так красиво, что на него приятно было смотреть. Он все время мило и грубо шутил. Когда подали спаржу, он, глубже засовывая за воротник тужурки ослепительно-белую жесткую салфетку, сказал весело:

— Если бы я был царь, всегда бы ел спаржу!

Но раньше, за рыбой, он не утерпел и закричал на Ромашова начальническим тоном:

— Подпоручик! Извольте отложить ножик в сторону. Рыбу и котлеты едят исключительно вилкой. Нехорошо-с! Офицер должен уметь есть. Каждый офицер может быть приглашен к высочайшему столу. Помните это.

Ромашов сидел за обедом неловкий, стесненный, не зная, куда девать руки, большею частью держа их под столом и заплетая в косички бахромку скатерти. Он давно уже отвык от хорошей семейной обстановки, от приличной и комфортабельной мебели, от порядка за столом. И все время терзала его одна и та же мысль: «Ведь это же противно, это такая слабость и трусость с моей стороны, что я не мог, не посмел отказаться от этого унизительного обеда. Ну вот я сейчас встану, сделаю общий поклон и уйду. Пусть думают что хотят. Ведь не съест же он меня? Не отнимет моей души, мыслей, сознания? Уйду ли?» И опять, с робко замирающим сердцем, бледнея от внутреннего волнения, досадуя на самого себя, он чувствовал, что не в состоянии это сделать.

Наступил уже вечер, когда подали кофе. Красные, косые лучи солнца ворвались в окна и заиграли яркими медными пятнами на темных обоях, на скатерти, на хрустале, на лицах обедающих. Все притихли в каком-то грустном обаянии этого вечернего часа.

— Когда я был еще прапорщиком,—заговорил вдруг Шульгович,—у нас был командир бригады, генерал Фофанов. Такой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли не из кантонистов. Помню, он, бывало, подойдет на смотру к барабанщику,— ужасно любил барабан,— подойдет и скажет: «А ну-ка, братец, шыграй мне что-нибудь меланхоличешкое». Да. Так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда уходил спать аккуратно в одиннадцать. Бывало, обратится к гостям и скажет: «Ну,

гошпода, ешьте, пейте, вешелитесь, а я иду в объятия Нептуна». Ему говорят: «Морфея, ваше превосходительство?» —«Э, вше равно: иж одной минералогии...» Так я теперь господа,— Шульгович встал и положил на спинку стула салфетку,— тоже иду в объятия Нептуна. Вы свободны, господа офицеры.

Офицеры встали и вытянулись.

«Ироническая, горькая улыбка показалась на его тонких губах»,— подумал Ромашов, но только подумал, потому что лицо у него в эту минуту было жалкое, бледное и некрасиво-почтительное.

Опять шел Ромашов домой, чувствуя себя одиноким, тоскующим, потерявшимся в каком-то чужом, темном и враждебном месте. Опять горела на западе в сизых нагроможденных тяжелых тучах красно-янтарная заря, и опять Ромашову чудился далеко за чертой горизонта, за домами и полями, прекрасный фантастический город с жизнью, полной красоты, изящества и счастья.

На улицах быстро темнело. По шоссе бегали с визгом еврейские ребятишки. Где-то на завалинках, у ворот, у калиток, в садах звенел женский смех, звенел непрерывно и возбужденно, с какой-то горячей, животной, радостной дрожью, как звенит он только ранней весной. И вместе с тихой, задумчивой грустью в душе Ромашова рождались странные, смутные воспоминания и сожаления о никогда не бывшем счастье и о прошлых, еще более прекрасных веснах, а в сердце шевелилось неясное и сладкое предчувствие грядущей любви...

Когда он пришел домой, то застал Гайнана в его темном чулане перед бюстом Пушкина. Великий поэт был весь вымазан маслом, и горевшая перед ним свеча бросала глянцевитые пятна на нос, на толстые губы и на жилистую шею. Сам же Гайнан, сидя по-турецки на трех досках, заменявших ему кровать, качался взад и вперед и бормотал нараспев что-то тягучее и монотонное.

— Гайнан! — окликнул его Ромашов.

Денщик вздрогнул и, вскочив с кровати, вытянулся. На лице его отразились испуг и замешательство.

— Алла? — спросил Ромашов дружелюбно.

Безусый мальчишеский рот черемиса весь растянулся в длинную улыбку, от которой при огне свечи засверкали его великолепные белые зубы.

— Алла, ваша благородия!

— Ну, ну, ну... Сиди себе, сиди.— Ромашов ласково погладил денщика по плечу.— Все равно, Гайнан, у тебя алла, у меня алла. Один, братец, алла у всех человеков.

«Славный Гайнан,—подумал подпоручик, идя в комнату.— А я вот не смею пожать ему руку. Да, не могу, не смею. О, черт! Надо будет с нынешнего дня самому одеваться и раздеваться. Свинство заставлять это делать за себя другого человека».

В этот вечер он не пошел в собрание, а достал из ящика толстую разлинованную тетрадь, исписанную мелким неровным почерком, и писал до глубокой ночи. Это была третья, по счету, сочиняемая Ромашовым повесть, под заглавием: «Последний роковой дебют». Подпоручик сам стыдился своих литературных занятий и никому в мире ни за что не признался бы в них.

VIII

Казармы для помещения полка только что начали строить на окраине местечка, за железной дорогой, на так называемом выгоне, а до их окончания полк со всеми своими учреждениями был расквартирован по частным квартирам. Офицерское собрание занимало небольшой одноэтажный домик, который был расположен глаголем: в длинной стороне, шедшей вдоль улицы, помещались танцевальная зала и гостиная, а короткую, простиравшуюся в глубь грязного двора, занимали — столовая, кухня и «номера» для приезжих офицеров. Эти две половины были связаны между собою чем-то вроде запутанного, узкого, коленчатого коридора; каждое колено соединялось с другим дверями, и таким образом получился ряд крошечных комнатушек, которые служили — буфетом, бильярдной, карточной, передней и дамской уборной. Так как все эти помещения, кроме столовой, были обыкновенно необитаемы и никогда не проветривались, то в них стоял сыроватый, кислый, нежилой воздух, к которому примешивался особый запах от старой ковровой обивки, покрывавшей мебель.

Ромашов пришел в собрание в девять часов. Пять-шесть холостых офицеров уже сошлись на вечер, но да-

мы еще не съезжались. Между ними издавна существовало странное соревнование в знании хорошего тона, а этот тон считал позорным для дамы являться одной из первых на бал. Музыканты уже сидели на своих местах в стеклянной галерее, соединявшейся одним большим многостекольным окном с залой. В зале по стенам горели в простенках между окнами трехлапые бра, а с потолка спускалась люстра с хрустальными дрожащими подвесками. Благодаря яркому освещению эта большая комната с голыми стенами, оклеенными белыми обоями, с венскими стульями по бокам, с тюлевыми занавесками на окнах, казалась особенно пустой.

В бильярдной два батальонных адъютанта, поручики Бек-Агамалов и Олизар, которого все в полку называли графом Олизаром, играли в пять шаров на пиво. Олизар — длинный, тонкий, прилизанный, напомаженный — молодой старик, с голым, но морщинистым, хлыщеватым лицом, все время сыпал бильярдными прибаутками. Бек-Агамалов проигрывал и сердился. На их игру глядел, сидя на подоконнике, штабс-капитан Лещенко, унылый человек сорока пяти лет, способный одним своим видом навести тоску; все у него в лице и фигуре висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии: висел вниз, точно стручок перца, длинный, мясистый, красный и дряблый нос; свисали до подбородка двумя тонкими бурыми нитками усы; брови спускались от переносья вниз к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение; даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и впалой груди, как на вешалке. Лещенко ничего не пил, не играл в карты и даже не курил. Но ему доставляло странное, непонятное другим удовольствие торчать в карточной или в бильярдной комнате за спинами игроков, или в столовой, когда там особенно кутили. По целым часам он просиживал там, молчаливый и унылый, не произнося ни слова. В полку к этому все привыкли, и даже игра и попойка как-то не вязались, если в собрании не было безмолвного Лещенки.

Поздоровавшись с тремя офицерами, Ромашов сел рядом с Лещенкой, который предупредительно отодвинулся в сторону, вздохнул и поглядел на молодого офицера грустными и преданными собачьими глазами.

— Как здоровье Марьи Викторовны? — спросил Ро-

машов тем развязным и умышленно громким голосом, каким говорят с глухими и туго понимающими людьми и каким с Лещенкой в полку говорили все, даже прапорщики.

— Спасибо, голубчик,— с тяжелым вздохом ответил Лещенко.— Конечно, нервы у нее... Такое время теперь.

— А отчего же вы не вместе с супругой? Или, может быть, Марья Викторовна не собирается сегодня?

— Нет. Как же. Будет. Она будет, голубчик. Только, видите ли, мест нет в фаэтоне. Они с Раисой Александровной пополам взяли экипаж, ну и, понимаете, голубчик, говорят мне: «У тебя, говорят, сапожища грязные, ты нам платья испортишь».

— Круазе в середину! Тонкая резь. Вынимай шара из лузы, Бек! — крикнул Олизар.

— Ты сначала делай шара, а потом я выну,— сердито отозвался Бек-Агамалов.

Лещенко забрал в рот бурые кончики усов и сосредоточенно пожевал их.

— У меня к вам просьба, голубчик Юрий Алексеич,— сказал он просительно и запинаясь,— сегодня ведь вы распорядитель танцев?

— Да. Черт бы их побрал. Назначили. Я крутился-крутился перед полковым адъютантом, хотел даже написать рапорт о болезни. Но разве с ним сговоришь? «Подайте, говорит, свидетельство врача».

— Вот я вас и хочу попросить, голубчик,— продолжал Лещенко умильным тоном.— Бог уж с ней, устройте, чтобы она не очень сидела. Знаете, прошу вас потоварищески.

— Марья Викторовна?

— Ну да. Пожалуйста уж.

— Желтый дуплет в угол,— заказал Бек-Агамалов.— Как в аптеке будет.

Ему было неудобно играть вследствие его небольшого роста, и он должен был тянуться на животе через бильярд. От напряжения его лицо покраснело, и на лбу вздулись, точно ижица, две сходящиеся к переносью жилы.

— Жамаис! — уверенно дразнил его Олизар.— Этого даже я не сделаю.

Кий Агамалова с сухим треском скользнул по шару, но шар не сдвинулся с места.

— Кикс! — радостно закричал Олизар и затанцевал канкан вокруг бильярда.— Когда ты спишь — храпишь, дюша мой?

Агамалов стукнул толс ым концом кия о пол.

— А ты не смей под руку говорить! — крикнул он, сверкая черными глазами.— Я игру брошу.

— Нэ кирпичись, дюша мой, кровь испортышь. Модистку в угол!..

К Ромашову подскочил один из вестовых, наряженных на дежурство в переднюю, чтобы раздевать приезжающих дам.

— Ваше благородие, вас барыня просят в залу.

Там уже прохаживались медленно взад и вперед три дамы, только что приехавшие, все три — пожилые. Самая старшая из них, жена заведующего хозяйством, Анна Ивановна Мигунова, обратилась к Ромашову строгим и жеманным тоном, капризно растягивая концы слов и со светской важностью кивая головой:

— Подпоручик Ромашо-ов, прикажите сыграть что-нибудь для слу-уха. Пожа-алуйста...

— Слушаю-с.— Ромашов поклонился и подошел к музыкантскому окну.— Зиссерман, —крикнул он старосте оркестра,— валяй для слуха!

Сквозь раскрытое окно галереи грянули первые раскаты увертюры из «Жизни за царя», и в такт им заколебались вверх и вниз языки свечей.

Дамы понемногу съезжались. Прежде, год тому назад, Ромашов ужасно любил эти минуты перед балом, когда, по своим дирижерским обязанностям, он встречал в передней входящих дам. Какими таинственными и прелестными казались они ему, когда, возбужденные светом, музыкой и ожиданием танцев, они с веселой суетой освобождались от своих капоров, боа и шубок. Вместе с женским смехом и звонкой болтовней тесная передняя вдруг наполнялась запахом мороза, духов, пудры и лайковых перчаток,—неуловимым, глубоко волнующим запахом нарядных и красивых женщин перед балом. Какими блестящими и влюбленными казались ему их глаза в зеркалах, перед которыми они наскоро поправляли свои прически! Какой музыкой звучал шелест и шорох их

юбок! Какая ласка чувствовалась в прикосновении их маленьких рук, их шарфов и вееров!.

Теперь это очарование прошло, и Ромашов знал, что навсегда. Он не без некоторого стыда понимал теперь, что многое в этом очаровании было почерпнуто из чтения французских плохих романов, в которых неизменно описывается, как Густав и Арман, приехав на бал в русское посольство, проходили через вестибюль. Он знал также, что полковые дамы по годам носят одно и то же «шикарное» платье, делая жалкие попытки обновлять его к особенно пышным вечерам, а перчатки чистят бензином. Ему смешным и претенциозным казалось их общее пристрастие к разным эгреткам, шарфикам, огромным поддельным камням, к перьям и обилию лент: в этом сказывалась какая-то тряпичная, безвкусная, домашнего изделия роскошь. Они употребляли жирные белила и румяна, но неумело и грубо до наивности: у иных от этих средств лица принимали зловещий синеватый оттенок. Но неприятнее всего было для Ромашова то, что он, как и все в полку, знал закулисные истории каждого бала, каждого платья, чуть ли не каждой кокетливой фразы; он знал, как за ними скрывались: жалкая бедность, усилия, ухищрения, сплетни, взаимная ненависть, бессильная провинциальная игра в светскость и наконец скучные, пошлые связи...

Приехал капитан Тальман с женой: оба очень высокие, плотные; она — нежная, толстая, рассыпчатая блондинка, он — со смуглым, разбойничьим лицом, с беспрестанным кашлем и хриплым голосом. Ромашов уже заранее знал, что сейчас Тальман скажет свою обычную фразу, и он действительно, бегая цыганскими глазами, просипел:

— А что, подпоручик, в карточной уже винтят?

— Нет еще. Все в столовой.

— Нет еще? Знаешь, Сонечка, я того... пойду в столовую — «Инвалид» пробежать. Вы, милый Ромашов, попасите ее... ну, там, какую-нибудь кадриленцию.

Потом в переднюю впорхнуло семейство Лыкачевых — целый выводок хорошеньких, смешливых и картавых барышень во главе с матерью — маленькой, живой женщиной, которая в сорок лет танцевала без устали и постоянно рожала детей — «между второй и треть-

ей кадрилью», как говорил про нее полковой остряк Арчаковский.

Барышни, разнообразно картавя, смеясь и перебивая друг дружку, набросились на Ромашова:

— Отчего вы к нам не пьиходили?

— Звой, звой, звой!

— Нехолосый, нехолосый, нехолосый!

— Звой, звой!

— Пьиглашаю вас на пейвую кадъиль.

— Mesdames!.. Mesdames! — говорил Ромашов, изображая собою против воли любезного кавалера и расшаркиваясь во все стороны.

В это время он случайно взглянул на входную дверь и увидел за ее стеклом худое и губастое лицо Раисы Александровны Петерсон под белым платком, коробкой надетым поверх шляпы. Ромашов поспешно, совсем по-мальчишески, юркнул в гостиную. Но как ни короток был этот миг и как ни старался подпоручик уверить себя, что Раиса его не заметила,— все-таки он чувствовал тревогу; в выражении маленьких глаз его любовницы почудилось ему что-то новое и беспокойное, какая-то жестокая, злобная и уверенная угроза.

Он прошел в столовую. Там уже набралось много народа; почти все места за длинным, покрытым клеенкой столом были заняты. Синий табачный дым колыхался в воздухе. Пахло горелым маслом из кухни. Две или три группы офицеров уже начинали выпивать и закусывать. Кое-кто читал газеты. Густой и пестрый шум голосов сливался со стуком ножей, щелканьем бильярдных шаров и хлопаньем кухонной двери. По ногам тянуло холодом из сеней.

Ромашов отыскал поручика Бобетинского и подошел к нему. Бобетинский стоял около стола, засунув руки в карманы брюк, раскачиваясь на носках и на каблуках и щуря глаза от дыма папироски. Ромашов тронул его за рукав.

— Что? — обернулся он и, вынув одну руку из кармана, не переставая щуриться, с изысканным видом покрутил длинный рыжий ус, скосив на него глаза и отставив локоть вверх.— А-а! Это вы? Эчень приятно...

Он всегда говорил таким ломаным, вычурным тоном, подражая, как он сам думал, гвардейской золотой

молодежи. Он был о себе высокого мнения, считая себя знатоком лошадей и женщин, прекрасным танцором и притом изящным, великосветским, но, несмотря на свои двадцать четыре года, уже пожившим и разочарованным человеком. Поэтому он всегда держал плечи картинно поднятыми кверху, скверно французил, ходил расслабленной походкой и, когда говорил, делал усталые, небрежные жесты.

— Петр Фаддеевич, милый, пожалуйста, подирижируйте нынче за меня,— попросил Ромашов.

— Ме, мон ами! — Бобетинский поднял кверху плечи и брови и сделал глупые глаза.— Но... мой дрюг,— перевел он по-русски.— С какой стати? Пуркуа? [1] Право, вы меня... как это говорится?.. Вы меня эдивляете!..

— Дорогой мой, пожалуйста...

— Постойте... Во-первых, без фэ-миль-ярностей. Чтэ это тэкое — дорогой, тэкой-сякой е цетера? [2]

— Ну, умоляю вас, Петр Фаддеич... Голова болит... и горло... положительно не могу.

Ромашов долго и убедительно упрашивал товарища. Наконец он даже решил пустить в дело лесть.

Ведь никто же в полку не умеет так красиво и разнообразно вести танцы, как Петр Фаддеевич. И кроме того, об этом также просила одна дама...

— Дама?..— Бобетинский сделал рассеянное и меланхолическое лицо.— Дама? Дрюг мой, в мои годы...— Он рассмеялся с деланной горечью и разочарованием.— Что такое женщина? Ха-ха-ха... Юн енигм! [3] Ну, хорошо, я, так и быть, согласен... Я согласен.

И таким же разочарованным голосом он вдруг прибавил:

— Мон шер ами, а нет ли у вас... как это называется... трех рюблей?

— К сожалению!..— вздохнул Ромашов.

— А рубля?

— Мм!..

— Дезагреабль-с...[4] Ничего не поделаешь. Ну, пойдемте в таком случае выпьем водки.

---

[1] Почему? *(франц.)*
[2] И так далее? *(франц.)*
[3] Загадка! *(франц.)*
[4] Неприятно-с... *(франц.)*

— Увы! И кредита нет, Петр Фаддеевич.

— Да-а? О, повр анфан!..[1] Все равно, пойдем.— Бобетинский сделал широкий и небрежный жест великодушия.— Я вас приветствую.

В столовой между тем разговор становился более громким и в то же время более интересным для всех присутствующих. Говорили об офицерских поединках, только что тогда разрешенных, и мнения расходились.

Больше всех овладел беседой поручик Арчаковский— личность довольно темная, едва ли не шулер. Про него втихомолку рассказывали, что еще до поступления в полк, во время пребывания в запасе, он служил смотрителем на почтовой станции и был предан суду за то, что ударом кулака убил какого-то ямщика.

— Это хорошо дуэль в гвардии — для разных там лоботрясов и фигель-миглей,— говорил грубо Арчаковский,— а у нас... Ну, хорошо, я холостой... положим, я с Василь Василичем Липским напился в собрании и в пьяном виде закатил ему в ухо. Что же нам делать? Если он со мною не захочет стреляться — вон из полка; спрашивается, что его дети будут жрать? А вышел он на поединок, я ему влеплю пулю в живот, и опять детям кусать нечего... Чепуха все.

— Гето... ты подожди... ты повремени,— перебил его старый и пьяный подполковник Лех, держа в одной руке рюмку, а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе,— ты понимаешь, что такое честь мундира?.. Гето, братец ты мой, та-акая штука... Честь, она... Вот, я помню, случай у нас был в Темрюкском полку в тысячу восемьсот шестьдесят втором году.

— Ну, знаете, ваших случаев не переслушаешь,— развязно перебил его Арчаковский, — расскажете еще что-нибудь, что было за царя Гороха.

— Гето, братец... ах, какой ты дерзкий... Ты еще мальчишка, а я, гето... Был, я говорю, такой случай...

— Только кровь может смыть пятно обиды,— вмешался напыщенным тоном поручик Бобетинский и по-петушиному поднял кверху плечи.

— Гето, был у нас прапорщик Солуха,— силился продолжать Лех.

---

[1] Бедный ребенок!.. *(франц.)*

К столу подошел, выйдя из буфета, командир первой роты, капитан Осадчий.

— Я слышу, что у вас разговор о поединках. Интересно послушать,— сказал он густым, рыкающим басом, сразу покрывая все голоса.—Здравия желаю, господин подполковник. Здравствуйте. господа.

— А, колосс родосский,— ласково приветствовал его Лех.— Гето... садись ты около меня, памятник ты этакий... Водочки выпьешь со мною?

— И весьма,— низкой октавой ответил Осадчий.

Этот офицер всегда производил странное и раздражающее впечатление на Ромашова, возбуждая в нем чувство, похожее на страх и на любопытство. Осадчий славился, как и полковник Шульгович, не только в полку, но и во всей дивизии своим необыкновенным по размерам и красоте голосом, а также огромным ростом и страшной физической силой. Был он известен также и своим замечательным знанием строевой службы. Его иногда, для пользы службы, переводили из одной роты в другую, и в течение полугода он умел делать из самых распущенных, захудалых команд нечто похожее по стройности и исполнительности на огромную машину, пропитанную нечеловеческим трепетом перед своим начальником. Его обаяние и власть были тем более непонятны для товарищей, что он не только никогда не дрался, но даже и бранился лишь в редких, исключительных случаях. Ромашову всегда чуялось в его прекрасном сумрачном лице, странная бледность которого еще сильнее оттенялась черными, почти синими волосами, что-то напряженное, сдержанное и жестокое, что-то присущее не человеку, а огромному, сильному зверю. Часто, незаметно наблюдая за ним откуда-нибудь издали, Ромашов воображал себе, каков должен быть этот человек в гневе, и, думая об этом, бледнел от ужаса и сжимал холодевшие пальцы. И теперь он не отрываясь глядел, как этот самоуверенный, сильный человек спокойно садился у стены на предупредительно подвинутый ему стул.

Осадчий выпил водки, разгрыз с хрустом редиску и спросил равнодушно:

— Ну-с, итак, какое же резюме почтенного собрания?

— Гето, братец ты мой, я сейчас рассказываю... Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку. Поручик фон Зоон,— его солдаты звали «Под-Звон»,— так он тоже однажды в собрании...

Но его перебил Липский, сорокалетний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми комичного мальчугана.

— Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль — чепуха. «Треба, каже, як у нас у бурсе — дал раза по потылице и квит». Затем дебатировал поручик Бобетинский, требовавший крови. Потом господин подполковник тщетно тщились рассказать анекдот из своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем, в самом начале рассказа, подпоручик Михин заявили под шумок о своем собственном мнении, но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственной им целомудренной стыдливости мнение это выслушано не было.

Подпоручик Михин, маленький, слабогрудый юноша, со смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко, почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг покраснел до слез.

— Я только, господа... Я, господа, может быть, ошибаюсь,— заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое лицо руками.— Но, по-моему, то есть я так полагаю... нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно, и каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру. Безусловно. Но иногда, знаете, это... может быть, высшая честь заключается в том, чтобы... это... безусловно простить... Ну, я не знаю, какие еще могут быть случаи... вот...

— Эх вы, Декадент Иванович,— грубо махнул на него рукой Арчаковский,— тряпку вам сосать.

— Гето, да дайте же мне, братцы, высказаться!

Сразу покрывая все голоса могучим звуком своего голоса, заговорил Осадчий:

— Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом, иначе это абсурд! Иначе это будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия. Пятьдесят шагов дистанции и по одному выстрелу. Я

вам говорю: из этого выйдет одна только пошлость, вот именно вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом в газетах сообщают протокол поединка: «Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком недавние враги обменялись дружеским рукопожатием». Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет.

Ему сразу ответило несколько голосов. Лех, который в продолжение его речи не раз покушался докончить свой рассказ, опять было начал: «А вот, гето, я, братцы мои... да слушайте же, жеребцы вы». Но его не слушали, и он попеременно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелевшей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова. Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе и когда какой-то колючий стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться. Поэтому-то он и не уклонился от подполковника, и тот, обрадованный, потащил его за рукав к столу.

— Гето... хоть ты меня выслушай, прапор,— говорил Лех горестно,— садись, выпей-ка водочки...Они, братец мой, все — шалыганы.— Лех слабо махнул на спорящих офицеров кистью руки.— Гав, гав, гав, а опыта у них нет, я хотел рассказать, какой у нас был случай...

Держа одной рукой рюмку, а свободной рукой размахивая так, как будто бы он управлял хором, и мотая опущенной головой, Лех начал рассказывать один из своих бесчисленных рассказов, которыми он был нафарширован, как колбаса ливером, и которых он никогда не мог довести до конца благодаря вечным отступлениям, вставкам, сравнениям и загадкам. Теперешний его анекдот заключался в том, что один офицер предложил другому — это, конечно, было в незапамятные времена — американскую дуэль, причем в виде жребия им служил чет или нечет на рублевой бумажке. И вот кто-то из них,— трудно было понять, кто именно,— Под-Звон или Солу-

ха, прибегнул к мошенничеству: «Гето, братец ты мой, взял да и склеил две бумажки вместе, и вышло, что на одной стороне чет, а на другой нечет. Стали они, братец ты мой, тянуть... Этот и говорит тому...»

Но и на этот раз подполковник не успел, по обыкновению, докончить своего анекдота, потому что в буфет игриво скользнула Раиса Александровна Петерсон. Стоя в дверях столовой, но не входя в нее (что вообще было не принято), она крикнула веселым и капризным голоском, каким кричат балованные, но любимые всеми девочки:

— Господа, ну что-о же это такое! Дамы уж давно съехались, а вы тут сидите и угощаетесь! Мы хочем танцевать!

Два-три молодых офицера встали, чтобы идти в залу, другие продолжали сидеть и курить и разговаривать, не обращая на кокетливую даму никакого внимания; зато старый Лех косвенными мелкими шажками подошел к ней и, сложив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку, воскликнул с пьяным умилением:

— Божественная! И как это начальство позволяет шущештвовать такой красоте! Ррy-учку!.. Лобзнуть!..

— Юрий Алексеевич,— продолжала щебетать Петерсон,— ведь вы, кажется, на сегодня назначены? Хорош, нечего сказать, дирижер!

— Миль пардон, мадам [1]. Се ма фот!.. Это моя вина! — воскликнул Бобетинский, подлетая к ней. На ходу он быстро шаркал ногами, приседал, балансировал туловищем и раскачивал опущенными руками с таким видом, как будто он выделывал подготовительные па какого-то веселого балетного танца.— Ваш-шу руку. Вотр мэн, мадам. Господа, в залу, в залу!

Он понесся под руку с Петерсон, гордо закинув кверху голову, и уже из другой комнаты доносился его голос — светского, как он воображал, дирижера:

— Месьё, приглашайте дам на вальс! Музыканты, вальс!

— Простите, господин подполковник, мои обязанности призывают меня,— сказал Ромашов.

— Эх, братец ты мой,— с сокрушением поник голо-

[1] Тысяча извинений, сударыня *(франц.)*.

вой Лех.— И ты такой же перец, как и они все... Гето... постой, постой, прапорщик... Ты слыхал про Мольтке? Про великого молчальника, фельдмаршала... гето... и стратега Мольтке?

— Господин подполковник, право же...

— А ты не егози... Сия притча краткая... Великий молчальник посещал офицерские собрания, и когда обедал, то... гето... клал перед собою на стол кошелек, набитый, братец ты мой, золотом. Решил он в уме отдать этот кошелек тому офицеру, от которого он хоть раз услышит в собрании дельное слово. Но так и умер старик, прожив на свете сто девяносто лет, а кошелек его так, братец ты мой, и остался целым. Что? Раскусил сей орех? Ну, теперь иди себе, братец. Иди, иди, воробышек... попрыгай...

IX

В зале, которая, казалось, вся дрожала от оглушительных звуков вальса, вертелись две пары. Бобетинский, распустив локти, точно крылья, быстро семенил ногами вокруг высокой Тальман, танцевавшей с величавым спокойствием каменного монумента. Рослый, патлатый Арчаковский кружил вокруг себя маленькую, розовенькую младшую Лыкачеву, слегка согнувшись над нею и глядя ей в пробор; не выделывая па, он лишь лениво и небрежно переступал ногами, как танцуют обыкновенно с детьми. Пятнадцать других дам сидели вдоль стен в полном одиночестве и старались делать вид, что это для них все равно. Как и всегда бывало на полковых собраниях, кавалеров оказалось вчетверо меньше, чем дам, и начало вечера обещало быть скучным.

Петерсон, только что открывшая бал, что всегда для дам служило предметом особой гордости, теперь пошла с тонким, стройным Олизаром. Он держал ее руку точно пришпиленной к своему левому бедру; она же томно опиралась подбородком на другую руку, лежавшую у него на плече, а голову повернула назад, к зале, в манерном и неестественном положении. Окончив тур, она нарочно села неподалеку от Ромашова, стоявшего около дверей дамской уборной. Она быстро обмахивалась веером и, глядя на склонившегося перед ней Олизара, говорила с певучей томностью:

— Нет, ск'жи-ите, граф, отчего мне всегда так жарко? Ум'ляю вас — ск'жи-ите!..

Олизар сделал полупоклон, звякнул шпорами и провел рукой по усам в одну и в другую сторону.

— Сударыня, этого даже Мартын Задека не скажет.

И так как в это время Олизар глядел на ее плоское декольте, она стала часто и неестественно глубоко дышать.

— Ах, у меня всегда возвышенная температура! — продолжала Раиса Александровна, намекая улыбкой на то, что за ее словами кроется какой-то особенный, неприличный смысл.— Такой уж у меня горячий темперамент!..

Олизар коротко и неопределенно заржал.

Ромашов стоял, глядел искоса на Петерсон и думал с отвращением: «О, какая она противная!» И от мысли о прежней физической близости с этой женщиной у него было такое ощущение, точно он не мылся несколько месяцев и не переменял белья.

— Да, да, да, вы не смейтесь, граф. Вы не знаете, что моя мать гречанка!

«И говорит как противно,— думал Ромашов.—Странно, что я до сих пор этого не замечал. Она говорит так, как будто бы у нее хронический насморк или полип в носу: «боя бать гречадка».

В это время Петерсон обернулась к Ромашову и вызывающе посмотрела на него прищуренными глазами.

Ромашов по привычке сказал мысленно:

«Лицо его стало непроницаемо, как маска».

— Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Что же вы не подойдете поздороваться? — запела Раиса Александровна.

Ромашов подошел. Она со злыми зрачками глаз, ставшими вдруг необыкновенно маленькими и острыми, крепко сжала его руку.

— Я по вашей просьбе оставила вам третью кадриль. Надеюсь, вы не забыли?

Ромашов поклонился.

— Какой вы нелюбезный,— продолжала кривляться Петерсон.— Вам бы следовало сказать: аншанте, мадам [1]

[1] Очень рад, сударыня *(франц.)*.

(«адшадте, бадаб» — услышал Ромашов)! Граф, правда, он мешок?

— Как же... Я помню,— неуверенно забормотал Ромашов.— Благодарю за честь.

Бобетинский мало способствовал оживлению вечера. Он дирижировал с разочарованным и устало-покровительственным видом, точно исполняя какую-то страшно надоевшую ему, но очень важную для всех других обязанность. Но перед третьей кадрилью он оживился и, пролетая по зале, точно на коньках по льду, быстрыми, скользящими шагами, особенно громко выкрикнул:

— Кадриль-монстр! Кавалье, ангаже во дам! [1]

Ромашов с Раисой Александровной стали недалеко от музыкантского окна, имея vis-à-vis [2] Михина и жену Лещенки, которая едва достигала до плеча своего кавалера. К третьей кадрили танцующих заметно прибавилось, так что пары должны были расположиться и вдоль залы и поперек. И тем и другим приходилось танцевать по очереди, и потому каждую фигуру играли по два раза.

«Надо объясниться, надо положить конец,— думал Ромашов, оглушаемый грохотом барабана и медными звуками, рвавшимися из окна.— Довольно!» — «На его лице лежала несокрушимая решимость».

У полковых дирижеров установились издавна некоторые особенные приемы и милые шутки. Так, в третьей кадрили всегда считалось необходимым путать фигуры и делать, как будто неумышленно, веселые ошибки, которые всегда возбуждали неизменную сумятицу и хохот. И Бобетинский, начав кадриль-монстр неожиданно со второй фигуры, то заставлял кавалеров делать соло и тотчас же, точно спохватившись, возвращал их к дамам, то устраивал grand-rond [3] и, перемешав его, заставлял кавалеров отыскивать дам.

— Медам, авансе... виноват, рекуле! Кавалье, соло! Пардон, назад, балянсе авек во дам! [4] Да назад же!

---

[1] Кавалеры, приглашайте дам! *(франц.)*.

[2] Напротив *(франц.)*.

[3] Большой круг *(франц.)*.

[4] Дамы, вперед... назад! Кавалеры, одни! Простите... направляйте ваших дам! *(франц.)*.

Раиса Александровна тем временем говорила язвительным тоном, задыхаясь от злобы, но делая такую улыбку, как будто бы разговор шел о самых веселых и приятных вещах:

— Я не позволю так со мною обращаться. Слышите? Я вам не девчонка. Да. И так порядочные люди не поступают. Да.

— Не будем сердиться, Раиса Александровна,— убедительно и мягко попросил Ромашов.

— О, слишком много чести—сердиться! Я могу только презирать вас. Но издеваться над собою я не позволю никому. Почему вы не потрудились ответить на мое письмо?

— Но меня ваше письмо не застало дома, клянусь вам.

— Ха! Вы мне морочите голову! Точно я не знаю, где вы бываете... Но будьте уверены...

— Кавалье, ан аван! Рон де кавалье [1]. А гош! Налево, налево! Да налево же, господа! Эх, ничего не понимают! Плю де ля ви, месьё! [2]— кричал Бобетинский, увлекая танцоров в быстрый круговорот и отчаянно топая ногами.

— Я знаю все интриги этой женщины, этой лилипутки,—продолжала Раиса, когда Ромашов вернулся на место.— Только напрасно она так много о себе воображает! Что она дочь проворовавшегося нотариуса...

— Я попросил бы при мне так не отзываться о моих знакомых,— сурово остановил Ромашов.

Тогда произошла грубая сцена. Петерсон разразилась безобразною бранью по адресу Шурочки. Она уже забыла о своих деланных улыбках и, вся в пятнах, старалась перекричать музыку своим насморочным голосом. Ромашов же краснел до настоящих слез от своего бессилия и растерянности, и от боли за оскорбляемую Шурочку, и оттого, что ему сквозь оглушительные звуки кадрили не удавалось вставить ни одного слова, а главное—потому, что на них уже начинали обращать внимание.

— Да, да, у нее отец проворовался, ей нечего подымать нос! — кричала Петерсон.— Скажите, пожалуйста,

---

[1] Кавалеры, вперед! Кавалеры, в круг! *(франц.)*.

[2] Больше жизни, господа! *(франц.)*.

она нам неглижирует[1]. Мы и про нее тоже кое-что знаем! Да!

— Я вас прошу,— лепетал Ромашов.

— Постойте, вы с ней еще увидите мои когти. Я раскрою глаза этому дураку Николаеву, которого она третий год не может пропихнуть в академию. И куда ему поступить, когда он, дурак, не видит, что у него под носом делается. Да и то сказать — и поклонник же у нее!..

— Мазурка женераль! Променад! — кричал Бобетинский, проносясь вдоль залы, весь наклонившись вперед в позе летящего архангела.

Пол задрожал и ритмично заколыхался под тяжелым топотом ног, в такт мазурке зазвенели подвески у люстры, играя разноцветными огнями, и мерно заколыхались тюлевые занавеси на окнах.

— Отчего нам не расстаться миролюбиво, тихо? — кротко спросил Ромашов. В душе он чувствовал, что эта женщина вселяет в него вместе с отвращением какую-то мелкую, гнусную, но непобедимую трусость.— Вы меня не любите больше... Простимся же добрыми друзьями.

— А-а! Вы мне хотите зубы заговорить? Не беспокойтесь, мой милый,-- она произнесла: «бой билый»,— я не из тех, кого бросают. Я сама бросаю, когда захочу. Но я не могу достаточно надивиться на вашу низость...

— Кончим же скорее,— нетерпеливо, глухим голосом, стиснув зубы, проговорил Ромашов.

— Антракт пять минут. Кавалье, оккюпе во дам![2] — крикнул дирижер.

— Да, когда я этого захочу. Вы подло обманывали меня. Я пожертвовала для вас всем, отдала вам все, что может отдать честная женщина... Я не смела взглянуть в глаза моему мужу, этому идеальному, прекрасному человеку. Для вас я забыла обязанности жены и матери. О, зачем, зачем я не осталась верной ему!

— По-ло-жим!

Ромашов не мог удержаться от улыбки. Ее многочисленные романы со всеми молодыми офицерами, приезжавшими на службу, были прекрасно известны в полку, так же, впрочем, как и все любовные истории, происходив-

---

[1] Пренебрегает (от франц. négliger).

[2] Кавалеры, развлекайте дам! *(франц.)*.

шие между всеми семьюдесятью пятью офицерами и их женами и родственницами. Ему теперь вспомнились выражения вроде: «мой дурак», «этот презренный человек», «этот болван, который вечно торчит» и другие не менее сильные выражения, которые расточала Раиса в письмах и устно о своем муже.

— А! Вы еще имеете наглость смеяться? Хорошо же! — вспыхнула Раиса.— Нам начинать! — спохватилась она и, взяв за руку своего кавалера, засеменила вперед, грациозно раскачивая туловище на бедрах и напряженно улыбаясь.

Когда они кончили фигуру, ее лицо опять сразу приняло сердитое выражение, «точно у разозленного насекомого»,— подумал Ромашов.

— Я этого не прощу вам. Слышите ли, никогда! Я знаю, почему вы так подло, так низко хотите уйти от меня. Так не будет же того, что вы затеяли, не будет, не будет, не будет! Вместо того чтобы прямо и честно сказать, что вы меня больше не любите, вы предпочитали обманывать меня и пользоваться мной как женщиной, как самкой... на всякий случай, если там не удастся. Ха-ха-ха!..

— Ну хорошо, будем говорить начистоту,— со сдержанной яростью заговорил Ромашов. Он все больше бледнел и кусал губы. — Вы сами этого захотели. Да, это правда: я не люблю вас.

— Ах, скажи-ите, как мне это обидно!

— И не любил никогда. Как и вы меня, впрочем. Мы оба играли какую-то гадкую, лживую и грязную игру, какой-то пошлый любительский фарс. Я прекрасно, отлично понял вас, Раиса Александровна. Вам не нужно было ни нежности, ни любви, ни простой привязанности. Вы слишком мелки и ничтожны для этого. Потому что,— Ромашову вдруг вспомнились слова Назанского,— потому что любить могут только избранные, только утонченные натуры!

— Ха, это, конечно, вы — избранная натура?

Опять загремела музыка. Ромашов с ненавистью поглядел в окно на сияющее медное жерло тромбона, который со свирепым равнодушием точно зыплевывал в залу рявкающие и хрипящие звуки. И солдат, который играл на нем, надув щеки, выпучив остекленевшие глаза и посинев от напряжения, был ему ненавистен.

— Не станем спорить. Может, я и не стою настоящей любви, но не в этом дело. Дело в том, что вам, с вашими узкими провинциальными воззрениями и с провинциальным честолюбием, надо непременно, чтобы вас кто-нибудь «окружал» и чтобы другие видели это. Или, вы думаете, я не понимал смысла этой вашей фамильярности со мной на вечерах, этих нежных взглядов, этого повелительного и интимного тона, в то время когда на нас смотрели посторонние? Да, да, непременно, чтобы смотрели. Иначе вся эта игра для вас не имеет смысла. Вам не любви от меня нужно было, а того, чтобы все видели вас лишний раз скомпрометированной.

— Для этого я могла бы выбрать кого-нибудь получше и поинтереснее вас,— с напыщенной гордостью возразила Петерсон.

— Не беспокойтесь, этим вы меня не уязвите. Да, я повторяю: вам нужно только, чтобы кого-нибудь считали вашим рабом, новым рабом вашей неотразимости. А время идет, а рабы все реже и реже. И для того чтобы не потерять последнего вздыхателя, вы, холодная, бесстрастная, приносите в жертву и ваши семейные обязанности и вашу верность супружескому алтарю.

— Нет, вы еще обо мне услышите! — зло и многозначительно прошептала Раиса.

Через всю залу, пятясь и отскакивая от танцующих пар, к ним подошел муж Раисы, капитан Петерсон. Это был худой, чахоточный человек, с лысым желтым черепом и черными глазами — влажными и ласковыми, но с затаенным злобным огоньком. Про него говорили, что он был безумно влюблен в свою жену, влюблен до такой степени, что вел нежную, слащавую и фальшивую дружбу со всеми ее поклонниками. Также было известно, что он платил им ненавистью, вероломством и всевозможными служебными подвохами, едва только они с облегчением и радостью уходили от его жены.

Он еще издали неестественно улыбался своими синими, облипшими вокруг рта губами.

— Танцуешь, Раечка? Здравствуйте, дорогой Жоржик. Что вас так давно не видно? Мы так к вам привыкли, что, право, уж соскучились без вас.

— Так... как-то... все занятия,— забормотал Ромашов.

— Знаем мы ваши занятия,— погрозил пальцем Петерсон и засмеялся, точно завизжал. Но его черные глаза с желтыми белками пытливо и тревожно перебегали с лица жены на лицо Ромашова.

— А я, признаться, думал, что вы поссорились. Гляжу, сидите и о чем-то горячитесь. Что у вас?

Ромашов молчал, смущенно глядя на худую, темную и морщинистую шею Петерсона. Но Раиса сказала с той наглой уверенностью, которую она всегда проявляла во лжи:

— Юрий Алексеевич все философствует. Говорит, что танцы отжили свое время и что танцевать глупо и смешно.

— А сам пляшет,— с ехидным добродушием заметил Петерсон.— Ну, танцуйте, дети мои, танцуйте, я вам не мешаю.

Едва он отошел, Раиса сказала с напускным чувством:

— И этого святого, необыкновенного человека я обманывала!.. И ради кого же! О, если бы он знал, если б он только знал...

— Маз-зурка женераль! — закричал Бобетинский.— Кавалеры отбивают дам!

От долгого движения разгоряченных тел и от пыли, подымавшейся с паркета, в зале стало душно, и огни свеч обратились в желтые туманные пятна. Теперь танцевало много пар, и так как места не хватало, то каждая пара топталась в ограниченном пространстве: танцующие теснились и толкали друг друга. Фигура, которую предложил дирижер, заключалась в том, что свободный кавалер преследовал какую-нибудь танцующую пару. Вертясь вокруг нее и выделывая в то же время па мазурки, что выходило смешным и нелепым, он старался улучить момент, когда дама станет к нему лицом. Тогда он быстро хлопал в ладоши, что означало, что он отбил даму. Но другой кавалер старался помешать ему сделать это и всячески поворачивал и дергал свою даму из стороны в сторону; а сам то пятился, то скакал боком и даже пускал в ход левый свободный локоть, нацеливая его в грудь противнику. От этой фигуры всегда происходила в зале неловкая, грубая и некрасивая суета.

— Актриса! — хрипло зашептал Ромашов, наклоняясь близко к Раисе.— Вас смешно и жалко слушать.

— Вы, кажется, пьяны! — брезгливо воскликнула Раиса и кинула на Ромашова тот взгляд, которым в романах героини меряют злодеев с головы до ног.

— Нет, скажите, зачем вы обманули меня? — злобно восклицал Ромашов.— Вы отдались мне только для того, чтобы я не ушел от вас. О, если б вы это сделали по любви, ну, хоть не по любви, а по одной только чувственности. Я бы понял это. Но ведь вы из одной распущенности, из низкого тщеславия. Неужели вас не ужасает мысль, как гадки мы были с вами оба, принадлежа друг другу без любви, от скуки, для развлечения, даже без любопытства, а так... как горничные в праздники грызут подсолнышки. Поймите же: это хуже того, когда женщина отдается за деньги. Там нужда, соблазн... Поймите, мне стыдно, мне гадко думать об этом холодном, бесцельном, об этом неизвиняемом разврате!

С холодным потом на лбу он потухшими, скучающими глазами глядел на танцующих. Вот проплыла, не глядя на своего кавалера, едва перебирая ногами, с неподвижными плечами и с обиженным видом суровой недотроги величественная Тальман и рядом с ней веселый, скачущий козлом Епифанов. Вот маленькая Лыкачева, вся пунцовая, с сияющими глазками, с обнаженной белой, невинной, девической шейкой... Вот Олизар на тонких ногах, прямых и стройных, точно ножки циркуля. Ромашов глядел и чувствовал головную боль и желание плакать. А рядом с ним Раиса, бледная от злости, говорила с преувеличенным театральным сарказмом:

— Прелестно! Пехотный офицер в роли Иосифа Прекрасного!

— Да, да, именно в роли...— вспыхнул Ромашов.— Сам знаю, что это смешно и пошло... Но я не стыжусь скорбеть о своей утраченной чистоте, о простой физической чистоте. Мы оба добровольно влезли в помойную яму, и я чувствую, что теперь я не посмею никогда полюбить хорошей, свежей любовью. И в этом виноваты вы,— слышите: вы, вы, вы! Вы старше и опытнее меня, вы уже достаточно искусились в деле любви.

Петерсон с величественным негодованием поднялась со стула.

— Довольно! — сказала она драматическим тоном.— Вы добились, чего хотели. Я ненавижу вас! Надеюсь, что с этого дня вы прекратите посещения нашего дома, где вас принимали, как родного, кормили и поили вас, но вы оказались таким негодяем. Как я жалею, что не могу открыть всего мужу. Это святой человек, я молюсь на него, и открыть ему все — значило бы убить его. Но поверьте, он сумел бы отомстить за оскорбленную беззащитную женщину.

Ромашов стоял против нее и, болезненно щурясь сквозь очки, глядел на ее большой, тонкий, увядший рот, искривленный от злости. Из окна неслись оглушительные звуки музыки, с упорным постоянством кашлял ненавистный тромбон, а настойчивые удары турецкого барабана раздавались точно в самой голове Ромашова. Он слышал слова Раисы только урывками и не понимал их. Но ему казалось, что и они, как и звуки барабана, бьют его прямо в голову и сотрясают ему мозг.

Раиса с треском сложила веер.

— О, подлец-мерзавец! — прошептала она трагически и быстро пошла через залу в уборную.

Все было кончено, но Ромашов не чувствовал ожидаемого удовлетворения, и с души его не спала внезапно, как он раньше представлял себе, грязная и грубая тяжесть. Нет, теперь он чувствовал, что поступил нехорошо, трусливо и неискренно, свалив всю нравственную вину на ограниченную и жалкую женщину, и воображал себе ее горечь, растерянность и бессильную злобу, воображал ее горькие слезы и распухшие красные глаза там, в уборной.

«Я падаю, я падаю,— думал он с отвращением и со скукой.— Что за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное... Эта развратная и ненужная связь, пьянство, тоска, убийственное однообразие службы, и хоть бы одно живое слово, хоть бы один момент чистой радости. Книги, музыка, наука — где все это?»

Он пошел опять в столовую. Там Осадчий и товарищ Ромашова по роте, Веткин, провожали под руки к выходным дверям совершенно опьяневшего Леха, который слабо и беспомощно мотал головой и уверял, что он архиерей. Осадчий с серьезным лицом говорил рокочущей октавой, по-протодьяконски:

— Благослови, преосвященный владыка. Врремя начатия служения...

По мере того как танцевальный вечер приходил к концу, в столовой становилось еще шумнее. Воздух так был наполнен табачным дымом, что сидящие на разных концах стола едва могли разглядеть друг друга. В одном углу пели, у окна, собравшись кучкой, рассказывали непристойные анекдоты, служившие обычной приправой всех ужинов и обедов.

— Нет, нет, господа... позвольте, вот я вам расскажу! — кричал Арчаковский.— Приходит однажды солдат на постой к хохлу. А у хохла кра-асивая жинка. Вот солдат и думает: как бы мне это...

Едва он кончал, его прерывал ожидавший нетерпеливо своей очереди Василий Васильевич Липский.

— Нет, это что, господа... А вот я знаю один анекдот.

И он еще не успевал кончить, как следующий торопился со своим рассказом.

— А вот тоже, господа. Дело было в Одессе, и притом случай...

Все анекдоты были скверные, похабные и неостроумные, и, как это всегда бывает, возбуждал смех только один из рассказчиков, самый уверенный и циничный.

Веткин, вернувшийся со двора, где он усаживал Леха в экипаж, пригласил к столу Ромашова.

— Садитесь-ка, Жоржинька... Раздавим. Я сегодня богат, как жид. Вчера выиграл и сегодня опять буду метать банк.

Ромашова тянуло поговорить по душе, излить кому-нибудь свою тоску и отвращение к жизни. Выпивая рюмку за рюмкой, он глядел на Веткина умоляющими глазами и говорил убедительным, теплым, дрожащим голосом:

— Мы все, Павел Павлыч, все позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю где, живут совсем, совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно... Друг мой, *как* мы живем! Как мы живем!

— Н-да, брат, что уж тут говорить, жизнь,— вяло ответил Павел Павлович.— Но вообще, это, брат, одна

натурфилософия и энергетика. Послушай, голубчик, что та-такое за штука — энергетика?

— О, что мы делаем! — волновался Ромашов.— Сегодня напьемся пьяные, завтра в роту — раз, два, левой, правой,— вечером опять будем пить, а послезавтра опять в роту. Неужели вся жизнь в этом? Нет, вы подумайте только — вся, вся жизнь!

Веткин поглядел на него мутными глазами, точно сквозь какую-то пленку, икнул и вдруг запел тоненьким, дребезжащим тенорком:

В тиши жила,
В лесу жила,
И вертено крути-ила...

— Плюнь на все, ангел, и береги здоровье.

И от всей своей души
Прялочку любила.

Пойдем играть, Ромашевич-Ромашовский, я тебе займу красненькую.

«Никому это непонятно. Нет у меня близкого человека»,— подумал горестно Ромашов. На мгновение вспомнилась ему Шурочка,— такая сильная, такая гордая, красивая,— и что-то томное, сладкое и безнадежное заныло у него около сердца.

Он до света оставался в собрании, глядел, как играют в штос, и сам принимал в игре участие, но без удовольствия и без увлечения. Однажды он увидел, как Арчаковский, занимавший отдельный столик с двумя безусыми подпрапорщиками, довольно неумело передернул, выбросив две карты сразу в свою сторону. Ромашов хотел было вмешаться, сделать замечание, но тотчас же остановился и равнодушно подумал: «Эх, все равно. Ничего этим не поправлю».

Веткин, проигравший свои миллионы в пять минут, сидел на стуле и спал, бледный, с разинутым ртом. Рядом с Ромашовым уныло глядел на игру Лещенко, и трудно было понять, какая сила заставляет его сидеть здесь часами с таким тоскливым выражением лица. Рассвело. Оплывшие свечи горели желтыми длинными огнями и мигали. Лица играющих офицеров были бледны и казались измученными. А Ромашов все глядел на карты, на кучи серебра и бумажек, на зеленое сукно, исписанное

мелом, и в его отяжелевшей, отуманенной голове вяло бродили все одни и те же мысли: о своем падении и о нечистоте скучной, однообразной жизни.

X

Было золотое, но холодное, настоящее весеннее утро. Цвела черемуха.

Ромашов, до сих пор не приучившийся справляться со своим молодым сном, по обыкновению опоздал на утренние занятия и с неприятным чувством стыда и тревоги подходил к плацу, на котором училась его рота. В этих знакомых ему чувствах всегда было много унизительного для молодого офицера, а ротный командир, капитан Слива, умел делать их еще более острыми и обидными.

Этот человек представлял собою грубый и тяжелый осколок прежней, отошедшей в область предания, жестокой дисциплины, с повальным драньем, мелочной формалистикой, маршировкой в три темпа и кулачной расправой. Даже в полку, который благодаря условиям дикой провинциальной жизни не отличался особенно гуманным направлением, он являлся каким-то диковинным памятником этой свирепой военной старины, и о нем передавалось много курьезных, почти невероятных анекдотов. Все, что выходило за пределы строя, устава и роты и что он презрительно называл чепухой и мандрагорией, безусловно для него не существовало. Влача во всю свою жизнь суровую служебную лямку, он не прочел ни одной книги и ни одной газеты, кроме разве официальной части «Инвалида». Всякие развлечения, вроде танцев, любительских спектаклей и т. п., он презирал всей своей загрубелой душой, и не было таких грязных и скверных выражений, какие он не прилагал бы к ним из своего солдатского лексикона. Рассказывали про него,— и это могло быть правдой,— что в одну чудесную весеннюю ночь, когда он сидел у открытого окна и проверял ротную отчетность, в кустах рядом с ним запел соловей. Слива послушал-послушал и вдруг крикнул денщику:

— З-захарчук! П-рогони эту п-тицу ка-камнем. М-мешает...

Этот вялый, опустившийся на вид человек был страшно суров с солдатами и не только позволял драться унтер-офицерам, но и сам бил жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами. Зато к солдатским нуждам он был внимателен до тонкости: денег, приходивших из деревни, не задерживал и каждый день следил лично за ротным котлом, хотя суммами от вольных работ распоряжался по своему усмотрению. Только в одной пятой роте люди выглядели сытее и веселее, чем у него.

Но молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы, которым его врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Если, например, на ученье субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке:

— От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п-подпоручик идет в ногу.

Иногда же, обругав всю роту матерными словами, он поспешно, но едко прибавлял:

— З-за исключением г-господ офицеров и подпрапорщика.

Но особенно он бывал жесток и утеснителен в тех случаях, когда младший офицер опаздывал в роту, и это чаще всего испытывал на себе Ромашов. Еще издали заметив подпоручика, Слива командовал роте «смирно», точно устраивая опоздавшему иронически-почетную встречу, а сам неподвижно, с часами в руках, следил, как Ромашов, спотыкаясь от стыда и путаясь в шашке, долго не мог найти своего места. Иногда же он с яростною вежливостью спрашивал, не стесняясь того, что это слышали солдаты: «Я думаю, подпоручик, вы позволите продолжать?» В другой раз осведомлялся с предупредительной заботливостью, но умышленно громко, о том, как подпоручик спал и что видел во сне. И только проделав одну из этих штучек, он отводил Ромашова в сторону и, глядя на него в упор круглыми рыбьими глазами, делал ему грубый выговор.

«Эх, все равно уж! — думал с отчаянием Ромашов, подходя к роте.— И здесь плохо и там плохо,— одно к одному. Пропала моя жизнь!»

Ротный командир, поручик Веткин, Лбов и фельдфебель стояли посредине плаца и все вместе обернулись

на подходившего Ромашова. Солдаты тоже повернули к нему головы. В эту минуту Ромашов представил себе самого себя — сконфуженного, идущего неловкой походкой под устремленными на него глазами, и ему стало еще неприятнее.

«Но, может быть, это вовсе не так уж позорно? — пробовал он мысленно себя утешить, по привычке многих застенчивых людей.— Может быть, это только мне кажется таким острым, а другим, право, все равно. Ну, вот, я представляю себе, что опоздал не я, а Лбов, а я стою на месте и смотрю, как он подходит. Ну, и ничего особенного: Лбов — как Лбов... Все пустяки,— решил он, наконец, и сразу успокоился.— Положим, совестно... Но ведь не месяц же это будет длиться, и даже не неделю, не день. Да и вся жизнь так коротка, что все в ней забывается».

Против обыкновения, Слива почти не обратил на него внимания и не выкинул ни одной из своих штучек. Только когда Ромашов остановился в шаге от него, с почтительно приложенной рукой к козырьку и сдвинутыми вместе ногами, он сказал, подавая ему для пожатия свои вялые пальцы, похожие на пять холодных сосисок:

— Прошу помнить, подпоручик, что вы обязаны быть в роте за пять минут до прихода старшего субалтерн-офицера и за десять до ротного командира.

— Виноват, господин капитан,— деревянным голосом ответил Ромашов.

— От, извольте,— виноват!.. Все спите. Во сне шубы не сошьешь. Прошу господ офицеров идти к своим взводам.

Вся рота была по частям разбросана на плацу. Делали повзводно утреннюю гимнастику. Солдаты стояли шеренгами, на шаг расстояния друг от друга, с расстегнутыми, для облегчения движений, мундирами. Расторопный унтер-офицер Бобылев из полуроты Ромашова, почтительно косясь на подходящего офицера, командовал зычным голосом, вытягивая вперед нижнюю челюсть и делая косые глаза:

— Подымание на носки и плавное приседание. Рук-и-и... на-бедр!

И потом затянул, нараспев, низким голосом:

— Начина-а-ай!

— Ра-аз! — запели в унисон солдаты и медленно присели на корточки, а Бобылев, тоже сидя на корточках, обводил шеренгу строгим молодцеватым взглядом.

А рядом маленький вертлявый ефрейтор Сероштан выкрикивал тонким, резким и срывающимся, как у молодого петушка, голосом:

— Выпад с левой и правой ноги, с выбрасыванием соответствующей руки.— Товсь! Начинай! Ать-два, ать-два! — и десять молодых здоровых голосов кричали отрывисто и старательно: — гау, гау, гау, гау!

— Стой!—выкрикнул пронзительно Сероштан.— Лапшин! Ты там что так семетрично дурака валяешь? Суешь кулаками, точно рязанская баба уфатом: хоу, хоу!.. Делай у меня движения чисто, матери твоей черт!

Потом унтер-офицеры беглым шагом развели взводы к машинам, которые стояли в разных концах плаца. Подпрапорщик Лбов, сильный, ловкий мальчик и отличный гимнаст, быстро снял с себя шинель и мундир и, оставшись в одной голубой ситцевой рубашке, первый подбежал к параллельным брусьям. Став руками на их концы, он в три приема раскачался, и вдруг, описав всем телом полный круг, так что на один момент его ноги находились прямо над головой, он с силой оттолкнулся от брусьев, пролетел упругой дугой на полторы сажени вперед, перевернулся в воздухе и ловко, по-кошачьи, присел на землю.

— Подпрапорщик Лбов! Опять фокусничаете! — притворно-строго окрикнул его Слива. Старый «бурбон» в глубине души питал слабость к подпрапорщику, как к отличному фронтовику и тонкому знатоку устава.— Показывайте то, что требуется наставлением. Здесь вам не балаган на Святой неделе.

— Слушаю, господин капитан! — весело гаркнул Лбов.— Слушаю, но не исполняю,— добавил он вполголоса, подмигнув Ромашову.

Четвертый взвод упражнялся на наклонной лестнице. Один за другим солдаты подходили к ней, брались за перекладину, подтягивались на мускулах и лезли на руках вверх. Унтер-офицер Шаповаленко стоял внизу и делал замечания.

— Не болтай ногами. Носки уверх!

Очередь дошла до левофлангового солдатика Хлеб-

никова, который служил в роте общим посмешищем. Часто, глядя на него, Ромашов удивлялся, как могли взять на военную службу этого жалкого, заморенного человека, почти карлика, с грязным безусым лицом в кулачок. И когда подпоручик встречался с его бессмысленными глазами, в которых, как будто раз навсегда, с самого дня рождения, застыл тупой, покорный ужас, то в его сердце шевелилось что-то странное, похожее на скуку и на угрызение совести.

Хлебников висел на руках, безобразный, неуклюжий, точно удавленник.

— Подтягивайся, собачья морда, подтягивайся-а! — кричал унтер-офицер.— Ну, уверх!

Хлебников делал усилия подняться, но лишь беспомощно дрыгал ногами и раскачивался из стороны в сторону. На секунду он обернул в сторону и вниз свое серое маленькое лицо, на котором жалко и нелепо торчал вздернутый кверху грязный нос. И вдруг, оторвавшись от перекладины, упал мешком на землю.

— А-а! Не желаешь делать емнастические упражнения! — заорал унтер-офицер.— Ты, подлец, мне весь взвод нарушаешь! Я т-тебе!

— Шаповаленко, не сметь драться! — крикнул Ромашов, весь вспыхнув от стыда и гнева.— Не смей этого делать никогда! — крикнул он, подбежав к унтер-офицеру и схватив его за плечо.

Шаповаленко вытянулся в струнку и приложил руку к козырьку. В его глазах, ставших сразу по-солдатски бессмысленными, дрожала, однако, чуть заметная насмешливая улыбка.

— Слушаю, ваше благородие. Только позвольте вам доложить: никакой с им возможности нет.

Хлебников стоял рядом, сгорбившись; он тупо смотрел на офицера и вытирал ребром ладони нос. С чувством острого и бесполезного сожаления Ромашов отвернулся от него и пошел к третьему взводу.

После гимнастики, когда людям дан был десятиминутный отдых, офицеры опять сошлись вместе на середине плаца, у параллельных брусьев. Разговор сейчас же зашел о предстоящем майском параде.

— От, извольте угадать, где нарвешься! — говорил Слива, разводя руками и пуча с изумлением водяни-

стые глаза.— То есть, скажу я вам: именно, у каждого генерала своя фантазия. Помню я, был у нас генерал-лейтенант Львович, командир корпуса. Он из инженеров к нам попал. Так при нем мы только и занимались одним самоокапыванием. Устав, приемы, маршировка — все побоку. С утра до вечера строили всякие ложементы, матери их бис! Летом из земли, зимой из снега. Весь полк ходил перепачканный с ног до головы в глине. Командир десятой роты, капитан Алейников, царство ему небесное, был представлен к Анне за то, что в два часа построил какой-то там люнет чи барбет.

— Ловко! — вставил Лбов.

— Потом, это уж на вашей памяти, Павел Павлыч,— стрельба при генерале Арагонском.

— А! Примостився стреляти? — засмеялся Веткин.

— Что это такое? — спросил Ромашов.

Слива презрительно махнул рукой.

— А это то, что тогда у нас только и было в уме, что наставления для обучения стрельбе. Солдат один отвечал «Верую» на смотру, так он так и сказал, вместо «при Понтийстем Пилате» — «примостився стреляти». До того головы всем забили! Указательный палец звали не указательным, а спусковым, а вместо правого глаза был прицельный глаз.

— А помните, Афанасий Кириллыч, как теорию зубрили? — сказал Веткин.— Траектория, деривация... Ейбогу, я сам ничего не понимал. Бывало, скажешь солдату: вот тебе ружье, смотри в дуло. Что видишь? «Бачу воображаемую линию, которая называется осью ствола». Но зато уж стреляли. Помните, Афанасий Кириллыч?

— Ну, как же. За стрельбу наша дивизия попала в заграничные газеты. Десять процентов свыше отличного — от, извольте. Однако и жулили мы, б-батюшки мои! Из одного полка в другой брали взаймы хороших стрелков. А то, бывало, рота стреляет сама по себе, а из блиндажа младшие офицеры жарят из револьверов. Одна рота так отличилась, что стали считать, а в мишени на пять пуль больше, чем выпустили. Сто пять процентов попадания. Спасибо, фельдфебель успел клейстером замазать.

— А при Слесареве, помните шрейберовскую гимнастику?

— Еще бы не помнить! Вот она у меня где сидит. Балеты танцевали. Да мало ли их еще было, генералов этих, черт бы их драл! Но все это, скажу вам, господа, чепуха и мандрагория в сравнении с теперешним. Это уж, что называется — приидите, последнее целование. Прежде по крайности знали, что с тебя спросят, а теперь? Ах, помилуйте, солдатик — ближний, нужна гуманность. Дррать его надо, расподлеца! Ах, развитие умственных способностей, быстрота и соображение. Суворовцы! Не знаешь теперь, чему солдата и учить. От, извольте, выдумал новую штуку, сквозную атаку...

— Да, это не шоколад! — сочувственно кивнул головой Веткин.

— Стоишь, как тот болван, а на тебя казачишки во весь карьер дуют. И насквозь! Ну-ка, попробуй — посторонись-ка. Сейчас приказ: «У капитана такого-то слабые нервы. Пусть помнит, что на службе его никто насильно не удерживает».

— Лукавый старикашка,— сказал Веткин.— Он в К-ском полку какую штуку удрал. Завел роту в огромную лужу и велит ротному командовать: «Ложись!» Тот помялся, однако командует: «Ложись!» Солдаты растерялись, думают, что не расслышали. А генерал при нижних чинах давай пушить командира: «Как ведете роту! Белоручки! Неженки! Если здесь в лужу боятся лечь, то как в военное время вы их подымете, если они под огнем неприятеля залягут куда-нибудь в ров? Не солдаты у вас, а бабы, и командир — баба! На абвахту!»

— А что пользы? При людях срамят командира, а потом говорят о дисциплине. Какая тут к бису дисциплина! А ударить его, каналью, не смей. Не-е-ет... Помилуйте — он личность, он человек! Нет-с, в прежнее время никаких личностев не было, и лупили их, скотов, как сидоровых коз, а у нас были и Севастополь, и итальянский поход, и всякая такая вещь. Ты меня хоть от службы увольняй, а я все-таки, когда мерзавец этого заслужил, я загляну ему куда следует!

— Бить солдата бесчестно,— глухо возразил молчавший до сих пор Ромашов.— Нельзя бить человека, который не только не может тебе ответить, но даже не имеет права поднять руку к лицу, чтобы защититься от удара. Не смеет даже отклонить головы. Это стыдно!

Слива уничтожающе прищурился и сбоку, сверху вниз, выпятив вперед нижнюю губу под короткими седеющими усами, оглядел с ног до головы Ромашова.

— Что т-тако-е? — протянул он тоном крайнего презрения.

Ромашов побледнел. У него похолодело в груди и в животе, а сердце забилось, точно во всем теле сразу.

— Я сказал, что это нехорошо... Да, и повторяю... вот что,— сказал он несвязно, но настойчиво.

— Скажи-т-те пож-жалуйста! — тонко пропел Слива.— Видали мы таких миндальников, не беспокойтесь. Сами через год, если только вас не выпрут из полка, будете по мордасам щелкать. В а-атличнейшем виде. Не хуже меня.

Ромашов поглядел на него в упор с ненавистью и сказал почти шепотом:

— Если вы будете бить солдат, я на вас подам рапорт командиру полка.

— Что-с? — крикнул грозно Слива, но тотчас же оборвался.— Однако довольно-с этой чепухи-с,— сказал он сухо.— Вы, подпоручик, еще молоды, чтобы учить старых боевых офицеров, прослуживших с честью двадцать пять лет своему государю. Прошу господ офицеров идти в ротную школу,— закончил он сердито.

Он резко повернулся к офицерам спиной.

— Охота вам было ввязываться? — примирительно заговорил Веткин, идя рядом с Ромашовым.— Сами видите, что эта слива не из сладких. Вы еще не знаете его, как я знаю. Он вам таких вещей наговорит, что не будете знать, куда деваться. А возразите — он вас под арест законопатит.

— Да послушайте, Павел Павлыч, это же ведь не служба, это — изуверство какое-то! — со слезами гнева и обиды в голосе воскликнул Ромашов.— Эти старые барабанные шкуры издеваются над нами! Они нарочно стараются поддерживать в отношениях между офицерами грубость, солдафонство, какое-то циничное молодечество.

— Ну да, это, конечно, так,— подтвердил равнодушно Веткин и зевнул.

А Ромашов продолжал с горячностью:

— Ну кому нужно, зачем это подтягивание, орание, грубые окрики? Ах, я совсем, совсем не то ожидал найти, когда стал офицером. Никогда я не забуду первого впечатления. Я только три дня был в полку, и меня оборвал этот рыжий пономарь Арчаковский. Я в собрании в разговоре назвал его поручиком, потому что и он меня называл подпоручиком. И он, хотя сидел рядом со мной и мы вместе пили пиво, закричал на меня: «Во-первых, я вам не поручик, а господин поручик, а во-вторых... во-вторых, извольте встать, когда вам делает замечание старший чином!» И я встал и стоял перед ним как оплеванный, пока не осадил его подполковник Лех. Нет, нет, не говорите ничего, Павел Павлыч. Мне все это до такой степени надоело и опротивело!..

XI

В ротной школе занимались «словесностью». В тесной комнате, на скамейках, составленных четырехугольником, сидели лицами внутрь солдаты третьего взвода. В середине этого четырехугольника ходил взад и вперед ефрейтор Сероштан. Рядом, в таком же четырехугольнике, так же ходил взад и вперед другой унтер-офицер полуроты — Шаповаленко.

— Бондаренко! — выкрикнул зычным голосом Сероштан.

Бондаренко, ударившись обеими ногами об пол, вскочил прямо и быстро, как деревянная кукла с заводом.

— Если ты, примерно, Бондаренко, стоишь у строю с ружом, а к тебе подходит начальство и спрашивает: «Что у тебя в руках, Бондаренко?» Что ты должен отвечать?

— Ружо, дяденька? — догадывается Бондаренко.

— Брешешь. Разве же это ружо? Ты бы еще сказал по-деревенски: рушница. То дома было ружо, а на службе зовется просто: малокалиберная скорострельная пехотная винтовка системы Бердана, номер второй, со скользящим затвором. Повтори, сукин сын!

Бондаренко скороговоркой повторяет слова, которые он знал, конечно, и раньше.

— Садись! — командует милостиво Сероштан.— А для чего она тебе дана? На этот вопрос ответит мне...— Он обводит строгими глазами всех подчиненных поочередно: — Шевчук!

Шевчук встает с угрюмым видом и отвечает глухим басом, медленно и в нос и так отрывая фразы, точно он ставит после них точки:

— Вона мини дана для того. Щоб я в мирное время робил с ею ружейные приемы. А в военное время. Защищал престол и отечество от врагов.— Он помолчал, шмыгнул носом и мрачно добавил: — Как унутренних, так и унешних.

— Так. Ты хорошо знаешь, Шевчук, только мямлишь. Солдат должен иметь в себе веселость, как орел. Садись. Теперь скажи, Овечкин: кого мы называем врагами унешними?

Разбитной орловец Овечкин, в голосе которого слышится слащавая скороговорка бывшего мелочного приказчика, отвечает быстро и щеголевато, захлебываясь от удовольствия:

— Внешними врагами мы называем все те самые государствия, с которыми нам приходится вести войну. Французы, немцы, атальянцы, турки, ивропейцы, инди...

— Годи,— обрывает его Сероштан,— этого уже в уставе не значится. Садись, Овечкин. А теперь скажет мне... Архипов! Кого мы называем врагами у-ну-тренни-ми?

Последние два слова он произнес особенно громко и веско, точно подчеркивая их, и бросает многозначительный взгляд в сторону вольноопределяющегося Маркусона.

Неуклюжий, рябой Архипов упорно молчит, глядя в окно ротной школы. Дельный, умный и ловкий парень вне службы, он держит себя на занятиях совершенным идиотом. Очевидно, это происходит оттого, что его здоровый ум, привыкший наблюдать и обдумывать простые и ясные явления деревенского обихода, никак не может уловить связи между преподаваемой ему «словесностью» и действительной жизнью. Поэтому он не понимает и не может заучить самых простых вещей, к великому удивлению и негодованию своего взводного начальника.

— Н-ну! Долго я тебя буду ждать, пока ты соберешься? — начинает сердиться Сероштан.

— Нутренними врагами... врагами...

— Не знаешь? — грозно воскликнул Сероштан и двинулся было на Архипова, но, покосившись на офицера,

только затряс головой и сделал Архипову страшные глаза.— Ну, слухай. Унутренними врагами мы называем усех сопротивляющихся закону. Например, кого?..— Он встречает искательные глаза Овечкина.— Скажи хоть ты, Овечкин.

Овечкин вскакивает и радостно кричит:

— Так что бунтовщики, стюденты, конокрады, жиды и поляки!

Рядом занимается со своим взводом Шаповаленко. Расхаживая между скамейками, он певучим тонким голосом задает вопросы по солдатской памятке, которую держит в руках.

— Солтыс, что такое часовой?

Солтыс, литвин, давясь и тараща глаза от старания, выкрикивает:

— Часовой есть лицо неприкосновенное.

— Ну да, так, а еще?

— Часовой есть солдат, поставленный на какой-либо пост с оружием в руках.

— Правильно. Вижу, Солтыс, что ты уже начинаешь стараться. А для чего ты поставлен на пост, Пахоруков?

— Чтобы не спал, не дремал, не курил и ни от кого не принимал никаких вещей и подарков.

— А честь?

— И чтобы отдавал установленную честь господам проезжающим офицерам.

— Так. Садись.

Шаповаленко давно уже заметил ироническую улыбку вольноопределяющегося Фокина и потому выкрикивает с особенной строгостью:

— Вольный определяющий! Кто же так встает? Если начальство спрашивает, то вставать надо швидко, как пружина. Что есть знамя?

Вольноопределяющийся Фокин, с университетским значком на груди, стоит перед унтер-офицером в почтительной позе. Но его молодые серые глаза искрятся веселой насмешкой.

— Знамя есть священная воинская хоругвь, под которой...

— Брешете! — сердито обрывает его Шаповаленко и ударяет памяткой по ладони.

— Нет, я говорю верно,— упрямо, но спокойно говорит Фокин.

— Что-о?! Если начальство говорит нет, значит нет!

— Посмотрите сами в уставе.

— Як я унтер-офицер, то я и устав знаю, лучше вашего. Скаж-жите! Всякий вольный определяющий задается на макароны. А может, я сам захочу податься в юнкерское училище на обучение? Почему вы знаете? Что это такое за хоругь? Хе-руг-ва! А отнюдь не хоругь. Свяченая воинская херугва, вроде как образ.

— Шаповаленко, не спорь,— вмешивается Ромашов.— Продолжай занятия.

— Слушаю, ваше благородие! — вытягивается Шаповаленко.— Только дозвольте вашему благородию доложить — все этот вольный определяющий умствуют.

— Ладно, ладно, дальше!

— Слушаю, вашбродь... Хлебников! Кто у нас командир корпуса?

Хлебников растерянными глазами глядит на унтерофицера. Из его раскрытого рта вырывается, точно у осипшей вороны, одинокий шипящий звук.

— Раскачивайся! — злобно кричит на него унтерофицер.

— Его...

— Ну,— его... Ну, что ж будет дальше?

Ромашов, который в эту минуту отвернулся в сторону, слышит, как Шаповаленко прибавляет пониженным тоном, хрипло:

— Вот погоди, я тебе после учения разглажу морду-то!

И так как Ромашов в эту секунду повертывается к нему, он произносит громко и равнодушно:

— Его высокопревосходительство... Ну, что ж ты, Хлебников, дальше!..

— Его... инфантерии... лентинант,— испуганно и отрывисто бормочет Хлебников.

— А-а-а! — хрипит, стиснув зубы, Шаповаленко.— Ну, что я с тобой, Хлебников, буду делать? Бьюсь, бьюсь я с тобой, а ты совсем как верблюд, только рогов у тебя нема. Никакого старания. Стой так до конца словесности столбом. А после обеда явишься ко мне, буду от-

дельно с тобой заниматься. Греченко! Кто у нас командир корпуса?

«Так сегодня, так будет завтра и послезавтра. Все одно и то же до самого конца моей жизни,— думал Ромашов, ходя от взвода к взводу.— Бросить все, уйти?.. Тоска!..»

После словесности люди занимались на дворе приготовительными к стрельбе упражнениями. В то время как в одной части люди целились в зеркало, а в другой стреляли дробинками в мишень,— в третьей наводили винтовки в цель на приборе Ливчака. Во втором взводе подпрапорщик Лбов заливался на весь плац веселым звонким тенорком:

— Пря-мо... по колонне... па-альба ротою... ать, два! Рота-а...— он затягивал последний звук, делал паузу и потом отрывисто бросал: — Пли!

Щелкали ударники. А Лбов, радостно щеголяя голосом, снова заливался:

— К но-о-о... ип!

Слива ходил от взвода к взводу, сгорбленный, вялый, поправлял стойку и делал короткие, грубые замечания.

— Убери брюхо! Стоишь, как беременная баба! Как ружье держишь? Ты не дьякон со свечой! Что рот разинул, Карташов? Каши захотел? Где трыньчик? Фельдфебель, поставить Карташова на час после учения под ружье. Кан-налья! Как шинель скатал, Веденеев? Ни начала, ни конца, ни бытия своего не имеет. Балбес!

После стрельбы люди составили ружья и легли около них на молодой весенней травке, уже выбитой кое-где солдатскими сапогами. Было тепло и ясно. В воздухе пахло молодыми листочками тополей, которые двумя рядами росли вдоль шоссе. Веткин опять подошел к Ромашову.

— Плюньте, Юрий Алексеевич,— сказал он Ромашову, беря его под руку.— Стоит ли? Вот кончим учение, пойдем в собрание, тяпнем по рюмке, и все пройдет. А?

— Скучно мне, милый Павел Павлыч,— тоскливо произнес Ромашов.

— Что говорить, невесело,— сказал Веткин.— Но как же иначе? Надо же людей учить делу. А вдруг война?

— Разве что война,— уныло согласился Ромашов.— А зачем война? Может быть, все это какая-то общая ошибка, какое-то всемирное заблуждение, помешательство? Разве естественно убивать?

— Э-э, развели философию. Какого черта! А если на нас вдруг нападут немцы? Кто будет Россию защищать?

— Я ведь ничего не знаю и не говорю, Павел Павлыч,— жалобно и кротко возразил Ромашов,— я ничего, ничего не знаю. Но вот, например, североамериканская война или тоже вот освобождение Италии, а при Наполеоне — гверильясы... и еще шуаны во время революции... Дрались же, когда приходила надобность! Простые землепашцы, пастухи...

— То американцы... Эк вы приравняли... Это дело десятое. А по-моему, если так думать, то уж лучше не служить. Да и вообще в нашем деле думать не полагается. Только вопрос: куда же мы с вами денемся, если не будем служить? Куда мы годимся, когда мы только и знаем — левой, правой,— а больше ни бе, ни ме, ни кукуреку. Умирать мы умеем, это верно. И умрем, дьявол нас задави, когда потребуют. По крайности недаром хлеб ели. Так-то, господин филозо́ф. Пойдем после ученья со мной в собрание?

— Что ж, пойдемте,— равнодушно согласился Ромашов.— Собственно говоря, это свинство так ежедневно проводить время. А вы правду говорите, что если так думать, то уж лучше совсем не служить.

Разговаривая, они ходили взад и вперед по плацу и остановились около четвертого взвода. Солдаты сидели и лежали на земле около составленных ружей. Некоторые ели хлеб, который солдаты едят весь день, с утра до вечера, и при всех обстоятельствах: на смотрах, на привалах во время маневров, в церкви перед исповедью и даже перед телесным наказанием.

Ромашов услышал, как чей-то равнодушно-задирающий голос окликнул:

— Хлебников, а Хлебников!..

— А? — угрюмо в нос отозвался Хлебников.

— Ты что дома делал?

— Робил,— сонно ответил Хлебников.

— Да что робил-то, дурья голова?

— Все. Землю пахал, за скотиной ходил.

— Чего ты к нему привязался? — вмешивается старослуживый солдат, дядька Шпынев.— Известно, чего робил: робят сиськой кормил.

Ромашов мимоходом взглянул на серое, жалкое, голое лицо Хлебникова, и опять в душе его заскребло какое-то неловкое, больное чувство.

— В ружье! — крикнул с середины плаца Слива.— Господа офицеры, по местам!

Залязгали ружья, цепляясь штыком за штык. Солдаты, суетливо одергиваясь, становились на свои места.

— Рравняйсь! — скомандовал Слива. — Смирна!

Затем, подойдя ближе к роте, он закричал нараспев:

— Ружейные приемы, по разделениям, счет вслух... Рота, ша-ай... на кра-ул!

— Рраз! — гаркнули солдаты и коротко взбросили ружья кверху.

Слива медленно обошел строй, делая отрывистые замечания: «доверни приклад», «выше штык», «приклад на себя». Потом он опять вернулся перед роту и скомандовал:

— Дела-ай... два!

— Два! — крикнули солдаты.

И опять Слива пошел по строю проверять чистоту и правильность приема.

После ружейных приемов по разделениям шли приемы без разделений, потом повороты, вздваивание рядов, примыкание и размыкание и другие разные построения. Ромашов исполнял, как автомат, все, что от него требовалось уставом, но у него не выходили из головы слова, небрежно оброненные Веткиным: «Если так думать, то нечего и служить. Надо уходить со службы». И все эти хитрости военного устава: ловкость поворотов, лихость ружейных приемов, крепкая постановка ноги в маршировке, а вместе с ними все эти тактики и фортификации, на которые он убил девять лучших лет своей жизни, которые должны были наполнить и всю его остальную жизнь и которые еще так недавно казались ему таким важным и мудрым делом,— все это вдруг представилось ему чем-то скучным, неестественным, выдуманным, чем-то бесцельным и праздным, порожденным всеобщим мировым самообманом, чем-то похожим на нелепый бред.

Когда же учение окончилось, они пошли с Веткиным в собрание и вдвоем с ним выпили очень много водки. Ромашов, почти потеряв сознание, целовался с Веткиным, плакал у него на плече громкими истеричными слезами, жалуясь на пустоту и тоску жизни, и на то, что его никто не понимает, и на то, что его не любит «одна женщина», а кто она — этого никто никогда не узнает; Веткин же хлопал рюмку за рюмкой и только время от времени говорил с презрительной жалостью:

— Одно скверно, Ромашов, не умеете вы пить. Выпили рюмку и раскисли.

Потом вдруг он ударял кулаком по столу и кричал грозно:

— А велят умереть — умрем!

— Умрем,— жалобно отвечал Ромашов.— Что — умереть? Это чепуха — умереть... Душа болит у меня...

Ромашов не помнил, как он добрался домой и кто его уложил в постель. Ему представлялось, что он плавает в густом синем тумане, по которому рассыпаны миллиарды миллиардов микроскопических искорок. Этот туман медленно колыхался вверх и вниз, подымая и опуская в своих движениях тело Ромашова, и от этой ритмичной качки сердце подпоручика ослабевало, замирало и томилось в отвратительном, раздражающем чувстве тошноты. Голова казалась распухшей до огромных размеров, и в ней чей-то неотступный, безжалостный голос кричал, причиняя Ромашову страшную боль:

— Дела-ай раз!.. Дела-ай два!

XII

День 23 апреля был для Ромашова очень хлопотливым и очень странным днем. Часов в десять утра, когда подпоручик лежал еще в постели, пришел Степан, денщик Николаевых, с запиской от Александры Петровны.

«Милый Ромочка,— писала она,— я бы вовсе не удивилась, если бы узнала, что вы забыли о том, что сегодня день наших общих именин. Так вот, напоминаю вам об этом. *Несмотря ни на что,* я все-таки хочу вас сегодня видеть! Только не приходите поздравлять днем, а прямо к пяти часам. Поедем пикником на Дубечную.

Ваша А. Н.»

Письмо дрожало в руках у Ромашова, когда он его читал. Уже целую неделю не видал он милого, то ласкового, то насмешливого, то дружески-внимательного лица Шурочки, не чувствовал на себе ее нежного и властного обаяния. «Сегодня!» — радостно сказал внутри его ликующий шепот.

— Сегодня! — громко крикнул Ромашов и босой соскочил с кровати на пол.— Гайнан, умываться!

Вошел Гайнан.

— Ваша благородия, там денщик стоит. Спрашивает: будешь писать ответ?

— Вот так-так! — Ромашов вытаращил глаза и слегка присел.— Ссс... Надо бы ему на чай, а у меня ничего нет.— Он с недоумением посмотрел на денщика.

Гайнан широко и радостно улыбнулся.

— Мине тоже ничего нет!.. Тебе нет, мине нет. Э, чего там! Она и так пойдет.

Быстро промелькнула в памяти Ромашова черная весенняя ночь, грязь, мокрый, скользкий плетень, к которому он прижался, и равнодушный голос Степана из темноты: «Ходит, ходит каждый день...» Вспомнился ему и собственный нестерпимый стыд. О, каких будущих блаженств не отдал бы теперь подпоручик за двугривенный, за один двугривенный!

Ромашов судорожно и крепко потер руками лицо и даже крякнул от волнения.

— Гайнан,— сказал он шепотом, боязливо косясь на дверь.— Гайнан, ты поди скажи ему, что подпоручик вечером непременно дадут ему на чай. Слышишь: непременно.

Ромашов переживал теперь острую денежную нужду. Кредит был прекращен ему повсюду: в буфете, в офицерской экономической лавочке, в офицерском капитале... Можно было брать только обед и ужин в собрании, и то без водки и закуски. У него даже не было ни чаю, ни сахару. Оставалась только, по какой-то насмешливой игре случая, огромная жестянка кофе. Ромашов мужественно пил его по утрам без сахару, а вслед за ним, с такой же покорностью судьбе, допивал его Гайнан.

И теперь, с гримасами отвращения прихлебывая черную, крепкую, горькую бурду, подпоручик глубоко заду-

мался над своим положением. «Гм... во-первых, как явиться без подарка? Конфеты или перчатки? Впрочем, неизвестно, какой номер она носит. Конфеты? Лучше бы всего духи: конфеты здесь отвратительные... Веер? Гм!.. Да, конечно, лучше духи. Она любит Эсс-буке. Потом расходы на пикнике: извозчик туда и обратно, скажем — пять, на чай Степану — ррубль! Да-с, господин подпоручик Ромашов, без десяти рублей вам не обойтись».

И он стал перебирать в уме все ресурсы. Жалованье? Но не далее как вчера он расписался на получательной ведомости: «Расчет верен. Подпоручик Ромашов». Все его жалованье было аккуратно разнесено по графам, в числе которых значилось и удержание по частным векселям; подпоручику не пришлось получить ни копейки. Может быть, попросить вперед? Это средство пробовалось им по крайней мере тридцать раз, но всегда без успеха. Казначеем был штабс-капитан Дорошенко — человек мрачный и суровый, особенно к «фендрикам». В турецкую войну он был ранен, но в самое неудобное и непочетное место — в пятку. Вечные подтрунивания и остроты над его раной (которую он, однако, получил не в бегстве, а в то время, когда, обернувшись к своему взводу, командовал наступление) сделали то, что, отправившись на войну жизнерадостным прапорщиком, он вернулся с нее желчным и раздражительным ипохондриком. Нет, Дорошенко не даст денег, а тем более подпоручику, который уже третий месяц пишет: «Расчет верен».

«Но не будем унывать! — говорил сам себе Ромашов.— Переберем в памяти всех офицеров. Начнем с ротных. По порядку. Первая рота — Осадчий».

Перед Ромашовым встало удивительное, красивое лицо Осадчего, с его тяжелым, звериным взглядом. «Нет — кто угодно, только не он. Только не он. Вторая рота — Тальман. Милый Тальман: он вечно и всюду хватает рубли, даже у подпрапорщиков. Хутынский?»

Ромашов задумался. Шальная, мальчишеская мысль мелькнула у него в голове: пойти и попросить взаймы у полкового командира. «Воображаю! Наверно, сначала оцепенеет от ужаса, потом задрожит от бешенства, а потом выпалит, как из мортиры: «Что-о? Ма-ал-чать! На четверо суток на гауптвахту!»

Подпоручик расхохотался. Нет, все равно, что-нибудь да придумается! День, начавшийся так радостно, не может быть неудачным. Это неуловимо, это непостижимо, но оно всегда безошибочно чувствуется где-то в глубине, за сознанием.

«Капитан Дювернуа? Его солдаты смешно называют: Доверни-нога. А вот тоже, говорят, был какой-то генерал Будберг фон Шауфус,— так его солдаты окрестили: Будка за цехаузом. Нет, Дювернуа скуп и не любит меня — я это знаю...»

Так перебрал он всех ротных командиров от первой роты до шестнадцатой и даже до нестроевой, потом со вздохом перешел к младшим офицерам. Он еще не терял уверенности в успехе, но уже начинал смутно беспокоиться, как вдруг одно имя сверкнуло у него в голове: «Подполковник Рафальский!»

— Рафальский. А я-то ломал голову!.. Гайнан! Сюртук, перчатки, пальто — живо!

Подполковник Рафальский, командир четвертого батальона, был старый причудливый холостяк, которого в полку, шутя и, конечно, за глаза, звали полковником Бремом. Он ни у кого из товарищей не бывал, отделываясь только официальными визитами на пасху и на Новый год, а к службе относился так небрежно, что постоянно получал выговоры в приказах и жестокие разносы на ученьях. Все свое время, все заботы и всю неиспользованную способность сердца к любви и к привязанности он отдавал своим милым зверям — птицам, рыбам и четвероногим, которых у него был целый большой и оригинальный зверинец. Полковые дамы, в глубине души уязвленные его невниманием к ним, говорили, что они не понимают, как это можно бывать у Рафальского: «Ах, это такой ужас, эти звери! И притом, извините за выражение,— ззапах! фи!».

Все свои сбережения полковник Брем тратил на зверинец. Этот чудак ограничил свои потребности последней степенью необходимого: носил шинель и мундир бог знает какого срока, спал кое-как, ел из котла пятнадцатой роты, причем все-таки вносил в этот котел сумму для солдатского приварка более чем значительную. Но товарищам, особенно младшим офицерам, он, когда бывал при деньгах, редко отказывал в небольших одолжениях.

Справедливость требует прибавить, что отдавать ему долги считалось как-то непринятым, даже смешным — на то он и слыл чудаком, полковником Бремом.

Беспутные прапорщики, вроде Лбова, идя к нему просить взаймы два целковых, так и говорили: «Иду смотреть зверинец». Это был подход к сердцу и к карману старого холостяка. «Иван Антоныч, нет ли новеньких зверьков? Покажите, пожалуйста. Так вы все это интересно рассказываете...»

Ромашов также нередко бывал у него, но пока без корыстных целей: он и в самом деле любил животных какой-то особенной, нежной и чувственной любовью. В Москве, будучи кадетом и потом юнкером, он гораздо охотнее ходил в цирк, чем в театр, а еще охотнее в зоологический сад и во все зверинцы. Мечтой его детства было — иметь сенбернара; теперь же он мечтал тайно о должности батальонного адъютанта, чтобы приобрести лошадь. Но обеим мечтам не суждено было осуществиться: в детстве — из-за бедности, в которой жила его семья, а адъютантом его вряд ли могли бы назначить, так как он не обладал «представительной фигурой».

Он вышел из дому. Теплый весенний воздух с нежной лаской гладил его щеки. Земля, недавно обсохшая после дождя, подавалась под ногами с приятной упругостью. Из-за заборов густо и низко свешивались на улицу белые шапки черемухи и лиловые — сирени. Что-то вдруг с необыкновенной силой расширилось в груди Ромашова, как будто бы он собирался лететь. Оглянувшись кругом и видя, что на улице никого нет, он вынул из кармана Шурочкино письмо, перечитал его и крепко прижался губами к ее подписи.

— Милое небо! Милые деревья! — прошептал он с влажными глазами.

Полковник Брем жил в глубине двора, обнесенного высокой зеленой решеткой. На калитке была краткая надпись: «Без звонка не входить. Собаки!!» Ромашов позвонил. Из калитки вышел вихрастый, ленивый, заспанный денщик.

— Полковник дома?

— Пожалуйте, ваше благородие.

— Да ты поди доложи сначала.

— Ничего, пожалуйте так.— Денщик сонно почесал ляжку.— Они этого не любят, чтобы, например, докладать.

Ромашов пошел вдоль кирпичатой дорожки к дому. Из-за угла выскочили два огромных молодых корноухих дога мышастого цвета. Один из них громко, но добродушно залаял. Ромашов пощелкал ему пальцами, и дог принялся оживленно метаться передними ногами то вправо, то влево и еще громче лаять. Товарищ же его шел по пятам за подпоручиком и, вытянув морду, с любопытством принюхивался к полам его шинели. В глубине двора, на зеленой молодой траве, стоял маленький ослик. Он мирно дремал под весенним солнцем, жмурясь и двигая ушами от удовольствия. Здесь же бродили куры и разноцветные петухи, утки и китайские гуси с наростами на носах; раздирательно кричали цесарки, а великолепный индюк, распустив хвост и чертя крыльями землю, надменно и сладострастно кружился вокруг тонкошеих индюшек. У корыта лежала боком на земле громадная розовая йоркширская свинья.

Полковник Брем, одетый в кожаную шведскую куртку, стоял у окна, спиною к двери, и не заметил, как вошел Ромашов. Он возился около стеклянного аквариума, запустив в него руку по локоть. Ромашов должен был два раза громко прокашляться, прежде чем Брем повернул назад свое худое, бородатое, длинное лицо в старинных черепаховых очках.

— А-а, подпоручик Ромашов! Милости просим, милости просим...— сказал Рафальский приветливо.— Простите, не подаю руки — мокрая. А я, видите ли, некоторым образом, новый сифон устанавливаю. Упростил прежний, и вышло чудесно. Хотите чаю?

— Покорно благодарю. Пил уже. Я, господин полковник, пришел...

— Вы слышали: носятся слухи, что полк переведут в другой город,— говорил Рафальский, точно продолжая только что прерванный разговор.— Вы понимаете, я, некоторым образом, просто в отчаянии. Вообразите себе, ну как я своих рыб буду перевозить? Половина ведь подохнет. А аквариум? Стекла — посмотрите вы сами — в полторы сажени длиной. Ах, батеньки! — вдруг перескочил он на другой предмет.— Какой аквариум я видал

в Севастополе! Водоемы... некоторым образом... ей-богу, вот в эту комнату, каменные, с проточной морской водой. Электричество! Стоишь и смотришь сверху, как это рыбье живет. Белуги, акулы, скаты, морские петухи — ах, миленькие мои! Или, некоторым образом, морской кот: представьте себе этакий блин, аршина полтора в диаметре, и шевелит краями, понимаете, этак волнообразно, а сзади хвост, как стрела... Я часа два стоял... Чему вы смеетесь?

— Простите... Я только что заметил,— у вас на плече сидит белая мышь...

— Ах ты, мошенница, куда забралась! — Рафальский повернул голову и издал губами звук вроде поцелуя, но необыкновенно тонкий, похожий на мышиный писк. Маленький белый красноглазый зверек спустился к нему до самого лица и, вздрагивая всем тельцем, стал суетливо тыкаться мордочкой в бороду и в рот человеку.

— Как они вас знают! — сказал Ромашов.

— Да... знают.— Рафальский вздохнул и покачал головой.— А вот то-то и беда, что мы-то их не знаем. Люди выдрессировали собаку, приспособили, некоторым образом, лошадь, приручили кошку, а что это за существа такие — этого мы даже знать не хотим. Иной ученый всю жизнь, некоторым образом, черт бы его побрал, посвятит на объяснение какого-то ерундовского допотопного слова, и уж такая ему за это честь, что заживо в святые превозносят. А тут... возьмите вы хоть тех же самых собак. Живут с нами бок о бок живые, мыслящие, разумные животные, и хоть бы один приват-доцент удостоил заняться их психологией!

— Может быть, есть какие-нибудь труды, но мы их не знаем? — робко предположил Ромашов.

— Труды? Гм... конечно, есть, и капитальнейшие. Вот, поглядите, даже у меня — целая библиотека.— Подполковник указал рукой на ряд шкафов вдоль стен.— Умно пишут и проникновенно. Знания огромнейшие! Какие приборы, какие остроумные способы... Но не то, вовсе не то, о чем я говорю! Никто из них, некоторым образом, не догадался задаться целью — ну хоть бы проследить внимательно один только день собаки или кошки. Ты вот поди-ка, понаблюдай-ка: как собака живет, что она думает, как хитрит, как страдает, как радуется. Послушай-

те: я видал, чего добиваются от животных клоуны. Поразительно!.. Вообразите себе гипноз, некоторым образом, настоящий, неподдельный гипноз! Что мне один клоун показывал в Киеве в гостинице — это удивительно, просто невероятно! Но ведь вы подумайте — клоун, клоун! А что если бы этим занялся серьезный естествоиспытатель, вооруженный знанием, с их замечательным умением обставлять опыты, с их научными средствами. О, какие бы поразительные вещи мы услышали об умственных способностях собаки, о ее характере, о знании чисел, да мало ли о чем! Целый мир, огромный, интересный мир. Ну, вот, как хотите, а я убежден, например, что у собак есть свой язык, и, некоторым образом, весьма обширный язык.

— Так отчего же они этим до сих пор не занялись, Иван Антонович? — спросил Ромашов.— Это же так просто!

Рафальский язвительно засмеялся.

— Именно оттого,— хе-хе-хе, — что просто. Именно оттого. Веревка — вервие простое. Для него, во-первых, собака — что такое? Позвоночное, млекопитающее, хищное, из породы собаковых и так далее. Все это верно. Нет, но ты подойди к собаке как к человеку, как к ребенку, как к мыслящему существу. Право, они со своей научной гордостью недалеки от мужика, полагающего, что у собаки, некоторым образом, вместо души пар.

Он замолчал и принялся, сердито сопя и кряхтя, возиться над гуттаперчевой трубкой, которую он прилаживал ко дну аквариума. Ромашов собрался с духом.

— Иван Антонович, у меня к вам большая, большая просьба...

— Денег?

— Право, совестно вас беспокоить. Да мне немного, рублей с десяток. Скоро отдать не обещаюсь, но...

Иван Антонович вынул руки из воды и стал вытирать их полотенцем.

— Десять могу. Больше не могу, а десять с превеликим удовольствием. Вам, небось, на глупости? Ну, ну, ну, я шучу. Пойдемте.

Он повел его за собою через всю квартиру, состоявшую из пяти-шести комнат. Не было в них ни мебели, ни занавесок. Воздух был пропитан острым запахом, свой-

ственным жилью мелких хищников. Полы были загажены до того, что по ним скользили ноги.

Во всех углах были устроены норки и логовища в виде будочек, пустых пней, бочек без доньев. В двух комнатах стояли развесистые деревья — одно для птиц, другое для куниц и белок, с искусственными дуплами и гнездами. В том, как были приспособлены эти звериные жилища, чувствовалась заботливая обдуманность, любовь к животным и большая наблюдательность.

— Видите вы этого зверя? — Рафальский показал пальцем на маленькую конурку, окруженную частой загородкой из колючей проволоки. Из ее полукруглого отверстия, величиной с донце стакана, сверкали две черные яркие точечки.— Это самое хищное, самое, некоторым образом, свирепое животное во всем мире. Хорек. Нет, вы не думайте, перед ним все эти львы и пантеры — кроткие телята. Лев съел свой пуд мяса и отвалился,— смотрит благодушно, как доедают шакалы. А этот миленький прохвост, если заберется в курятник, ни одной курицы не оставит—непременно у каждой перекусит вот тут, сзади, мозжечок. До тех пор не успокоится, подлец. И притом самый дикий, самый неприручимый из всех зверей. У, ты, злодей!

Он сунул руку за загородку. Из круглой дверки тотчас же высунулась маленькая разъяренная мордочка с разинутой пастью, в которой сверкали белые острые зубки. Хорек быстро то показывался, то прятался, сопровождая это звуками, похожими на сердитый кашель.

— Видите, каков? А ведь целый год его кормлю...

Подполковник, по-видимому, совсем забыл о просьбе Ромашова. Он водил его от норы к норе и показывал ему своих любимцев, говоря о них с таким увлечением и с такой нежностью, с таким знанием их обычаев и характеров, точно дело шло о его добрых, милых знакомых. В самом деле, для любителя, да еще живущего в захолустном городишке, у него была порядочная коллекция: белые мыши, кролики, морские свинки, ежи, сурки, несколько ядовитых змей в стеклянных ящиках, несколько сортов ящериц, две обезьяны-мартышки, черный австралийский заяц и редкий, прекрасный экземпляр ангорской кошки.

— Что? Хороша? — спросил Рафальский, указывая на кошку.— Не правда ли, некоторым образом, прелесть? Но не уважаю. Глупа. Глупее всех кошек. Вот опять!— вдруг оживился он.— Опять вам доказательство, как мы небрежны к психике наших домашних животных. Что мы знаем о кошке? А лошади? А коровы? А свиньи? Знаете, кто еще замечательно умен? Это свинья. Да, да, вы не смейтесь,— Ромашов и не думал смеяться,— свиньи страшно умны. У меня кабан в прошлом году какую штуку выдумал. Привозили мне барду с сахарного завода, некоторым образом, для огорода и для свиней. Так ему, видите ли, не хватало терпения дожидаться. Возчик уйдет за моим денщиком, а он зубами возьмет и вытащит затычку из бочки. Барда, знаете, льется, а он себе блаженствует. Да это что еще: один раз, когда его уличили в этом воровстве, так он не только вынул затычку, а отнес ее на огород и зарыл в грядку. Вот вам и свинья. Признаться,— Рафальский прищурил один глаз и сделал хитрое лицо,— признаться, я о своих свиньях маленькую статеечку пишу... Только шш!.. секрет... никому. Как-то неловко: подполковник славной русской армии и вдруг — о свиньях. Теперь у меня вот йоркширы. Видали? Хотите, пойдем поглядеть? Там у меня на дворе есть еще барсучок молоденький, премилый барсучишка... Пойдемте?

— Простите, Иван Антонович,—замялся Ромашов.— Я бы с радостью. Но только, ей-богу, нет времени.

Рафальский ударил себя ладонью по лбу.

— Ах, батюшки! Извините вы меня, ради бога. Я-то, старый, разболтался... Ну, ну, ну, идем скорее.

Они вошли в маленькую голую комнату, где буквально ничего не было, кроме низкой походной кровати, полотно которой провисло, точно дно лодки, да ночного столика с табуреткой. Рафальский отодвинул ящик столика и достал деньги.

— Очень рад служить вам, подпоручик, очень рад. Ну, вот... какие еще там благодарности!.. Пустое... Я рад... Заходите, когда есть время. Потолкуем.

Выйдя на улицу, Ромашов тотчас же наткнулся на Веткина. Усы у Павла Павловича были лихо растрепаны, а фуражка с приплюснутыми на боках, для франтовства, полями ухарски сидела набекрень.

— А-а! Принц Гамлет! — крикнул радостно Веткин.— Откуда и куда? Фу, черт, вы сияете, точно именинник.

— Я и есть именинник,— улыбнулся Ромашов.

— Да? А ведь и верно: Георгий и Александра. Божественно. Позвольте заключить в пылкие объятия!

Они тут же, на улице, крепко расцеловались.

— Может быть, по этому случаю зайдем в собрание? Вонзим точию по единой, как говорит наш великосветский друг Арчаковский? — предложил Веткин.

— Не могу, Павел Павлыч. Тороплюсь. Впрочем, кажется, вы сегодня уже подрезвились?

— О-о-о! — Веткин значительно и гордо кивнул подбородком вверх.— Я сегодня проделал такую комбинацию, что у любого министра финансов живот бы заболел от зависти.

— Именно?

Комбинация Веткина оказалась весьма простой, но не лишенной остроумия, причем главное участие в ней принимал полковой портной Хаим. Он взял от Веткина расписку в получении мундирной пары, но на самом деле изобретательный Павел Павлович получил от портного не мундир, а тридцать рублей наличными деньгами.

— И в конце концов оба мы остались довольны,— говорил ликующий Веткин,— и жид доволен, потому что вместо своих тридцати рублей получит из обмундировальной кассы сорок пять, и я доволен, потому что взогрею сегодня в собрании всех этих игрочишек. Что? Ловко обстряпано?

— Ловко! — согласился Ромашов.— Приму к сведению в следующий раз. Однако прощайте, Павел Павлыч. Желаю счастливой карты.

Они разошлись. Но через минуту Веткин окликнул товарища. Ромашов обернулся.

— Зверинец смотрели? — лукаво спросил Веткин, указывая через плечо большим пальцем на дом Рафальского.

Ромашов кивнул головой и сказал с убеждением:

— Брем у нас славный человек. Такой милый!

— Что и говорить! — согласился Веткин.— Только — псих!

XIII

Подъезжая около пяти часов к дому, который занимали Николаевы, Ромашов с удивлением почувствовал, что его утренняя радостная уверенность в успехе нынешнего дня сменилась в нем каким-то странным, беспричинным беспокойством. Он чувствовал, что случилось это не вдруг, не сейчас, а когда-то гораздо раньше; очевидно, тревога нарастала в его душе постепенно и незаметно, начиная с какого-то ускользнувшего момента. Что это могло быть? С ним происходили подобные явления и прежде, с самого раннего детства, и он знал, что, для того чтобы успокоиться, надо отыскать первоначальную причину этой смутной тревоги. Однажды, промучившись таким образом целый день, он только к вечеру вспомнил, что в полдень, переходя на станции через рельсы, он был оглушен неожиданным свистком паровоза, испугался и, сам этого не заметив, пришел в дурное настроение; но—вспомнил, и ему сразу стало легко и даже весело.

И он принялся быстро перебирать в памяти все впечатления дня в обратном порядке. Магазин Свидерского; духи; нанял извозчика Лейбу — он чудесно ездит; справлялся на почте, который час; великолепное утро; Степан... Разве в самом деле Степан? Но нет — для Степана лежит отдельно в кармане приготовленный рубль. Что же это такое? Что?

У забора уже стояли три пароконные экипажа. Двое денщиков держали в поводу оседланных лошадей: бурого старого мерина, купленного недавно Олизаром из кавалерийского брака, и стройную, нетерпеливую, с сердитым огненным глазом, золотую кобылу Бек-Агамалова.

«Ах — письмо! — вдруг вспыхнуло в памяти Ромашова.— Эта странная фраза: *несмотря ни на что*... И подчеркнуто... Значит, что-то есть? Может быть, Николаев сердится на меня? Ревнует? Может быть, какая-нибудь сплетня? Николаев был в последние дни так сух со мною. Нет, нет, проеду мимо!»

— Дальше! — крикнул он извозчику.

Но тотчас же он — не услышал и не увидел, а скорее почувствовал, как дверь в доме отворилась,— почувствовал по сладкому и бурному биению своего сердца.

— Ромочка! Куда же это вы? — раздался сзади него веселый, звонкий голос Александры Петровны.

Он дернул Лейбу за кушак и выпрыгнул из экипажа. Шурочка стояла в черной раме раскрытой двери. На ней было белое гладкое платье с красными цветами за поясом, с правого бока; те же цветы ярко и тепло краснели в ее волосах. Странно: Ромашов знал безошибочно, что это — она, и все-таки точно не узнавал ее. Чувствовалось в ней что-то новое, праздничное и сияющее.

В то время когда Ромашов бормотал свои поздравления, она, не выпуская его руки из своей, нежным и фамильярным усилием заставила его войти вместе с ней в темную переднюю. И в это время она говорила быстро и вполголоса:

— Спасибо, Ромочка, что приехали. Ах, я так боялась, что вы откажетесь. Слушайте: будьте сегодня милы и веселы. Не обращайте ни на что внимания. Вы смешной: чуть вас тронешь, вы и завяли. Такая вы стыдливая мимоза.

— Александра Петровна... сегодня ваше письмо так смутило меня. Там есть одна фраза.

— Милый, милый, не надо!..— Она взяла обе его руки и крепко сжимала их, глядя ему прямо в глаза. В этом взгляде было опять что-то совершенно незнакомое Ромашову — какая-то ласкающая нежность, и пристальность, и беспокойство, а еще дальше, в загадочной глубине синих зрачков, таилось что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом, темном языке души...

— Пожалуйста, не надо. Не думайте сегодня об этом... Неужели вам не довольно того, что я все время стерегла, как вы проедете. Я ведь знаю, какой вы трусишка. Не смейте на меня так глядеть!

Она смущенно засмеялась и покачала головой.

— Ну, довольно... Ромочка неловкий, опять вы не целуете рук! Вот так. Теперь другую. Так. Умница. Идемте. Не забудьте же,— проговорила она торопливым, горячим шепотом,— сегодня наш день. Царица Александра и ее рыцарь Георгий. Слышите? Идемте.

— Вот, позвольте вам... Скромный дар...

— Что это? Духи? Какие вы глупости делаете! Нет, нет, я шучу. Спасибо вам, милый Ромочка. Володя! —

сказала она громко и непринужденно, входя в гостиную.— Вот нам и еще один компаньон для пикника. И еще вдобавок именинник.

В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бывает перед общим отъездом. Густой табачный дым казался небесно-голубым в тех местах, где его прорезывали, стремясь из окон, наклонные снопы весеннего солнца. Посреди гостиной стояли, оживленно говоря, семь или восемь офицеров, и из них громче всех кричал своим осипшим голосом, ежесекундно кашляя, высокий Тальман. Тут были: капитан Осадчий, и неразлучные адъютанты Олизар с Бек-Агамаловым, и поручик Андрусевич, маленький бойкий человек с острым крысиным личиком, и еще кто-то, кого Ромашов сразу не разглядел. Софья Павловна Тальман, улыбающаяся, напудренная и подкрашенная, похожая на большую нарядную куклу, сидела на диване с двумя сестрами подпоручика Михина. Обе барышни были в одинаковых простеньких, своей работы, но милых платьях, белых с зелеными лентами; обе розовые, черноволосые, темноглазые и в веснушках; у обеих были ослепительно белые, но неправильно расположенные зубы, что, однако, придавало их свежим ртам особую, своеобразную прелесть; обе хорошенькие и веселые, чрезвычайно похожие одна на другую и вместе с тем на своего очень некрасивого брата. Из полковых дам была еще приглашена жена поручика Андрусевича, маленькая белолицая толстушка, глупая и смешливая, любительница всяких двусмысленностей и сальных анекдотов, а также хорошенькие, болтливые и картавые барышни Лыкачевы.

Как и всегда в офицерском обществе, дамы держались врозь от мужчин, отдельной кучкой. Около них сидел, небрежно и фатовски развалясь в кресле, один штабс-капитан Диц. Этот офицер, похожий своей затянутой фигурой и типом своего поношенного и самоуверенного лица на прусских офицеров, как их рисуют в немецких карикатурах, был переведен в пехотный полк из гвардии за какую-то темную, скандальную историю. Он отличался непоколебимым апломбом в обращении с мужчинами и наглой предприимчивостью — с дамами и вел большую, всегда счастливую карточную игру, но не в офицерском собрании, а в гражданском клубе, в домах го-

родских чиновников и у окрестных польских помещиков. Его в полку не любили, но побаивались, и все как-то смутно ожидали от него в будущем какой-нибудь грязной и громкой выходки. Говорили, что он находится в связи с молоденькой женой дряхлого бригадного командира, который жил в том же городе. Было так же наверно известно о его близости с madame Тальман: ради нее его и приглашали обыкновенно в гости — этого требовали своеобразные законы полковой вежливости и внимания.

— Очень рад, очень рад,—говорил Николаев, идя навстречу Ромашову,— тем лучше. Отчего же вы утром не приехали к пирогу?

Он говорил это радушно, с любезной улыбкой, но в его голосе и глазах Ромашов ясно уловил то же самое отчужденное, деланное и сухое выражение, которое он почти бессознательно чувствовал, встречаясь с Николаевым все последнее время.

«Он меня не любит,— решил быстро про себя Ромашов.— Что он? Сердится? Ревнует? Надоел я ему?»

— Знаете... у нас идет в роте осмотр оружия,— отважно солгал Ромашов.— Готовимся к смотру, нет отдыха даже в праздники... Однако я положительно сконфужен... Я никак не предполагал, что у вас пикник, и вышло так, точно я напросился. Право, мне совестно...

Николаев широко улыбнулся и с оскорбительной любезностью потрепал Ромашова по плечу.

— О нет, что вы, мой любезный... Больше народу — веселее... что за китайские церемонии!.. Только, вот не знаю, как насчет мест в фаэтонах. Ну, да рассядемся как-нибудь.

— У меня экипаж,— успокоил его Ромашов, едва заметно уклоняясь плечом от руки Николаева.— Наоборот, я с удовольствием готов его предоставить в ваше распоряжение.

Он оглянулся и встретился глазами с Шурочкой.

«Спасибо, милый!» — сказал ее теплый, по-прежнему странно-внимательный взгляд.

«Какая она сегодня удивительная!» — подумал Ромашов.

— Ну вот и чудесно.— Николаев посмотрел на часы.— Что ж, господа,— сказал он вопросительно,— можно, пожалуй, и ехать?

— Ехать так ехать, сказал попугай, когда его кот Васька тащил за хвост из клетки! — шутовски воскликнул Олизар.

Все поднялись с восклицаниями и со смехом; дамы разыскивали свои шляпы и зонтики и надевали перчатки; Тальман, страдавший бронхитом, кричал на всю комнату о том, чтобы не забыли теплых платков; поднялась оживленная суматоха.

Маленький Михин отвел Ромашова в сторону.

— Юрий Алексеич, у меня к вам просьба,— сказал он.— Очень прошу вас об этом. Поезжайте, пожалуйста, с моими сестрами, иначе с ними сядет Диц, а мне это чрезвычайно неприятно. Он всегда такие гадости говорит девочкам, что они просто готовы плакать. Право, я враг всякого насилия, но, ей-богу, когда-нибудь дам ему по морде!..

Ромашову очень хотелось ехать вместе с Шурочкой, но так как Михин всегда был ему приятен и так как чистые, ясные глаза этого славного мальчика глядели с умоляющим выражением, а также и потому, что душа Ромашова была в эту минуту вся наполнена большим радостным чувством,— он не мог отказать и согласился.

У крыльца долго и шумно рассаживались. Ромашов поместился с двумя барышнями Михиными. Между экипажами топтался с обычным угнетенным, безнадежно-унылым видом штабс-капитан Лещенко, которого раньше Ромашов не заметил и которого никто не хотел брать с собою в фаэтон. Ромашов окликнул его и предложил ему место рядом с собою на передней скамейке. Лещенко поглядел на подпоручика собачьими, преданными, добрыми глазами и со вздохом полез в экипаж.

Наконец все расселись. Где-то впереди Олизар, паясничая и вертясь на своем старом, ленивом мерине, запел из оперетки:

Сядем в почтовую карету скорей,
Сядем в почтовую карету поскоре-е-е-ей.

— Рысью ма-а-арррш! — скомандовал громовым голосом Осадчий.

Экипажи тронулись.

XIV

Пикник вышел не столько веселым, сколько крикливым и беспорядочно суматошливым. Приехали за три версты в Дубечную. Так называлась небольшая, десятин в пятнадцать, роща, разбросавшаяся на длинном пологом скате, подошву которого огибала узенькая светлая речонка. Роща состояла из редких, но прекрасных, могучих столетних дубов. У их подножий густо разросся сплошной кустарник, но кое-где оставались просторные прелестные поляны, свежие, веселые, покрытые нежной и яркой первой зеленью. На одной такой поляне уже дожидались посланные вперед денщики с самоварами и корзинами.

Прямо на земле разостлали скатерти и стали рассаживаться. Дамы устанавливали закуски и тарелки, мужчины помогали им с шутливым, преувеличенно любезным видом. Олизар повязался одной салфеткой, как фартуком, а другую надел на голову, в виде колпака, и представлял повара Лукича из офицерского клуба. Долго перетасовывали места, чтобы дамы сидели непременно вперемежку с кавалерами. Приходилось полулежать, полусидеть в неудобных позах, это было ново и занимательно, и по этому поводу молчаливый Лещенко вдруг, к общему удивлению и потехе, сказал с напыщенным и глупым видом:

— Мы теперь возлежим, точно древнеримские греки.

Шурочка посадила рядом с собой с одной стороны Тальмана, а с другой — Ромашова. Она была необыкновенно разговорчива, весела и казалась такой возбужденной, что это многим бросилось в глаза. Никогда Ромашов не находил ее такой очаровательно-красивой. Он видел, что в ней струится, трепещет и просится наружу какое-то большое, новое, лихорадочное чувство. Иногда она без слов оборачивалась к Ромашову и смотрела на него молча, может быть, только полусекундой больше, чем следовало бы, немного больше, чем всегда, но всякий раз в ее взгляде он ощущал ту же непонятную ему, горячую, притягивающую силу.

Осадчий, сидевший один во главе стола, приподнялся и стал на колени. Постучав ножом о стакан и добившись тишины, он заговорил низким грудным голосом,

который сочными волнами заколебался в чистом воздухе леса:

— Ну-с, господа... Выпьем же первую чару за здоровье нашей прекрасной хозяйки и дорогой именинницы. Дай ей бог всякого счастья и чин генеральши.

И, высоко подняв кверху большую рюмку, он заревел во всю мочь своей страшной глотки:

— Урра!

Казалось, вся роща ахнула от этого львиного крика, и гулкие отзвуки побежали между деревьями. Андрусевич, сидевший рядом с Осадчим, в комическом ужасе упал навзничь, притворяясь оглушенным. Остальные дружно закричали. Мужчины пошли к Шурочке чокаться. Ромашов нарочно остался последним, и она заметила это. Обернувшись к нему, она, молча и страстно улыбаясь, протянула свой стакан с белым вином. Глаза ее в этот момент вдруг расширились, потемнели, а губы выразительно, но беззвучно зашевелились, произнося какое-то слово. Но тотчас же она отвернулась и, смеясь, заговорила с Тальманом. «Что она сказала,— думал Ромашов,— ах, что же она сказала?» Это волновало и тревожило его. Он незаметно закрыл лицо руками и старался воспроизвести губами те же движения, какие делала Шурочка; он хотел поймать таким образом эти слова в своем воображении, но у него ничего не выходило. «Мой милый?», «Люблю вас?», «Ромочка?» — Нет, не то. Одно он знал хорошо, что сказанное заключалось в трех слогах.

Потом пили за здоровье Николаева и за успех его на будущей службе в генеральном штабе, пили в таком духе, точно никогда и никто не сомневался, что ему действительно удастся, наконец, поступить в академию. Потом, по предложению Шурочки, выпили довольно вяло за именинника Ромашова; пили за присутствующих дам и за всех присутствующих, и за всех вообще дам, и за славу знамен родного полка, и за непобедимую русскую армию...

Тальман, уже достаточно пьяный, поднялся и закричал сипло, но растроганно:

— Господа, я предлагаю выпить тост за здоровье нашего любимого, нашего обожаемого монарха, за кото-

рого каждый из нас готов пролить свою кровь до последней капли крови!

Последние слова он выдавил из себя неожиданно тонкой, свистящей фистулой, потому что у него не хватило в груди воздуху. Его цыганские, разбойничьи черные глаза с желтыми белками вдруг беспомощно и жалко заморгали, и слезы полились по смуглым щекам.

— Гимн, гимн! — восторженно потребовала маленькая толстушка Андрусевич.

Все встали. Офицеры приложили руки к козырькам. Нестройные, но воодушевленные звуки понеслись по роще, и всех громче, всех фальшивее, с лицом еще более тоскливым, чем обыкновенно, пел чувствительный штабс-капитан Лещенко.

Вообще пили очень много, как и всегда, впрочем, пили в полку: в гостях друг у друга, в собрании, на торжественных обедах и пикниках. Говорили уже все сразу, и отдельных голосов нельзя было разобрать. Шурочка, выпившая много белого вина, вся раскрасневшаяся, с глазами, которые от расширенных зрачков стали совсем черными, с влажными красными губами, вдруг близко склонилась к Ромашову.

— Я не люблю этих провинциальных пикников, в них есть что-то мелочное и пошлое,— сказала она.— Правда, это нужно было сделать для мужа, перед отъездом, но, боже, как все это глупо! Ведь все это можно было устроить у нас дома, в саду,— вы знаете, какой у нас прекрасный сад — старый, тенистый. И все-таки, не знаю почему, я сегодня безумно счастлива. Господи, как я счастлива! Нет, Ромочка, милый, я знаю почему, и я вам это потом скажу, я вам потом скажу... Я скажу... Ах, нет, нет, Ромочка, я ничего, ничего не знаю.

Веки ее прекрасных глаз полузакрылись, а во всем лице было что-то манящее и обещающее и мучительно-нетерпеливое. Оно стало бесстыдно-прекрасным, и Ромашов, еще не понимая, тайным инстинктом чувствовал на себе страстное волнение, овладевшее Шурочкой, чувствовал по той сладостной дрожи, которая пробегала по его рукам и ногам и по его груди.

— Вы сегодня необыкновенны. Что с вами? — спросил он шепотом.

Она вдруг ответила с каким-то наивным и кротким удивлением:

— Я вам говорю, что не знаю. Я не знаю. Посмотрите: небо голубое, свет голубой... И у меня самой какое-то чудесное голубое настроение, какая-то голубая радость! Налейте мне еще вина, Ромочка, мой милый мальчик...

На другом конце скатерти зашел разговор о предполагаемой войне с Германией, которую тогда многие считали делом почти решенным. Завязался спор, крикливый, в несколько ртов зараз, бестолковый. Вдруг послышался сердитый, решительный голос Осадчего. Он был почти пьян, но это выражалось у него только тем, что его красивое лицо страшно побледнело, а тяжелый взгляд больших черных глаз стал еще сумрачнее.

— Ерунда! — воскликнул он резко.— Я утверждаю, что все это ерунда. Война выродилась. Все выродилось на свете. Дети родятся идиотами, женщины сделались кривобокими, у мужчин нервы. «Ах —кровь! Ах, я падаю в обморок!» — передразнил он кого-то гнусавым тоном.— И все это оттого, что миновало время настоящей, свирепой, беспощадной войны. Разве это война? За пятнадцать верст в тебя — бах! — и ты возвращаешься домой героем. Боже мой, какая, подумаешь, доблесть! Взяли тебя в плен. «Ах, миленький, ах, голубчик, не хочешь ли покурить табачку? Или, может быть, чайку? Тепло ли тебе, бедненький? Мягко ли?» У-у! — Осадчий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, готовый нанести удар.— В средние века дрались—это я понимаю. Ночной штурм. Весь город в огне. «На три дня отдаю город солдатам на разграбление!» Ворвались. Кровь и огонь. У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах. О, как были веселы эти пиры на развалинах! Женщин — обнаженных, прекрасных, плачущих — тащили за волосы. Жалости не было. Они были сладкой добычей храбрецов!..

— Однако вы не очень распространяйтесь,— заметила шутливо Софья Павловна Тальман.

— По ночам горели дома, и дул ветер, и от ветра качались черные тела на виселицах, и над ними кричали во́роны. А под виселицами горели костры и пировали победители. Пленных не было. Зачем пленные? Зачем

отрывать для них лишние силы? А-ах! — яростно простонал со сжатыми зубами Осадчий.— Что это было за смелое, что за чудесное время! А битвы! Когда сходились грудь с грудью и дрались часами, хладнокровно и бешено, с озверением и с поразительным искусством. Какие это были люди, какая страшная физическая сила! Господа! — Он поднялся на ноги и выпрямился во весь свой громадный рост, и голос его зазвенел восторгом и дерзостью.— Господа, я знаю, что вы из военных училищ вынесли золотушные, жиденькие понятия о современной гуманной войне. Но я пью... Если даже никто не присоединится ко мне, я пью один за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость!

Все молчали, точно подавленные неожиданным экстазом этого обыкновенно мрачного, неразговорчивого человека, и глядели на него с любопытством и со страхом. Но вдруг вскочил с своего места Бек-Агамалов. Он сделал это так внезапно и так быстро, что многие вздрогнули, а одна из женщин вскрикнула в испуге. Его глаза выкатились и дико сверкали, крепко сжатые белые зубы были хищно оскалены. Он задыхался и не находил слов.

— О, о!.. Вот это... вот, я понимаю!! А! — Он с судорожной силой, точно со злобой, сжал и встряхнул руку Осадчего.— К черту эту кислятину! К черту жалость! А! Р-руби!

Ему нужно было отвести на чем-нибудь свою варварскую душу, в которой в обычное время тайно дремала старинная, родовая кровожадность. Он, с глазами, налившимися кровью, оглянулся кругом и, вдруг выхватив из ножен шашку, с бешенством ударил по дубовому кусту. Ветки и молодые листья полетели на скатерть, осыпав, как дождем, всех сидящих.

— Бек! Сумасшедший! Дикарь! — закричали дамы.

Бек-Агамалов сразу точно опомнился и сел. Он казался заметно сконфуженным за свой неистовый порыв, но его тонкие ноздри, из которых с шумом вылетало дыхание, раздувались и трепетали, а черные глаза, обезображенные гневом, исподлобья, но с вызовом обводили присутствующих.

Ромашов слушал и не слушал Осадчего. Он испытывал странное состояние, похожее на сон, на сладкое опьянение каким-то чудесным, не существующим на земле

напитком. Ему казалось, что теплая, нежная паутина мягко и лениво окутывает все его тело и ласково щекочет и наполняет душу внутренним ликующим смехом. Его рука часто, *как будто* неожиданно для него самого, касалась руки Шурочки, но ни он, ни она больше не глядели друг на друга. Ромашов точно дремал. Голоса Осадчего и Бек-Агамалова доносились до него из какого-то далекого, фантастического тумана и были понятны, но пусты.

«Осадчий... Он жестокий человек, он меня не любит,— думал Ромашов, и тот, о ком он думал, был теперь не прежний Осадчий, а новый, страшно далекий, и не настоящий, а точно движущийся на экране живой фотографии.— У Осадчего жена маленькая, худенькая, жалкая, всегда беременная... Он ее никуда с собой не берет... У него в прошлом году повесился молодой солдат... Осадчий... Да... Что такое Осадчий? Вот теперь Бек кричит... Кто этот человек? Разве я его знаю? Да, я его знаю, но почему же он такой странный, чужой, непонятный мне? А вот кто-то сидит со мною рядом... Кто ты? От тебя исходит радость, и я пьян от этой радости. Голубая радость!.. Вон против меня сидит Николаев. Он недоволен. Он все молчит. Глядит сюда мимоходом, точно скользит глазами. Ах, пускай сердится — все равно. О, голубая радость!»

Темнело. Тихие лиловые тени от деревьев легли на полянку. Младшая Михина вдруг спохватилась:

— Господа, а что же фиалки? Здесь, говорят, пропасть фиалок. Пойдемте собирать.

— Поздно,— заметил кто-то.— Теперь в траве ничего не увидишь.

— Теперь в траве легче потерять, чем найти,— сказал Диц, скверно засмеявшись.

— Ну, тогда давайте разложим костер,— предложил Андрусевич.

Натаскали огромную кучу хвороста и прошлогодних сухих листьев и зажгли костер. Широкий столб веселого огня поднялся к небу. Точно вспугнутые, сразу исчезли последние остатки дня, уступив место мраку, который, выйдя из рощи, надвинулся на костер. Багровые пятна пугливо затрепетали по вершинам дубов, и казалось, что

деревья зашевелились, закачались, то выглядывая в красное пространство света, то прячась назад в темноту.

Все встали из-за стола. Денщики зажгли свечи в стеклянных колпаках. Молодые офицеры шалили, как школьники. Олизар боролся с Михиным, и, к удивлению всех, маленький, неловкий Михин два раза подряд бросал на землю своего более высокого и стройного противника. Потом стали прыгать через огонь. Андрусевич представлял, как бьется об окно муха и как старая птичница ловит курицу, изображал, спрятавшись за кусты, звук пилы и ножа на точиле,— он на это был большой мастер. Даже и Диц довольно ловко жонглировал пустыми бутылками.

— Позвольте-ка, господа, вот я вам покажу замечательный фокус! — закричал вдруг Тальман.— Здэсь нэт никакой чудеса или волшебство, а не что иной, как проворство рук. Прошу почтеннейший публикум обратить внимание, что у меня нет никакой предмет в рукав. Начинаю. Ейн, цвей, дрей... алле гоп!..

Он быстро, при общем хохоте, вынул из кармана две новые колоды карт и с треском распечатал их одну за другой.

— Винт, господа? — предложил он.— На свежем воздухе? А?

Осадчий, Николаев и Андрусевич уселись за карты, Лещенко с глубоким вздохом поместился сзади них. Николаев долго, с ворчливым неудовольствием отказывался, но его все-таки уговорили. Садясь, он много раз с беспокойством оглядывался назад, ища глазами Шурочку, но так как из-за света костра ему трудно было присматриваться, то каждый раз его лицо напряженно морщилось и принимало жалкое, мучительное и некрасивое выражение.

Остальные постепенно разбрелись по поляне невдалеке от костра. Затеяли было играть в горелки, но эта забава вскоре окончилась, после того как старшая Михина, которую поймал Диц, вдруг раскраснелась до слез и наотрез отказалась играть. Когда она говорила, ее голос дрожал от негодования и обиды, но причины она все-таки не объяснила.

Ромашов пошел в глубь рощи по узкой тропинке. Он сам не понимал, чего ожидает, но сердце его сладко и

томно ныло от неясного блаженного предчувствия. Он остановился. Сзади него послышался легкий треск веток, потом быстрые шаги и шелест шелковой нижней юбки. Шурочка поспешно шла к нему — легкая и стройная, мелькая, точно светлый лесной дух, своим белым платьем между темными стволами огромных деревьев. Ромашов пошел ей навстречу и без слов обнял ее. Шурочка тяжело дышала от поспешной ходьбы. Ее дыхание тепло и часто касалось щеки и губ Ромашова, и он ощущал, как под его рукой бьется ее сердце.

— Сядем,— сказала Шурочка.

Она опустилась на траву и стала поправлять обеими руками волосы на затылке. Ромашов лег около ее ног, и так как почва на этом месте заметно опускалась вниз, то он, глядя на нее, видел только нежные и неясные очертания ее шеи и подбородка.

Вдруг она спросила тихим, вздрагивающим голосом:

— Ромочка, хорошо вам?

— Хорошо,— ответил он. Потом подумал одну секунду, вспомнил весь нынешний день и повторил горячо: — О да, мне сегодня так хорошо, так хорошо! Скажите, отчего вы сегодня такая?

— Какая?

Она наклонилась к нему ближе, вглядываясь в его глаза, и все ее лицо стало сразу видимым Ромашову.

— Вы чу́дная, необыкновенная. Такой прекрасной вы еще никогда не были. Что-то в вас поет и сияет. В вас что-то новое, загадочное, я не понимаю что... Но... Вы не сердитесь на меня, Александра Петровна... вы не боитесь, что вас хватятся?

Она тихо засмеялась, и этот низкий, ласкающий смех отозвался в груди Ромашова радостной дрожью.

— Милый Ромочка! Милый, добрый, трусливый, милый Ромочка. Я ведь вам сказала, что этот день наш. Не думайте ни о чем, Ромочка. Знаете, отчего я сегодня такая смелая? Нет? Не знаете? Я в вас влюблена сегодня. Нет, нет, вы не воображайте, это завтра же пройдет...

Ромашов протянул к ней руки, ища ее тела.

— Александра Петровна... Шурочка... Саша! — произнес он умоляюще.

— Не называйте меня Шурочкой, я не хочу этого. Все другое, только не это... Кстати,— вдруг точно вспом-

нила она,— какое у вас славное имя — Георгий. Гораздо лучше, чем Юрий... Гео-р-гий! — протянула она медленно, как будто вслушиваясь в звуки этого слова.— Это гордо.

— О милая! — сказал Ромашов страстно.

— Подождите... Ну, слушайте же. Это самое важное. Я вас сегодня видела во сне. Это было удивительно прекрасно. Мне снилось, будто мы с вами танцуем вальс в какой-то необыкновенной комнате. О, я бы сейчас же узнала эту комнату до самых мелочей. Много было ковров, но горел один только красный фонарь, новое пианино блестело, два окна с красными занавесками,— все было красное. Где-то играла музыка, ее не было видно, и мы с вами танцевали... Нет, нет, только во сне может быть такая сладкая, такая чувственная близость. Мы кружились быстро-быстро, но не касались ногами пола, а точно плавали в воздухе и кружились, кружились, кружились. Ах, это продолжалось так долго и было так невыразимо чудно-приятно... Слушайте, Ромочка, вы летаете во сне?

Ромашов не сразу ответил. Он точно вступил в странную, обольстительную, одновременно живую и волшебную сказку. Да сказкой и были теплота и тьма этой весенней ночи, и внимательные, притихшие деревья кругом, и странная, милая женщина в белом платье, сидевшая рядом, так близко от него. И, чтобы очнуться от этого обаяния, он должен был сделать над собой усилие.

— Конечно, летаю,— ответил он.— Но только с каждым годом все ниже и ниже. Прежде, в детстве, я летал под потолком. Ужасно смешно было глядеть на людей сверху: как будто они ходят вверх ногами. Они меня старались достать половой щеткой, но не могли. А я все летаю и все смеюсь. Теперь уже этого нет, теперь я только прыгаю,— сказал Ромашов со вздохом.— Оттолкнусь ногами и лечу над землей. Так, шагов двадцать — и низко, не выше аршина.

Шурочка совсем опустилась на землю, оперлась о нее локтем и положила на ладонь голову. Помолчав немного, она продолжала задумчиво:

— И вот после этого сна, утром мне захотелось вас видеть. Ужасно, ужасно захотелось. Если бы вы не пришли, я не знаю, что бы я сделала. Я бы, кажется, са-

ма к вам прибежала. Потому-то я и просила вас прийти не раньше четырех. Я боялась за самое себя. Дорогой мой, понимаете ли вы меня?

В пол-аршине от лица Ромашова лежали ее ноги, скрещенные одна на другую, две маленькие ножки в низких туфлях и в черных чулках с каким-то стрельчатым белым узором. С отуманенной головой, с шумом в ушах, Ромашов вдруг крепко прижался зубами к этому живому, упругому, холодному, сквозь чулок, телу.

— Ромочка... Не надо,— услышал он над собой ее слабый, протяжный и точно ленивый голос.

Он поднял голову. И опять все ему показалось в этот миг чудесной, таинственной лесной сказкой. Ровно подымалась по скату вверх роща с темной травой и с черными, редкими, молчаливыми деревьями, которые неподвижно и чутко прислушивались к чему-то сквозь дремоту. А на самом верху, сквозь густую чащу верхушек и дальних стволов, над ровной, высокой чертой горизонта рдела узкая полоса зари — не красного и не багрового цвета, а темно-пурпурного, необычайного, похожего на угасающий уголь или на пламя, преломленное сквозь густое красное вино. И на этой горе, между черных деревьев, в темной пахучей траве, лежала, как отдыхающая лесная богиня, непонятная, прекрасная белая женщина.

Ромашов придвинулся к ней ближе. Ему казалось, что от лица ее идет бледное сияние. Глаз ее не было видно — вместо них было два больших темных пятна, но Ромашов чувствовал, что она смотрит на него.

— Это сказка! — прошептал он тихо одним движением рта.

— Да, милый, сказка...

Он стал целовать ее платье, отыскал ее руку и приник лицом к узкой, теплой, душистой ладони, и в то же время он говорил, задыхаясь, обрывающимся голосом:

— Саша... Я люблю вас... Я люблю...

Теперь, поднявшись выше, он ясно видел ее глаза, которые стали огромными, черными и то суживались, то расширялись, и от этого причудливо менялось в темноте все ее знакомо-незнакомое лицо. Он жадными, пересохшими губами искал ее рта, но она уклонялась от него, тихо качала головой и повторяла медленным шепотом:

— Нет, нет, нет... Мой милый, нет...

— Дорогая моя... Какое счастье!.. Я люблю тебя...— твердил Ромашов в каком-то блаженном бреду.— Я люблю тебя. Посмотри: эта ночь, и тишина, и никого, кроме нас. О счастье мое, как я тебя люблю!

Но она говорила шепотом: «нет, нет», тяжело дыша, лежа всем телом на земле. Наконец она заговорила еле слышным голосом, точно с трудом:

— Ромочка, зачем вы такой... слабый! Я не хочу скрывать, меня влечет к вам, вы мне милы всем: своей неловкостью, своей чистотой, своей нежностью. Я не скажу вам, что я вас люблю, но я о вас всегда думаю, я вижу вас во сне, я... чувствую вас... Меня волнует ваша близость и ваши прикосновения. Но зачем вы такой жалкий! Ведь жалость — сестра презрения. Подумайте, я не могу уважать вас. О, если бы вы были сильный! — Она сняла с головы Ромашова фуражку и стала потихоньку гладить и перебирать его мягкие волосы.— Если бы вы могли завоевать себе большое имя, большое положение!..

— Я сделаю, я сделаю это! — тихо воскликнул Ромашов.— Будьте только моей. Идите ко мне. Я всю жизнь...

Она перебила его с ласковой и грустной улыбкой, которую он услышал в ее тоне:

— Верю, что вы хотите, голубчик, верю, но вы ничего не сделаете. Я знаю, что нет. О, если бы я хоть чуть-чуть надеялась на вас, я бросила бы все и пошла за вами. Ах, Ромочка, славный мой. Я слышала, какая-то легенда говорит, что бог создал сначала всех людей целыми, а потом почему-то разбил каждого на две части и разбросал по свету. И вот ищут целые века одна половинка другую — и все не находят. Дорогой мой, ведь мы с вами — эти две половинки; у нас все общее: и любимое, и нелюбимое, и мысли, и сны, и желания. Мы понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже без слов, одной душой. И вот я должна отказаться от тебя. Ах, это уже второй раз в моей жизни.

— Да, я знаю.

— Он говорил тебе? — спросила Шурочка быстро.

— Нет, это вышло случайно. Я знаю.

Они замолчали. На небе дрожащими зелеными то-

чечками загорались первые звезды. Справа едва-едва доносились голоса, смех и чье-то пение. Остальная часть рощи, погруженная в мягкий мрак, была полна священной, задумчивой тишиной. Костра отсюда не было видно, но изредка по вершинам ближайших дубов, точно отблеск дальней зарницы, мгновенно пробегал красный трепещущий свет. Шурочка тихо гладила голову и лицо Ромашова; когда же он находил губами ее руку, она сама прижимала ладонь к его рту.

— Я своего мужа не люблю,— говорила она медленно, точно в раздумье.— Он груб, он нечуток, неделикатен. Ах,— это стыдно говорить,— но мы, женщины, никогда не забываем первого насилия над нами. Потом он так дико ревнив. Он до сих пор мучит меня этим несчастным Назанским. Выпытывает каждую мелочь, делает такие чудовищные предположения, фу... Задает мерзкие вопросы. Господи! Это же был невинный полудетский роман! Но он от одного его имени приходит в бешенство.

Когда она говорила, ее голос поминутно вздрагивал, и вздрагивала ее рука, гладившая его голову.

— Тебе холодно? — спросил Ромашов.

— Нет, милый, мне хорошо,— сказала она кротко.

И вдруг с неожиданной, неудержимой страстью она воскликнула:

— Ах, мне так хорошо с тобой, любовь моя!

Тогда он начал робко, неуверенным тоном, взяв ее руку в свою и тихонько прикасаясь к ее тонким пальцам:

— Скажи мне... Прошу тебя. Ты ведь сама говоришь, что не любишь его... Зачем же вы вместе?..

Но она резко приподнялась с земли, села и нервно провела руками по лбу и по щекам, точно просыпаясь.

— Однако поздно. Пойдемте. Еще начнут разыскивать, пожалуй,— сказала она другим, совершенно спокойным голосом.

Они встали с травы и стояли друг против друга молча, слыша дыхание друг друга, глядя в глаза и не видя их.

— Прощай! — вдруг воскликнула она звенящим голосом.— Прощай, мое счастье, мое недолгое счастье!

Она обвилась руками вокруг его шеи и прижалась

горячим влажным ртом к его губам и со сжатыми зубами, со стоном страсти прильнула к нему всем телом, от ног до груди. Ромашову почудилось, что черные стволы дубов покачнулись в одну сторону, а земля поплыла в другую и что время остановилось.

Потом она с усилием освободилась из его рук и сказала твердо:

— Прощай. Довольно. Теперь пойдем.

Ромашов упал перед ней на траву, почти лег, обнял ее ноги и стал целовать ее колени долгими, крепкими поцелуями.

— Саша, Сашенька! — лепетал он бессмысленно.— Отчего ты не хочешь отдаться мне? Отчего? Отдайся мне!..

— Пойдем, пойдем,— торопила она его.— Да встаньте же, Георгий Алексеевич. Нас хватятся. Пойдемте!

Они пошли по тому направлению, где слышались голоса. У Ромашова подгибались и дрожали ноги и било в виски. Он шатался на ходу.

— Я не хочу обмана,— говорила торопливо и еще задыхаясь Шурочка,— впрочем, нет, я выше обмана, но я не хочу трусости. В обмане же— всегда трусость. Я тебе скажу правду: я мужу никогда не изменяла и не изменю ему до тех пор, пока не брошу его почему-нибудь. Но его ласки и поцелуи для меня ужасны, они вселяют в меня омерзение. Послушай, я только сейчас,— нет, впрочем, еще раньше, когда думала о тебе, о твоих губах,— я только теперь поняла, какое невероятное наслаждение, какое блаженство отдать себя любимому человеку. Но я не хочу трусости, не хочу тайного воровства. И потом... подожди, нагнись ко мне, милый, я скажу тебе на ухо, это стыдно... потом — я не хочу ребенка. Фу, какая гадость! Обер-офицерша, сорок восемь рублей жалованья, шестеро детей, пеленки, нищета... О, какой ужас!

Ромашов с недоумением посмотрел на нее.

— Но ведь у вас муж... Это же неизбежно,— сказал он нерешительно.

Шурочка громко рассмеялась. В этом смехе было что-то инстинктивно неприятное, от чего пахнуло холодком в душу Ромашова.

— Ромочка... ой-ой-ой, какой же вы глу-упы-ый! — протянула она знакомым Ромашову тоненьким, дет-

ским голосом.— Неужели вы этих вещей не понимаете? Нет, скажите правду — не понимаете?

Он растерянно пожал плечами. Ему стало как будто неловко за свою наивность.

— Извините... но я должен сознаться... честное слово...

— Ну, и бог с вами, и не нужно. Какой вы чистый, милый, Ромочка! Ну, так вот, когда вы вырастете, то вы наверно вспомните мои слова: что возможно с мужем, то невозможно с любимым человеком. Ах, да не думайте, пожалуйста, об этом. Это гадко — но что же поделаешь.

Они подходили уже к месту пикника. Из-за деревьев было видно пламя костра. Корявые стволы, загораживавшие огонь, казались отлитыми из черного металла, и на их боках мерцал красный изменчивый свет.

— Ну, а если я возьму себя в руки? — спросил Ромашов.— Если я достигну того же, чего хочет твой муж, или еще большего? Тогда?

Она прижалась крепко к его плечу щекой и ответила порывисто:

— Тогда — да. Да, да, да...

Они уже вышли на поляну. Стал виден весь костер и маленькие черные фигуры людей вокруг него.

— Ромочка, теперь последнее,— сказала Александра Петровна торопливо, но с печалью и тревогой в голосе.— Я не хотела портить вам вечер и не говорила. Слушайте, вы не должны у нас больше бывать.

Он остановился изумленный, растерянный.

— Почему же? О Саша!..

— Идемте, идемте... Я не знаю, *кто* это делает, но мужа осаждают анонимными письмами. Он мне не показывал, а только вскользь говорил об этом. Пишут какую-то грязную площадную гадость про меня и про вас. Словом, прошу вас, не ходите к нам.

— Саша! — умоляюще простонал Ромашов, протягивая к ней руки.

— Ах, мне это самой больно, мой милый, мой дорогой, мой нежный! Но это необходимо. Итак, слушайте: я боюсь, что он сам будет говорить с вами об этом... Умоляю вас, ради бога, будьте сдержанны. Обещайте мне это.

— Хорошо,— произнес печально Ромашов.

— Ну, вот и все. Прощайте, мой бедный. Бедняжка! Дайте вашу руку. Сожмите крепко-крепко, так, чтобы мне стало больно. Вот так... Ой!.. Теперь прощайте. Прощай, радость моя!

Не доходя костра, они разошлись. Шурочка пошла прямо вверх, а Ромашов снизу, обходом, вдоль реки. Винт еще не окончился, но их отсутствие было замечено. По крайней мере Диц так нагло поглядел на подходящего к костру Ромашова и так неестественно-скверно кашлянул, что Ромашову захотелось запустить в него горящей головешкой.

Потом он видел, как Николаев встал из-за карт и, отведя Шурочку в сторону, долго что-то ей говорил с гневными жестами и со злым лицом. Она вдруг выпрямилась и сказала ему несколько слов с непередаваемым выражением негодования и презрения. И этот большой, сильный человек вдруг покорно съежился и отошел от нее с видом укрощенного, но затаившего злобу дикого животного.

Вскоре пикник кончился. Ночь похолодела, и от реки потянуло сыростью. Запас веселости давно истощился, и все разъезжались усталые, недовольные, не скрывая зевоты. Ромашов опять сидел в экипаже против барышень Михиных и всю дорогу молчал. В памяти его стояли черные спокойные деревья, и темная гора, и кровавая полоса зари над ее вершиной, и белая фигура женщины, лежавшей в темной пахучей траве. Но все-таки сквозь искреннюю, глубокую и острую грусть он время от времени думал про самого себя патетически:

«Его красивое лицо было подернуто облаком скорби».

XV

Первого мая полк выступил в лагерь, который из года в год находился в одном и том же месте, в двух верстах от города, по ту сторону железнодорожного полотна. Младшие офицеры, по положению, должны были жить в лагерное время около своих рот в деревянных бараках, но Ромашов остался на городской квартире, потому что офицерское помещение шестой роты пришло в страшную ветхость и грозило разрушением, а на ре-

монт его не оказывалось нужных сумм. Приходилось делать в день лишних четыре конца: на утреннее ученье, потом обратно в собрание — на обед, затем на вечернее ученье и после него снова в город. Это раздражало и утомляло Ромашова. За первые полмесяца лагерей он похудел, почернел, и глаза у него ввалились.

Впрочем, и всем приходилось нелегко: и офицерам и солдатам. Готовились к майскому смотру и не знали ни пощады, ни устали. Ротные командиры морили свои роты по два и по три лишних часа на плацу. Во время учений со всех сторон, изо всех рот и взводов слышались беспрерывно звуки пощечин. Часто издали, шагов за двести, Ромашов наблюдал, как какой-нибудь рассвирепевший ротный принимался хлестать по лицам всех своих солдат поочередно, от левого до правого фланга. Сначала беззвучный взмах руки и — только спустя секунду — сухой треск удара, и опять, и опять, и опять... В этом было много жуткого и омерзительного. Унтер-офицеры жестоко били своих подчиненных за ничтожную ошибку в словесности, за потерянную ногу при маршировке,—били в кровь, выбивали зубы, разбивали ударами по уху барабанные перепонки, валили кулаками на землю. Никому не приходило в голову жаловаться: наступил какой-то общий чудовищный, зловещий кошмар; какой-то нелепый гипноз овладел полком. И все это усугублялось страшной жарой. Май в этом году был необыкновенно зноен.

У всех нервы напряглись до последней степени. В офицерском собрании во время обедов и ужинов все чаще и чаще вспыхивали нелепые споры, беспричинные обиды, ссоры. Солдаты осунулись и глядели идиотами. В редкие минуты отдыха из палаток не слышалось ни шуток, ни смеха. Однако их все-таки заставляли по вечерам, после переклички, веселиться. И они, собравшись в кружок, с безучастными лицами равнодушно гаркали:

Для рассейского солдата
Пули, бомбы ничего,
С ними он запанибрата,
Всё безделки для него.

А потом играли на гармонии плясовую, и фельдфебель командовал:

— Грегораш, Скворцов, у круг! Пляши, сукины дети!.. Веселись!

Они плясали, но в этой пляске, как и в пении, было что-то деревянное, мертвое, от чего хотелось плакать.

Одной только пятой роте жилось легко и свободно. Выходила она на ученье часом позже других, а уходила часом раньше. Люди в ней были все, как на подбор, сытые, бойкие, глядевшие осмысленно и смело в глаза всякому начальству; даже мундиры и рубахи сидели на них как-то щеголеватее, чем в других ротах. Командовал ею капитан Стельковский, странный человек: холостяк, довольно богатый для полка,— он получал откуда-то ежемесячно около двухсот рублей,— очень независимого характера, державшийся сухо, замкнуто и отдаленно с товарищами и вдобавок развратник. Он заманивал к себе в качестве прислуги молоденьких, часто несовершеннолетних девушек из простонародья и через месяц отпускал их домой, по-своему щедро наградив деньгами, и это продолжалось у него из года в год с непостижимой правильностью. В роте у него не дрались и даже не ругались, хотя и не особенно нежничали, и все же его рота по великолепному внешнему виду и по выучке не уступила бы любой гвардейской части. В высшей степени обладал он терпеливой, хладнокровной и уверенной настойчивостью и умел передавать ее своим унтер-офицерам. Того, чего достигали в других ротах посредством битья, наказаний, оранья и суматохи в неделю, он спокойно добивался в один день. При этом он скупо тратил слова и редко возвышал голос, но когда говорил, то солдаты окаменевали. Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили воистину: пример, может быть, единственный во всей русской армии.

Наступило, наконец, пятнадцатое мая, когда, по распоряжению корпусного командира, должен был состояться смотр. В этот день во всех ротах, кроме пятой, унтер-офицеры подняли людей в четыре часа. Несмотря на теплое утро, невыспавшиеся, зевавшие солдаты дрожали в своих каламянковых рубахах. В радостном свете розового безоблачного утра их лица казались серыми, глянцевитыми и жалкими.

В шесть часов явились к ротам офицеры. Общий сбор полка был назначен в десять часов, но ни одному ротному командиру, за исключением Стельковского, не пришла в голову мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смотром. Наоборот, в это утро особенно ревностно и суетливо вбивали им в голову словесность и наставления к стрельбе, особенно густо висела в воздухе скверная ругань и чаще обыкновенного сыпались толчки и зуботычины.

В девять часов роты стянулись на плац, шагах в пятистах впереди лагеря. Там уже стояли длинной прямой линией, растянувшись на полверсты, шестнадцать ротных желонеров с разноцветными флажками на ружьях. Желонерный офицер поручик Ковако, один из главных героев сегодняшнего дня, верхом на лошади носился взад и вперед вдоль этой линии, выравнивая ее, скакал с бешеным криком, распустив поводья, с шапкой на затылке, весь мокрый и красный от старания. Его шашка отчаянно билась о ребра лошади, а белая худая лошадь, вся усыпанная от старости гречкой и с бельмом на правом глазу, судорожно вертела коротким хвостом и издавала в такт своему безобразному галопу резкие, отрывистые, как выстрелы, звуки. Сегодня от поручика Ковако зависело очень многое: по его желонерам должны были выстроиться в безукоризненную нитку все шестнадцать рот полка.

Ровно без десяти минут в десять вышла из лагеря пятая рота. Твердо, большим частым шагом, от которого равномерно вздрагивала земля, прошли на глазах у всего полка эти сто человек, все как на подбор, ловкие, молодцеватые, прямые, все со свежими, чисто вымытыми лицами, с бескозырками, лихо надвинутыми на правое ухо. Капитан Стельковский, маленький, худощавый человек в широчайших шароварах, шел небрежно и не в ногу, шагах в пяти сбоку правого фланга, и, весело щурясь, наклоняя голову то на один, то на другой бок, присматривался к равнению. Батальонный командир, подполковник Лех, который, как и все офицеры, находился с утра в нервном и бестолковом возбуждении, налетел было на него с криком за поздний выход на плац, но Стельковский хладнокровно вынул часы, посмотрел на них и ответил сухо, почти пренебрежительно:

— В приказе сказано собраться к десяти. Теперь без трех минут десять. Я не считаю себя вправе морить людей зря.

— Не разговарива-а-ать! — завопил Лех, махая руками и задерживая лошадь.— Прошу, гето, молчать, когда вам делают замечания по службе-е!..

Но он все-таки понял, что был неправ, и потому сейчас же отъехал и с ожесточением набросился на восьмую роту, в которой офицеры проверяли выкладку ранцев:

— Гет-то, что за безобразие! Гето, базар устроили? Мелочную лавочку? Гето, на охоту ехать — собак кормить? О чем раньше думали! Одеваться-а!

В четверть одиннадцатого стали выравнивать роты. Это было долгое, кропотливое и мучительное занятие. От желонера до желонера туго натянули на колышки длинные веревки. Каждый солдат первой шеренги должен был непременно с математической точностью коснуться веревки самыми кончиками носков — в этом заключался особенный строевой шик. Но этого было еще мало; требовалось, чтобы в створе развернутых носков помещался ружейный приклад и чтобы наклон всех солдатских тел оказался одинаковым. И ротные командиры выходили из себя, крича: «Иванов, подай корпус вперед! Бурченко, правое плечо доверни в поле! Левый носок назад! Еще!..»

В половине одиннадцатого приехал полковой командир. Под ним был огромный, видный гнедой мерин, весь в темных яблоках, все четыре ноги белые до колен. Полковник Шульгович имел на лошади внушительный, почти величественный вид и сидел прочно, хотя чересчур попехотному, на слишком коротких стременах. Приветствуя полк, он крикнул молодцевато, с наигранным веселым задором:

— Здорово, красавцы-ы-ы!..

Ромашов вспомнил свой четвертый взвод и в особенности хилую, младенческую фигуру Хлебникова и не мог удержаться от улыбки: «Нечего сказать, хороши красавцы!»

При звуках полковой музыки, игравшей встречу, вынесли знамена. Началось томительное ожидание. Далеко вперед, до самого вокзала, откуда ждали корпусного командира, тянулась цепь махальных, которые должны

были сигналами предупредить о прибытии начальства. Несколько раз поднималась ложная тревога. Поспешно выдергивались колышки с веревками, полк выравнивался, подтягивался, замирал в ожидании,— но проходило несколько тяжелых минут, и людям опять позволяли стоять вольно, только не изменять положение ступней. Впереди, шагах в трехстах от строя, яркими разноцветными пятнами пестрели дамские платья, зонтики и шляпки: там стояли полковые дамы, собравшиеся поглядеть на парад. Ромашов знал отлично, что Шурочки нет в этой светлой, точно праздничной группе, но когда он глядел туда,— всякий раз что-то сладко ныло у него около сердца и хотелось часто дышать от странного, беспричинного волнения.

Вдруг, точно ветер, пугливо пронеслось по рядам одно торопливое короткое слово: «Едет, едет!» Всем както сразу стало ясно, что наступила настоящая, серьезная минута. Солдаты, с утра задерганные и взвинченные общей нервностью, сами, без приказания, суетливо выравнивались, одергивались и беспокойно кашляли.

— Смирна! Желонеры, по места-ам! — скомандовал Шульгович.

Скосив глаза направо, Ромашов увидел далеко на самом краю поля небольшую тесную кучку маленьких всадников, которые в легких клубах желтоватой пыли быстро приближались к строю. Шульгович со строгим и вдохновенным лицом отъехал от середины полка на расстояние, по крайней мере, вчетверо большее, чем требовалось. Щеголяя тяжелой красотой приемов, подняв кверху свою серебряную бороду, оглядывая черную неподвижную массу полка грозным, радостным и отчаянным взглядом, он затянул голосом, покатившимся по всему полю:

— По-олк, слуш-а-ай! На крра-а-а...

Он выдержал нарочно длинную паузу, точно наслаждаясь своей огромной властью над этими сотнями людей и желая продлить это мгновенное наслаждение, и вдруг, весь покраснев от усилия, с напрягшимися на шее жилками, гаркнул всей грудью:

— ...ул!..

Раз-два! Всплеснули руки о ружейные ремни, брякнули затворы о бляхи поясов. С правого фланга резко, весело и отчетливо понеслись звуки встречного марша. Точ-

но шаловливые, смеющиеся дети, побежали толпой резвые флейты и кларнеты, с победным торжеством вскрикнули и запели высокие медные трубы, глухие удары барабана торопили их блестящий бег, и не поспевавшие за ним тяжелые тромбоны ласково ворчали густыми, спокойными, бархатными голосами. На станции длинно, тонко и чисто засвистел паровоз, и этот новый мягкий звук, вплетясь в торжествующие медные звуки оркестра, слился с ним в одну чудесную, радостную гармонию. Какая-то бодрая, смелая волна вдруг подхватила Ромашова, легко и сладко подняв его на себе. С проникновенной и веселой ясностью он сразу увидел и бледную от зноя голубизну неба, и золотой свет солнца, дрожавший в воздухе, и теплую зелень дальнего поля — точно он не замечал их раньше,— и вдруг почувствовал себя молодым, сильным, ловким, гордым от сознания, что и он принадлежит к этой стройной, неподвижной, могучей массе людей, таинственно скованных одной незримой волей...

Шульгович, держа обнаженную шашку у самого лица, тяжелым галопом поскакал навстречу.

Сквозь грубо-веселые, воинственные звуки музыки послышался спокойный, круглый голос генерала:

— Здорово, первая рота!

Солдаты дружно, старательно и громко закричали. И опять на станции свистнул паровоз — и на этот раз отрывисто, коротко и точно с задором. Здороваясь поочередно с ротами, корпусный командир медленно ехал по фронту. Уже Ромашов отчетливо видел его грузную, оплывшую фигуру с крупными поперечными складками кителя под грудью и на жирном животе, и большое, квадратное лицо, обращенное к солдатам, и щегольской с красными вензелями вальтрап на видной серой лошади, и костяные колечки мартингала, и маленькую ногу в низком лакированном сапоге.

— Здорово, шестая!

Люди закричали вокруг Ромашова преувеличенно громко, точно надрываясь от собственного крика. Генерал уверенно и небрежно сидел на лошади, а она, с налившимися кровью добрыми глазами, красиво выгнув шею, сочно похрустывая железом мундштука во рту и роняя с морды легкую белую пену, шла частым, танцующим, гибким шагом. «У него виски седые, а усы чер-

ные, должно быть, нафабренные»,— мелькнула у Ромашова быстрая мысль.

Сквозь золотые очки корпусный командир внимательно вглядывался своими темными, совсем молодыми, умными и насмешливыми глазами в каждую пару впивавшихся в него глаз. Вот он поравнялся с Ромашовым и приложил руку к козырьку фуражки. Ромашов стоял, весь вытянувшись, с напряженными мускулами ног, крепко, до боли, стиснув эфес опущенной вниз шашки. Преданный, счастливый восторг вдруг холодком пробежал по наружным частям его рук и ног, покрыв их жесткими пупырышками. И, глядя неотступно в лицо корпусного командира, он подумал про себя, по своей наивной детской привычке: «Глаза боевого генерала с удовольствием остановились на стройной, худощавой фигуре молодого подпоручика».

Корпусный командир объехал таким образом поочередно все роты, здороваясь с каждой. Сзади него нестройной блестящей группой двигалась свита: около пятнадцати штабных офицеров на прекрасных, выхоленных лошадях. Ромашов и на них глядел теми же преданными глазами, но никто из свиты не обернулся на подпоручика: все эти парады, встречи с музыкой, эти волнения маленьких пехотных офицеров были для них привычным, давно наскучившим делом. И Ромашов со смутной завистью и недоброжелательством почувствовал, что эти высокомерные люди живут какой-то особой, красивой, недосягаемой для него, высшей жизнью.

Кто-то издали подал музыке знак перестать играть. Командир корпуса крупной рысью ехал от левого фланга к правому вдоль линии полка, и за ним разнообразно волнующейся, пестрой, нарядной вереницей растянулась его свита. Полковник Шульгович подскакал к первой роте. Затягивая поводья своему гнедому мерину, завалившись тучным корпусом назад, он крикнул тем неестественно свирепым, испуганным и хриплым голосом, каким кричат на пожарах брандмайоры:

— Капитан Осадчий! Выводите роту-у! Жива-а!..

У полкового командира и у Осадчего на всех ученьях было постоянное любовное соревнование в голосах. И теперь даже в шестнадцатой роте была слышна щегольская металлическая команда Осадчего:

— Рота, на плечо! Равнение на середину, шагом марш!

У него в роте путем долгого, упорного труда был выработан при маршировке особый, чрезвычайно редкий и твердый шаг, причем солдаты очень высоко поднимали ногу вверх и с силою бросали ее на землю. Это выходило громко и внушительно и служило предметом зависти для других ротных командиров.

Но не успела первая рота сделать и пятидесяти шагов, как раздался нетерпеливый окрик корпусного командира:

— Это что такое? Остановите роту. Остановите! Ротный командир, пожалуйте ко мне. Что вы тут показываете? Что это: похоронная процессия? Факельцуг? Раздвижные солдатики? Маршировка в три темпа? Теперь, капитан, не николаевские времена, когда служили по двадцати пяти лет. Сколько лишних дней у вас ушло на этот кордебалет! Драгоценных дней!

Осадчий стоял перед ним, высокий, неподвижный, сумрачный, с опущенной вниз обнаженной шашкой. Генерал помолчал немного и продолжал спокойнее, с грустным и насмешливым выражением:

— Небось, людей совсем задергали шагистикой? Эх, вы, Аники-воины. А спроси у вас... да вот, позвольте, как этого молодчика фамилия?

Генерал показал пальцем на второго от правого фланга солдата.

— Игнатий Михайлов, ваше превосходительство,— безучастным, солдатским деревянным басом ответил Осадчий.

— Хорошо-с. А что вы о нем знаете? Холост он? Женат? Есть у него дети? Может быть, у него есть там в деревне какое-нибудь горе? Беда? Нуждишка? Что?

— Не могу знать, ваше превосходительство. Сто человек. Трудно запомнить.

— Трудно запомнить! — с горечью повторил генерал.— Ах, господа, господа! Сказано в писании: духа не угашайте, а вы что делаете? Ведь эта самая святая, серая скотинка, когда дело дойдет до боя, вас своей грудью прикроет, вынесет вас из огня на своих плечах, на морозе вас своей шинелишкой дырявой прикроет, а вы — не могу знать.

И, мгновенно раздражаясь, перебирая нервно и без нужды поводья, генерал закричал через голову Осадчего на полкового командира:

— Полковник, уберите эту роту. И смотреть не буду. Уберите, уберите сейчас же! Петрушки! Картонные паяцы! Чугунные мозги!

С этого начался провал полка. Утомление и запуганность солдат, бессмысленная жестокость унтер-офицеров, бездушное, рутинное и халатное отношение офицеров к службе — все это ясно, но позорно обнаружилось на смотру. Во второй роте люди не знали «Отче наш», в третьей сами офицеры путались при рассыпном строе, в четвертой с каким-то солдатом во время ружейных приемов сделалось дурно. А главное — ни в одной роте не имели понятия о приемах против неожиданных кавалерийских атак, хотя готовились к ним и знали их важность. Приемы эти были изобретены и введены в практику именно самим корпусным командиром и заключались в быстрых перестроениях, требовавших всякий раз от начальников находчивости, быстрой сообразительности и широкой личной инициативы. И на них срывались поочередно все роты, кроме пятой.

Посмотрев роту, генерал удалял из строя всех офицеров и унтер-офицеров и спрашивал людей, всем ли довольны, получают ли всё по положению, нет ли жалоб и претензий? Но солдаты дружно гаркали, что они «точно так, всем довольны». Когда спрашивали первую роту, Ромашов слышал, как сзади него фельдфебель его роты, Рында, говорил шипящим и угрожающим голосом:

— Вот объяви мне кто-нибудь претензию! Я ему потом таку объявлю претензию!

Зато тем великолепнее показала себя пятая рота. Молодцеватые, свежие люди проделывали ротное ученье таким легким, бодрым и живым шагом, с такой ловкостью и свободой, что, казалось, смотр был для них не страшным экзаменом, а какой-то веселой и совсем нетрудной забавой. Генерал еще хмурился, но уже бросил им: «Хорошо, ребята!» — это в первый раз за все время смотра.

Приемами против атак кавалерии Стельковский окончательно завоевал корпусного командира. Сам генерал указывал ему противника внезапными, быстрыми фразами: «Кавалерия справа, восемьсот шагов»,— и Стельков-

ский, не теряясь ни на секунду, сейчас же точно и спокойно останавливал роту, поворачивал ее лицом к воображаемому противнику, скачущему карьером, смыкал, экономя время, взводы — головной с колена, второй стоя,— назначал прицел, давал два или три воображаемых залпа и затем командовал: «На руку!» — «Отлично, братцы! Спасибо, молодцы!» — хвалил генерал.

После опроса рота опять выстроилась развернутым строем. Но генерал медлил ее отпускать. Тихонько проезжая вдоль фронта, он пытливо, с особенным интересом, вглядывался в солдатские лица, и тонкая, довольная улыбка светилась сквозь очки в его умных глазах под тяжелыми, опухшими веками. Вдруг он остановил коня и обернулся назад, к начальнику своего штаба:

— Нет, вы поглядите-ка, полковник, каковы у них морды! Пирогами вы их, что ли, кормите, капитан? Послушай, эй ты, толсторожий,— указал он движением подбородка на одного солдата,— тебя Коваль звать?

— Тошно так, ваше превосходительство, Михайла Борийчук! — весело, с довольной детской улыбкой крикнул солдат.

— Ишь ты, а я думал, Коваль. Ну, значит, ошибся,— пошутил генерал.— Ничего не поделаешь. Не удалось...— прибавил он веселую, циничную фразу.

Лицо солдата совсем расплылось в глупой и радостной улыбке.

— Никак нет, ваше превосходительство! — крикнул он еще громче.— Так что у себя в деревне займался кузнечным мастерством. Ковалем был.

— А, вот видишь! — Генерал дружелюбно кивнул головой. Он гордился своим знанием солдата.— Что, капитан, он у вас хороший солдат?

— Очень хороший. У меня все они хороши,— ответил Стельковский своим обычным, самоуверенным тоном.

Брови генерала сердито дрогнули, но губы улыбнулись, и от этого все его лицо стало добрым и старчески милым.

— Ну, это вы, капитан, кажется, того... Есть же штрафованные?

— Ни одного, ваше превосходительство. Пятый год ни одного.

Генерал грузно нагнулся на седле и протянул Стельковскому свою пухлую руку в белой незастегнутой перчатке.

— Спасибо вам великое, родной мой,— сказал он дрожащим голосом, и его глаза вдруг заблестели слезами. Он, как и многие чудаковатые боевые генералы, любил иногда поплакать.— Спасибо, утешили старика. Спасибо, богатыри! — энергично крикнул он роте.

Благодаря хорошему впечатлению, оставленному Стельковским, смотр и шестой роты прошел сравнительно благополучно. Генерал не хвалил, но и не бранился. Однако и шестая рота осрамилась, когда солдаты стали колоть соломенные чучела, вшитые в деревянные рамы.

— Не так, не так, не так, не так! — горячился корпусный командир, дергаясь на седле.— Совсем не так! Братцы, слушай меня. Коли от сердца, в самую середку, штык до трубки. Рассердись! Ты не хлебы в печку сажаешь, а врага колешь...

Прочие роты проваливались одна за другой. Корпусный командир даже перестал волноваться и делать свои характерные, хлесткие замечания и сидел на лошади молчаливый, сгорбленный, со скучающим лицом. Пятнадцатую и шестнадцатую роты он и совсем не стал смотреть, а только сказал с отвращением, устало махнув рукою:

— Ну, это... недоноски какие-то.

Оставался церемониальный марш. Весь полк свели в тесную, сомкнутую колонну, пополуротно. Опять выскочили вперед желонеры и вытянулись против правого фланга, обозначая линию движения. Становилось невыносимо жарко. Люди изнемогали от духоты и от тяжелых испарений собственных тел, скученных в малом пространстве, от запаха сапог, махорки, грязной человеческой кожи и переваренного желудком черного хлеба.

Но перед церемониальным маршем все ободрились. Офицеры почти упрашивали солдат: «Братцы, вы уж постарайтесь пройти молодцами перед корпусным. Не осрамите». И в этом обращении начальников с подчиненными проскальзывало теперь что-то заискивающее, неуверенное и виноватое. Как будто гнев такой недосягаемо высокой особы, как корпусный командир, вдруг придавил общей тяжестью и офицера и солдата, обезли-

чил и уравнял их и сделал в одинаковой степени испуганными, растерянными и жалкими.

— Полк, смирррна-а... Музыканты, на линию-у! — донеслась издали команда Шульговича.

И все полторы тысячи человек на секунду зашевелились с глухим, торопливым ропотом и вдруг неподвижно затихли, нервно и сторожко вытянувшись.

Шульговича не было видно. Опять докатился его зычный, разливающийся голос:

— Полк, на плечо-о-о!..

Четверо батальонных командиров, повернувшись на лошадях к своим частям, скомандовали вразброд:

— Батальон, на пле...— и напряженно впились глазами в полкового командира.

Где-то далеко впереди полка сверкнула в воздухе и опустилась вниз шашка. Это был сигнал для общей команды, и четверо батальонных командиров разом вскрикнули:

— ...чо!

Полк с глухим дребезгом нестройно вскинул ружья. Где-то залязгали штыки.

Тогда Шульгович, преувеличенно растягивая слова, торжественно, сурово, радостно и громко, во всю мочь своих огромных легких, скомандовал:

— К це-ре-мо-ни-аль-но-му маршу-у!..

Теперь уже все шестнадцать ротных командиров невпопад и фальшиво, разными голосами запели:

— К церемониальному маршу!

И где-то, в хвосте колонны, один отставший ротный крикнул, уже после других, заплетающимся и стыдливым голосом, не договаривая команды:

— К цериальному...— и тотчас же робко оборвался.

— Попо-лу-ротна-а! — раскатился Шульгович.

— Пополуротно! — тотчас же подхватили ротные.

— На двух-взво-одную дистанцию! — заливался Шульгович.

— На двухвзводную дистанцию!..

— Ра-внение на-права-а!

— Равнение направо! — повторило многоголосое пестрое эхо.

Шульгович выждал две-три секунды и отрывисто бросил:

«ПОЕДИНОК»

«ПОЕДИНОК»

— Первая полурота — шагом!

Глухо донесясь сквозь плотные ряды, низко стелясь по самой земле, раздалась впереди густая команда Осадчего:

— Пер-рвая полурота. Равнение направо. Шагом... арш!

Дружно загрохотали впереди полковые барабанщики. Видно было сзади, как от наклонного леса штыков отделилась правильная длинная линия и равномерно закачалась в воздухе.

— Вторая полурота, прямо! — услыхал Ромашов высокий бабий голос Арчаковского.

И другая линия штыков, уходя, заколебалась. Звук барабанов становился все тупее и тише, точно он опускался вниз, под землю, и вдруг на него налетела, смяв и повалив его, веселая, сияющая, резко красивая волна оркестра. Это подхватила темп полковая музыка, и весь полк сразу ожил и подтянулся: головы поднялись выше, выпрямились стройнее тела, прояснились серые, усталые лица.

Одна за другой отходили полуроты, и с каждым разом все ярче, возбужденней и радостней становились звуки полкового марша. Вот отхлынула последняя полурота первого батальона. Подполковник Лех двинулся вперед на костлявой вороной лошади, в сопровождении Олизара. У обоих шашки «подвысь» с кистью руки на уровне лица. Слышна спокойная и, как всегда, небрежная команда Стельковского. Высоко над штыками плавно заходило древко знамени. Капитан Слива вышел вперед — сгорбленный, обрюзгший, оглядывая строй водянистыми выпученными глазами, длиннорукий, похожий на большую старую скучную обезьяну.

— П-первая полурота... п-прямо!

Легким и лихим шагом выходит Ромашов перед серединой своей полуроты. Что-то блаженное, красивое и гордое растет в его душе. Быстро скользит он глазами по лицам первой шеренги. «Старый рубака обвел своих ветеранов соколиным взором»,— мелькает у него в голове пышная фраза в то время, когда он сам тянет лихо, нараспев:

— Втор-ая полуро-ота-а...

«Раз, два!»— считает Ромашов мысленно и держит такт одними носками сапог. «Нужно под левую ногу. Левой, правой». И с счастливым лицом, забросив назад голову, он выкрикивает высоким, звенящим на все поле тенором:

— Пряма!

И, уже повернувшись, точно на пружине, на одной ноге, он, не оборачиваясь назад, добавляет певуче и двумя тонами ниже:

— Ра-авне-ние направа-а!

Красота момента опьяняет его. На секунду ему кажется, что это музыка обдает его волнами такого жгучего, ослепительного света и что медные, ликующие крики падают сверху, с неба, из солнца. Как и давеча, при встрече, сладкий, дрожащий холод бежит по его телу и делает кожу жесткой и приподымает и шевелит волосы на голове.

Дружно, в такт музыке, закричала пятая рота, отвечая на похвалу генерала. Освобожденные от живой преграды из человеческих тел, точно радуясь свободе, громче и веселее побежали навстречу Ромашову яркие звуки марша. Теперь подпоручик совсем отчетливо видит впереди и справа от себя грузную фигуру генерала на серой лошади, неподвижную свиту сзади него, а еще дальше разноцветную группу дамских платьев, которые в ослепительном полуденном свете кажутся какими-то сказочными, горящими цветами. А слева блестят золотые поющие трубы оркестра, и Ромашов чувствует, что между генералом и музыкой протянулась невидимая волшебная нить, которую и радостно и жутко перейти.

Но первая полурота уже вступила в эту черту.

— Хорошо, ребята! — слышится довольный голос корпусного командира.— А-а-а-а! — подхватывают солдаты высокими, счастливыми голосами. Еще громче вырываются вперед звуки музыки. «О милый! — с умилением думает Ромашов о генерале.— Умница!»

Теперь Ромашов один. Плавно и упруго, едва касаясь ногами земли, приближается он к заветной черте. Голова его дерзко закинута назад и с гордым вызовом обращена влево. Во всем теле у него такое ощущение легкости и свободы, точно он получил неожиданную

способность летать. И, сознавая себя предметом общего восхищения, прекрасным центром всего мира, он говорит сам себе в каком-то радужном, восторженном сне:

«Посмотрите, посмотрите,— это идет Ромашов». «Глаза дам сверкали восторгом». Раз, два, левой!.. «Впереди полуроты грациозной походкой шел красивый молодой подпоручик». Левой, правой!.. «Полковник Шульгович, ваш Ромашов одна прелесть,— сказал корпусный командир,— я бы хотел иметь его своим адъютантом». Левой...

Еще секунда, еще мгновение — и Ромашов пересекает очарованную нить. Музыка звучит безумным, героическим, огненным торжеством. «Сейчас похвалит», — думает Ромашов, и душа его полна праздничным сиянием. Слышен голос корпусного командира, вот голос Шульговича, еще чьи-то голоса... «Конечно, генерал похвалил, но отчего же солдаты не отвечали? Кто-то кричит сзади, из рядов... Что случилось?»

Ромашов обернулся назад и побледнел. Вся его полурота вместо двух прямых, стройных линий представляла из себя безобразную, изломанную по всем направлениям, стеснившуюся, как овечье стадо, толпу. Это случилось от того, что подпоручик, упоенный своим восторгом и своими пылкими мечтами, сам не заметил того, как шаг за шагом передвигался от середины вправо, наседая в то же время на полуроту, и, наконец, очутился на ее правом фланге, смяв и расстроив общее движение. Все это Ромашов увидел и понял в одно короткое, как мысль, мгновение, так же как увидел и рядового Хлебникова, который ковылял один, шагах в двадцати за строем, как раз на глазах генерала. Он упал на ходу и теперь, весь в пыли, догонял свою полуроту, низко согнувшись под тяжестью амуниции, точно бежа на четвереньках, держа в одной руке ружье за середину, а другой рукой беспомощно вытирая нос.

Ромашову вдруг показалось, что сияющий майский день сразу потемнел, что на его плечи легла мертвая, чужая тяжесть, похожая на песчаную гору, и что музыка заиграла скучно и глухо. И сам он почувствовал себя маленьким, слабым, некрасивым, с вялыми движениями, с грузными, неловкими, заплетающимися ногами.

К нему уже летел карьером полковой адъютант. Лицо Федоровского было красно и перекошено злостью,

нижняя челюсть прыгала. Он задыхался от гнева и от быстрой скачки. Еще издали он начал яростно кричать, захлебываясь и давясь словами:

— Подпоручик... Ромашов... Командир полка объявляет вам... строжайший выговор... На семь дней... на гауптвахту... в штаб дивизии... Безобразие, скандал... Весь полк о..... и!.. Мальчишка!

Ромашов не отвечал ему, даже не повернул к нему головы. Что ж, конечно, он имеет право браниться! Вот и солдаты слышали, как адъютант кричал на него. «Ну, что ж, и пускай слышали, так мне и надо, и пускай,— с острой ненавистью к самому себе подумал Ромашов.— Все теперь пропало для меня. Я застрелюсь. Я опозорен навеки. Все, все пропало для меня. Я смешной, я маленький, у меня бледное, некрасивое лицо, какое-то нелепое лицо, противнее всех лиц на свете. Все пропало! Солдаты идут сзади меня, смотрят мне в спину и смеются, и подталкивают друг друга локтями. А может быть, жалеют меня? Нет, я непременно, непременно застрелюсь!»

Полуроты, отходя довольно далеко от корпусного командира, одна за другой заворачивали левым плечом и возвращались на прежнее место, откуда они начали движение. Тут их перестраивали в развернутый ротный строй. Пока подходили задние части, людям позволили стоять вольно, а офицеры сошли с своих мест, чтобы размяться и покурить из рукава. Один Ромашов оставался в середине фронта, на правом фланге своей полуроты. Концом обнаженной шашки он сосредоточенно ковырял землю у своих ног и хотя не подымал опущенной головы, но чувствовал, что со всех сторон на него устремлены любопытные, насмешливые и презрительные взгляды.

Капитан Слива прошел мимо Ромашова и, не останавливаясь, не глядя на него, точно разговаривая сам с собою, проворчал хрипло, со сдержанной злобой, сквозь сжатые зубы:

— С-сегодня же из-звольте подать рапорт о п-переводе в другую роту.

Потом подошел Веткин. В его светлых, добрых глазах и в углах опустившихся губ Ромашов прочел то брезгливое и жалостное выражение, с каким люди смотрят на раздавленную поездом собаку. И в то же время сам Ро-

машов с отвращением почувствовал у себя на лице какую-то бессмысленную, тусклую улыбку.

— Пойдем покурим, Юрий Алексеич,— сказал Веткин.

И, чмокнув языком и качнув головой, он прибавил с досадой:

— Эх, голубчик!..

У Ромашова затрясся подбородок, а в гортани стало горько и тесно. Едва удерживаясь от рыданий, он ответил обрывающимся, задушенным голосом обиженного ребенка:

— Нет уж... что уж тут... я не хочу...

Веткин отошел в сторону. «Вот возьму сейчас подойду и ударю Сливу по щеке,— мелькнула у Ромашова ни с того ни с сего отчаянная мысль.— Или подойду к корпусному и скажу: «Стыдно тебе, старому человеку, играть в солдатики и мучить людей. Отпусти их отдохнуть. Из-за тебя две недели били солдат».

Но вдруг ему вспомнились его недавние горделивые мечты о стройном красавце подпоручике, о дамском восторге, об удовольствии в глазах боевого генерала,— и ему стало так стыдно, что он мгновенно покраснел не только лицом, но даже грудью и спиной.

«Ты смешной, презренный, гадкий человек! — крикнул он самому себе мысленно.— Знайте же все, что я сегодня застрелюсь!»

Смотр кончался. Роты еще несколько раз продефилировали перед корпусным командиром: сначала поротно шагом, потом бегом, затем сомкнутой колонной с ружьями наперевес. Генерал как будто смягчился немного и несколько раз похвалил солдат. Было уже около четырех часов. Наконец полк остановили и приказали людям стоять вольно. Штаб-горнист затрубил «вызов начальников».

— Господа офицеры, к корпусному командиру! — пронеслось по рядам.

Офицеры вышли из строя и сплошным кольцом окружили корпусного командира. Он сидел на лошади, сгорбившись, опустившись, по-видимому, сильно утомленный, но его умные, прищуренные, опухшие глаза живо и насмешливо глядели сквозь золотые очки.

— Буду краток,— заговорил он отрывисто и веско.—

Полк никуда не годен. Солдат не браню, обвиняю начальников. Кучер плох — и лошади не везут. Не вижу в вас сердца, разумного понимания заботы о людях. Помните твердо: «Блажен, иже душу свою положит за други своя». А у вас одна мысль — лишь бы угодить на смотру начальству. Людей завертели, как извозчичьих лошадей. Офицеры имеют запущенный и дикий вид, какие-то дьячки в мундирах. Впрочем, об этом прочтете в моем приказе. Один прапорщик, кажется, шестой или седьмой роты, потерял равнение и сделал из роты кашу. Стыдно! Не требую шагистики в три темпа, но глазомер и спокойствие прежде всего.

«Обо мне!» — с ужасом подумал Ромашов, и ему показалось, что все стоящие здесь одновременно обернулись на него. Но никто не пошевелился. Все стояли молчаливые, понурые и неподвижные, не сводя глаз с лица генерала.

— Командиру пятой роты мое горячее спасибо! — продолжал корпусный командир.— Где вы, капитан? А, вот!— генерал несколько театрально, двумя руками поднял над головой фуражку, обнажил лысый мощный череп, сходящийся шишкой над лбом, и низко поклонился Стельковскому.—Еще раз благодарю вас и с удовольствием жму вашу руку. Если приведет бог драться моему корпусу под моим начальством,— глаза генерала заморгали и засветились слезами,— то помните, капитан, первое опасное дело поручу вам. А теперь, господа, мое почтение-с. Вы свободны, рад буду видеть вас в другой раз, но в другом порядке. Позвольте-ка дорогу коню.

— Ваше превосходительство,— выступил вперед Шульгович,— осмелюсь предложить от имени общества господ офицеров отобедать в нашем собрании. Мы будем...

— Нет, уж зачем! — сухо оборвал его генерал.— Премного благодарен, я приглашен сегодня к графу Ледоховскому.

Сквозь широкую дорогу, очищенную офицерами, он галопом поскакал к полку. Люди сами, без приказания, встрепенулись, вытянулись и затихли.

— Спасибо, N-цы! — твердо и приветливо крикнул генерал.— Даю вам два дня отдыха. А теперь...— он весело возвысил голос,— по палаткам бегом марш! Ура!

Казалось, он этим коротким криком сразу толкнул весь полк. С оглушительным радостным ревом кинулись полторы тысячи людей в разные стороны, и земля затряслась и загудела под их ногами.

Ромашов отделился от офицеров, толпою возвращавшихся в город, и пошел дальней дорогой, через лагерь. Он чувствовал себя в эти минуты каким-то жалким отщепенцем, выброшенным из полковой семьи, каким-то неприятным, чуждым для всех человеком, и даже не взрослым человеком, а противным, порочным и уродливым мальчишкой.

Когда он проходил сзади палаток своей роты, по офицерской линии, то чей-то сдавленный, но гневный крик привлек его внимание. Он остановился на минутку и в просвете между палатками увидел своего фельдфебеля Рынду, маленького, краснолицего, апоплектического крепыша, который, неистово и скверно ругаясь, бил кулаками по лицу Хлебникова. У Хлебникова было темное, глупое, растерянное лицо, а в бессмысленных глазах светился животный ужас. Голова его жалко моталась из одной стороны в другую, и слышно было, как при каждом ударе громко клацали друг о друга его челюсти.

Ромашов торопливо, почти бегом, прошел мимо. У него не было сил заступиться за Хлебникова. И в то же время он болезненно почувствовал, что его собственная судьба и судьба этого несчастного, забитого, замученного солдатика как-то странно, родственно-близко и противно сплелись за нынешний день. Точно они были двое калек, страдающих одной и той же болезнью и возбуждающих в людях одну и ту же брезгливость. И хотя это сознание одинаковости положений и внушало Ромашову колючий стыд и отвращение, но в нем было также что-то необычайное, глубокое, истинно человеческое.

XVI

Из лагеря в город вела только одна дорога — через полотно железной дороги, которое в этом месте проходило в крутой и глубокой выемке. Ромашов по узкой, плотно утоптанной, почти отвесной тропинке быстро сбежал

вниз и стал с трудом взбираться по другому откосу. Еще с середины подъема он заметил, что кто-то стоит наверху в кителе и в шинели внакидку. Остановившись на несколько секунд и прищурившись, он узнал Николаева.

«Сейчас будет самое неприятное!» — подумал Ромашов. Сердце у него тоскливо заныло от тревожного предчувствия. Но он все-таки покорно подымался кверху.

Офицеры не видались около пяти дней, но теперь они почему-то не поздоровались при встрече, и почему-то Ромашов не нашел в этом ничего необыкновенного, точно иначе и не могло случиться в этот тяжелый, несчастный день. Ни один из них даже не прикоснулся рукой к фуражке.

— Я нарочно ждал вас здесь, Юрий Алексеич,— сказал Николаев, глядя куда-то вдаль, на лагерь, через плечо Ромашова.

— К вашим услугам, Владимир Ефимыч,— ответил Ромашов с фальшивой развязностью, но дрогнувшим голосом. Он нагнулся, сорвал прошлогоднюю сухую коричневую былинку и стал рассеянно ее жевать. В то же время он пристально глядел, как в пуговицах на пальто Николаева отражалась его собственная фигура, с узкой, маленькой головкой и крошечными ножками, но безобразно раздутая в боках.

— Я вас не задержу, мне только два слова,— сказал Николаев.

Он произносил слова особенно мягко, с усиленной вежливостью вспыльчивого и рассерженного человека, решившегося быть сдержанным. Но так как разговаривать, избегая друг друга глазами, становилось с каждой секундой все более неловко, то Ромашов предложил вопросительно:

— Так пойдемте?

Извилистая стежка, протоптанная пешеходами, пересекала большое свекловичное поле. Вдали виднелись белые домики и красные черепичные крыши города. Офицеры пошли рядом, сторонясь друг от друга и ступая по мясистой, густой, хрустевшей под ногами зелени. Некоторое время оба молчали. Наконец Николаев, переведя широко и громко, с видимым трудом, дыхание, заговорил первый:

— Я прежде всего должен поставить вопрос: относитесь ли вы с должным уважением к моей жене... к Александре Петровне?

— Я не понимаю, Владимир Ефимович...— возразил Ромашов.— Я, с своей стороны, тоже должен спросить вас...

— Позвольте!— вдруг загорячился Николаев.— Будем спрашивать поочередно, сначала я, а потом вы. А иначе мы не столкуемся. Будемте говорить прямо и откровенно. Ответьте мне прежде всего: интересует вас хоть сколько-нибудь то, что́ о ней говорят и сплетничают? Ну, словом... черт!.. ее репутация? Нет, нет, подождите, не перебивайте меня... Ведь вы, надеюсь, не будете отрицать того, что вы от нее и от меня не видели ничего, кроме хорошего, и что вы были в нашем доме приняты, как близкий, свой человек, почти как родной.

Ромашов оступился в рыхлую землю, неуклюже споткнулся и пробормотал стыдливо:

— Поверьте, я всегда буду благодарен вам и Александре Петровне...

— Ах, нет, вовсе не в этом дело, вовсе не в этом. Я не ищу вашей благодарности,— рассердился Николаев.— Я хочу сказать только то, что моей жены коснулась грязная, лживая сплетня, которая... ну, то есть в которую...— Николаев часто задышал и вытер лицо платком.— Ну, словом, здесь замешаны и вы. Мы оба — я и она,— мы получаем чуть ли не каждый день какие-то подлые, хамские анонимные письма. Не стану вам их показывать... мне омерзительно это. И вот в этих письмах говорится...— Николаев замялся на секунду.— Ну, да, черт!.. говорится о том, что вы — любовник Александры Петровны и что... ух, какая подлость!.. Ну, и так далее... что у вас ежедневно происходят какие-то тайные свидания и будто бы весь полк об этом знает. Мерзость!

Он злобно заскрипел зубами и сплюнул.

— Я знаю, кто писал,— тихо сказал Ромашов, отворачиваясь в сторону.

— Знаете?

Николаев остановился и грубо схватил Ромашова за рукав. Видно было, что внезапный порыв гнева сразу разбил его искусственную сдержанность. Его воловьи глаза расширились, лицо налилось кровью, в углах задрожав-

ших губ выступила густая слюна. Он яростно закричал, весь наклоняясь вперед и приближая свое лицо в упор к лицу Ромашова:

— Так как же вы смеете молчать, если знаете! В вашем положении долг каждого мало-мальски порядочного человека — заткнуть рот всякой сволочи. Слышите вы... армейский донжуан! Если вы честный человек, а не какая-нибудь...

Ромашов, бледнея, посмотрел с ненавистью в глаза Николаеву. Ноги и руки у него вдруг страшно отяжелели, голова сделалась легкой и точно пустой, а сердце упало куда-то глубоко вниз и билось там огромными, болезненными толчками, сотрясая все тело.

— Я попрошу вас не кричать на меня,— глухо и протяжно произнес Ромашов.— Говорите приличнее, я не позволю вам кричать.

— Я вовсе на вас и не кричу,— все еще грубо, но понижая тон, возразил Николаев.— Я вас только убеждаю, хотя имею право требовать. Наши прежние отношения дают мне это право. Если вы хоть сколько-нибудь дорожите чистым, незапятнанным именем Александры Петровны, то вы должны прекратить эту травлю.

— Хорошо, я сделаю все, что могу,— сухо ответил Ромашов.

Он повернулся и пошел вперед, посередине тропинки. Николаев тотчас же догнал его.

— И потом... только вы, пожалуйста, не сердитесь...— заговорил Николаев смягченно, с оттенком замешательства.— Уж р з мы начали говорить, то лучше говорить все до конца... Не правда ли?

— Да? — полувопросительно произнес Ромашов.

— Вы сами видели, с каким чувством симпатии мы к вам относились, то есть я и Александра Петровна. И если я теперь вынужден... Ах, да вы сами знаете, что в этом паршивом городишке нет ничего страшнее сплетни!

— Хорошо,— грустно ответил Ромашов.— Я перестану у вас бывать. Ведь вы об этом хотели просить меня? Ну, хорошо. Впрочем, я и сам решил прекратить мои посещения. Несколько дней тому назад я зашел всего на пять минут, возвратить Александре Петровне ее книги, и, смею уверить вас, это в последний раз.

— Да... так вот...— сказал неопределенно Николаев и смущенно замолчал.

Офицеры в эту минуту свернули с тропинки на шоссе. До города оставалось еще шагов триста, и так как говорить было больше не о чем, то оба шли рядом, молча и не глядя друг на друга. Ни один не решался — ни остановиться, ни повернуть назад. Положение становилось с каждой минутой все более фальшивым и натянутым.

Наконец около первых домов города им попался навстречу извозчик. Николаев окликнул его.

— Да... так вот...— опять нелепо промолвил он, обращаясь к Ромашову.— Итак, до свидания, Юрий Алексеевич.

Они не подали друг другу рук, а только притронулись к козырькам. Но когда Ромашов глядел на удаляющийся в пыли белый крепкий затылок Николаева, он вдруг почувствовал себя таким оставленным всем миром и таким внезапно одиноким, как будто от его жизни только что отрезали что-то самое большое, самое главное.

Он медленно пошел домой. Гайнан встретил его на дворе, еще издали дружелюбно и весело скаля зубы. Снимая с подпоручика пальто, он все время улыбался от удовольствия и, по своему обыкновению, приплясывал на месте.

— Твоя не обедал? — спрашивал он с участливой фамильярностью.— Небось, голодный? Сейчас побежу в собранию, принесу тебе обед.

— Убирайся к черту! — визгливо закричал на него Ромашов.— Убирайся, убирайся и не смей заходить ко мне в комнату. И кто бы ни спрашивал — меня нет дома. Хоть бы сам государь император пришел.

Он лег на постель и зарылся головой в подушку, вцепившись в нее зубами. У него горели глаза, что-то колючее, постороннее распирало и в то же время сжимало горло, и хотелось плакать. Он жадно искал этих горячих и сладостных слез, этих долгих, горьких, облегчающих рыданий. И он снова и снова нарочно вызывал в воображении прошедший день, сгущая все нынешние обидные и позорные происшествия, представляя себе самого себя, точно со стороны, оскорбленным, несчастным, сла-

бым и заброшенным и жалостно умиляясь над собой. Но слезы не приходили.

Потом случилось что-то странное. Ромашову показалось, что он вовсе не спал, даже не задремал ни на секунду, а просто в течение одного только момента лежал без мыслей, закрыв глаза. И вдруг он неожиданно застал себя бодрствующим, с прежней тоской на душе. Но в комнате уже было темно. Оказалось, что в этом непонятном состоянии умственного оцепенения прошло более пяти часов.

Ему захотелось есть. Он встал, прицепил шашку, накинул шинель на плечи и пошел в собрание. Это было недалеко, всего шагов двести, и туда Ромашов всегда ходил не с улицы, а через черный ход, какими-то пустырями, огородами и перелазами.

В столовой, в бильярдной и на кухне светло горели лампы, и оттого грязный, загроможденный двор офицерского собрания казался черным, точно залитым чернилами. Окна были всюду раскрыты настежь. Слышался говор, смех, пение, резкие удары бильярдных шаров.

Ромашов уже взошел на заднее крыльцо, но вдруг остановился, уловив в столовой раздраженный и насмешливый голос капитана Сливы. Окно было в двух шагах, и, осторожно заглянув в него, Ромашов увидел сутуловатую спину своего ротного командира.

— В-вся рота идет, к-как один ч-человек — ать! ать! ать! — говорил Слива, плавно подымая и опуская протянутую ладонь,— а *оно одно*, точно на смех — о! о! — як тот козел.—Он суетливо и безобразно ткнул несколько раз указательным пальцем вверх.—Я ему п-прямо сказал б-без церемонии: уходите-ка, п-почтеннейший, в друг-гую роту. А лучше бы вам и вовсе из п-полка уйти. Какой из вас к черту офицер? Так, м-междометие какое-то...

Ромашов зажмурил глаза и съежился. Ему казалось, что если он сейчас пошевелится, то все сидящие в столовой заметят это и высунутся из окон. Так простоял он минуту или две. Потом, стараясь дышать как можно тише, сгорбившись и спрятав голову в плечи, он на цыпочках двинулся вдоль стены, прошел, все ускоряя шаг, до ворот и, быстро перебежав освещенную луной улицу, скрылся в густой тени противоположного забора.

Ромашов долго кружил в этот вечер по городу, держась все время теневых сторон, но почти не сознавая, по каким улицам он идет. Раз он остановился против дома Николаевых, который ярко белел в лунном свете, холодно, глянцевито и странно сияя своей зеленой металлической крышей. Улица была мертвенно тиха, безлюдна и казалась незнакомой. Прямые четкие тени от домов и заборов резко делили мостовую пополам — одна половина была совсем черная, а другая масляно блестела гладким, круглым булыжником.

За темно-красными плотными занавесками большим теплым пятном просвечивал свет лампы. «Милая, неужели ты не чувствуешь, как мне грустно, как я страдаю, как я люблю тебя!» — прошептал Ромашов, делая плачущее лицо и крепко прижимая обе руки к груди.

Ему вдруг пришло в голову заставить Шурочку, чтобы она услышала и поняла его на расстоянии, сквозь стены комнаты. Тогда, сжав кулаки так сильно, что под ногтями сделалось больно, сцепив судорожно челюсти, с ощущением холодных мурашек по всему телу, он стал твердить в уме, страстно напрягая всю свою волю:

«Посмотри в окно... Подойди к занавеске. Встань с дивана и подойди к занавеске. Выгляни, выгляни, выгляни. Слышишь, я тебе приказываю, сейчас же подойди к окну».

Занавески остались неподвижными. «Ты не слышишь меня! — с горьким упреком прошептал Ромашов.— Ты сидишь теперь с ним рядом, около лампы, спокойная, равнодушная, красивая. Ах, боже мой, боже, как я несчастлив!»

Он вздохнул и утомленной походкой, низко опустив голову, побрел дальше.

Он проходил и мимо квартиры Назанского, но там было темно. Ромашову, правда, почудилось, что кто-то белый мелькал по неосвещенной комнате мимо окон, но ему стало почему-то страшно, и он не решился окликнуть Назанского.

Спустя несколько дней Ромашов вспоминал, точно далекое, никогда не забываемое сновидение, эту фантастическую, почти бредовую прогулку. Он сам не мог бы сказать, каким образом очутился он около еврейского кладбища. Оно находилось за чертой города и взбиралось на

гору, обнесенное низкой белой стеной, тихое и таинственное. Из светлой спящей травы печально подымались кверху голые, однообразные, холодные камни, бросавшие от себя одинаковые тонкие тени. А над кладбищем безмолвно и строго царствовала торжественная простота уединения.

Потом он видел себя на другом конце города. Может быть, это и в самом деле было во сне? Он стоял на середине длинной укатанной, блестящей плотины, широко пересекающей Буг. Сонная вода густо и лениво колыхалась под его ногами, мелодично хлюпая о землю, а месяц отражался в ее зыбкой поверхности дрожащим столбом, и казалось, что это миллионы серебряных рыбок плещутся на воде, уходя узкой дорожкой к дальнему берегу, темному, молчаливому и пустынному. И еще запомнил Ромашов, что повсюду — и на улицах и за городом — шел за ним сладкий, нежно-вкрадчивый аромат цветущей белой акации.

Странные мысли приходили ему в голову в эту ночь — одинокие мысли, то печальные, то жуткие, то мелочно, по-детски, смешные. Чаще же всего ему, точно неопытному игроку, проигравшему в один вечер все состояние, вдруг представлялось с соблазнительной ясностью, что вовсе ничего не было неприятного, что красивый подпоручик Ромашов отлично прошелся в церемониальном марше перед генералом, заслужил общие похвалы и что он сам теперь сидит вместе с товарищами в светлой столовой офицерского собрания и хохочет и пьет красное вино. Но каждый раз эти мечты обрывались воспоминаниями о брани Федоровского, о язвительных словах ротного командира, о разговоре с Николаевым, и Ромашов снова чувствовал себя непоправимо опозоренным и несчастным.

Тайный, внутренний инстинкт привел его на то место, где он разошелся сегодня с Николаевым. Ромашов в это время думал о самоубийстве, но думал без решимости и без страха, с каким-то скрытым, приятно-самолюбивым чувством. Обычная, неугомонная фантазия растворила весь ужас этой мысли, украсив и расцветив ее яркими картинами.

«Вот Гайнан выскочил из комнаты Ромашова. Лицо искажено испугом. Бледный, трясущийся, вбегает он

в офицерскую столовую, которая полна народом. Все невольно подымаются с мест при его появлении. «Ваше высокоблагородие... подпоручик... застрелился!..» — с трудом произносит Гайнан. Общее смятение. Лица бледнеют. В глазах отражается ужас. «Кто застрелился? Где? Какой подпоручик?» — «Господа, да ведь это денщик Ромашова! — узнает кто-то Гайнана.— Это его черемис». Все бегут на квартиру, некоторые без шапок. Ромашов лежит на кровати. Лужа крови на полу, и в ней валяется револьвер Смита и Вессона, казенного образца... Сквозь толпу офицеров, наполнявших маленькую комнату, с трудом пробирается полковой доктор Знойко. «В висок! — произносит он тихо среди общего молчания.— Все кончено». Кто-то замечает вполголоса: «Господа, снимите же шапки!» Многие крестятся. Веткин находит на столе записку, твердо написанную карандашом, и читает ее вслух: «Прощаю всех, умираю по доброй воле, жизнь так тяжела и печальна! Сообщите поосторожнее матери о моей смерти. Георгий Ромашов». Все переглядываются, и все читают в глазах друг у друга одну и ту же беспокойную, невысказанную мысль: «Это *мы* его убийцы!»

Мерно покачивается гроб под золотым парчовым покровом на руках восьми товарищей. Все офицеры идут следом. Позади их — шестая рота. Капитан Слива сурово хмурится. Доброе лицо Веткина распухло от слез, но теперь, на улице, он сдерживает себя. Лбов плачет навзрыд, не скрывая и не стыдясь своего горя,— милый, добрый мальчик! Глубокими, скорбными рыданиями несутся в весеннем воздухе звуки похоронного марша. Тут же и все полковые дамы и Шурочка. «Я его целовала! — думает она с отчаянием.— Я его любила! Я могла бы его удержать, спасти!» — «Слишком поздно!» — думает в ответ ей с горькой улыбкой Ромашов.

Тихо разговаривают между собой офицеры, идущие за гробом: «Эх, как жаль беднягу! Ведь какой славный был товарищ, какой прекрасный, способный офицер!.. Да... не понимали мы его!» Сильнее рыдает похоронный марш: это — музыка Бетховена «На смерть героя». А Ромашов лежит в гробу, неподвижный, холодный, с вечной улыбкой на губах. На груди у него скромный букет фиалок,— никто не знает, чья рука положила эти цветы. Он всех простил: и Шурочку, и Сливу, и Федоровского, и

корпусного командира. Пусть же не плачут о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой жизни! Ему будет лучше *там!*».

Слезы выступили на глаза, но Ромашов не вытирал их. Было так отрадно воображать себя оплакиваемым, несправедливо обиженным!

Он шел теперь вдоль свекловичного поля. Низкая толстая ботва пестрела путаными белыми и черными пятнами под ногами. Простор поля, освещенного луной, точно давил Ромашова. Подпоручик взобрался на небольшой земляной валик и остановился над железнодорожной выемкой.

Эта сторона была вся в черной тени, а на другую падал ярко-бледный свет, и казалось, на ней можно было рассмотреть каждую травку. Выемка уходила вниз, как темная пропасть; на дне ее слабо блестели отполированные рельсы. Далеко за выемкой белели среди поля правильные ряды остроконечных палаток.

Немного ниже гребня выемки, вдоль полотна, шел неширокий уступ. Ромашов спустился к нему и сел на траву. От голода и усталости он чувствовал тошноту вместе с ощущением дрожи и слабости в ногах. Большое пустынное поле, внизу выемка — наполовину в тени, наполовину в свете, смутно-прозрачный воздух, росистая трава,— все было погружено в чуткую, крадущуюся тишину, от которой гулко шумело в ушах. Лишь изредка на станции вскрикивали маневрирующие паровозы, и в молчании этой странной ночи их отрывистые свистки принимали живое, тревожное и угрожающее выражение.

Ромашов лег на спину. Белые, легкие облака стояли неподвижно, и над ними быстро катился круглый месяц. Пусто, громадно и холодно было наверху, и казалось, что все пространство от земли до неба наполнено вечным ужасом и вечной тоской. «Там — бог!» — подумал Ромашов, и вдруг, с наивным порывом скорби, обиды и жалости к самому себе, он заговорил страстным и горьким шепотом:

— Бог! Зачем ты отвернулся от меня? Я — маленький, я — слабый, я — песчинка, что́ я сделал тебе дурного, бог? Ты ведь все можешь, ты добрый, ты все видишь,— зачем же ты несправедлив ко мне, бог?

Но ему стало страшно, и он зашептал поспешно и горячо:

— Нет, нет, добрый, милый, прости меня, прости меня! Я не стану больше.— И он прибавил с кроткой, обезоруживающей покорностью: — Делай со мной все, что тебе угодно. Я всему повинуюсь с благодарностью.

Так он говорил, и в то же время у него в самых тайниках души шевелилась лукаво-невинная мысль, что его терпеливая покорность растрогает и смягчит всевидящего бога, и тогда вдруг случится чудо, от которого все сегодняшнее — тягостное и неприятное — окажется лишь дурным сном.

«Где ты ту-ут?» — сердито и торопливо закричал паровоз.

А другой подхватил низким тоном, протяжно и с угрозой:

«Я—ва-ас!»

Что-то зашуршало и мелькнуло на той стороне выемки, на самом верху освещенного откоса. Ромашов слегка приподнял голову, чтобы лучше видеть. Что-то серое, бесформенное, мало похожее на человека, спускалось сверху вниз, едва выделяясь от травы в призрачно-мутном свете месяца. Только по движению тени да по легкому шороху осыпавшейся земли можно было уследить за ним.

Вот оно перешло через рельсы. «Кажется — солдат?— мелькнула у Ромашова беспокойная догадка. — Во всяком случае, это человек. Но так странно идти может только лунатик или пьяный. Кто это?»

Серый человек пересек рельсы и вошел в тень. Теперь стало совсем ясно видно, что это солдат. Он медленно и неуклюже взбирался наверх, скрывшись на некоторое время из поля зрения Ромашова. Но прошло две-три минуты, и снизу начала медленно подыматься круглая стриженая голова без шапки.

Мутный свет прямо падал на лицо этого человека, и Ромашов узнал левофлангового солдата своей полуроты — Хлебникова. Он шел с обнаженной головой, держа шапку в руке, со взглядом, безжизненно устремленным вперед. Казалось, он двигался под влиянием какой-то чужой, внутренней, таинственной силы. Он прошел так близко около офицера, что почти коснулся его

полой своей шинели. В зрачках его глаз яркими, острыми точками отражался лунный свет.

— Хлебников! Ты? — окликнул его Ромашов.

— Ах! — вскрикнул солдат и вдруг, остановившись, весь затрепетал на одном месте от испуга.

Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мертвое, истерзанное лицо, с разбитыми, опухшими, окровавленными губами, с заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал: «Вот этот самый человек вместе со мной принес сегодня неудачу всему полку. Мы одинаково несчастны».

— Куда ты, голубчик? Что с тобой? — спросил ласково Ромашов и, сам не зная зачем, положил обе руки на плечи солдату.

Хлебников поглядел на него растерянным, диким взором, но тотчас же отвернулся. Губы его чмокнули, медленно раскрылись, и из них вырвалось короткое, бессмысленное хрипение. Тупое, раздражающее ощущение, похожее на то, которое предшествует обмороку, похожее на притворную щекотку, тягуче заныло в груди и в животе у Ромашова.

— Тебя били? Да? Ну, скажи же. Да? Сядь здесь, сядь со мною.

Он потянул Хлебникова за рукав вниз. Солдат, точно складной манекен, как-то нелепо-легко и послушно упал на мокрую траву, рядом с подпоручиком.

— Куда ты шел? — спросил Ромашов.

Хлебников молчал, сидя в неловкой позе с неестественно выпрямленными ногами. Ромашов видел, как его голова постепенно, едва заметными толчками опускалась на грудь. Опять послышался подпоручику короткий хриплый звук, и в душе у него шевельнулась жуткая жалость.

— Ты хотел убежать? Надень же шапку. Послушай, Хлебников, я теперь тебе не начальник, я сам несчастный, одинокий, убитый человек. Тебе тяжело? Больно? Поговори же со мной откровенно. Может быть, ты хотел убить себя? — спрашивал Ромашов бессвязным шепотом.

Что-то щелкнуло и забурчало в горле у Хлебникова,

но он продолжал молчать. В то же время Ромашов заметил, что солдат дрожит частой, мелкой дрожью: дрожала его голова, дрожали с тихим стуком челюсти. На секунду офицеру сделалось страшно. Эта бессонная лихорадочная ночь, чувство одиночества, ровный, матовый, неживой свет луны, чернеющая глубина выемки под ногами, и рядом с ним молчаливый, обезумевший от побоев солдат — все, все представилось ему каким-то нелепым, мучительным сновидением, вроде тех снов, которые, должно быть, будут сниться людям в самые последние дни мира. Но вдруг прилив теплого, самозабвенного, бесконечного сострадания охватил его душу. И, чувствуя свое личное горе маленьким и пустячным, чувствуя себя взрослым и умным в сравнении с этим забитым, затравленным человеком, он нежно и крепко обнял Хлебникова за шею, притянул к себе и заговорил горячо, со страстной убедительностью:

— Хлебников, тебе плохо? И мне нехорошо, голубчик, мне тоже нехорошо, поверь мне. Я ничего не понимаю из того, что делается на свете. Все — какая-то дикая, бессмысленная, жестокая чепуха! Но надо терпеть, мой милый, надо терпеть... Это надо.

Низко склоненная голова Хлебникова вдруг упала на колени Ромашову. И солдат, цепко обвив руками ноги офицера, прижавшись к ним лицом, затрясся всем телом, задыхаясь и корчась от подавляемых рыданий.

— Не могу больше...— лепетал Хлебников бессвязно, — не могу я, барин, больше... Ох, господи... Бьют, смеются... взводный денег просит, отделенный кричит... Где взять? Живот у меня надорванный... еще мальчонком надорвал... Кила у меня, барин... Ох, господи, господи!

Ромашов близко нагнулся над головой, которая исступленно моталась у него на коленях. Он услышал запах грязного, нездорового тела и немытых волос и прокислый запах шинели, которой покрывались во время сна. Бесконечная скорбь, ужас, непонимание и глубокая, виноватая жалость переполнили сердце офицера и до боли сжали и стеснили его. И, тихо склоняясь к стриженой, колючей, грязной голове, он прошептал чуть слышно:

— Брат мой!

Хлебников схватил руку офицера, и Ромашов почувствовал на ней вместе с теплыми каплями слез холодное и липкое прикосновение чужих губ. Но он не отнимал своей руки и говорил простые, трогательные, успокоительные слова, какие говорит взрослый обиженному ребенку.

Потом он сам отвел Хлебникова в лагерь. Пришлось вызывать дежурного по роте унтер-офицера Шаповаленко. Тот вышел в одном нижнем белье, зевая, щурясь и почесывая себе то спину, то живот.

Ромашов приказал ему сейчас же сменить Хлебникова с дневальства. Шаповаленко пробовал было возражать:

— Так что, ваше благородие, им еще не подошла смена!..

— Не разговаривать! — крикнул на него Ромашов.— Скажешь завтра ротному командиру, что я так приказал... Так ты придешь завтра ко мне? — спросил он Хлебникова, и тот молча ответил ему робким, благодарным взглядом.

Медленно шел Ромашов вдоль лагеря, возвращаясь домой. Шепот в одной из палаток заставил его остановиться и прислушаться. Кто-то полузадушенным, тягучим голосом рассказывал сказку:

— Во-от посылает той самый черт до того солдата самого свово главного вовшебника. Вот приходит той вовшебник и гово́рит: «Солдат, а солдат, я тебя зъем!» А солдат ему отвечает и гово́рит: «Ни, ты меня не можешь зъесть, так что я и сам вовшебник!»

Ромашов опять подошел к выемке. Чувство нелепости, сумбурности, непонятности жизни угнетало его. Остановившись на откосе, он поднял глаза вверх, к небу. Там по-прежнему был холодный простор и бесконечный ужас. И почти неожиданно для самого себя, подняв кулаки над головою и потрясая ими, Ромашов закричал бешено:

— Ты! Старый обманщик! Если ты что-нибудь можешь и смеешь, то... ну вот: сделай так, чтобы я сейчас сломал себе ногу.

Он стремглав, закрывши глаза, бросился вниз с крутого откоса, двумя скачками перепрыгнул рельсы и,

не останавливаясь, одним духом взобрался наверх. Ноздри у него раздулись, грудь порывисто дышала. Но в душе у него вдруг вспыхнула гордая, дерзкая и злая отвага.

XVII

С этой ночи в Ромашове произошел глубокий душевный надлом. Он стал уединяться от общества офицеров, обедал большею частью дома, совсем не ходил на танцевальные вечера в собрание и перестал пить. Он точно созрел, сделался старше и серьезнее за последние дни и сам замечал это по тому грустному и ровному спокойствию, с которым он теперь относился к людям и явлениям. Нередко по этому поводу вспоминались ему чьи-то давным-давно слышанные или читанные им смешные слова, что человеческая жизнь разделяется на какие-то «люстры» — в каждом люстре по семи лет — и что в течение одного люстра совершенно меняется у человека состав его крови и тела, его мысли, чувства и характер. А Ромашову недавно окончился двадцать первый год.

Солдат Хлебников зашел к нему, но лишь по второму напоминанию. Потом он стал заходить чаще.

Первое время он напоминал своим видом голодную, опаршивевшую, много битую собаку, пугливо отскакивающую от руки, протянутой с лаской. Но внимание и доброта офицера понемногу согрели и оттаяли его сердце. С совестливой и виноватой жалостью узнавал Ромашов подробности его жизни. Дома — мать с пьяницей-отцом, с полуидиотом-сыном и с четырьмя малолетними девчонками; землю у них насильно и несправедливо отобрал мир; все ютятся где-то в выморочной избе из милости того же мира; старшие работают у чужих людей, младшие ходят побираться. Денег из дома Хлебников не получает, а на вольные работы его не берут по слабосилию. Без денег же, хоть самых маленьких, тяжело живется в солдатах: нет ни чаю, ни сахару, не на что купить даже мыла, необходимо время от времени угощать взводного и отделенного водкой в солдатском буфете, все солдатское жалованье — двадцать две с половиной копейки в месяц — идет на подарки этому начальству. Бьют его каждый день, смеются над ним, из-

деваются, назначают не в очередь на самые тяжелые и неприятные работы.

С удивлением, с тоской и ужасом начинал Ромашов понимать, что судьба ежедневно и тесно сталкивает его с сотнями этих серых Хлебниковых, из которых каждый болеет своим горем и радуется своим радостям, но что все они обезличены и придавлены собственным невежеством, общим рабством, начальническим равнодушием, произволом и насилием. И ужаснее всего была мысль, что ни один из офицеров, как до сих пор и сам Ромашов, даже и не подозревает, что серые Хлебниковы с их однообразно-покорными и обессмысленными лицами — на самом деле живые люди, а не механические величины, называемые ротой, батальоном, полком...

Ромашов кое-что сделал для Хлебникова, чтобы доставить ему маленький заработок. В роте заметили это необычайное покровительство офицера солдату. Часто Ромашов замечал, что в его присутствии унтер-офицеры обращались к Хлебникову с преувеличенной насмешливой вежливостью и говорили с ним нарочно слащавыми голосами. Кажется, об этом знал и капитан Слива. По крайней мере он иногда ворчал, обращаясь в пространство:

— От-т из-звольте. Либералы п-пошли. Развращают роту. Их д-драть, подлецов, надо, а они с-сюсюкают с ними.

Теперь, когда у Ромашова оставалось больше свободы и уединения, все чаще и чаще приходили ему в голову непривычные, странные и сложные мысли, вроде тех, которые так потрясли его месяц тому назад, в день его ареста. Случалось это обыкновенно после службы, в сумерки, когда он тихо бродил в саду под густыми засыпающими деревьями и, одинокий, тоскующий, прислушивался к гудению вечерних жуков и глядел на спокойное розовое темнеющее небо.

Эта новая внутренняя жизнь поражала его своей многообразностью. Раньше он не смел и подозревать, какие радости, какая мощь и какой глубокий интерес скрываются в такой простой, обыкновенной вещи, как человеческая мысль.

Он уже знал теперь твердо, что не останется служить в армии и непременно уйдет в запас, как только

минуют три обязательных года, которые ему надлежало отбыть за образование в военном училище. Но он никак не мог себе представить, что он будет делать, ставши штатским. Поочередно он перебирал: акциз, железную дорогу, коммерцию, думал быть управляющим имением, поступить в департамент. И тут впервые он с изумлением представил себе все разнообразие занятий и профессий, которым отдаются люди. «Откуда берутся,— думал он,— разные смешные, чудовищные, нелепые и грязные специальности? Каким, например, путем вырабатывает жизнь тюремщиков, акробатов, мозольных операторов, палачей, золотарей, собачьих цирюльников, жандармов, фокусников, проституток, банщиков, коновалов, могильщиков, педелей? Или, может быть, нет ни одной даже самой пустой, случайной, капризной, насильственной или порочной человеческой выдумки, которая не нашла бы тотчас же исполнителя и слуги?»

Так же поражало его,— когда он вдумывался поглубже,— то, что огромное большинство интеллигентных профессий основано исключительно на недоверии к человеческой честности и таким образом обслуживает человеческие пороки и недостатки. Иначе к чему были бы повсюду необходимы конторщики, бухгалтеры, чиновники, полиция, таможня, контролеры, инспекторы и надсмотрщики — если бы человечество было совершенно?

Он думал также о священниках, докторах, педагогах, адвокатах и судьях — обо всех этих людях, которым по роду их занятий приходится постоянно соприкасаться с душами, мыслями и страданиями других людей. И Ромашов с недоумением приходил к выводу, что люди этой категории скорее других черствеют и опускаются, погружаясь в халатность, в холодную и мертвую формалистику, в привычное и постыдное равнодушие. Он знал, что существует и еще одна категория — устроителей внешнего, земного благополучия: инженеры, архитекторы, изобретатели, фабриканты, заводчики. Но они, которые могли бы общими усилиями сделать человеческую жизнь изумительно прекрасной и удобной,— они служат только богатству. Над всеми ими тяготеет страх за свою шкуру, животная любовь к своим детенышам и к своему логовищу, боязнь жизни и отсюда

трусливая привязанность к деньгам. Кто же, наконец, устроит судьбу забитого Хлебникова, накормит, выучит его и скажет ему: «Дай мне твою руку, брат».

Таким образом, Ромашов неуверенно, чрезвычайно медленно, но все глубже и глубже вдумывался в жизненные явления. Прежде все казалось таким простым. Мир разделялся на две неравные части: одна — меньшая — офицерство, которое окружает честь, сила, власть, волшебное достоинство мундира и вместе с мундиром почему-то и патентованная храбрость, и физическая сила, и высокомерная гордость; другая — огромная и безличная — штатские, иначе шпаки, штафирки и рябчики; их презирали; считалось молодечеством изругать или побить ни с того ни с сего штатского человека, потушить об его нос зажженную папироску, надвинуть ему на уши цилиндр; о таких подвигах еще в училище рассказывали друг другу с восторгом желторотые юнкера. И вот теперь, отходя как будто в сторону от действительности, глядя на нее откуда-то, точно из потайного угла, из щелочки, Ромашов начинал понемногу понимать, что вся военная служба с ее призрачной доблестью создана жестоким, позорным всечеловеческим недоразумением. «Каким образом может существовать сословие, — спрашивал сам себя Ромашов,— которое в мирное время, не принося ни одной крошечки пользы, поедает чужой хлеб и чужое мясо, одевается в чужие одежды, живет в чужих домах, а в военное время — идет бессмысленно убивать и калечить таких же людей, как они сами?»

И все ясней и ясней становилась для него мысль, что существуют только три гордых призвания человека: наука, искусство и свободный физический труд. С новой силой возобновились мечты о литературной работе. Иногда, когда ему приходилось читать хорошую книгу, проникнутую истинным вдохновением, он мучительно думал: «Боже мой, ведь это так просто, я сам это думал и чувствовал. Ведь и я мог бы сделать то же самое!» Его тянуло написать повесть или большой роман, канвой к которому послужили бы ужас и скука военной жизни. В уме все складывалось отлично, — картины выходили яркие, фигуры живые, фабула развивалась и укладывалась в прихотливо-правильный узор, и было

необычайно весело и занимательно думать об этом. Но когда он принимался писать, выходило бледно, по-детски вяло, неуклюже, напыщенно или шаблонно. Пока он писал, — горячо и быстро, — он сам не замечал этих недостатков, но стоило ему рядом с своими страницами прочитать хоть маленький отрывок из великих русских творцов, как им овладевало бессильное отчаяние, стыд и отвращение к своему искусству.

С такими мыслями он часто бродил теперь по городу в теплые ночи конца мая. Незаметно для самого себя он избирал все одну и ту же дорогу — от еврейского кладбища до плотины и затем к железнодорожной насыпи. Иногда случалось, что, увлеченный этой новой для него страстной головной работой, он не замечал пройденного пути, и вдруг, приходя в себя и точно просыпаясь, он с удивлением видел, что находится на другом конце города.

И каждую ночь он проходил мимо окон Шурочки, проходил по другой стороне улицы, крадучись, сдерживая дыхание, с бьющимся сердцем, чувствуя себя так, как будто он совершает какое-то тайное, постыдное воровское дело. Когда в гостиной у Николаевых тушили лампу и тускло блестели от месяца черные стекла окон, он притаивался около забора, прижимал крепко к груди руки и говорил умоляющим шепотом:

— Спи, моя прекрасная, спи, любовь моя. Я — возле, я стерегу тебя!

В эти минуты он чувствовал у себя на глазах слезы, но в душе его вместе с нежностью, с умилением и с самоотверженной преданностью ворочалась слепая животная ревность созревшего самца.

Однажды Николаев был приглашен к командиру полка на винт. Ромашов знал это. Ночью, идя по улице, он услышал за чьим-то забором, из палисадника, пряный и страстный запах нарциссов. Он перепрыгнул через забор и в темноте нарвал с грядки, перепачкав руки в сырой земле, целую охапку этих белых, нежных, мокрых цветов.

Окно в Шурочкиной спальне было открыто — оно выходило во двор и было не освещено. Со смелостью, которой он сам от себя не ожидал, Ромашов проскользнул в скрипучую калитку, подошел к стене и бросил цветы

в окно. Ничто не шелохнулось в комнате. Минуты три Ромашов стоял и ждал, и биение его сердца наполняло стуком всю улицу. Потом, съежившись, краснея от стыда, он на цыпочках вышел на улицу.

На другой день он получил от Шурочки короткую сердитую записку:

«Не смейте никогда больше этого делать. Нежности во вкусе Ромео и Джульетты смешны, особенно если они происходят в пехотном армейском полку».

Днем Ромашов старался хоть издали увидать ее на улице, но этого почему-то не случалось. Часто, увидав издали женщину, которая фигурой, походкой, шляпкой напоминала ему Шурочку, он бежал за ней со стесненным сердцем, с прерывающимся дыханием, чувствуя, как у него руки от волнения делаются холодными и влажными. И каждый раз, заметив свою ошибку, он ощущал в душе скуку, одиночество и какую-то мертвую пустоту.

XVIII

В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат, и, по странному расположению судьбы, повесился в то же самое число, в которое в прошлом году произошел в этой роте такой же случай. Когда его вскрывали, Ромашов был помощником дежурного по полку и поневоле вынужден был присутствовать при вскрытии. Солдат еще не успел разложиться. Ромашов слышал, как из его развороченного на куски тела шел густой запах сырого мяса, точно от туш, которые выставляют при входе в мясные лавки. Он видел его серые и синие ослизлые глянцевитые внутренности, видел содержимое его желудка, видел его мозг —серо-желтый, весь в извилинах, вздрагивавший на столе от шагов, как желе, перевернутое из формы. Все это было ново, страшно и противно и в то же время вселяло в него какое-то брезгливое неуважение к человеку.

Изредка, время от времени, в полку наступали дни какого-то общего, повального, безобразного кутежа. Может быть, это случалось в те странные моменты, когда люди, случайно между собой связанные, но все вместе осужденные на скучную бездеятельность и бессмыслен-

ную жестокость, вдруг прозревали в глазах друг у друга, там, далеко, в запутанном и угнетенном сознании, какую-то таинственную искру ужаса, тоски и безумия. И тогда спокойная, сытая, как у племенных быков, жизнь точно выбрасывалась из своего русла.

Так случилось и после этого самоубийства. Первым начал Осадчий. Как раз подошло несколько дней праздников подряд, и он в течение их вел в собрании отчаянную игру и страшно много пил. Странно: огромная воля этого большого, сильного и хищного, как зверь, человека увлекла за собой весь полк в какую-то вертящуюся книзу воронку, и во все время этого стихийного, припадочного кутежа Осадчий с цинизмом, с наглым вызовом, точно ища отпора и возражения, поносил скверными словами имя самоубийцы.

Было шесть часов вечера. Ромашов сидел с ногами на подоконнике и тихо насвистывал вальс из «Фауста». В саду кричали воробьи и стрекотали сороки. Вечер еще не наступил, но между деревьями уже бродили легкие задумчивые тени.

Вдруг у крыльца его дома чей-то голос запел громко, с воодушевлением, но фальшиво:

Бесятся кони, бренчат мундштуками,
Пенятся, рвутся, хрàпя-а-ат...

С грохотом распахнулись обе входные двери, и в комнату ввалился Веткин. С трудом удерживая равновесие, он продолжал петь:

Барыни, барышни взором отчаянным
Вслед уходящим глядят.

Он был пьян, тяжело, угарно, со вчерашнего. Веки глаз от бессонной ночи у него покраснели и набрякли. Шапка сидела на затылке. Усы, еще мокрые, потемнели и висели вниз двумя густыми сосульками, точно у моржа.

— Р-ромуальд! Анахорет сирийский, дай я тебя лобзну! — завопил он на всю комнату.— Ну, чего ты киснешь? Пойдем, брат. Там весело: играют, поют. Пойдем!

Он крепко и продолжительно поцеловал Ромашова в губы, смочив его лицо своими усами.

— Ну, будет, будет, Павел Павлович,— слабо сопротивлялся Ромашов,— к чему телячьи восторги?

— Друг, руку твою! Институтка. Люблю в тебе я

прошлое страданье и юность улетевшую мою. Сейчас Осадчий такую вечную память вывел, что стекла задребезжали. Ромашевич, люблю я, братец, тебя! Дай я тебя поцелую, по-настоящему, по-русски, в самые губы!

Ромашову было противно опухшее лицо Веткина с остекленевшими глазами, был гадок запах, шедший из его рта, прикосновение его мокрых губ и усов. Но он был всегда в этих случаях беззащитен и теперь только деланно и вяло улыбался.

— Постой, зачем я к тебе пришел?..— кричал Веткин, икая и пошатываясь.— Что-то было важное... А, вот зачем. Ну, брат, и выставил же я Бобетинского. Понимаешь — все дотла, до копеечки. Дошло до того, что он просит играть на запись! Ну, уж я тут ему говорю: «Нет уж, батенька, это атàнде-с, не хотите ли чего-нибудь помягче-с?» Тут он ставит револьвер. На-ка вот, Ромашенко, погляди. — Веткин вытащил из брюк, вывернув при этом карман наружу, маленький изящный револьвер в сером замшевом чехле.— Это, брат, системы Мервина. Я спрашиваю: «Во сколько ставишь?» — «Двадцать пять». — «Десять!» — «Пятнадцать».— «Ну черт с тобой!» Поставил он рубль в цвет и в масть в круглую. Бац, бац, бац, бац! На пятом абцуге я его даму — чик! Здравствуйте, сто гусей! За ним еще что-то осталось. Великолепный револьвер и патроны к нему. На́ тебе, Ромашевич. В знак памяти и дружбы нежной дарю тебе сей револьвер, и помни всегда прилежно, какой Веткин — храбрый офицер. На! Это стихи.

— Зачем это, Павел Павлович? Спрячьте.

— Что, ты думаешь, плохой револьвер? Слона можно убить. Постой, мы сейчас попробуем. Где у тебя помещается твой раб? Я пойду, спрошу у него какую-нибудь доску. Эй, р-р-раб! Оруженосец!

Колеблющимися шагами он вышел в сени, где обыкновенно помещался Гайнан, повозился там немного и через минуту вернулся, держа под правым локтем за голову бюст Пушкина.

— Будет, Павел Павлович, не сто́ит,— слабо останавливал его Ромашов.

— Э, чепуха! Какой-то шпак. Вот мы его сейчас поставим на табуретку. Стой смирно, каналья! — погрозил Веткин пальцем на бюст.— Слышишь? Я тебе задам!

Он отошел в сторону, прислонился к подоконнику рядом с Ромашовым и взвел курок. Но при этом он так нелепо, такими пьяными движениями размахивал револьвером в воздухе, что Ромашов только испуганно морщился и часто моргал глазами, ожидая нечаянного выстрела.

Расстояние было не более восьми шагов. Веткин долго целился, кружа дулом в разные стороны. Наконец он выстрелил, и на бюсте, на правой щеке, образовалась большая неправильная черная дыра. В ушах у Ромашова зазвенело от выстрела.

— Видал миндал? — закричал Веткин.— Ну, так вот, на́ тебе, береги на память и помни мою любовь. А теперь надевай китель и айда в собрание. Дернем во славу русского оружия.

— Павел Павлович, право ж, не сто́ит, право же, лучше не нужно,— бессильно умолял его Ромашов.

Но он не сумел отказаться: не находил для этого ни решительных слов, ни крепких интонаций в голосе. И, мысленно браня себя за тряпичное безволие, он вяло поплелся за Веткиным, который нетвердо, зигзагами шагал вдоль огородных грядок, по огурцам и капусте.

Это был беспорядочный, шумный, угарный—поистине сумасшедший вечер. Сначала пили в собрании, потом поехали на вокзал пить глинтвейн, опять вернулись в собрание. Сначала Ромашов стеснялся, досадовал на самого себя за уступчивость и испытывал то нудное чувство брезгливости и неловкости, которое ощущает всякий свежий человек в обществе пьяных. Смех казался ему неестественным, остроты — плоскими, пение — фальшивым. Но красное горячее вино, выпитое им на вокзале, вдруг закружило его голову и наполнило его шумным и каким-то судорожным весельем. Перед глазами стала серая завеса из миллионов дрожащих песчинок, и все сделалось удобно, смешно и понятно.

Час за часом пробегали, как секунды, и только потому, что в столовой зажгли лампы, Ромашов смутно понял, что прошло много времени и наступила ночь.

— Господа, поедемте к девочкам,— предложил кто-то.— Поедемте все к Шлейферше.

— К Шлейферше, к Шлейферше. Ура!

И все засуетились, загрохотали стульями, засмеялись. В этот вечер все делалось как-то само собой. У ворот собрания уже стояли пароконные фаэтоны, но никто не знал, откуда они взялись. В сознании Ромашова уже давно появились черные сонные провалы, чередовавшиеся с моментами особенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел себя сидящим в экипаже рядом с Веткиным. Впереди на скамейке помещался кто-то третий, но лица его Ромашов никак не мог ночью рассмотреть, хотя и наклонялся к нему, бессильно мотаясь туловищем влево и вправо. Лицо это казалось темным и то суживалось в кулачок, то растягивалось в косом направлении и было удивительно знакомо. Ромашов вдруг засмеялся и сам точно со стороны услыхал свой тупой, деревянный смех.

— Врешь, Веткин, я знаю, брат, куда мы едем,— сказал он с пьяным лукавством.— Ты, брат, меня везешь к женщинам. Я, брат, знаю.

Их перегнал, оглушительно стуча по камням, другой экипаж. Быстро и сумбурно промелькнули в свете фонарей гнедые лошади, скакавшие нестройным карьером, кучер, неистово вертевший над головой кнутом, и четыре офицера, которые с криком и свистом качались на своих сиденьях.

Сознание на минуту с необыкновенной яркостью и точностью вернулось к Ромашову. Да, вот он едет в то место, где несколько женщин отдают кому угодно свое тело, свои ласки и великую тайну своей любви. За деньги? На минуту? Ах, не все ли равно! Женщины! Женщины! — кричал внутри Ромашова какой-то дикий и сладкий нетерпеливый голос. Примешивалась к нему, как отдаленный, чуть слышный звук, мысль о Шурочке, но в этом совпадении не было ничего низкого, оскорбительного, а, наоборот, было что-то отрадное, ожидаемое, волнующее, от чего тихо и приятно щекотало в сердце.

Вот он сейчас приедет к ним, еще не известным, еще ни разу не виданным, к этим странным, таинственным, пленительным существам —к женщинам! И сокровенная мечта сразу станет явью, и он будет смотреть на них, брать их за руки, слушать их нежный смех и пение, и это будет непонятным, но радостным утешением в той страстной жажде, с которой он стремится к одной женщине в мире, к ней, к Шурочке! Но в мыслях его не было

никакой определенно чувственной цели,— его, отвергнутого одной женщиной, властно, стихийно тянуло в сферу этой неприкрытой, откровенной, упрощенной любви, как тянет в холодную ночь на огонь маяка усталых и изябших перелетных птиц. И больше ничего.

Лошади повернули направо. Сразу прекратился стук колес и дребезжание гаек. Экипаж сильно и мягко заколебался на колеях и выбоинах, круто спускаясь под горку. Ромашов открыл глаза. Глубоко внизу под его ногами широко и в беспорядке разбросались маленькие огоньки. Они то ныряли за деревья и невидимые дома, то опять выскакивали наружу, и казалось, что там, по долине, бродит большая разбившаяся толпа, какая-то фантастическая процессия с фонарями в руках. На миг откуда-то пахнуло теплом и запахом полыни, большая темная ветка зашелестела по головам, и тотчас же потянуло сырым холодом, точно дыханием старого погреба.

— Куда мы едем? — спросил опять Ромашов.

— В Завалье! — крикнул сидевший впереди, и Ромашов с удивлением подумал: «Ах, да ведь это поручик Епифанов. Мы едем к Шлейферше».

— Неужели вы ни разу не были? — спросил Веткин.

— Убирайтесь вы оба к черту! — крикнул Ромашов.

Но Епифанов смеялся и говорил:

— Послушайте, Юрий Алексеич, хотите, мы шепнем, что вы в первый раз в жизни? А? Ну, миленький, ну, душечка. Они это любят. Что вам сто́ит?

Опять сознание Ромашова заволоклось плотным, непроницаемым мраком. Сразу, точно без малейшего перерыва, он увидел себя в большой зале с паркетным полом и с венскими стульями вдоль всех стен. Над входной дверью и над тремя другими дверьми, ведущими в темные каморки, висели длинные ситцевые портьеры, красные, в желтых букетах. Такие же занавески слабо надувались и колыхались над окнами, отворенными в черную тьму двора. На стенах горели лампы. Было светло, дымно и пахло острой еврейской кухней, но по временам из окон доносился свежий запах мокрой зелени, цветущей белой акации и весеннего воздуха.

Офицеров приехало около десяти. Казалось, что каждый из них одновременно и пел, и кричал, и смеялся.

Ромашов, блаженно и наивно улыбаясь, бродил от одного к другому, узнавая, точно в первый раз, с удивлением и с удовольствием, Бек-Агамалова, Лбова, Веткина, Епифанова, Арчаковского, Олизара и других. Тут же был и штабс-капитан Лещенко; он сидел у окна со своим всегдашним покорным и унылым видом. На столе, точно сами собой, как и все было в этот вечер, появились бутылки с пивом и с густой вишневой наливкой. Ромашов пил с кем-то, чокался и целовался, и чувствовал, что руки и губы у него стали липкими и сладкими.

Тут было пять или шесть женщин. Одна из них, по виду девочка лет четырнадцати, одетая пажом, с ногами в розовом трико, сидела на коленях у Бек-Агамалова и играла шнурами его аксельбантов. Другая, крупная блондинка, в красной шелковой кофте и темной юбке, с большим красивым напудренным лицом и круглыми черными широкими бровями, подошла к Ромашову.

— Мужчина, что вы такой скучный? Пойдемте в комнату,— сказала она низким голосом.

Она боком, развязно села на стол, положив ногу на ногу. Ромашов увидел, как под платьем гладко определилась ее круглая и мощная ляжка. У него задрожали руки и стало холодно во рту. Он спросил робко:

— Как вас зовут?

— Меня? Мальвиной.— Она равнодушно отвернулась от офицера и заболтала ногами.— Угостите папиросочкой.

Откуда-то появились два музыканта-еврея: один — со скрипкой; другой — с бубном. Под докучный фальшивый мотив польки, сопровождаемый глухими дребезжащими ударами, Олизар и Арчаковский стали плясать канкан. Они скакали друг перед другом то на одной, то на другой ноге, прищелкивая пальцами вытянутых рук, пятились назад, раскорячив согнутые колени и заложив большие пальцы под мышки, и с грубо-циничными жестами вихляли бедрами, безобразно наклоняя туловище то вперед, то назад. Вдруг Бек-Агамалов вскочил со стула и закричал резким, высоким, исступленным голосом:

— К черту шпаков! Сейчас же вон! Фить!

В дверях стояло двое штатских — их знали все офицеры в полку, так как они бывали на вечерах в собрании: один — чиновник казначейства, а другой — брат су-

«ПОЕДИНОК»

«ПОЕДИНОК»

дебного пристава, мелкий помещик,— оба очень приличные молодые люди.

У чиновника была на лице бледная насильственная улыбка, и он говорил искательным тоном, но стараясь держать себя развязно:

— Позвольте, господа... разделить компанию. Вы же меня знаете, господа... Я же Дубецкий, господа... Мы, господа, вам не помешаем.

— В тесноте, да не в обиде,— сказал брат судебного пристава и захохотал напряженно.

— Во-он! — закричал Бек-Агамалов.— Марш!

— Господа, выставляйте шпаков! — захохотал Арчаковский.

Поднялась суматоха. Все в комнате завертелось клубком, застонало, засмеялось, затопало. Запрыгали вверх, коптя, огненные язычки ламп. Прохладный ночной воздух ворвался из окон и трепетно дохнул на лица. Голоса штатских, уже на дворе, кричали с бессильным и злым испугом, жалобно, громко и слезливо:

— Я этого так тебе не оставлю! Мы командиру полка будем жаловаться. Я губернатору напишу. Опричники!

— У-лю-лю-лю-лю! Ату их! — вопил тонким фальцетом Веткин, высунувшись из окна.

Ромашову казалось, что все сегодняшние происшествия следуют одно за другим без перерыва и без всякой связи, точно перед ним разматывалась крикливая и пестрая лента с уродливыми, нелепыми, кошмарными картинами. Опять однообразно завизжала скрипка, загудел и задрожал бубен. Кто-то без мундира, в одной белой рубашке, плясал вприсядку посредине комнаты, ежеминутно падая назад и упираясь рукой в пол. Худенькая красивая женщина — ее раньше Ромашов не заметил — с распущенными черными волосами и с торчащими ключицами на открытой шее обнимала голыми руками печального Лещенку за шею и, стараясь перекричать музыку и гомон, визгливо пела ему в самое ухо:

Когда заболеешь чахоткой навсегда,
Станешь бледный, как эта стена,—
Кругом тебя доктора.

Бобетинский плескал пивом из стакана через перегородку в одну из темных отдельных каморок, а оттуда недовольный, густой, заспанный голос говорил ворчливо:

— Да, господа... да будет же. Кто это там? Что за свинство!

— Послушайте, давно ли вы здесь? — спросил Ромашов женщину в красной кофте и воровато, как будто незаметно для себя, положил ладонь на ее крепкую теплую ногу.

Она что-то ответила, чего он не расслышал. Его внимание привлекла дикая сцена. Подпрапорщик Лбов гонялся по комнате за одним из музыкантов и изо всей силы колотил его бубном по голове. Еврей кричал быстро и непонятно и, озираясь назад с испугом, метался из угла в угол, подбирая длинные фалды сюртука. Все смеялись. Арчаковский от хохота упал на пол и со слезами на глазах катался во все стороны. Потом послышался пронзительный вопль другого музыканта. Кто-то выхватил у него из рук скрипку и со страшной силой ударил ее об землю. Дека ее разбилась вдребезги, с певучим треском, который странно слился с отчаянным криком еврея. Потом для Ромашова настало несколько минут темного забвения. И вдруг опять он увидел, точно в горячечном сне, что все, кто были в комнате, сразу закричали, забегали, замахали руками. Вокруг Бек-Агамалова быстро и тесно сомкнулись люди, но тотчас же они широко раздались, разбежались по всей комнате.

— Все вон отсюда! Никого не хочу! — бешено кричал Бек-Агамалов.

Он скрежетал, потрясал пред собой кулаками и топал ногами. Лицо у него сделалось малиновым, на лбу вздулись, как шнурки, две жилы, сходящиеся к носу, голова была низко и грозно опущена, а в выкатившихся глазах страшно сверкали обнажившиеся круглые белки.

Он точно потерял человеческие слова и ревел, как взбесившийся зверь, ужасным вибрирующим голосом:

— А-а-а-а!

Вдруг он, быстро и неожиданно ловко изогнувшись телом влево, выхватил из ножен шашку. Она лязгнула и с резким свистом сверкнула у него над головой. И сразу все, кто были в комнате, ринулись к окнам и к дверям. Женщины истерически визжали. Мужчины отталкивали друг друга. Ромашова стремительно увлекли к дверям, и кто-то, протесняясь мимо него, больно, до крови, черкнул

его концом погона или пуговицей по щеке. И тотчас же на дворе закричали, перебивая друг друга, взволнованные, торопливые голоса. Ромашов остался один в дверях. Сердце у него часто и крепко билось, но вместе с ужасом он испытывал какое-то сладкое, буйное и веселое предчувствие.

— Зарублю-у-у-у! — кричал Бек-Агамалов, скрипя зубами.

Вид общего страха совсем опьянил его. Он с припадочной силой в несколько ударов расщепил стол, потом яростно хватил шашкой по зеркалу, и осколки от него сверкающим радужным дождем брызнули во все стороны. С другого стола он одним ударом сбил все стоявшие на нем бутылки и стаканы.

Но вдруг раздался чей-то пронзительный, неестественно-наглый крик:

— Дурак! Хам!

Это кричала та самая простоволосая женщина с голыми руками, которая только что обнимала Лещенку. Ромашов раньше не видел ее. Она стояла в нише за печкой и, упираясь кулаками в бедра, вся наклоняясь вперед, кричала без перерыва криком обсчитанной рыночной торговки:

— Дурак! Хам! Холуй! И никто тебя не боится! Дурак, дурак, дурак, дурак!..

Бек-Агамалов нахмурил брови и, точно растерявшись, опустил вниз шашку. Ромашов видел, как постепенно бледнело его лицо и как в глазах его разгорался зловещий желтый блеск. И в то же время он все ниже и ниже сгибал ноги, весь съеживался и вбирал в себя шею, как зверь, готовый сделать прыжок.

— Замолчи! — бросил он хрипло, точно выплюнул.

— Дурак! Болван! Армяшка! Не замолчу! Дурак! Дурак! — выкрикивала женщина, содрогаясь всем телом при каждом крике.

Ромашов знал, что и сам он бледнеет с каждым мгновением. В голове у него сделалось знакомое чувство невесомости, пустоты и свободы. Странная смесь ужаса и веселья подняла вдруг его душу кверху, точно легкую пьяную пену. Он увидел, что Бек-Агамалов, не сводя глаз с женщины, медленно поднимает над головой шашку. И вдруг пламенный поток безумного восторга, ужа-

са, физического холода, смеха и отваги нахлынул на Ромашова. Бросаясь вперед, он еще успел расслышать, как Бек-Агамалов прохрипел яростно:

— Ты не замолчишь? Я тебя в последний...

Ромашов крепко, с силой, которой он сам от себя не ожидал, схватил Бек-Агамалова за кисть руки. В течение нескольких секунд оба офицера, не моргая, пристально глядели друг на друга, на расстоянии пяти или шести вершков. Ромашов слышал частое, фыркающее, как у лошади, дыхание Бек-Агамалова, видел его страшные белки и остро-блестящие зрачки глаз и белые, скрипящие движущиеся челюсти, но он уже чувствовал, что безумный огонь с каждым мгновением потухает в этом искаженном лице. И было ему жутко и невыразимо радостно стоять так, между жизнью и смертью, и уже знать, что он выходит победителем в этой игре. Должно быть, все те, кто наблюдали эту сцену извне, поняли ее опасное значение. На дворе за окнами стало тихо,— так тихо, что где-то в двух шагах, в темноте, соловей вдруг залился громкой, беззаботной трелью.

— Пусти!.— хрипло выдавил из себя Бек-Агамалов.

— Бек, ты не ударишь женщину,— сказал Ромашов спокойно.— Бек, тебе будет на всю жизнь стыдно. Ты не ударишь.

Последние искры безумия угасли в глазах Бек-Агамалова. Ромашов быстро замигал веками и глубоко вздохнул, точно после обморока. Сердце его забилось быстро и беспорядочно, как во время испуга, а голова опять сделалась тяжелой и теплой.

— Пусти! — еще раз крикнул Бек-Агамалов с ненавистью и рванул руку.

Теперь Ромашов чувствовал, что он уже не в силах сопротивляться ему, но он уже не боялся его и говорил жалостливо и ласково, притрогиваясь чуть слышно к плечу товарища:

— Простите меня... Но ведь вы сами потом скажете мне спасибо.

Бек-Агамалов резко, со стуком вбросил шашку в ножны.

— Ладно! К черту! — крикнул он сердито, но уже с долей притворства и смущения.— Мы с вами еще разделаемся. Вы не имеете права!..

Все глядевшие на эту сцену со двора поняли, что самое страшное пронеслось. С преувеличенным, напряженным хохотом толпой ввалились они в двери. Теперь все они принялись с фамильярной и дружеской развязностью успокаивать и уговаривать Бек-Агамалова. Но он уже погас, обессилел, и его сразу потемневшее лицо имело усталое и брезгливое выражение.

Прибежала Шлейферша, толстая дама с засаленными грудями, с жестким выражением глаз, окруженных темными мешками, без ресниц. Она кидалась то к одному, то к другому офицеру, трогала их за рукава и за пуговицы и кричала плачевно:

— Ну, господа, ну, кто мне заплатит за все: за зеркало, за стол, за напитки и за девочек?

И опять кто-то неведомый остался объясняться с ней. Прочие офицеры вышли гурьбой наружу. Чистый, нежный воздух майской ночи легко и приятно вторгся в грудь Ромашова и наполнил все его тело свежим, радостным трепетом. Ему казалось, что следы сегодняшнего пьянства сразу стерлись в его мозгу, точно от прикосновения мокрой губки.

К нему подошел Бек-Агамалов и взял его под руку.

— Ромашов, садитесь со мной,— предложил он,— хорошо?

И когда они уже сидели рядом и Ромашов, наклоняясь вправо, глядел, как лошади нестройным галопом, вскидывая широкими задами, вывозили экипаж на гору, Бек-Агамалов ощупью нашел его руку и крепко, больно и долго сжал ее. Больше между ними ничего не было сказано.

XIX

Но волнение, которое было только что пережито всеми, сказалось в общей нервной, беспорядочной взвинченности. По дороге в собрание офицеры много безобразничали. Останавливали проходящего еврея, подзывали его и, сорвав с него шапку, гнали извозчика вперед; потом бросали эту шапку куда-нибудь за забор, на дерево. Бобетинскии избил извозчика. Остальные громко пели и бестолково кричали. Только Бек-Агамалов, сидевший рядом с Ромашовым, молчал всю дорогу, сердито и сдержанно посапывая.

Собрание, несмотря на поздний час, было ярко освещено и полно народом. В карточной, в столовой, в буфете и в бильярдной беспомощно толклись ошалевшие от вина, от табаку и от азартной игры люди в расстегнутых кителях, с неподвижными кислыми глазами и вялыми движениями. Ромашов, здороваясь с некоторыми офицерами, вдруг заметил среди них, к своему удивлению, Николаева. Он сидел около Осадчего и был пьян и красен, но держался твердо. Когда Ромашов, обходя стол, приблизился к нему, Николаев быстро взглянул на него и тотчас же отвернулся, чтобы не подать руки, и с преувеличенным интересом заговорил с своим соседом.

— Веткин, идите петь! — крикнул Осадчий через головы товарищей.

— Сп-о-ем-те что-ни-и-будь! — запел Веткин на мотив церковного антифона.

— Спо-ем-те что-ни-будь. Споемте что-о-ни-и-будь! — подхватили громко остальные.

— За поповым перелазом подралися трое разом,— зачастил Веткин церковной скороговоркой,— поп, дьяк, пономарь та ще губернский секретарь. Совайся, Ничипоре, со-вайся.

— Совайся, Ничи-поре, со-о-вай-ся,— тихо, полными аккордами ответил ему хор, весь сдержанный и точно согретый мягкой октавой Осадчего.

Веткин дирижировал пением, стоя посреди стола и распростирая над поющими руки. Он делал то страшные, то ласковые и одобрительные глаза, шипел на тех, кто пел неверно, и едва заметным трепетанием протянутой ладони сдерживал увлекающихся.

— Штабс-капитан Лещенко, вы фальшивите! Вам медведь на ухо наступил! Замолчите! — крикнул Осадчий.— Господа, да замолчите же кругом! Не галдите, когда поют.

— Как бога-тый мужик ест пунш гля-се...— продолжал вычитывать Веткин.

От табачного дыма резало в глазах. Клеенка на столе была липкая, и Ромашов вспомнил, что он не мыл сегодня вечером рук. Он пошел через двор в комнату, которая называлась «офицерскими номерами»,— там всег-

да стоял умывальник. Это была пустая холодная каморка в одно окно. Вдоль стен стояли разделенные шкафчиком, на больничный манер, две кровати. Белья на них никогда не меняли, так же как никогда не подметали пол в этой комнате и не проветривали воздух. От этого в номерах всегда стоял затхлый, грязный запах заношенного белья, застарелого табачного дыма и смазных сапог. Комната эта предназначалась для временного жилья офицерам, приезжавшим из дальних отдельных стоянок в штаб полка. Но в нее обыкновенно складывали во время вечеров, по двое и даже по трое на одну кровать, особенно пьяных офицеров. Поэтому она также носила название «мертвецкой комнаты», «трупарни» и «морга». В этих названиях крылась бессознательная, но страшная жизненная ирония, потому что с того времени, как полк стоял в городе,— в офицерских номерах, именно на этих самых двух кроватях, уже застрелилось несколько офицеров и один денщик. Впрочем, не было года, чтобы в N-ском полку не застрелился кто-нибудь из офицеров.

Когда Ромашов вошел в мертвецкую, два человека сидели на кроватях у изголовий, около окна. Они сидели без огня, в темноте, и только по едва слышной возне Ромашов заметил их присутствие и с трудом узнал их, подойдя вплотную и нагнувшись над ними. Это были штабс-капитан Клодт, алкоголик и вор, отчисленный от командования ротой, и подпрапорщик Золотухин, долговязый, пожилой, уже плешивый, игрок, скандалист, сквернослов и тоже пьяница, из типа вечных подпрапорщиков. Между обоими тускло поблескивала на столе четвертная бутыль водки, стояла пустая тарелка с какой-то жижей и два полных стакана. Не было видно никаких следов закуски. Собутыльники молчали, точно притаившись от вошедшего товарища, и когда он нагибался над ними, они, хитро улыбаясь в темноте, глядели куда-то вниз.

— Боже мой, что вы тут делаете? — спросил Ромашов испуганно.

— Т-ссс! — Золотухин таинственно, с предостерегающим видом поднял палец кверху.— Подождите. Не мешайте.

— Тихо! — коротким шепотом сказал Клодт.

Вдруг где-то вдалеке загрохотала телега. Тогда оба торопливо подняли стаканы, стукнулись ими и одновременно выпили.

— Да что же это такое наконец?! — воскликнул в тревоге Ромашов.

— А это, родной мой,— многозначительным шепотом ответил Клодт,— это у нас такая закуска. Под стук телеги. Фендрик,— обратился он к Золотухину,— ну, теперь подо что выпьем? Хочешь под свет луны?

— Пили уж,— серьезно возразил Золотухин и поглядел в окно на узкий серп месяца, который низко и скучно стоял над городом.— Подождем. Вот, может быть, собака залает. Помолчи.

Так они шептались, наклоняясь друг к другу, охваченные мрачной шутливостью пьяного безумия. А из столовой в это время доносились смягченные, заглушенные стенами и оттого гармонично-печальные звуки церковного напева, похожего на отдаленное погребальное пение.

Ромашов всплеснул руками и схватился за голову.

— Господа, ради бога, оставьте: это страшно,— сказал он с тоскою.

— Убирайся к дьяволу! — заорал вдруг Золотухин.— Нет, стой, брат! Куда? Раньше выпейте с порядочными господами. Не-ет, не перехитришь, брат. Держите его, штабс-капитан, а я запру дверь.

Они оба вскочили с кровати и принялись с сумасшедшим лукавым смехом ловить Ромашова. И все это вместе — эта темная вонючая комната, это тайное фантастическое пьянство среди ночи, без огня, эти два обезумевших человека — все вдруг повеяло на Ромашова нестерпимым ужасом смерти и сумасшествия. Он с пронзительным криком оттолкнул Золотухина далеко в сторону и, весь содрогаясь, выскочил из мертвецкой.

Умом он знал, что ему нужно идти домой, но по какому-то непонятному влечению он вернулся в столовую. Там уже многие дремали, сидя на стульях и подоконниках. Было невыносимо жарко, и, несмотря на открытые окна, лампы и свечи горели не мигая. Утомленная, сбившаяся с ног прислуга и солдаты-буфетчики дремали стоя и ежеминутно зевали, не разжимая челюстей, одними ноздрями. Но повальное, тяжелое, общее пьянство не прекращалось.

Веткин стоял уже на столе и пел высоким чувствительным тенором:

Бы-ы-стры, как волны-ы,
Дни-и нашей жиз-ни...

В полку было много офицеров из духовных, и потому пели хорошо даже в пьяные часы. Простой, печальный, трогательный мотив облагораживал пошлые слова. И всем на минуту стало тоскливо и тесно под этим низким потолком в затхлой комнате, среди узкой, глухой и слепой жизни.

Умрешь, похоронят,
Как не жил на свете...—

пел выразительно Веткин, и от звуков собственного высокого и растроганного голоса и от физического чувства общей гармонии хора в его добрых, глуповатых глазах стояли слезы. Арчаковский бережно вторил ему. Для того, чтобы заставить свой голос вибрировать, он двумя пальцами тряс себя за кадык. Осадчий густыми, тягучими нотами аккомпанировал хору, и казалось, что все остальные голоса плавали, точно в темных волнах, в этих низких органных звуках.

Пропели эту песню, помолчали немного. На всех нашла сквозь пьяный угар тихая, задумчивая минута. Вдруг Осадчий, глядя вниз на стол опущенными глазами, начал вполголоса:

«В путь узкий ходшие прискорбный вси — житие, яко ярем, вземшие...»

— Да будет вам! — заметил кто-то скучающим тоном.—Вот прицепились вы к этой панихиде. В десятый раз.

Но другие уже подхватили похоронный напев, и вот в загаженной, заплеванной, прокуренной столовой понеслись чистые ясные аккорды панихиды Иоанна Дамаскина, проникнутые такой горячей, такой чувственной печалью, такой страстной тоской по уходящей жизни:

«И мне последовавшие верою приидите, насладитеся, яже уготовах вам почестей и венцов небесных...»

И тотчас же Арчаковский, знавший службу не хуже любого дьякона, подхватил возглас:

— Рцем вси от всея души...

Так они и прослужили всю панихиду. А когда очередь дошла до последнего воззвания, то Осадчий, наклонив вниз голову, напружив шею, со странными и страшными, печальными и злыми глазами заговорил нараспев низким голосом, рокочущим, как струны контрабаса:

«Во блаженном успении живот и вечный покой подаждь, господи, усопшему рабу твоему Никифору...— Осадчий вдруг выпустил ужасное, циничное ругательство,— и сотвори ему ве-е-ечную...»

Ромашов вскочил и бешено, изо всей силы ударил кулаком по столу.

— Не позволю! Молчите! — закричал он пронзительным, страдальческим голосом.— Зачем смеяться? Капитан Осадчий, вам вовсе не смешно, а вам больно и страшно! Я вижу! Я знаю, что вы чувствуете в душе!

Среди общего мгновенного молчания только один чей-то голос промолвил с недоумением:

— Он пьян?

Но тотчас же, как и давеча у Шлейферши, все загудело, застонало, вскочило с места и свернулось в какой-то пестрый, движущийся, крикливый клубок. Веткин, прыгая со стола, задел головой висячую лампу; она закачалась огромными плавными зигзагами, и тени от беснующихся людей, то вырастая, как великаны, то исчезая под пол, зловеще спутались и заметались по белым стенам и по потолку.

Все, что теперь происходило в собрании с этими развинченными, возбужденными, пьяными и несчастными людьми, совершалось быстро, нелепо и непоправимо. Точно какой-то злой, сумбурный, глупый, яростно-насмешливый демон овладел людьми и заставлял их говорить скверные слова и делать безобразные, нестройные движения.

Среди этого чада Ромашов вдруг увидел совсем близко около себя чье-то лицо с искривленным кричащим ртом, которое он сразу даже не узнал,— так оно было перековеркано и обезображено злобой. Это Николаев кричал ему, брызжа слюной и нервно дергая мускулами левой щеки под глазом:

— Сами позорите полк! Не смейте ничего говорить. Вы— и разные Назанские! Без году неделя!..

Кто-то осторожно тянул Ромашова назад. Он обер-

нулся и узнал Бек-Агамалова, но, тотчас же отвернувшись, забыл о нем. Бледнея оттого, что сию минуту произойдет, он сказал тихо и хрипло, с измученной жалкой улыбкой:

— А при чем же здесь Назанский? Или у вас есть особые, таинственные причины быть им недовольным?

— Я вам в морду дам! Подлец, сволочь! — закричал Николаев высоким, лающим голосом.— Хам!

Он резко замахнулся на Ромашова кулаком и сделал грозные глаза, но ударить не решался. У Ромашова в груди и в животе сделалось тоскливое, противное обморочное замирание. До сих пор он совсем не замечал, точно забыл, что в правой руке у него все время находится какой-то посторонний предмет. И вдруг быстрым, коротким движением он выплеснул в лицо Николаеву остатки пива из своего стакана.

В то же время вместе с мгновенной тупой болью белые яркие молнии брызнули из его левого глаза. С протяжным, звериным воем кинулся он на Николаева, и они оба грохнулись вниз, сплелись руками и ногами и покатились по полу, роняя стулья и глотая грязную, вонючую пыль. Они рвали, комкали и тискали друг друга, рыча и задыхаясь. Ромашов помнил, как случайно его пальцы попали в рот Николаеву за щеку и как он старался разорвать ему этот скользкий, противный, горячий рот... И он уже не чувствовал никакой боли, когда бился головой и локтями об пол в этой безумной борьбе.

Он не знал также, как все это окончилось. Он застал себя стоящим в углу, куда его оттеснили, оторвав от Николаева. Бек-Агамалов поил его водой, но зубы у Ромашова судорожно стучали о края стакана, и он боялся, как бы не откусить кусок стекла. Китель на нем был разорван под мышками и на спине, а один погон, оторванный, болтался на тесемочке. Голоса у Ромашова не было, и он кричал беззвучно, одними губами:

— Я ему... еще покажу!.. Вызываю его!..

Старый Лех, до сих пор сладко дремавший на конце стола, а теперь совсем очнувшийся, трезвый и серьезный, говорил с непривычной суровой повелительностью:

— Как старший, приказываю вам, господа, немедленно разойтись. Слышите, господа, сейчас же. Обо всем будет мною утром подан рапорт командиру полка.

И все расходились смущенные, подавленные, избегая глядеть друг на друга. Каждый боялся прочесть в чужих глазах свой собственный ужас, свою рабскую, виноватую тоску — ужас и тоску маленьких, злых и грязных животных, темный разум которых вдруг осветился ярким человеческим сознанием.

Был рассвет, с ясным, детски-чистым небом и неподвижным прохладным воздухом. Деревья, влажные, окутанные чуть видным паром, молчаливо просыпались от своих темных, загадочных ночных снов. И когда Ромашов, идя домой, глядел на них, и на небо, и на мокрую, седую от росы траву, то он чувствовал себя низеньким, гадким, уродливым и бесконечно чужим среди этой невинной прелести утра, улыбавшегося спросонок.

XX

В тот же день — это было в среду — Ромашов получил короткую официальную записку:

«Суд общества офицеров N-ского пехотного полка приглашает подпоручика Ромашова явиться к шести часам в зал офицерского собрания. Форма одежды обыкновенная.

Председатель суда подполковник Мигунов».

Ромашов не мог удержаться от невольной грустной улыбки: эта «форма одежды обыкновенная» — мундир с погонами и цветным кушаком — надевается именно в самых необыкновенных случаях: на суде, при публичных выговорах и во время всяких неприятных явок по начальству.

К шести часам он пришел в собрание и приказал вестовому доложить о себе председателю суда. Его попросили подождать. Он сел в столовой у открытого окна, взял газету и стал читать ее, не понимая слов, без всякого интереса, механически пробегая глазами буквы. Трое офицеров, бывших в столовой, поздоровались с ним сухо и заговорили между собой вполголоса, так, чтоб он не слышал. Только один подпоручик Михин долго и крепко, с мокрыми глазами, жал ему руку, но ничего не сказал, покраснел, торопливо и неловко оделся и ушел.

Вскоре в столовую через буфет вышел Николаев. Он был бледен, веки его глаз потемнели, левая щека все

время судорожно дергалась, а над ней ниже виска синело большое пухлое пятно. Ромашов ярко и мучительно вспомнил вчерашнюю драку и, весь сгорбившись, сморщив лицо, чувствуя себя расплюснутым невыносимой тяжестью этих позорных воспоминаний, спрятался за газету и даже плотно зажмурил глаза.

Он слышал, как Николаев спросил в буфете рюмку коньяку и как он прощался с кем-то. Потом почувствовал мимо себя шаги Николаева. Хлопнула на блоке дверь. И вдруг через несколько секунд он услышал со двора за своей спиной осторожный шепот:

— Не оглядывайтесь назад! Сидите спокойно. Слушайте.

Это говорил Николаев. Газета задрожала в руках Ромашова.

— Я, собственно, не имею права разговаривать с вами. Но к черту эти французские тонкости. Что случилось, того не поправишь. Но я вас все-таки считаю человеком порядочным. Прошу вас, слышите ли, я прошу вас: ни слова о жене и об анонимных письмах. Вы меня поняли?

Ромашов, закрываясь газетой от товарищей, медленно наклонил голову. Песок захрустел на дворе под ногами. Только спустя пять минут Ромашов обернулся и поглядел на двор. Николаева уже не было.

— Ваше благородие,— вырос вдруг перед ним вестовой.— Их высокоблагородие просят вас пожаловать.

В зале, вдоль дальней узкой стены, были составлены несколько ломберных столов и покрыты зеленым сукном. За ними помещались судьи, спинами к окнам; от этого их лица были темными. Посредине в кресле сидел председатель — подполковник Мигунов, толстый, надменный человек, без шеи, с поднятыми вверх круглыми плечами; по бокам от него — подполковники: Рафальский и Лех, дальше с правой стороны — капитаны Осадчий и Петерсон, а с левой — капитан Дювернуа и штабс-капитан Дорошенко, полковой казначей. Стол был совершенно пуст, только перед Дорошенкой, делопроизводителем суда, лежала стопочка бумаги. В большой пустой зале было прохладно и темновато, несмотря на то, что на дворе стоял жаркий, сияющий день. Пахло старым деревом, плесенью и ветхой мебельной обивкой.

Председатель положил обе большие белые, полные руки ладонями вверх на сукно стола и, разглядывая их поочередно, начал деревянным тоном:

— Подпоручик Ромашов, суд общества офицеров, собравшийся по распоряжению командира полка, должен выяснить обстоятельства того печального и недопустимого в офицерском обществе столкновения, которое имело место вчера между вами и поручиком Николаевым. Прошу вас рассказать об этом со всевозможными подробностями.

Ромашов стоял перед ними, опустив руки вниз и теребя околыш шапки. Он чувствовал себя таким затравленным, неловким и растерянным, как бывало с ним только в ученические годы на экзаменах, когда он проваливался. Обрывающимся голосом, запутанными и несвязными фразами, постоянно мыча и прибавляя нелепые междометия, он стал давать показание. В то же время, переводя глаза с одного из судей на другого, он мысленно оценивал их отношения к нему: «Мигунов — равнодушен, он точно каменный, но ему льстит непривычная роль главного судьи и та страшная власть и ответственность, которые сопряжены с нею. Подполковник Брем глядит жалостными и какими-то женскими глазами,— ах, мой милый Брем, помнишь ли ты, как я брал у тебя десять рублей взаймы? Старый Лех серьезничает. Он сегодня трезв, и у него под глазами мешки, точно глубокие шрамы. Он не враг мне, но он сам так много набезобразничал в собрании в разные времена, что теперь ему будет выгодна роль сурового и непреклонного ревнителя офицерской чести. А Осадчий и Петерсон — это уже настоящие враги. По закону я, конечно, мог бы отвести Осадчего — вся ссора началась из-за его панихиды,— а впрочем, не все ли равно? Петерсон чуть-чуть улыбается одним углом рта — что-то скверное, низменное, змеиное в улыбке. Неужели он знал об анонимных письмах? У Дювернуа — сонное лицо, а глаза — как большие мутные шары. Дювернуа меня не любит. Да и Дорошенко тоже. Подпоручик, который только расписывается в получении жалованья и никогда не получает его. Плохи ваши дела, дорогой мой Юрий Алексеевич».

— Виноват, на минутку,— вдруг прервал его Осад-

чий.— Господин подполковник, вы позволите мне предложить вопрос?

— Пожалуйста,— важно кивнул головой Мигунов.

— Скажите нам, подпоручик Ромашов,— начал Осадчий веско, с растяжкой,— где вы изволили быть до того, как приехали в собрание в таком невозможном виде?

Ромашов покраснел и почувствовал, как его лоб сразу покрылся частыми каплями пота.

— Я был... я был... ну, в одном месте,— и он добавил почти шепотом,— был в публичном доме.

— Ага, вы были в публичном доме? — нарочно громко, с жестокой четкостью подхватил Осадчий.— И, вероятно, вы что-нибудь пили в этом учреждении?

— Д-да, пил,— отрывисто ответил Ромашов.

— Так-с. Больше вопросов не имею,— повернулся Осадчий к председателю.

— Прошу продолжать показание,— сказал Мигунов.— Итак, вы остановились на том, что плеснули пивом в лицо поручику Николаеву... Дальше?

Ромашов несвязно, но искренно и подробно рассказал о вчерашней истории. Он уже начал было угловато и стыдливо говорить о том раскаянии, которое он испытывает за свое вчерашнее поведение, но его прервал капитан Петерсон. Потирая, точно при умывании, свои желтые костлявые руки с длинными мертвыми пальцами и синими ногтями, он сказал усиленно-вежливо, почти ласково, тонким и вкрадчивым голосом:

— Ну да, все это, конечно, так и делает честь вашим прекрасным чувствам. Но скажите нам, подпоручик Ромашов... вы до этой злополучной и прискорбной истории не бывали в доме поручика Николаева?

Ромашов насторожился и, глядя не на Петерсона, а на председателя, ответил грубовато:

— Да, бывал, но я не понимаю, какое это отношение имеет к делу.

— Подождите. Прошу отвечать только на вопросы,— остановил его Петерсон.— Я хочу сказать, не было ли у вас с поручиком Николаевым каких-нибудь особенных поводов ко взаимной вражде,— поводов характера не служебного, а домашнего, так сказать, семейного?

Ромашов выпрямился и прямо, с открытой ненавистью посмотрел в темные чахоточные глаза Петерсона.

— Я бывал у Николаевых не чаще, чем у других моих знакомых,— сказал он громко и резко.— И с ним прежде у меня никакой вражды не было. Все произошло случайно и неожиданно, потому что мы оба были нетрезвы.

— Хе-хе-хе, это уже мы слыхали, о вашей нетрезвости,— опять прервал его Петерсон,— но я хочу только спросить, не было ли у вас с ним раньше этакого какого-нибудь столкновения? Нет, не ссоры, поймите вы меня, а просто этакого недоразумения, натянутости, что ли, на какой-нибудь частной почве. Ну, скажем, несогласие в убеждениях или там какая-нибудь интрижка. А?

— Господин председатель, могу я не отвечать на некоторые из предлагаемых мне вопросов? — спросил вдруг Ромашов.

— Да, это вы можете,— ответил холодно Мигунов.— Вы можете, если хотите, вовсе не давать показаний или давать их письменно. Это ваше право.

— В таком случае заявляю, что ни на один из вопросов капитана Петерсона я отвечать не буду,— сказал Ромашов.— Это будет лучше для него и для меня.

Его спросили еще о нескольких незначительных подробностях, и затем председатель объявил ему, что он свободен. Однако его еще два раза вызывали для дачи дополнительных показаний, один раз в тот же день вечером, другой раз в четверг утром. Даже такой неопытный в практическом отношении человек, как Ромашов, понимал, что суд ведет дело халатно, неумело и донельзя небрежно, допуская множество ошибок и бестактностей. И самым большим промахом было то, что, вопреки точному и ясному смыслу статьи 149 дисциплинарного устава, строго воспрещающей разглашение происходящего на суде, члены суда чести не воздержались от праздной болтовни. Они рассказали о результатах заседаний своим женам, жены — знакомым городским дамам, а те — портнихам, акушеркам и даже прислуге. За одни сутки Ромашов сделался сказкой города и героем дня. Когда он проходил по улице, на него глядели из окон, из калиток, из палисадников, из щелей в заборах. Женщины издали показывали на него пальцами, и он постоянно слышал у себя за спиной свою фамилию, произносимую быстрым шепотом. Никто в городе не сомневался, что между ним и

Николаевым произойдет дуэль. Держали даже пари об ее исходе.

Утром в четверг, идя в собрание мимо дома Лыкачевых, он вдруг услышал, что кто-то зовет его по имени.

— Юрий Алексеевич, Юрий Алексеевич, подите сюда!

Он остановился и поднял голову кверху. Катя Лыкачева стояла по ту сторону забора на садовой скамеечке. Она была в утреннем легком японском халатике, треугольный вырез которого оставлял голою ее тоненькую прелестную девичью шею. И вся она была такая розовая, свежая, вкусная, что Ромашову на минуту стало весело.

Она перегнулась через забор, чтобы подать ему руку, еще холодную и влажную от умывания. И в то же время она тараторила картаво:

— Отчего у нас не бываете? Стыдно дьюзей забывать. Зьой, зьой, зьой... Т-ссс, я все, я все, все знаю! — Она вдруг сделала большие испуганные глаза.— Возьмите себе вот это и наденьте на шею, непьеменно, непьеменно наденьте.

Она вынула из-за своего керимона, прямо с груди, какую-то ладанку из синего шелка на шнуре и торопливо сунула ему в руку. Ладанка была еще теплая от ее тела.

— Помогает? — спросил Ромашов шутливо. — Что это такое?

— Это тайна, не смейте смеяться. Безбожник! Зьой.

«Однако я нынче в моде. Славная девочка»,— подумал Ромашов, простившись с Катей. Но он не мог удержаться, чтобы и здесь в последний раз не подумать о себе в третьем лице красивой фразой:

«Добродушная улыбка скользнула по суровому лицу старого бретера».

Вечером в этот день его опять вызвали в суд, но уже вместе с Николаевым. Оба врага стояли перед столом почти рядом. Они ни разу не взглянули друг на друга, но каждый из них чувствовал на расстоянии настроение другого и напряженно волновался этим. Оба они упорно и неподвижно смотрели на председателя, когда он читал им решение суда:

«Суд общества офицеров N-ского пехотного полка, в составе — следовали чины и фамилии судей — под пред-

седательством подполковника Мигунова, рассмотрев дело о столкновении в помещении офицерского собрания поручика Николаева и подпоручика Ромашова, нашел, что ввиду тяжести взаимных оскорблений ссора этих обер-офицеров не может быть окончена примирением и что поединок между ними является единственным средством удовлетворения оскорбленной чести и офицерского достоинства. Мнение суда утверждено командиром полка».

Окончив чтение, подполковник Мигунов снял очки и спрятал их в футляр.

— Вам остается, господа,— сказал он с каменной торжественностью,— выбрать себе секундантов, по два с каждой стороны, и прислать их к девяти часам вечера сюда, в собрание, где они совместно с нами выработают условия поединка. Впрочем,— прибавил он, вставая и пряча очечник в задний карман,— впрочем, прочитанное сейчас постановление суда не имеет для вас обязательной силы. За каждым из вас сохраняется полная свобода драться на дуэли или...—он развел руками и сделал паузу,— или оставить службу. Затем... вы свободны, господа... Еще два слова. Уж не как председатель суда, а как старший товарищ, советовал бы вам, господа офицеры, воздержаться до поединка от посещения собрания. Это может повести к осложнениям... До свиданья.

Николаев круто повернулся и быстрыми шагами вышел из залы. Медленно двинулся за ним и Ромашов. Ему не было страшно, но он вдруг почувствовал себя исключительно одиноким, странно обособленным, точно отрезанным от всего мира. Выйдя на крыльцо собрания, он с долгим, спокойным удивлением глядел на небо, на деревья, на корову у забора напротив, на воробьев, купавшихся в пыли среди дороги, и думал: «Вот — все живет, хлопочет, суетится, растет и сияет, а мне уже больше ничего не нужно и не интересно. Я приговорен. Я один».

Вяло, почти со скукой пошел он разыскивать Бек-Агамалова и Веткина, которых он решил просить в секунданты. Оба охотно согласились — Бек-Агамалов с мрачной сдержанностью, Веткин с ласковыми и многозначительными рукопожатиями.

Идти домой Ромашову не хотелось — там было жутко и скучно. В эти тяжелые минуты душевного бесси-

лия, одиночества и вялого непонимания жизни ему нужно было видеть близкого, участливого друга и в то же время тонкого, понимающего, нежного сердцем человека.

И вдруг он вспомнил о Назанском.

XXI

Назанский был, по обыкновению, дома. Он только что проснулся от тяжелого хмельного сна и теперь лежал на кровати в одном нижнем белье, заложив руки под голову. В его глазах была равнодушная, усталая муть. Его лицо совсем не изменило своего сонного выражения, когда Ромашов, наклоняясь над ним, говорил неуверенно и тревожно:

— Здравствуйте, Василий Нилыч, не помешал я вам?

— Здравствуйте,— ответил Назанский сиплым слабым голосом.— Что хорошенького? Садитесь.

Он протянул Ромашову горячую влажную руку, но глядел на него так, точно перед ним был не его любимый интересный товарищ, а привычное видение из давнишнего скучного сна.

— Вам нездоровится? — спросил робко Ромашов, садясь в его ногах на кровать.— Так я не буду вам мешать. Я уйду.

Назанский немного приподнял голову с подушки и, весь сморщившись, с усилием посмотрел на Ромашова.

— Нет... Подождите. Ах, как голова болит! Послушайте, Георгий Алексеич... у вас что-то есть... есть... что-то необыкновенное. Постойте, я не могу собрать мыслей. Что такое с вами?

Ромашов глядел на него с молчаливым состраданием. Все лицо Назанского странно изменилось за то время, как оба офицера не виделись. Глаза глубоко ввалились и почернели вокруг, виски пожелтели, а щеки с неровной грязной кожей опустились и оплыли книзу и некрасиво обросли жидкими курчавыми волосами.

— Ничего особенного, просто мне захотелось видеться с вами,— сказал небрежно Ромашов.— Завтра я дерусь на дуэли с Николаевым. Мне противно идти домой. Да это, впрочем, все равно. До свиданья. Мне, видите ли, просто не с кем было поговорить... Тяжело на душе.

Назанский закрыл глаза, и лицо его мучительно исказилось. Видно было, что он неестественным напряжением воли возвращает к себе сознание. Когда же он открыл глаза, то в них уже светились внимательные теплые искры.

— Нет, подождите... мы сделаем вот что.—Назанский с трудом переворотился на бок и поднялся на локте.— Достаньте там, из шкафчика... вы знаете... Нет, не надо яблока... Там есть мятные лепешки. Спасибо, родной. Мы вот что сделаем... Фу, какая гадость!.. Повезите меня куда-нибудь на воздух — здесь омерзительно, и я здесь боюсь... Постоянно такие страшные галлюцинации. Поедем покатаемся на лодке и поговорим. Хотите?

Он, морщась, с видом крайнего отвращения пил рюмку за рюмкой, и Ромашов видел, как понемногу загорались жизнью и блеском и вновь становились прекрасными его голубые глаза.

Выйдя из дому, они взяли извозчика и поехали на конец города, к реке. Там, на одной стороне плотины, стояла еврейская турбинная мукомольня — огромное красное здание, а на другой — были расположены купальни, и там же отдавались напрокат лодки. Ромашов сел на весла, а Назанский полулег на корме, прикрывшись шинелью.

Река, задержанная плотиной, была широка и неподвижна, как большой пруд. По обеим ее сторонам берега уходили плоско и ровно вверх. На них трава была так ровна, ярка и сочна, что издали хотелось ее потрогать рукой. Под берегами в воде зеленел камыш и среди густой, темной, круглой листвы белели большие головки кувшинок.

Ромашов рассказал подробно историю своего столкновения с Николаевым. Назанский задумчиво слушал его, наклонив голову и глядя вниз на воду, которая ленивыми густыми струйками, переливавшимися, как жидкое стекло, раздавалась вдаль и вширь от носа лодки.

— Скажите правду, вы не боитесь, Ромашов? — спросил Назанский тихо.

— Дуэли? Нет, не боюсь,— быстро ответил Ромашов. Но тотчас же он примолк и в одну секунду живо представил себе, как он будет стоять совсем близко против Николаева и видеть в его протянутой руке опускаю-

щееся черное дуло револьвера.— Нет, нет,— прибавил Ромашов поспешно,— я не буду лгать, что не боюсь. Конечно, страшно. Но я знаю, что я не струшу, не убегу, не попрошу прощенья.

Назанский опустил концы пальцев в теплую, вечернюю, чуть-чуть ропщущую воду и заговорил медленно, слабым голосом, поминутно откашливаясь:

— Ах, милый мой, милый Ромашов, зачем вы хотите это делать? Подумайте: если вы знаете твердо, что не струсите,— если совсем твердо знаете,— то ведь во сколько раз тогда будет смелее взять и отказаться.

— Он меня ударил... в лицо! — сказал упрямо Ромашов, и вновь жгучая злоба тяжело колыхнулась в нем.

— Ну, так, ну, ударил,—возразил ласково Назанский и грустными, нежными глазами поглядел на Ромашова.— Да разве в этом дело? Все на свете проходит, пройдет и ваша боль и ваша ненависть. И вы сами забудете об этом. Но о человеке, которого вы убили, вы никогда не забудете. Он будет с вами в постели, за столом, в одиночестве и в толпе. Пустозвоны, фильтрованные дураки, медные лбы, разноцветные попугаи уверяют, что убийство на дуэли — не убийство. Какая чепуха! Но они же сентиментально верят, что разбойникам снятся мозги и кровь их жертв. Нет, убийство—всегда убийство. И важна здесь не боль, не смерть, не насилие, не брезгливое отвращение к крови и трупу,— нет, ужаснее всего то, что вы отнимаете у человека его радость жизни. Великую радость жизни! — повторил вдруг Назанский громко, со слезами в голосе.— Ведь никто — ни вы, ни я, ах, да просто-напросто никто в мире не верит ни в какую загробную жизнь. Оттого все страшатся смерти, но малодушные дураки обманывают себя перспективами лучезарных садов и сладкого пения кастратов, а сильные — молча перешагивают грань необходимости. Мы — не сильные. Когда мы думаем, что будет после нашей смерти, то представляем себе пустой, холодный и темный погреб. Нет, голубчик, все это враки: погреб был бы счастливым обманом, радостным утешением. Но представьте себе весь ужас мысли, что совсем, совсем ничего не будет, ни темноты, ни пустоты, ни холоду... даже мысли об этом не будет, даже страха не останется! Хотя бы страх! Подумайте!

Ромашов бросил весла вдоль бортов. Лодка едва подвигалась по воде, и это было заметно лишь по тому, как тихо плыли в обратную сторону зеленые берега.

— Да, ничего не будет,— повторил Ромашов задумчиво.

— А посмотрите, нет, посмотрите только, как прекрасна, как обольстительна жизнь! — воскликнул Назанский, широко простирая вокруг себя руки.— О радость, о божественная красота жизни! Смотрите: голубое небо, вечернее солнце, тихая вода — ведь дрожишь от восторга, когда на них смотришь,— вон там, далеко, ветряные мельницы машут крыльями, зеленая кроткая травка, вода у берега — розовая, розовая от заката. Ах, как все чудесно, как все нежно и счастливо!

Назанский вдруг закрыл глаза руками и расплакался, но тотчас же он овладел собой и заговорил, не стыдясь своих слез, глядя на Ромашова мокрыми сияющими глазами:

— Нет, если я попаду под поезд, и мне перережут живот, и мои внутренности смешаются с песком и намотаются на колеса, и если в этот последний миг меня спросят: «Ну что, и теперь жизнь прекрасна?» — я скажу с благодарным восторгом: «Ах, как она прекрасна!» Сколько радости дает нам одно только зрение! А есть еще музыка, запах цветов, сладкая женская любовь! И есть безмернейшее наслаждение—золотое солнце жизни, человеческая мысль! Родной мой Юрочка!.. Простите, что я вас так назвал.— Назанский, точно извиняясь, протянул к нему издали дрожащую руку.— Положим, вас посадили в тюрьму на веки вечные, и всю жизнь вы будете видеть из щелки только два старых изъеденных кирпича... нет, даже, положим, что в вашей тюрьме нет ни одной искорки света, ни единого звука — ничего! И все-таки разве это можно сравнить с чудовищным ужасом смерти? У вас остается мысль, воображение, память, творчество— ведь и с этим можно жить. И у вас даже могут быть минуты восторга от радости жизни.

— Да, жизнь прекрасна,— сказал Ромашов.

— Прекрасна! — пылко повторил Назанский.— И вот два человека из-за того, что один ударил другого, или поцеловал его жену, или просто, проходя мимо него и крутя усы, невежливо посмотрел на него,— эти два

человека стреляют друг в друга, убивают друг друга. Ах, нет, их раны, их страдания, их смерть — все это к черту! Да разве он себя убивает — жалкий движущийся комочек, который называется человеком? Он убивает солнце, жаркое, милое солнце, светлое небо, природу,— всю многообразную красоту жизни, убивает величайшее наслаждение и гордость—человеческую мысль! Он убивает то, что уж никогда, никогда, никогда не возвратится. Ах, дураки, дураки!

Назанский печально, с долгим вздохом покачал головой и опустил ее вниз. Лодка вошла в камыши. Ромашов опять взялся за весла. Высокие зеленые жесткие стебли, шурша о борта, важно и медленно кланялись. Тут было темнее и прохладнее, чем на открытой воде.

— Что же мне делать? — спросил Ромашов мрачно и грубовато.— Уходить в запас? Куда я денусь?

Назанский улыбнулся кротко и нежно.

— Подождите, Ромашов. Поглядите мне в глаза. Вот так. Нет, вы не отворачивайтесь, смотрите прямо и отвечайте по чистой совести. Разве вы верите в то, что вы служите интересному, хорошему, полезному делу? Я вас знаю хорошо, лучше, чем всех других, и я чувствую вашу душу. Ведь вы совсем не верите в это.

— Нет, — ответил Ромашов твердо. — Но куда я пойду?

— Постойте, не торопитесь. Поглядите-ка вы на наших офицеров. О, я не говорю про гвардейцев, которые танцуют на балах, говорят по-французски и живут на содержании у своих родителей и законных жен. Нет, подумайте вы о нас, несчастных армеутах, об армейской пехоте, об этом главном ядре славного и храброго русского войска. Ведь все это заваль, рвань, отбросы. В лучшем случае — сыновья искалеченных капитанов. В большинстве же — убоявшиеся премудрости гимназисты, реалисты, даже неокончившие семинаристы. Я вам приведу в пример наш полк. Кто у нас служит хорошо и долго? Бедняки, обремененные семьями, нищие, готовые на всякую уступку, на всякую жестокость, даже на убийство, на воровство солдатских копеек, и все это из-за своего горшка щей. Ему приказывают: стреляй, и он стреляет,— кого? за что? Может быть, понапрасну? Ему все равно, он не рассуждает. Он знает, что дома пищат его замурзан-

ные, рахитические дети, и он бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово: «Присяга!» Все, что есть талантливого, способного,— спивается. У нас семьдесят пять процентов офицерского состава больны сифилисом. Один счастливец—и это раз в пять лет—поступает в академию, его провожают с ненавистью. Более приличанные и с протекцией неизменно уходят в жандармы или мечтают о месте полицейского пристава в большом городе. Дворяне и те, кто хотя с маленьким состоянием, идут в земские начальники. Положим, остаются люди чуткие, с сердцем, но что они делают? Для них служба — это сплошное отвращение, обуза, ненавидимое ярмо. Всякий старается выдумать себе какой-нибудь побочный интерес, который его поглощает без остатка. Один занимается коллекционерством, многие ждут не дождутся вечера, когда можно сесть дома, у лампы, взять иголку и вышивать по канве крестиками какой-нибудь паршивенький ненужный коверчик или выпиливать лобзиком ажурную рамку для собственного портрета. На службе они мечтают об этом, как о тайной сладостной радости. Карты, хвастливый спорт в обладании женщинами — об этом я уж не говорю. Всего гнуснее служебное честолюбие, мелкое, жестокое честолюбие. Это — Осадчий и компания, выбивающие зубы и глаза своим солдатам. Знаете ли, при мне Арчаковский так бил своего денщика, что я насилу отнял его. Потом кровь оказалась не только на стенах, но и на потолке. А чем это кончилось, хотите ли знать? Тем, что денщик побежал жаловаться ротному командиру, а ротный командир послал его с запиской к фельдфебелю, а фельдфебель еще полчаса бил его по синему, опухшему кровавому лицу. Этот солдат дважды заявлял жалобу на инспекторском смотру, но без всякого результата.

Назанский замолчал и стал нервно тереть себе виски ладонями.

— Постойте... Ах, как мысли бегают...— сказал он с беспокойством.— Как это скверно, когда не ты ведешь мысль, а она тебя ведет... Да, вспомнил! Теперь дальше. Поглядите вы на остальных офицеров. Ну, вот вам, для примера, штабс-капитан Плавский. Питается черт знает чем — сам себе готовит какую-то дрянь на керосинке, носит почти лохмотье, но из своего сорокавосьмирублевого

жалованья каждый месяц откладывает двадцать пять. Ого-го! У него уже лежит в банке около двух тысяч, и он тайно отдает их в рост товарищам под зверские проценты. Вы думаете, здесь врожденная скупость? Нет, нет, это только средство уйти куда-нибудь, спрятаться от тяжелой и непонятной бессмыслицы военной службы... Капитан Стельковский — умница, сильный, смелый человек. А что составляет суть его жизни? Он совращает неопытных крестьянских девчонок. Наконец возьмите вы подполковника Брема. Милый, славный чудак, добрейшая душа — одна прелесть,— и вот он весь ушел в заботы о своем зверинце. Что ему служба, парады, знамя, выговоры, честь? Мелкие, ненужные подробности в жизни.

— Брем — чудный, я его люблю,— вставил Ромашов.

— Так-то так, конечно, милый,—вяло согласился Назанский.— А знаете ли,— заговорил он вдруг, нахмурившись,— знаете, какую штуку однажды я видел на маневрах? После ночного перехода шли мы в атаку. Сбились мы все тогда с ног, устали, разнервничались все: и офицеры и солдаты. Брем велит горнисту играть повестку к атаке, а тот, бог его знает почему, трубит вызов резерва. И один раз, и другой, и третий. И вдруг этот самый — милый, добрый, чудный Брем подскакивает на коне к горнисту, который держит рожок у рта, и изо всех сил трах кулаком по рожку! Да. И я сам видел, как горнист вместе с кровью выплюнул на землю раскрошенные зубы.

— Ах, боже мой! — с отвращением простонал Ромашов.

— Вот так и все они, даже самые лучшие, самые нежные из них, прекрасные отцы и внимательные мужья,— все они на службе делаются низменными, трусливыми, злыми, глупыми зверюшками. Вы спросите: почему? Да именно потому, что никто из них в службу не верит и разумной цели этой службы не видит. Вы знаете ведь, как дети любят играть в войну? Было время кипучего детства и в истории, время буйных и веселых молодых поколений. Тогда люди ходили вольными шайками, и война была общей хмельной радостью, кровавой и доблестной утехой. В начальники выбирался самый храбрый, самый сильный и хитрый, и его власть, до тех пор пока его не убивали подчиненные, принималась всеми истинно как божеская. Но вот человечество выросло и с каждым годом

становится все более мудрым, и вместо детских шумных игр его мысли с каждым днем становятся серьезнее и глубже. Бесстрашные авантюристы сделались шулерами. Солдат не идет уже на военную службу, как на веселое и хищное ремесло. Нет, его влекут на аркане за шею, а он упирается, проклинает и плачет. И начальники из грозных, обаятельных, беспощадных и обожаемых атаманов обратились в чиновников, трусливо живущих на свое нищенское жалованье. Их доблесть — подмоченная доблесть. И воинская дисциплина — дисциплина за страх — соприкасается с обоюдною ненавистью. Красивые фазаны облиняли. Только один подобный пример я знаю в истории человечества. Это монашество. Начало его было смиренно, красиво и трогательно. Может быть — почем знать—оно было вызвано мировой необходимостью? Но прошли столетия, и что же мы видим? Сотни тысяч бездельников, развращенных, здоровенных лоботрясов, ненавидимых даже теми, кто в них имеет время от времени духовную потребность. И все это прикрыто внешней формой, шарлатанскими знаками касты, смешными выветрившимися обрядами. Нет, я не напрасно заговорил о монахах, и я рад, что мое сравнение логично. Подумайте только, как много общего. Там — ряса и кадило, здесь — мундир и гремящее оружие; там—смирение, лицемерные вздохи, слащавая речь, здесь — наигранное мужество, гордая честь, которая все время вращает глазами: «А вдруг меня кто-нибудь обидит?» — выпяченные груди, вывороченные локти, поднятые плечи. Но и те и другие живут паразитами и знают, ведь знают это глубоко в душе, но боятся познать это разумом и, главное, животом. И они подобны жирным вшам, которые тем сильнее отъедаются на чужом теле, чем оно больше разлагается.

Назанский злобно фыркнул носом и замолчал.

— Говорите, говорите,— попросил умоляюще Ромашов.

— Да, настанет время, и оно уже у ворот. Время великих разочарований и страшной переоценки. Помните, я говорил вам как-то, что существует от века незримый и беспощадный гений человечества. Законы его точны и неумолимы. И чем мудрее становится человечество, тем более и глубже оно проникает в них. И вот я уверен, что по этим непреложным законам все в мире рано или

поздно приходит в равновесие. Если рабство длилось века, то распадение его будет ужасно. Чем громаднее было насилие, тем кровавее будет расправа. И я глубоко, я твердо уверен, что настанет время, когда нас, патентованных красавцев, неотразимых соблазнителей, великолепных щеголей, станут стыдиться женщины и, наконец, перестанут слушаться солдаты. И это будет не за то, что мы били в кровь людей, лишенных возможности защищаться, и не за то, что нам, во имя чести мундира, проходило безнаказанным оскорбление женщин, и не за то, что мы, опьянев, рубили в кабаках в окрошку всякого встречного и поперечного. Конечно, и за то и за это, но есть у нас более страшная и уже теперь непоправимая вина. Это то, что мы — слепы и глухи ко всему. Давно уже, где-то вдали от наших грязных, вонючих стоянок, совершается огромная, новая, светозарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди, загораются в умах пламенные свободные мысли. Как в последнем действии мелодрамы, рушатся старые башни и подземелья, и из-за них уже видится ослепительное сияние. А мы, надувшись, как индейские петухи, только хлопаем глазами и надменно болбочем: «Что? Где? Молчать! Бунт! Застрелю!» И вот этого-то индюшачьего презрения к свободе человеческого духа нам не простят — во веки веков.

Лодка выехала в тихую, тайную водяную прогалинку. Кругом тесно обступил ее круглой зеленой стеной высокий и неподвижный камыш. Лодка была точно отрезана, укрыта от всего мира. Над ней с криком носились чайки, иногда так близко, почти касаясь крыльями Ромашова, что он чувствовал дуновение от их сильного полета. Должно быть, здесь, где-нибудь в чаще тростника, у них были гнезда. Назанский лег на корму навзничь и долго глядел вверх на небо, где золотые неподвижные облака уже окрашивались в розовый цвет.

Ромашов сказал робко:

— Вы не устали? Говорите еще.

И Назанский, точно продолжая вслух свои мысли, тотчас же заговорил:

— Да, наступает новое, чудное, великолепное время. Я ведь много прожил на свободе и много кой-чего читал, много испытал и видел. До этой поры старые вороны и галки вбивали в нас с самой школьной скамьи: «Люби

ближнего, как самого себя, и знай, что кротость, послушание и трепет суть первые достоинства человека». Более честные, более сильные, более хищные говорили нам: «Возьмемся об руку, пойдем и погибнем, но будущим поколениям приготовим светлую и легкую жизнь». Но я никогда не понимал этого. Кто мне докажет с ясной убедительностью,— чем связан я с этим — черт бы его побрал! —моим ближним, с подлым рабом, с зараженным, с идиотом? О, из всех легенд я более всего ненавижу — всем сердцем, всей способностью к презрению — легенду об Юлиане Милостивом. Прокаженный говорит: «Я дрожу, ляг со мной в постель рядом. Я озяб, приблизь твои губы к моему смрадному рту и дыши на меня». Ух, ненавижу! Ненавижу прокаженных и не люблю ближних. А затем, какой интерес заставит меня разбивать свою голову ради счастья людей тридцать второго столетия? О, я знаю этот куриный бред о какой-то мировой душе, о священном долге. Но даже тогда, когда я ему верил умом, я ни разу не чувствовал его сердцем. Вы следите за мной, Ромашов?

Ромашов со стыдливой благодарностью поглядел на Назанского.

— Я вас вполне, вполне понимаю,— сказал он.— Когда меня не станет, то и весь мир погибнет? Ведь вы это говорите?

— Это самое. И вот, говорю я, любовь к человечеству выгорела и вычадилась из человеческих сердец. На смену ей идет новая, божественная вера, которая пребудет бессмертной до конца мира. Это любовь к себе, к своему прекрасному телу, к своему всесильному уму, к бесконечному богатству своих чувств. Нет, —подумайте, подумайте, Ромашов: кто вам дороже и ближе себя? — Никто. Вы — царь мира, его гордость и украшение. Вы — бог всего живущего. Все, что вы видите, слышите, чувствуете, принадлежит только вам. Делайте, что хотите. Берите все, что вам нравится. Не страшитесь никого во всей вселенной, потому что над вами никого нет и никто не равен вам. Настанет время, и великая вера в свое Я осенит, как огненные языки святого духа, головы всех людей, и тогда уже не будет ни рабов, ни господ, ни калек, ни жалости, ни пороков, ни злобы, ни зависти. Тогда люди станут богами. И подумайте, как осмелюсь я тогда оскорбить, толк-

нуть, обмануть человека, в котором я чувствую равного себе, светлого бога? Тогда жизнь будет прекрасна. По всей земле воздвигнутся легкие, светлые здания, ничто вульгарное, пошлое не оскорбит наших глаз, жизнь станет сладким трудом, свободной наукой, дивной музыкой, веселым, вечным и легким праздником. Любовь, освобожденная от темных пут собственности, станет светлой религией мира, а не тайным позорным грехом в темном углу, с оглядкой, с отвращением. И самые тела наши сделаются светлыми, сильными и красивыми, одетыми в яркие великолепные одежды. Так же, как верю в это вечернее небо надо мной,— воскликнул Назанский, торжественно подняв руку вверх,— так же твердо верю я в эту грядущую богоподобную жизнь!

Ромашов, взволнованный, потрясенный, пролепетал побледневшими губами:

— Назанский, это мечты, это фантазии!

Назанский тихо и снисходительно засмеялся.

— Да,—промолвил он с улыбкой в голосе,— какой-нибудь профессор догматического богословия или классической филологии расставит врозь ноги, разведет руками и скажет, склонив набок голову: «Но ведь это проявление крайнего индивидуализма!» Дело не в страшных словах, мой дорогой мальчик, дело в том, что нет на свете ничего практичнее, чем те фантазии, о которых теперь мечтают лишь немногие. Они, эти фантазии,— вернейшая и надежнейшая спайка для людей. Забудем, что мы — военные. Мы— шпаки. Вот на улице стоит чудовище, веселое, двухголовое чудовище. Кто ни пройдет мимо него, оно его сейчас в морду, сейчас в морду. Оно меня еще не ударило, но одна мысль о том, что оно меня может ударить, оскорбить мою любимую женщину, лишить меня по произволу свободы,— эта мысль вздергивает на дыбы всю мою гордость. Один я его осилить не могу. Но рядом со мною стоит такой же смелый и такой же гордый человек, как я, и я говорю ему: «Пойдем и сделаем вдвоем так, чтобы оно ни тебя, ни меня не ударило». И мы идем. О, конечно, это грубый пример, это схема, но в лице этого двухголового чудовища я вижу все, что связывает мой дух, насилует мою волю, унижает мое уважение к своей личности. И тогда-то не телячьи жалости к ближнему, а божественная любовь к самому себе соединяет

мои усилия с усилиями других, равных мне по духу людей!

Назанский умолк. Видимо, его утомил непривычный нервный подъем. Через несколько минут он продолжал вяло, упавшим голосом:

— Вот так-то, дорогой мой Георгий Алексеевич. Мимо нас плывет огромная, сложная, вся кипящая жизнь, родятся божественные, пламенные мысли, разрушаются старые позолоченные идолища. А мы стоим в наших стойлах, упершись кулаками в бока, и ржем: «Ах вы, идиоты! Шпаки! Дррать вас!» И этого жизнь нам никогда не простит...

Он привстал, поежился под своим пальто и сказал устало:

— Холодно... Поедемте домой...

Ромашов выгреб из камышей. Солнце село за дальними городскими крышами, и они черно и четко выделялись в красной полосе зари. Кое-где яркими отраженными огнями играли оконные стекла. Вода в сторону зари была розовая, гладкая и веселая, но позади лодки она уже сгустилась, посинела и наморщилась.

Ромашов сказал внезапно, отвечая на свои мысли:

— Вы правы. Я уйду в запас. Не знаю сам, как это сделаю, но об этом я и раньше думал.

Назанский кутался в пальто и вздрагивал от холода.

— Идите, идите,— сказал он с ласковой грустью.— В вас что-то есть, какой-то внутренний свет... я не знаю, как это назвать. Но в нашей берлоге его погасят. Просто плюнут на него и потушат. Главное — не бойтесь вы, не бойтесь жизни: она веселая, занятная, чу́дная штука — эта жизнь. Ну, ладно, не повезет вам — падете вы, опуститесь до босячества, до пропойства. Но ведь, ей-богу, родной мой, любой бродяжка живет в десять тысяч раз полнее и интереснее, чем Адам Иваныч Зегржт или капитан Слива. Ходишь по земле туда-сюда, видишь города, деревни, знакомишься со множеством странных, беспечных, насмешливых людей, смотришь, нюхаешь, слышишь, спишь на росистой траве, мерзнешь на морозе, ни к чему не привязан, никого не боишься, обожаешь свободную жизнь всеми частицами души... Эх, как люди вообще мало понимают! Не все ли равно: есть вобду или седло дикой козы с трюфелями, напиваться водкой или

шампанским, умереть под балдахином или в полицейском участке. Все это детали, маленькие удобства, быстро проходящие привычки. Они только затеняют, обесценивают самый главный и громадный смысл жизни. Вот часто гляжу я на пышные похороны. Лежит в серебряном ящике под дурацкими султанами одна дохлая обезьяна, а другие живые обезьяны идут за ней следом, с вытянутыми мордами, понавесив на себя и спереди и сзади смешные звезды и побрякушки... А все эти визиты, доклады, заседания... Нет, мой родной, есть только одно непреложное, прекрасное и незаменимое — свободная душа, а с нею творческая мысль и веселая жажда жизни. Трюфели могут быть и не быть — это капризная и весьма пестрая игра случая. Кондуктор, если он только не совсем глуп, через год выучится прилично и не без достоинства царствовать. Но никогда откормленная, важная и тупая обезьяна, сидящая в карете, со стекляшками на жирном пузе, не поймет гордой прелести свободы, не испытает радости вдохновения, не заплачет сладкими слезами восторга, глядя, как на вербовой ветке серебрятся пушистые барашки!

Назанский закашлялся и кашлял долго. Потом, плюнув за борт, он продолжал:

— Уходите, Ромашов. Говорю вам так, потому что я сам попробовал воли, и если вернулся назад, в загаженную клетку, то виною тому... ну, да ладно... все равно, вы понимаете. Смело ныряйте в жизнь, она вас не обманет. Она похожа на огромное здание с тысячами комнат, в которых свет, пение, чудные картины, умные, изящные люди, смех, танцы, любовь — все, что есть великого и грозного в искусстве. А вы в этом дворце до сих пор видели один только темный, тесный чуланчик, весь в сору и в паутине,— и вы боитесь выйти из него.

Ромашов причалил к пристани и помог Назанскому выйти из лодки. Уже стемнело, когда они приехали на квартиру Назанского. Ромашов уложил товарища в постель и сам накрыл его сверху одеялом и шинелью.

Назанский так сильно дрожал, что у него стучали зубы. Ежась в комок и зарываясь головой в подушку, он говорил жалким, беспомощным, детским голосом:

— О, как я боюсь своей комнаты... Какие сны, какие сны!

— Хотите, я останусь ночевать? — предложил Ромашов.

— Нет, нет, не надо. Пошлите, пожалуйста, за бромом... и... немного водки. Я без денег...

Ромашов просидел у него до одиннадцати часов. Понемногу Назанского перестало трясти. Он вдруг открыл большие, блестящие, лихорадочные глаза и сказал решительно, отрывисто:

— Теперь уходите. Прощайте.

— Прощайте,— сказал печально Ромашов.

Ему хотелось сказать: «Прощайте, учитель»,— но он застыдился фразы и только прибавил с натянутой шуткой:

— Почему — прощайте? Почему не до свидания?

Назанский засмеялся жутким, бессмысленным, неожиданным смехом.

— А почему не досвишвеция? — крикнул он диким голосом сумасшедшего.

И Ромашов почувствовал на всем своем теле дрожащие волны ужаса.

XXII

Подходя к своему дому, Ромашов с удивлением увидел, что в маленьком окне его комнаты, среди теплого мрака летней ночи, брезжит чуть заметный свет. «Что это значит? — подумал он тревожно и невольно ускорил шаги.— Может быть, это вернулись мои секунданты с условиями дуэли?» В сенях он натолкнулся на Гайнана, не заметил его, испугался, вздрогнул и воскликнул сердито:

— Что за черт! Это ты, Гайнан? Кто тут?

Несмотря на темноту, он почувствовал, что Гайнан, по своей привычке, заплясал на одном месте.

— Там тебе барина пришла. Сидит.

Ромашов отворил дверь. В лампе давно уже вышел весь керосин, и теперь она, потрескивая, догорала последними чадными вспышками. На кровати сидела неподвижная женская фигура, неясно выделяясь в тяжелом вздрагивающем полумраке.

— Шурочка! — задыхаясь, сказал Ромашов и почему-то на цыпочках осторожно подошел к кровати.— Шурочка, это вы?

— Тише. Садитесь,— ответила она быстрым шепотом.— Потушите лампу.

Он дунул сверху в стекло. Пугливый синий огонек умер, и сразу в комнате стало темно и тихо, и тотчас же торопливо и громко застучал на столе не замечаемый до сих пор будильник. Ромашов сел рядом с Александрой Петровной, сгорбившись и не глядя в ее сторону. Странное чувство боязни, волнения и какого-то замирания в сердце овладело им и мешало ему говорить.

— Кто у вас рядом, за стеной? — спросила Шурочка.— Там слышно?

— Нет, там пустая комната... старая мебель... хозяин — столяр. Можно говорить громко.

Но все-таки оба они продолжали говорить шепотом, и в этих тихих, отрывистых словах, среди тяжелого, густого мрака, было много боязливого, смущенного и тайно крадущегося. Они сидели, почти касаясь друг друга. У Ромашова глухими толчками шумела в ушах кровь.

— Зачем, зачем вы это сделали? — вдруг сказала она тихо, но со страстным упреком.

Она положила ему на колено свою руку. Ромашов сквозь одежду почувствовал ее живую, нервную теплоту и, глубоко передохнув, зажмурил глаза. И от этого не стало темнее, только перед глазами всплыли похожие на сказочные озера черные овалы, окруженные голубым сиянием.

— Помните, я просила вас быть с ним сдержанным. Нет, нет, я не упрекаю. Вы не нарочно искали ссоры — я знаю это. Но неужели в то время, когда в вас проснулся дикий зверь, вы не могли хотя бы на минуту вспомнить обо мне и остановиться. Вы никогда не любили меня!

— Я люблю вас,— тихо произнес Ромашов и слегка прикоснулся робкими, вздрагивающими пальцами к ее руке.

Шурочка отняла ее, но не сразу, потихоньку, точно жалея и боясь его обидеть.

— Да, я знаю, что ни вы, ни он не назвали моего

имени, но ваше рыцарство пропало понапрасну: все равно по городу катится сплетня.

— Простите меня, я не владел собой... Меня ослепила ревность,— с трудом произнес Ромашов.

Она засмеялась долгим и злым смешком.

— Ревность? Неужели вы думаете, что мой муж был так великодушен после вашей драки, что удержался от удовольствия рассказать мне, откуда вы приехали тогда в собрание? Он и про Назанского мне сказал.

— Простите,— повторял Ромашов.— Я там ничего дурного не делал. Простите.

Она вдруг заговорила громче, решительным и суровым шепотом:

— Слушайте, Георгий Алексеевич, мне дорога каждая минута. Я и то ждала вас около часа. Поэтому будем говорить коротко и только о деле. Вы знаете, что такое для меня Володя. Я его не люблю, но я на него убила часть своей души. У меня больше самолюбия, чем у него. Два раза он проваливался, держа экзамен в академию. Это причиняло мне гораздо больше обиды и огорчения, чем ему. Вся эта мысль о генеральном штабе принадлежит мне одной, целиком мне. Я тянула мужа изо всех сил, подхлестывала его, зубрила вместе с ним, репетировала, взвинчивала его гордость, ободряла его в минуту уныния. Это — мое собственное, любимое, больное дело. Я не могу оторвать от этой мысли своего сердца. Что бы там ни было, но он поступит в академию.

Ромашов сидел, низко склонившись головой на ладонь. Он вдруг почувствовал, что Шурочка тихо и медленно провела рукой по его волосам. Он спросил с горестным недоумением:

— Что же я могу сделать?

Она обняла его за шею и нежно привлекла его голову к себе на грудь. Она была без корсета. Ромашов почувствовал щекой податливую упругость ее тела и услышал его теплый, пряный, сладострастный запах. Когда она говорила, он ощущал ее прерывистое дыхание на своих волосах.

— Ты помнишь, тогда... вечером... на пикнике. Я тебе сказала всю правду. Я не люблю его. Но подумай: три года, целых три года надежд, фантазий, планов и

такой упорной, противной работы! Ты ведь знаешь, я ненавижу до дрожи это мещанское, нищенское офицерское общество. Я хочу быть всегда прекрасно одетой, красивой, изящной, я хочу поклонения, власти! И вдруг— нелепая, пьяная драка, офицерский скандал — и все кончено, все разлетелось в прах! О, как это ужасно! Я никогда не была матерью, но я воображаю себе: вот у меня растет ребенок—любимый, лелеемый, в нем все надежды, в него вложены заботы, слезы, бессонные ночи... и вдруг — нелепость, случай, дикий, стихийный случай: он играет на окне, нянька отвернулась, он падает вниз, на камни. Милый, только с этим материнским отчаянием я могу сравнить свое горе и злобу. Но я не виню тебя.

Ромашову было неудобно сидеть перегнувшись и боясь сделать ей тяжело. Но он рад был бы сидеть так целые часы и слышать в каком-то странном, душном опьянении частые и точные биения ее маленького сердца.

— Ты слушаешь меня? — спросила она, нагибаясь к нему.

— Да, да... Говори... Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь.

— Нет, нет. Выслушай меня до конца. Если ты его убьешь или если его отставят от экзамена — кончено! Я в тот же день, когда узнаю об этом, бросаю его и еду — все равно куда — в Петербург, в Одессу, в Киев. Не думай, это не фальшивая фраза из газетного романа. Я не хочу пугать тебя такими дешевыми эффектами. Но я знаю, что я молода, умна, образованна. Некрасива. Но я сумею быть интереснее многих красавиц, которые на публичных балах получают в виде премии за красоту мельхиоровый поднос или будильник с музыкой. Я надругаюсь над собой, но сгорю в один миг и ярко, как фейерверк!

Ромашов глядел в окно. Теперь его глаза, привыкшие к темноте, различали неясный, чуть видный переплет рамы.

— Не говори так... не надо... мне больно,— произнес он печально.— Ну, хочешь, я завтра откажусь от поединка, извинюсь перед ним? Сделать это?

Она помолчала немного. Будильник наполнял своей металлической болтовней все углы темной комнаты. Нако-

нец она произнесла еле слышно, точно в раздумье, с выражением, которого Ромашов не мог уловить:

— Я так и знала, что ты это предложишь.

Он поднял голову и, хотя она удерживала его за шею рукой, выпрямился на кровати.

— Я не боюсь! — сказал он громко и глухо.

— Нет, нет, нет, нет,— заговорила она горячим, поспешным, умоляющим шепотом.— Ты меня не понял. Иди ко мне ближе... как раньше... Иди же!..

Она обняла его обеими руками и зашептала, щекоча его лицо своими тонкими волосами и горячо дыша ему в щеку:

— Ты меня не понял. У меня совсем другое. Но мне стыдно перед тобой. Ты такой чистый, добрый, и я стесняюсь говорить тебе об этом. Я расчетливая, я гадкая...

— Нет, говори все. Я тебя люблю.

— Послушай,— заговорила она, и он скорее угадывал ее слова, чем слышал их.— Если ты откажешься, то ведь сколько обид, позора и страданий падет на тебя. Нет, нет, опять не то. Ах, боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. Дорогой мой, я ведь все это давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но, пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то... как бы сказать?.. Ну, что ли, сомнительное, что-то возбуждающее недоумение и разочарование... Понимаешь ли ты меня? — спросила она с грустной нежностью и осторожно поцеловала его в волосы.

— Да. Так что же?

— То, что в этом случае мужа почти наверно не допустят к экзаменам. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки. Между тем если бы вы на самом деле стрелялись, то тут было бы нечто героическое, сильное. Людям, которые умеют держать себя с достоинством под выстрелом, многое, очень многое прощают. Потом... после дуэли... ты мог бы, если хочешь, и извиниться... Ну, это уж твое дело.

Тесно обнявшись, они шептались, как заговорщики, касаясь лицами и руками друг друга, слыша дыхание друг друга. Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо проползало что-то тайное, гадкое, склизкое, от чего

пахнуло холодом на его душу. Он опять хотел высвободиться из ее рук, но она его не пускала. Стараясь скрыть непонятное, глухое раздражение, он сказал сухо:

— Ради бога, объяснись прямее. Я все тебе обещаю.

Тогда она повелительно заговорила около самого его рта, и слова ее были, как быстрые трепетные поцелуи:

— Вы непременно должны завтра стреляться. Но ни один из вас не будет ранен. О пойми же, пойми меня, не осуждай меня! Я сама презираю трусов, я женщина. Но ради меня сделай это, Георгий! Нет, не спрашивай о муже, он знает. Я все, все, все сделала.

Теперь ему удалось упрямым движением головы освободиться от ее мягких и сильных рук. Он встал с кровати и сказал твердо:

— Хорошо, пусть будет так. Я согласен.

Она тоже встала. В темноте, по ее движениям он не видел, а угадывал, чувствовал, что она торопливо поправляет волосы на голове.

— Ты уходишь? — спросил Ромашов.

— Прощай,— ответила она слабым голосом.— Поцелуй меня в последний раз.

Сердце Ромашова дрогнуло от жалости и любви. Впотьмах, ощупью, он нашел руками ее голову и стал целовать ее щеки и глаза. Все лицо Шурочки было мокро от тихих, неслышных слез. Это взволновало и растрогало его.

— Милая... не плачь... Саша... милая...— твердил он жалостно и мягко.

Она вдруг быстро закинула руки ему за шею, томным, страстным и сильным движением вся прильнула к нему и, не отрывая своих пылающих губ от его рта, зашептала отрывисто, вся содрогаясь и тяжело дыша:

— Я не могу так с тобой проститься... Мы не увидимся больше. Так не будем ничего бояться... Я хочу, хочу этого. Один раз... возьмем наше счастье... Милый, иди же ко мне, иди, иди...

И вот оба они, и вся комната, и весь мир сразу наполнились каким-то нестерпимо блаженным, знойным бредом. На секунду среди белого пятна подушки Ромашов со сказочной отчетливостью увидел близко-близко

около себя глаза Шурочки, сиявшие безумным счастьем, и жадно прижался к ее губам...

— Можно мне проводить тебя? — спросил он, выйдя с Шурочкой из дверей на двор.

— Нет, ради бога, не нужно, милый... Не делай этого. Я и так не знаю, сколько времени провела у тебя. Который час?

— Не знаю, у меня нет часов. Положительно не знаю.

Она медлила уходить и стояла, прислонившись к двери. В воздухе пахло от земли и от камней сухим, страстным запахом жаркой ночи. Было темно, но сквозь мрак Ромашов видел, как и тогда в роще, что лицо Шурочки светится странным белым светом, точно лицо мраморной статуи.

— Ну, прощай же, мой дорогой,— сказала она, наконец, усталым голосом.— Прощай.

Они поцеловались, и теперь ее губы были холодны и неподвижны. Она быстро пошла к воротам, и сразу ее поглотила густая тьма ночи.

Ромашов стоял и слушал до тех пор, пока не скрипнула калитка и не замолкли тихие шаги Шурочки. Тогда он вернулся в комнату.

Сильное, но приятное утомление внезапно овладело им. Он едва успел раздеться — так ему хотелось спать. И последним живым впечатлением перед сном был легкий, сладостный запах, шедший от подушки,— запах волос Шурочки, ее духов и прекрасного молодого тела.

XXIII

2-го июня 18**.

Город Z.

Его Высокоблагородию командиру N-ского пехотного полка

Штабс-капитана того же полка *Диц*

РАПОРТ

Настоящим имею честь донести Вашему Высокоблагородию, что сего 2-го июня, согласно условиям, доложенным Вам вчера, 1-го июня, состоялся поединок между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Про-

тивники встретились без пяти минут в 6 часов утра, в роще, именуемой «Дубечная», расположенной в $3^1/_2$ верстах от города. Продолжительность поединка, включая сюда и время, употребленное на сигналы, была 1 мин. 10 сек. Места, занятые дуэлянтами, были установлены жребием. По команде «вперед» оба противника пошли друг другу навстречу, причем выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпоручик Ромашов ранен был в правую верхнюю часть живота. Для выстрела поручик Николаев остановился, точно так же, как и оставался стоять, ожидая ответного выстрела. По истечении установленной полуминуты для ответного выстрела обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противнику не может. Вследствие этого секунданты подпоручика Ромашова предложили считать поединок оконченным. С общего согласия это было сделано. При перенесении подпоручика Ромашова в коляску, последний впал в тяжелое обморочное состояние и через семь минут скончался от внутреннего кровоизлияния. Секундантами со стороны поручика Николаева были: я и поручик Васин, со стороны же подпоручика Ромашова: поручики Бек-Агамалов и Веткин. Распоряжение дуэлью, с общего согласия, было предоставлено мне. Показание младшего врача кол. ас. Знойко при сем прилагаю.

Штабс-капитан *Диц.*

ШТАБС-КАПИТАН РЫБНИКОВ

I

В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые тревожные, глухие вести, — в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безыменном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска:

«Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите расходы».

Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день — на два из Петербурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уж никогда туда не возвращался.

И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об ее пропавшем жильце. Честная, толстая, сорокапятилетняя женщина, вдова консисторского чиновника, чистосердечно рассказала все, что ей было известно: жилец ее был человек тихий, бедный, глуповатый, умеренный в еде, вежливый; не пил, не курил, редко выходил из дому и у себя никого не принимал.

Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужас перед жандармским ротмистром, который зверски шевелил пышными подусниками и за скверным словом в карман не лазил.

В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Повсюду: на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромой офицер, странно болтливый, растрепанный и не особенно трезвый, одетый в общеармейский мундир со сплошь красным воротником — настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по нескольку раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест и управлений, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами и претензиями, своим унизительным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом. Все уже знали наизусть, что он служил в корпусном обозе, под Ляояном контужен в голову, а при Мукденском отступлении ранен в ногу. Почему он, черт меня возьми, до сих пор не получает пособия?! Отчего ему не выдают до сих пор суточных и прогонных? А жалованье за два прошлых месяца? Абсолютно он готов пролить последнюю, черт ее побери, каплю крови за царя, престол и отечество, и он сейчас же вернется на Дальний Восток, как только заживет его раненая нога. Но — сто чертей! — проклятая нога не хочет заживать... Вообразите себе — нагноение! Да вот, посмотрите сами.—И он ставил больную ногу на стул и уже с готовностью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останавливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. Его суетливая и нервная развязность, его запуганность, странно граничившая с наглостью, его глупость и привязчивое, праздное любопытство выводили из себя людей, занятых важной и страшно ответственной бумажной работой.

Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью, что он обращается в неподлежащее место, что ему надобно направиться туда-то, что следует представить такие-то и такие-то бумаги, что его известят о результате,— он ничего, решительно ничего не понимал. Но и очень сердиться на него было невозможно: так он был беззащитен, пуглив и наивен, и, если его с досадой обрывали, он только улыбался, обнажая десны с идиот-

ским видом, торопливо и многократно кланялся и потирал смущенно руки. Или вдруг произносил заискивающим хриплым голосом:

— Пожалуйста... не одолжите ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папирос купить не на что. Яко наг, яко благ... Бедность, как говорится, не порок, но большое свинство.

Этим он обезоруживал самых придирчивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли и, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые расспросы о течении военных событий. Было, впрочем, много трогательного, детски искреннего в том болезненном любопытстве, с которым этот несчастный, замурзанный, обнищавший раненый армеец следит за войной. Просто-напросто, по человечеству, хотелось его успокоить, осведомить и ободрить, и оттого с ним говорили откровеннее, чем с другими.

Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путаную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сейчас же подходил и прислушивался с своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой.

Когда он, наконец, уходил, то оставлял по себе вместе с чувством облегчения какое-то смутное, тяжелое и тревожное сожаление. Нередко чистенькие, выхоленные штабные офицеры говорили о нем с благородной горечью:

— И это русские офицеры! Посмотрите на этот тип. Ну, разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства... Бедная Россия!..

В эти хлопотливые дни штабс-капитан Рыбников нанял себе номер в грязноватой гостинице близ вокзала. Хотя при нем и был собственный паспорт запасного офицера, но он почему-то нашел нужным заявить, что его бумаги находятся пока в комендантском управлении. Сюда же в гостиницу он перевез и свои вещи — портплед с одеялом и подушкой, дорожный несессер и де-

шевый новенький чемодан, в котором было белье и полный комплект штатского платья.

Впоследствии прислуга показывала, что приходил он в гостиницу поздно и как будто под хмельком, но всегда аккуратно давал швейцару, отворявшему двери, гривенник на чай. Спал не более трех-четырех часов, иногда совсем не раздеваясь. Вставал рано и долго, часами ходил взад и вперед по комнате. В полдень уходил.

Время от времени штабс-капитан из разных почтовых отделений посылал телеграммы в Иркутск, и все эти телеграммы выражали глубокую заботливость о каком-то раненом, тяжело больном человеке, вероятно, очень близком сердцу штабс-капитана.

И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным человеком встретился однажды фельетонист большой петербургской газеты Владимир Иванович Щавинский.

II

Перед тем как ехать на бега, Щавинский завернул в маленький, темный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к двум часам дня, для обмена мыслями и сведениями, газетные репортеры. Это была довольно беспардонная, веселая, циничная, всезнающая и голодная компания, и Щавинский, до известной степени аристократ газетного мира, к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фельетоны, блестящие и забавные, но неглубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство. Но его хорошо принимали и в «Славе Петрограда» за его развязный, острый язык и за милую щедрость, с которой он ссужал братьев-писателей маленькими золотыми. Сегодня репортеры обещали достать для него беговую программу с таинственными пометками из конюшни.

Швейцар Василий, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снял с Щавинского пальто.

— Пожалуйте, Владимир Иванович. Все в сборе-с. В большом кабинете у Прохора.

И толстый, низко-стриженый рыжеусый Прохор также фамильярно-ласково улыбался, глядя, по обыкновению, не в глаза, а поверх лба почетному посетителю.

— Давненько не изволили бывать, Владимир Иванович. Пожалуйте-с. Все свои-с.

Как и всегда, братья-писатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать растегаи и жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, не подлежащими тиснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову носовой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма.

Здороваясь с репортерами, Щавинский заметил среди них штабс-капитана в общеармейском мундире. Он сидел, расставив врозь ноги, опираясь руками и подбородком на эфес огромной шашки. При виде его Щавинский не удивился, как привык ничему не удивляться в жизни репортеров. Он бывал свидетелем, что в этой путаной, бесшабашной компании пропадали по целым неделям: тамбовские помещики, ювелиры, музыканты, танцмейстеры, актеры, хозяева зверинцев, рыбные торговцы, распорядители кафешантанов, клубные игроки и другие лица самых неожиданных профессий.

Когда дошла очередь до офицера, тот встал, приподнял плечи, оттопырив локти, и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропойным голосом:

— Хемм!.. Штабс-капитан Рыбников. Очень приятно. Вы тоже писатель? Очень, очень приятно. Уважаю пишущую братию. Печать — шестая великая держава. Что? Не правда?

При этом он осклаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Щавинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела.

«Где я его видел? — мелькнула у Щавинского беспокойная мысль.— Удивительно кого-то напоминает. Кого?»

Здесь в кабинете были все знаменитости петербургского репортажа. Три мушкетера — Кодлубцев, Ряжкин и Попов. Их никогда не видали иначе, как вместе, даже их фамилии, произнесенные рядом, особенно ловко укладывались в четырехстопный ямб. Это не мешало им

постоянно ссориться и выдумывать друг про друга случаи невероятных вымогательств, уголовных подлогов, клеветы и шантажа. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли «не человек, а патологический случай». Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка «Матаня», под которой его знал весь Петербург. Про мрачного Свищева, писавшего фельетончики «По камерам мировых судей», говорили в виде дружеской шутки: «Свищев крупный шантажист, он меньше трех рублей не берет». Спавший же на диване длинноволосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах царские дни и двунадесятые праздники. Были и другие, не менее крупные имена: специалисты по городским делам, по пожарам, по трупам, по открытиям и закрытиям садов.

Длинный, вихрястый, угреватый Матаня сказал:

— Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович. А покамест рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана. Только что вернулся с Дальнего Востока, где, можно сказать, разбивал в пух и прах желтолицего, косоглазого и коварного врага. Ну-с, генерал, валяйте дальше.

Офицер прокашлялся и сплюнул вбок на пол.

«Хам!» — подумал Щавинский, поморщившись.

— Русский солдат это, брат, не фунт изюму! — воскликнул хрипло Рыбников, громыхая шашкой.— Чудо-богатыри, как говорил бессмертный Суворов. Что? Не правду я говорю? Одним словом... Но скажу вам откровенно: начальство наше на Востоке не годится ни к черту! Знаете известную нашу поговорку: каков поп, таков приход. Что? Не верно? Воруют, играют в карты, завели любовниц... А ведь известно: где черт не поможет, бабу пошлет.

— Вы, генерал, что-то о съемках начали,— напомнил Матаня.

— Ага, о съемках. Мерси. Голова у меня... Дер-р-балызнул я сегодня.— Рыбников метнул быстрый, острый взгляд на Щавинского.— Да, так вот-с... Назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную рекогносцировку. Берет он с собой взвод каза-

ков — лихое войско, черт его побери... Что? Не правда?.. Берет он переводчика и едет. Попадает в деревню. «Как название?» Переводчик молчит. «А ну-ка, ребятушки!» Казаки его сейчас нагайками. Переводчик говорит: «Бутунду». А «бутунду» по-китайски значит: «не понимаю». «Ага, заговорил, сукин сын!» И полковник пишет на крокки: «Деревня Бутунду». Опять едут — опять деревня. «Название?» — «Бутунду».— «Как? Еще Бутунду?» — «Бутунду». Полковник опять пишет: «Бутунду». Так он десять деревень назвал «Бутунду», и вышел он, как у Чехова: «Хоть ты, говорит,— Иванов седьмой, а все-таки дурак!»

— А-а! Вы знаете Чехова? — спросил Щавинский.

— Кого? Чехова? Антошу! Еще бы, черт побери!.. Друзья! Пили мы с ним здорово... Хоть ты, говорит, и седьмой, а все-таки дурак...

— Вы с ним там на Востоке виделись? — быстро спросил Щавинский.

— Как же, обязательно на Востоке. Мы, брат, бывало, с Антон Петровичем... Хоть ты и седьмой, а...

Пока он говорил, Щавинский внимательно наблюдал за ним. Все у него было обычное, чисто армейское: голос, манеры, поношенный мундир, бедный и грубый язык. Щавинскому приходилось видеть сотни таких забулдыг-капитанов, как он. Так же они осклаблялись и чертыхались, расправляли усы влево и вправо молодцеватыми движениями, так же вздергивали вверх плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и щелкали воображаемыми шпорами. Но было в нем и что-то совсем особенное, затаенное, чего Щавинский никогда не видал и не мог определить — какая-то внутренняя напряженная, нервная сила. Было похоже на то, что Щавинский вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон заговорил о тонких и умных вещах, непринужденно и ясно, изящным языком, но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже крозавой выходке со стороны штабс-капитана.

В лице его поражало Щавинского то разное впечатление, которое производили его фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо: маленький выпуклый лоб под уходящим вверх че-

репом, русский бесформенный нос сливой, редкие, жесткие черные волосы в усах и на бороденке, голова, коротко остриженная, с сильной проседью, тон лица темно-желтый от загара... Но, поворачиваясь лицом к Щавинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было ухватить, чувствовалось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, идущих от переносья кверху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивавшей мощные скулы, а главное, в общем выражении этого лица — злобного, насмешливого, умного, пожалуй, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного, а еще вернее — лица, принадлежащего существу с другой планеты.

«Точно я его во сне видел»,— подумал Щавинский.

Всматриваясь, он невольно прищурился и наклонил голову набок.

Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал нервно и громко:

— Что вы на меня любуетесь, господин писатель? Интересно? Я,— он возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь.— Я штабс-капитан Рыбников. Рыб-ни-ков! Православный русский воин, не считая, бьет врагов. Такая есть солдатская русская песня. Что? Не верно?

Кодлубцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно:

— И, не считаясь, сдается в плен.

Рыбников быстро бросил взгляд на Кодлубцева, и Щавинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные желто-зеленые огоньки. Но это было только на мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развел руками и звонко хлопнул себя по ляжкам.

— Ничего не поделаешь — божья воля. Недаром говорится в пословице: нашла коса на камень. Что? Не верно? — Он обратился вдруг к Щавинскому, слегка потрепал его рукою по колену и издал губами безнадежный звук: фить! — Мы всё авось, да кое-как, да как-нибудь — тяп да ляп. К местности не умеем применяться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по четверо суток не едят. А японцы, черт бы их побрал, ра-

ботают, как машины. Макаки, а на их стороне цивилизация, черт бы их брал! Что? Не верно я говорю?

— Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят? — спросил Щавинский.

У Рыбникова опять задергались губы. Эту привычку уже успел за ним заметить Щавинский. Во все время разговора, особенно когда штабс-капитан задавал вопрос и, насторожившись, ждал ответа или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взгляд, губы у него быстро дергались то в одну, то в другую сторону в странных гримасах, похожих на судорожные, злобные улыбки. И в то же время он торопливо облизывал концом языка свои потрескавшиеся, сухие губы, тонкие, синеватые, какие-то обезьяньи или козлиные губы.

— Кто знает! — воскликнул штабс-капитан.— Один бог. Без бога ни до порога, как говорится. Что? Не верно? Кампания еще не кончена. Все впереди. Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенного Суворова... А Севастополь! А как в двенадцатом году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона. Велик бог земли русской! Что?

Он заговорил, а углы его губ дергались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными суровыми бровями.

Щавинскому принесли в это время кофе.

— Не хотите ли рюмочку коньяку? — предложил он штабс-капитану.

Рыбников опять слегка похлопал его по колену.

— Нет, спасибо, голубчик. Я сегодня черт знает сколько выпил. Башка трещит. С утра, черт возьми, наклюкался. Веселие Руси есть пити. Что? Не правда? — воскликнул он вдруг с лихим видом и внезапно пьяным голосом.

«Притворяется»,— подумал Щавинский.

Но почему-то он не хотел отстать и продолжал угощать штабс-капитана.

— Может быть, пива? Красного вина?

— Нет, покорно благодарю. И так пьян. Гран мерси [1].

— Зельтерской воды?

Штабс-капитан оживился.

[1] Большое спасибо *(франц.)*.

— Ах, да, да! Вот именно... именно зельтерской... стаканчик не откажусь.

Принесли сифон. Рыбников выпил стакан большими, жадными глотками. Даже руки у него задрожали от жадности. И тотчас же налил себе другой стакан. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда.

«Притворяется,— опять подумал Щавинский.— Что за диковинный человек! Он недоволен, утомлен, но ничуть не пьян».

— Жара, черт ее побери,— сказал Рыбников хрипло.— Однако я, господа, кажется, мешаю вам заниматься.

— Нет, ничего. Мы привыкли,— пробурчал Ряжкин.

— А что, нет ли у вас каких-нибудь свежих известий с войны? — спросил Рыбников.— Эх, господа! — воскликнул он вдруг и громыхнул шашкой.— Сколько бы мог я вам дать интересного материала о войне! Хотите, я вам буду диктовать, а вы только пишите. Вы только пишите. Так и озаглавьте: «Воспоминания штабс-капитана Рыбникова, вернувшегося с войны». Нет, вы не думайте — я без денег, я задаром, задаром. Как вы думаете, господа писатели?

— Что ж, это можно,— вяло отозвался Матаня,— как-нибудь устроим вам интервьюшку... Послушайте, Владимир Иванович, вы ничего не знаете о нашем флоте?

— Нет, ничего; а разве что есть?

— Рассказывают что-то невозможное. Кондрашов слышал от знакомого из морского штаба. Эй! Патологический случай, расскажи Щавинскому!

«Патологический случай», человек с черной трагической бородой и изжеванным лицом, сказал в нос:

— Я не могу, Владимир Иванович, ручаться. Но источник как будто достоверный. В штабе ходит темный слух, что бóльшая часть нашей эскадры сдалась без боя. Что будто бы матросы перевязали офицеров и выкинули белый флаг. Чуть ли не двадцать судов.

— Это действительно ужасно,— тихо произнес Щавинский.— Может быть, еще неправда? Впрочем, теперь такое время, что самое невозможное стало возможным. Кстати, вы знаете, что делается в морских портах? Во всех экипажах идет страшное, глухое брожение. Морские офицеры на берегу боятся встречаться с людьми своей команды.

Разговор стал общим. Эта пронырливая, вездесущая, циничная компания была своего рода чувствительным приемником для всевозможных городских слухов и толков, которые часто доходили раньше до отдельного кабинета «Славы Петрограда», чем до министерских кабинетов. У каждого были свои новости. Это было так интересно, что даже три мушкетера, для которых, казалось, ничего не было на свете святого и значительного, заговорили с непривычной горячностью.

— Носятся слухи о том, что в тылу армии запасные отказываются повиноваться. Что будто солдаты стреляют в офицеров из их же собственных револьверов.

— Я слышал, что главнокомандующий повесил пятьдесят сестер милосердия. Ну, конечно, они были только под видом сестер.

Щавинский оглянулся на Рыбникова. Теперь болтливый штабс-капитан молчал. Сузив глаза, налегши грудью на эфес шашки, он напряженно следил поочередно за каждым из говоривших, и на его скулах под натянутой кожей быстро двигались сухожилия, а губы шевелились, точно он повторял про себя каждое слово.

«Господи, да кого же, наконец, он напоминает?» — в десятый раз с нетерпением подумал фельетонист.

Это так мучило его, что он пробовал прибегнуть к старому знакомому средству: притвориться перед самим собой, что он как будто совсем забыл о штабс-капитане, и потом вдруг внезапно взглянуть на него. Обыкновенно такой прием довольно быстро помогал ему вспомнить фамилию или место встречи, но теперь он оказывался совсем недействительным.

Под его упорным взглядом Рыбников опять обернулся, глубоко вздохнул и с сокрушением покрутил головой.

— Ужасное известие. Вы верите? Что? Если даже и правда, не надо отчаиваться. Знаете, как мы, русские, говорим: бог не выдаст, свинья не съест. То есть я хочу сказать, что свинья — это, конечно, японцы.

Теперь он упорно выдерживал пристальный взгляд Щавинского, и в его рыжих звериных глазах фельетонист увидел пламя непримиримой, нечеловеческой ненависти.

В эту минуту спавший на диване поэт Пеструхин вдруг приподнялся, почмокал губами и уставился мутным взглядом на офицера.

— А, японская морда, ты еще здесь? — сказал он пьяным голосом, едва шевеля ртом.— Поговори у меня еще!

И опять упал на диван, перевернувшись на другой бок.

«Японец! — подумал с жутким любопытством Щавинский.— Вот он на кого похож».— И Щавинский сказал протяжно, с многозначительной вескостью:

— Однако вы фру-укт, господин штабс-капитан!

— Я? — закричал тот. Глаза его потухли, но губы еще нервно кривились.— Я — штабс-капитан Рыбников! — Он опять со смешной гордостью стукнул себя кулаком по груди.— Мое русское сердце болит. Позвольте пожать вашу правую руку. Я под Ляояном контужен в голову, а под Мукденом ранен в ногу. Что? Вы не верите? Вот я вам сейчас покажу.

Он поставил ногу на стул и стал засучивать кверху свои панталоны.

— Ну вас, бросьте, штабс-капитан. Верим,— сказал, морщась, Щавинский.

Но тем не менее из привычного любопытства он успел быстро взглянуть на ногу Рыбникова и заметить, что этот штабс-капитан армейской пехоты носит нижнее белье из прекрасного шелкового трико.

В это время в кабинет вошел посыльный с письмом к Матане.

— Это для вас, Владимир Иванович,— сказал Матаня, разорвав конверт.— Программа из конюшни. Поставьте за меня, пожалуйста, один билет в двойном на Зенита. Я вам во вторник отдам.

— Поедемте со мной на бега, капитан? — предложил Щавинский.

— Куда? На бега? С моим удовольствием.— Рыбников шумно встал, опрокинув стул.— Это где лошади скачут? Штабс-капитан Рыбников куда угодно. В бой, в строй, к чертовой матери! Ха-ха-ха! Вот каков. Что? Не правда?

Когда они уже сидели на извозчике и ехали по Кабинетской улице, Щавинский продел свою руку под руку офицера, нагнулся к самому его уху и сказал чуть слышно:

— Не бойтесь, я вас не выдам. Вы такой же Рыбников, как я Вандербильт. Вы офицер японского генерального штаба, думаю, не меньше чем в чине полковника, и теперь — военный агент в России...

Но Рыбников не слышал его слов за шумом колес или не понял его. Покачиваясь слегка из стороны в сторону, он говорил хрипло, с новым пьяным восторгом:

— З-значит, мы с вами з-закутили! Люблю, черт! Не будь я штабс-капитан Рыбников, русский солдат, если я не люблю русских писателей! Славный народ! Здорово пьют и знают жизнь насквозь. Веселие Руси есть пити. А я, брат, здорово с утра дерябнул.

III

Шавинский — и по роду его занятия и по склонностям натуры — был собирателем человеческих документов, коллекционером редких и странных проявлений человеческого духа. Нередко в продолжение недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживая его с упорством страстного охотника или добровольного сыщика. Случалось, что такой добычей оказывался, по его собственному выражению, какой-нибудь «рыцарь из-под темной звезды» — шулер, известный плагиатор, сводник, альфонс, графоман — ужас всех редакций, зарвавшийся кассир или артельщик, тратящий по ресторанам, скачкам и игорным залам казенные деньги с безумием человека, несущегося в пропасть; но бывали также предметами его спортивного увлечения знаменитости сезона — пианисты, певцы, литераторы, чрезмерно счастливые игроки, жокеи, атлеты, входящие в моду кокотки. Добившись во что бы то ни стало знакомства, Шавинский мягко и любовно, с какой-то обволакивающей паучьей манерой овладевал вниманием своей жертвы. Здесь он шел на все: просиживал целыми ночами без сна с пошлыми, ограниченными людьми, весь умственный багаж которых составлял — точно у бушменов — десяток-другой зоологических понятий и шаблонных фраз; он поил в ресторанах отъявленных дураков и негодяев, терпеливо выжидая, пока в опьянении они не распустят пышным махровым цветом своего уродства; льстил людям наобум, с ясными глазами, в

чудовищных дозах, твердо веря в то, что лесть — ключ ко всем замкам; щедро раздавал взаймы деньги, зная заранее, что никогда их не получит назад. В оправдание скользкости этого спорта он мог бы сказать, что внутренний психологический интерес значительно превосходил в нем те выгоды, которые он потом приобретал в качестве бытописателя. Ему доставляло странное, очень смутное для него самого наслаждение проникнуть в тайные, недопускаемые комнаты человеческой души, увидеть скрытые, иногда мелочные, иногда позорные, чаще смешные, чем трогательные, пружины внешних действий — так сказать, подержать в руках живое, горячее человеческое сердце и ощутить его биение. Часто при этой пытливой работе ему казалось, что он утрачивает совершенно свое «я», до такой степени он начинал думать и чувствовать душою другого человека, даже говорить его языком и характерными словечками, наконец он даже ловил себя на том, что употребляет чужие жесты и чужие интонации. Но, насытившись человеком, он бросал его. Правда, иногда за минуту увлечения приходилось расплачиваться долго и тяжело.

Но уж давно никто так глубоко, до волнения, не интересовал его, как этот растерзанный, хриплый, пьяноватый общеармейский штабс-капитан. Целый день Щавинский не отпускал его от себя. Порою, сидя бок о бок с ним на извозчике и незаметно наблюдая его, Щавинский думал решительно:

«Нет, не может быть, чтобы я ошибался,— это желтое, раскосое, скуластое лицо, эти постоянные короткие поклоны и потирание рук, и вместе с тем эта напряженная, нервная, жуткая развязность... Но если все это правда и штабс-капитан Рыбников действительно японский шпион, то каким невообразимым присутствием духа должен обладать этот человек, разыгрывающий с великолепной дерзостью среди бела дня, в столице враждебной нации, такую злую и верную карикатуру на русского забубенного армейца! Какие страшные ощущения должен он испытывать, балансируя весь день, каждую минуту над почти неизбежной смертью».

Здесь была совсем уже непонятная для Щавинского очаровательная, безумная и в то же время холодная отвага, был, может быть, высший из всех видов патрио-

тического героизма. И острое любопытство вместе с каким-то почтительным ужасом все сильнее притягивали ум фельетониста к душе этого диковинного штабс-капитана.

Но иногда он мысленно одергивал себя:

«А что, если я сам себе навязал смешную и предвзятую мысль? Что, если я, пытливый сердцеведец, сам себя одурачил просто-напросто закутившим гоголевским капитаном Копейкиным? Ведь на Урале и среди оренбургского казачества много именно таких монгольских шафранных лиц». И тогда он еще внимательнее приглядывался к каждому жесту и выражению физиономии штабс-капитана, чутко прислушивался к звукам его голоса.

Рыбников не пропускал ни одного солдата, отдававшего ему честь, и сам прикладывал руку к козырьку фуражки с особенно продолжительной, аффектированной тщательностью. Когда они проезжали мимо церквей, он неизменно снимал шапку и крестился широко и аккуратно и при этом чуть-чуть косил глазом на своего соседа — видит тот или нет?

Однажды Щавинский не вытерпел и сказал:

— Однако вы набожны, капитан.

Рыбников развел руками, комично ушел головой в поднятые плечи и захрипел:

— Ничего не поделаешь, батенька. Привык в боях. Кто на войне не был, богу не маливался. Знаете? Прекрасная русская поговорка. Там, голубчик, поневоле научишься молиться. Бывало, идешь на позицию — пули визжат, шрапнель, гранаты... эти самые проклятые шимозы... но ничего не поделаешь — долг, присяга — идешь! А сам читаешь про себя: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси...»

И он дочитал до самого конца всю молитву, старательно отчеканивая каждый звук.

«Шпион!» — решил Щавинский.

Но он не хотел оставить свое подозрение на половине. Несколько часов подряд он продолжал испытывать и терзать штабс-капитана. В отдельном кабинете, за обедом, он говорил, нагибаясь через стол за стаканом вина и глядя Рыбникову в самые зрачки:

— Слушайте, капитан, теперь нас никто не слышит, и... я не знаю, какое вам дать честное слово, что никто в мире не узнает о нашем разговоре. Я совсем бесповоротно, я глубоко убежден, что вы — японец.

Рыбников опять хлопнул себя по груди кулаком.

— Я штабс...

— Нет, нет, оставим эти выходки. Своего лица вы не спрячете, как вы ни умны. Очертание скул, разрез глаз, этот характерный череп, цвет кожи, редкая и жесткая растительность на лице, все, все несомненно указывает на вашу принадлежность к желтой расе. Но вы в безопасности. Я не донесу на вас, что бы мне за это ни обещали, чем бы мне ни угрожали за молчание. Уже по одному тому я не сделаю вам вреда, что все мое сердце полно бесконечным уважением перед вашей удивительной смелостью, я скажу даже больше — полно благоговением,— ужасом, если хотите. Я,— а ведь я писатель, следовательно, человек с воображением и фантазией,— я не могу себе даже представить, как это возможно решиться: за десятки тысяч верст от родины, в городе, полном ненавидящими врагами, ежеминутно рискуя жизнью,— ведь вас повесят без всякого суда, если вы попадетесь, не так ли?— и вдруг разгуливать в мундире офицера, втесываться без разбора во всякие компании, вести самые рискованные разговоры! Ведь маленькая ошибка, оговорка погубит вас в одну секунду. Вот, полчаса тому назад, вы вместо слова рукопись сказали — манускрипт. Пустяк, а очень характерный. Армейский штабс-капитан никогда не употребит этого слова применительно к современной рукописи, а только к архивной или к особенно торжественной. Он даже не скажет: рукопись, а сочинение. Но это пустяки. Главное, я не могу постигнуть этого постоянного напряжения ума и воли, этой дьявольской траты душевных сил. Разучиться думать по-японски, совсем забыть свое имя, отожествиться с другой личностью. Нет, нет, это положительно выше всякого героизма, о котором нам говорили в школах. Милый мой, не лукавьте со мною. Клянусь, я не враг вам.

Он говорил это совсем искренно, весь воспламененный и растроганный тем героическим образом, который ему рисовало воображение. Но штабс-капитан не шел и на лесть. Он слушал его, глядя слегка прищуренными глаза-

ми в бокал, который он тихо двигал по скатерти, и углы его синих губ нервно передергивались. И в лице его Щавинский узнавал все ту же скрытую насмешку, ту же упорную, глубокую, неугасимую ненависть, особую, быть может, никогда не постижимую для европейца, ненависть мудрого, очеловеченного, культурного, вежливого зверя к существу другой породы.

— Э, бросьте вы, благодетель,—возразил небрежно Рыбников.— Ну его к дьяволу! Меня и в полку дразнили японцем. Что там! Я — штабс-капитан Рыбников. Знаете, есть русская поговорка: рожа овечья, а душа человечья. А вот я расскажу вам, у нас в полку был однажды случай...

— А вы в каком полку служили? — внезапно спросил Щавинский.

Но штабс-капитан как будто не расслышал. Он начал рассказывать те старые, заезженные, похабные анекдоты, которые рассказываются в лагерях, на маневрах, в казармах. И Щавинский почувствовал невольную обиду.

Один раз, уже вечером, сидя на извозчике, Щавинский обнял его за талию, притянул к себе и сказал вполголоса:

— Капитан... нет, не капитан, а, наверно, полковник, иначе бы вам не дали такого серьезного поручения. Итак, скажем, полковник: я преклоняюсь пред вашей отвагой, то есть, я хочу сказать, перед безграничным мужеством японского народа. Иногда, когда я читаю или думаю об единичных случаях вашей чертовской храбрости и презрения к смерти, я испытываю дрожь восторга. Какая, например, бессмертная красота и божественная дерзость в поступке этого командира расстрелянного судна, который на предложение сдаться молча закурил папироску и с папироской в зубах пошел ко дну. Какая необъятная сила и какое восхитительное презрение к врагам! А морские кадеты, которые на брандерах пошли на верную смерть с такой радостью, как будто они отправились на бал? А помните, как какой-то лейтенант — один, совсем один, пробуксировал на лодке торпеду к окончанию порт-артурского мола? Его осветили прожекторами, и от него с его торпедой осталось только большое кровавое пятно на бетонной стене, но на другой же день все мичманы и лейтенанты японского флота засыпали адмирала Того прошениями, где они вызывались повторить тот же безумный подвиг. Что за герои! Но еще великолепнее приказ

Того о том, чтобы подчиненные ему офицеры не смели так рисковать своей жизнью, которая принадлежит не им, а отечеству. Ах, черт, красиво!

— По какой это мы улице едем? — прервал его Рыбников и зевнул.— После маньчжурских сопок я совсем забыл ориентироваться на улице. У нас в Харбине...

Но увлекшийся Щавинский продолжал, не слушая его:

— Помните вы случай, когда офицер, взятый в плен, разбил себе голову о камень? Но что всего изумительнее — это подписи самураев. Вы, конечно, не слыхали об этом, господин штабс-капитан Рыбников? — спросил Щавинский с язвительным подчеркиванием.— Ну да, понятно, не слыхали... Генерал Ноги, видите ли, вызвал охотников идти в первой колонне на ночной штурм порт-артурских укреплений. Почти весь отряд вызвался на это дело, на эту почетную смерть. И так как их оказалось слишком много и так как они торопились друг перед другом попасть на смерть, то они просили об этом письменно, и некоторые из них, по древнему обычаю, отрубали себе указательный палец левой руки и прикладывали его к подписи в виде кровавой печати. Это делали самураи!

— Самураи! — повторил Рыбников глухо.

В горле у него что-то точно оборвалось и захлестнулось. Щавинский быстро оглядел его в профиль. Неожиданное, не виданное до сих пор выражение нежной мягкости легло вокруг рта и на дрогнувшем подбородке штабс-капитана, и глаза его засияли тем теплым, дрожащим светом, который светится сквозь внезапные непроливающиеся слезы. Но он тотчас же справился с собой, на секунду зажмурился, потом повернул к Щавинскому простодушное, бессмысленное лицо и вдруг выругался скверным, длинным русским ругательством.

— Капитан, капитан, что это с вами? — воскликнул Щавинский почти в испуге.

— Это все в газетах наврали,— сказал Рыбников небрежно,— наш русский солдатик ничем не хуже. Но, конечно, есть разница. Они дерутся за свою жизнь, за славу, за самостоятельность, а мы почему ввязались? Никто не знает! Черт знает почему! Не было печали — черти накачали, как говорится по-русски. Что? Неверно? Ха-ха-ха.

На бегах Щавинского несколько отвлекла игра, и он не мог все время следить за штабс-капитаном. Но в антрактах между заездами он видел его изредка то на одной, то на другой трибуне, вверху, внизу, в буфете и около касс. В этот день слово «Цусима» было у всех на языке — у игроков, у наездников, у букмекеров, даже у всех таинственных рваных личностей, обыкновенно неизбежных на бегах. Это слово произносили и в насмешку над выдохшейся лошадью, и в досаде на проигрыш, и с равнодушным смехом, и с горечью. Кое-где говорили страстно. И Щавинский видел издали, как штабс-капитан, с его доверчивой, развязной и пьяноватой манерой заводил с кем-то споры, жал кому-то руки, хлопал кого-то по плечам. Его маленькая прихрамывающая фигура мелькала повсюду.

С бегов поехали в ресторан, а оттуда на квартиру к Щавинскому. Фельетонист немного стыдился своей роли добровольного сыщика, но чувствовал, что не в силах отстать от нее, хотя у него уже начиналась усталость и головная боль от этой тайной, напряженной борьбы с чужой душою. Убедившись, что лесть ему не помогала, он теперь пробовал довести штабс-капитана до откровенности, дразня и возбуждая его патриотические чувства.

— Да, но все-таки жаль мне бедных макаков! — говорил он с ироническим сожалением.— Что там ни рассказывай, а Япония в этой войне истощила весь свой национальный гений. Она, по-моему, похожа на худенького, тщедушного человека, который в экстазе и опьянении или от хвастовства взял и поднял спиною двадцать пудов, надорвал себе живот и вот уже начинает умирать медленной смертью. Россия, видите, это совсем особая страна — это колосс. Для нее маньчжурские поражения все равно, что кровесосные банки для полнокровного человека. Вот увидите, как она поправится и зацветет после войны. А Япония захиреет и умрет. Она надорвалась. Пусть мне не говорят, что там культура, общая грамотность, европейская техника. Все-таки в конце концов японец — азиат, получеловек, полуобезьяна. Он и по типу приближается к обезьяне так же, как бушмен, туарег и ботокуд. Стоит обратить внимание на камперов угол его лица. Одним словом— макаки. И нас победила вовсе не ваша культура или политическая молодость, а просто какая-то

сумасшедшая вспышка, эпилептический припадок. Вы знаете, что такое raptus, припадок бешенства? Слабая женщина разрывает цепи и разбрасывает здоровенных мужчин, как щепки. На другой день она не в силах поднять руку. Так и Япония. Поверьте, после ее героического припадка наступит бессилие, маразм. Но, конечно, раньше она пройдет через полосу национального хвастовства, оскорбительной военщины и безумного шовинизма.

— Вер-р-но! — кричал на это штабс-капитан Рыбников в дурацком восторге.— Что верно, то верно. Вашу руку, мусье писатель. Сразу видно умного человека.

Он хрипло хохотал, отплевывался, хлопал Щавинского по коленам, тряс его за руку. И Щавинскому вдруг стало стыдно за себя и за свои тайные приемы проницательного сердцеведа.

«А что, если я ошибаюсь, и этот Рыбников — самый что ни на есть истый распехотный армейский пропойца? Фу ты, черт! Да нет, это невозможно. И если возможно, то, боже мой, каким дураком я себя веду!»

У себя на квартире он показал штабс-капитану свою библиотеку, коллекцию старинного фарфора, редкие гравюры и двух породистых сибирских лаек. Жены его — маленькой опереточной артистки — не было в городе.

Рыбников разглядывал все это с вежливым, но безучастным любопытством, в котором хозяину казалось даже нечто похожее на скуку, даже на холодное презрение. Между прочим, Рыбников открыл книжку какого-то журнала и прочел из нее вслух несколько строчек.

«Это он, однако, сделал ошибку!» — подумал Щавинский, когда услышал его чтение, чрезвычайно правильное, но деревянное, с преувеличенно-точным произношением каждой буквы, каким щеголяют первые ученики, изучающие чужой язык. Но, должно быть, Рыбников и сам это заметил, потому что вскоре захлопнул книжку и спросил:

— Вы ведь сами писатель?

— Да... немного..

— А вы в каких газетах пишете?

Щавинский назвал. Этот вопрос Рыбников предлагал ему за нынешний день в шестой раз.

— Ах, да, да, да. Я позабыл, я уже спрашивал. Знаете что, господин писатель?

— Именно?

— Сделаем с вами так: вы пишите, а я буду диктовать... То есть не диктовать... О нет, я никогда не посмею.— Рыбников потер руки и закланялся торопливо.— Вы, конечно, будете излагать сами, а я вам буду только давать мысли и некоторые... как бы выразиться... мемуары о войне. Ах, сколько у меня интересного материала!..

Шавинский сел боком на стол и посмотрел на штабс-капитана, лукаво прищурив один глаз.

— И, конечно, упомянуть вашу фамилию?

— А что же? Можете. Я ничего не имею против. Так и упомяните: сведения эти любезно сообщены штабс-капитаном Рыбниковым, только что вернувшимся с театра военных действий.

— Так-с, чудесно-с. Это вам для чего же?

— Что такое?

— Да вот непременно, чтобы вашу фамилию? Или это вам нужно будет впоследствии для отчета? Что вот, мол, инспирировал русские газеты?.. Какой я ловкий мужчина? А?

Но штабс-капитан, по своему обыкновению, ушел от прямого ответа.

— А может быть, у вас нет времени? Заняты другой работой? Тогда — и ну их к черту, эти воспоминания. Всего не перепишешь, что было. Как говорится: жизнь пережить — не поле перейти. Что? Не правду я говорю? Ха-ха-ха!

В это время Шавинскому пришла в голову интересная затея. У него в кабинете стоял большой белый стол из некрашеного ясеневого дерева. На чистой, нежной доске этого стола все знакомые Шавинского оставляли свои автографы в виде афоризмов, стихов, рисунков и даже музыкальных нот. Он сказал Рыбникову:

— Смотрите, вот мой альбом, господин капитан. Не напишете ли вы мне что-нибудь на память о нашем приятном (Шавинский учтиво поклонился) и, смею льстить себя надеждой, не кратковременном знакомстве?

— Отчего же, я с удовольствием,— охотно согласился Рыбников.— Что-нибудь из Пушкина или из Гоголя?

— Нет... уж лучше что-нибудь сами.

— Сам? Отлично.

Он взял перо, обмакнул, подумал и приготовился писать. Но Щавинский вдруг остановил его:

— Мы с вами вот как сделаем лучше. Нате вам четвертушку бумаги, а здесь, в коробочке, кнопки. Прошу вас, напишите что-нибудь особенно интересное, а потом закройте бумагой и прижмите по углам кнопками. Я даю вам честное слово, честное слово писателя, что в продолжение двух месяцев я не притронусь к этой бумажке и не буду глядеть, что вы там написали. Идет? Ну, так пишите. Я нарочно уйду, чтоб вам не мешать.

Через пять минут Рыбников крикнул ему:

— Пожалуйте!

— Готово? — спросил Щавинский, входя.

Рыбников вытянулся, приложил руку ко лбу, как отдают честь, и гаркнул по-солдатски:

— Так точно, ваше благородие.

— Спасибо! Ну, а теперь поедем в Буфф или еще куда-нибудь,— сказал Щавинский.— Там будет видно. Я вас сегодня целый день не отпущу от себя, капитан.

— С моим превеликим удовольствием,—сказал хриплым басом Рыбников, щелкая каблуками.

И, подняв кверху плечи, он лихо расправил в одну и другую сторону усы.

Но Щавинский невольно обманул штабс-капитана и не сдержал своего слова. В последний момент перед уходом из дома фельетонист спохватился, что забыл в кабинете свой портсигар, и пошел за ним, оставив Рыбникова в передней. Белый листок бумаги, аккуратно приколотый кнопками, раздразнил его любопытство. Он не устоял перед соблазном, обернулся по-воровски назад и, отогнув бумагу, быстро прочитал слова, написанные тонким, четким, необыкновенно изящным почерком:

«Хоть ты Иванов 7-й, а дурак!..»

IV

Много позднее полуночи они выходили из загородного кафешантана в компании известного опереточного комика Женина-Лирского, молодого товарища прокурора Сашки Штральмана, который был известен повсюду в Петербурге своим несравненным уменьем рассказывать

смешные сценки на злобу дня, и покровителя искусств — купеческого сына Карюкова.

Было не светло и не темно. Стояла теплая, белая, прозрачная ночь с ее нежными переливчатыми красками, с перламутровой водой в тихих каналах, четко отражавших серый камень набережной и неподвижную зелень деревьев, с бледным, точно утомленным бессонницей небом и со спящими облаками на небе, длинными, тонкими, пушистыми, как клочья растрепанной ваты.

— Куда ж мы поедем? — спросил Шавинский, останавливаясь у ворот сада.— Маршал Ояма! Ваше просвещенное мнение?

Все пятеро замешкались на тротуаре. Ими овладел момент обычной предутренней нерешительности, когда в закутивших людях физическая усталость борется с непреодолимым раздражающим стремлением к новым пряным впечатлениям. Из сада непрерывно выходили посетители, смеясь, напевая, звонко шаркая ногами по сухим белым плитам. Торопливой походкой, смело свистя шелком нижних юбок, выбегали шансонетные певицы в огромных шляпах, с дрожащими брильянтами в ушах, в сопровождении щеголеватых мужчин в светлых костюмах, украшенных бутоньерками. Эти дамы, почтительно подсаживаемые швейцарами, впархивали в экипажи и в пыхтящие автомобили, непринужденно расправляли вокруг своих ног платья и быстро уносились вперед, придерживая рукой передний край шляпы. Хористки и садовые певицы высшего разбора разъезжались на простых извозчиках, сидя с мужчиной по одной и по две. Другие — обыкновенные, панельные проститутки—шныряли тут же около деревянного забора, приставая к тем мужчинам, которые расходились пешком, и в особенности к пьяным. Их лица в светлом, белом сумраке майской ночи казались, точно грубые маски, голубыми от белил, рдели пунцовым румянцем и поражали глаз чернотой, толщиной и необычайной круглостью бровей; но тем жалче из-под этих наивно-ярких красок выглядывала желтизна морщинистых висков, худоба жилистых шей и ожирелость дряблых подбородков. Двое конных городовых, непристойно ругаясь, то и дело наезжали на них опененными мордами своих лошадей, отчего девицы визжали, разбегались и хватались за рукава прохожих. У решетки, ограждающей канал,

толпилось человек двадцать — там происходил обычный утренний скандал. Мертвецки пьяный безусый офицерик буянил и делал вид, что хочет вытащить шашку, а городовой о чем-то его упрашивал убедительным фальцетом, прилагая руку к сердцу. Какая-то юркая, темная и нетрезвая личность в картузе с рваным козырьком говорила слащаво и подобострастно: «Ваше благородие, плюньте на их, не стоит вам внимать обращение. Лучше вы вдарьте мине в морду, позвольте, я вам ручку поцелую, ваше благородие». А в задних рядах сухопарый и суровый джентльмен, у которого из-под надвинутого на нос котелка виднелись только толстые черные усы, гудел невнятным басом: «Чего ему в зубы смотреть! В воду его, и крышка!»

— А в самом деле, майор Фукушима,— сказал актер.— Надо же достойно заключить день нашего приятного знакомства. Поедемте к девочкам. Сашка, куда?

— К Берте? — ответил вопросом Штральман.

Рыбников захихикал и с веселой суетливостью потер руки.

— К женщинам? А что ж, за компанию — говорит русская пословица — и жид удавился, куда люди, туда мы. Что, не правда? Ехать так ехать — сказал попугай. Что? Ха-ха-ха!

С этими молодыми людьми его познакомил Щавинский, и они все вместе ужинали в кафешантане, слушали румын и пили шампанское и ликеры. Одно время им казалось смешным называть Рыбникова фамилиями разных японских полководцев, тем более что добродушие штабс-капитана, по-видимому, не имело границ. Эту грубую и фамильярную игру начал Щавинский. Правда, он чувствовал по временам, что поступает по отношению к Рыбникову некрасиво, даже, пожалуй, предательски. Но он успокаивал свою совесть тем, что ни разу не высказал вслух своих подозрений, а его знакомым они вовсе не приходили в голову.

В начале вечера он наблюдал за Рыбниковым. Штабс-капитан был шумнее и болтливее всех: он ежеминутно чокался, вскакивал, садился, разливал вино по скатерти, закуривал папиросу не тем концом. Однако Щавинский заметил, что пил он очень мало.

Рыбникову опять пришлось ехать на извозчике вместе с фельетонистом. Щавинский почти не был пьян — он вообще отличался большой выносливостью в кутежах, но голова у него была легкая и шумная, точно в ней играла пена от шампанского. Он поглядел на штабс-капитана сбоку. В неверном, полусонном свете белой ночи лицо Рыбникова приняло темный, глиняный оттенок. Все впадины на нем стали резкими и черными, морщинки на висках и складки около носа и вокруг рта углубились. И сам штабс-капитан сидел сгорбившись, опустившись, запрятав руки в рукава шинели, тяжело дыша раскрытым ртом. Все это вместе придавало ему измученный, страдальческий вид. Щавинский даже слышал носом его дыхание и подумал, что именно такое несвежее, кислое дыхание бывает у игроков после нескольких ночей азарта, у людей, истомленных бессонницей или напряженной мозговой работой. Волна добродушного умиления и жалости прилила к сердцу Щавинского. Штабс-капитан вдруг показался ему маленьким, загнанным, трогательно-жалким. Он обнял Рыбникова, привлек к себе и сказал ласково:

— Ну ладно, капитан. Я сдаюсь. Ничего не могу с вами поделать и извиняюсь, если доставил вам несколько неприятных минут. Вашу руку.

Он отстегнул от своей визитки бутоньерку с розой, которую ему навязала в саду продавщица цветов, и вдел ее в петлицу капитанского пальто.

— Это в знак мира, капитан. Не будем больше изводить друг друга.

Извозчик остановился у каменного двухэтажного особняка с приличным подъездом, с окнами, закрытыми сплошь ставнями. Остальные приехали раньше и уже их дожидались. Их пустили не сразу. Сначала в тяжелой двери открылось изнутри четырехугольное отверстие, величиной с ладонь, и в нем на несколько секунд показался чей-то холодный и внимательный серый глаз. Потом двери раскрылись.

Это учреждение было нечто среднее между дорогим публичным домом и роскошным клубом—с шикарным входом, с чучелом медведя в передней, с коврами, шелковыми занавесками и люстрами, с лакеями во фраках и перчатках. Сюда ездили мужчины заканчивать ночь после

закрытия ресторанов. Здесь же играли в карты, держались дорогие вина и всегда был большой запас красивых, свежих женщин, которые часто менялись.

Пришлось подниматься во второй этаж. Там наверху была устроена широкая площадка с растениями в кадках и с диванчиком, отделенная от лестницы перилами. Шавинский поднимался под руку с Рыбниковым. Хоть он и дал себе внутренно слово не дразнить его больше, но тут не мог сдержаться и сказал:

— Взойдемте на эшафот, капитан!

— Я не боюсь,— сказал тот лениво.— Я и так хожу каждый день на смерть.

Рыбников слабо махнул рукой и принужденно улыбнулся. Лицо его вдруг сделалось от этой улыбки усталым, каким-то серым и старческим.

Шавинский посмотрел на него молча с удивлением. Ему стало стыдно своей назойливости. Но Рыбников тотчас же вывернулся.

— Ну да, на смерть. Солдат всегда должен быть готов к этому. Что поделаешь? Смерть — это маленькое неудобство в нашей профессии.

В этом доме Шавинский и меценат Карюков были свои люди и почетные завсегдатаи. Их встречали с веселыми улыбками и глубокими поклонами.

Им отвели большой, теплый кабинет, красный с золотом, с толстым светло-зеленым ковром на полу, с канделябрами в углах и на столе. Подали шампанское, фрукты и конфеты. Пришли женщины — сначала три, потом еще две,— потом все время одни из них приходили, другие уходили, и все до одной они были хорошенькие, сильно напудренные, с обнаженными белыми руками, шеями и грудью, одетые в блестящие, яркие, дорогие платья, некоторые в юбках по колено, одна в коричневой форме гимназистки, одна в тесных рейтузах и жокейской шапочке. Пришла также пожилая полная дама в черном, что-то вроде хозяйки или домоправительницы— очень приличная на вид, с лицом лимонно-желтым и дряблым, которая все время смеялась по-старчески приятно, ежеминутно кашляла и курила не переставая. Она обращалась с Шавинским, с актером и меценатом с милым, непринужденным кокетством дамы, годящейся им в мате-

ри, хлопала их по рукам платком, а Штральмана — очевидно, любимца — называла Сашкой.

— Ну-с, генерал Куроки, выпьем за блестящие успехи славной маньчжурской армии. А то вы сидите и киснете,— сказал Карюков.

Шавинский перебил его, зевнув:

— Будет вам, господа. Кажется, уж должно бы надоесть. Вы злоупотребляете добродушием капитана.

— Нет, я не сержусь,— возразил Рыбников,— выпьемте, господа, за здоровье наших милых дам.

— Лирский, спой что-нибудь,— попросил Шавинский.

Актер охотно сел за пианино и запел цыганский романс. Он, собственно, не пел его, а скорее рассказывал, не выпуская изо рта сигары, глядя в потолок, манерно раскачиваясь. Женщины вторили ему громко и фальшиво, стараясь одна поспеть раньше другой в словах. Потом Сашка Штральман прекрасно имитировал фонограф, изображал в лицах итальянскую оперу и подражал животным. Карюков танцевал фанданго и все спрашивал новые бутылки.

Он первый исчез из комнаты с рыжей молчаливой полькой, за ним последовали Штральман и актер. Остались только Шавинский, у которого на коленях сидела смуглая белозубая венгерка, и Рыбников рядом с белокурой полной женщиной в синей атласной кофте, вырезанной четырехугольником до половины груди.

— Что ж, капитан, простимся на минутку,— сказал Шавинский, поднимаясь и потягиваясь.— Поздно. Вернее, надо бы сказать, рано. Приезжайте ко мне в час завтракать, капитан. Мамаша, вы вино запишите на Карюкова. Если он любит святое искусство, то пусть и платит за честь ужинать с его служителями. Мои комплименты.

Белокурая женщина обняла капитана голой рукой за шею и сказала просто:

— Пойдем и мы, дуся. Правда, поздно.

V

У нее была маленькая, веселая комнатка с голубыми обоями, бледно-голубым висячим фонарем; на туалетном столе круглое зеркало в голубой кисейной раме,

на одной стене олеографии, на другой стене ковер, и вдоль его широкая металлическая кровать.

Женщина разделась и с чувством облегчения и удовольствия погладила себя по бокам, где сорочка от корсета залегла складками. Потом она прикрутила фитиль в лампе и, севши на кровать, стала спокойно расшнуровывать ботинки.

Рыбников сидел у стола, расставив локти и опустив на них голову. Он, не отрываясь, глядел на ее большие, но красивые ноги с полными икрами, которые ловко обтягивали черные ажурные чулки.

— Что же вы, офицер, не раздеваетесь? — спросила женщина.— Скажите, дуся, отчего они вас зовут японским генералом?

Рыбников засмеялся, не отводя взгляда от ее ног.

— Это так — глупости. Просто они шутят. Знаешь стихи: смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно...

— Дуся, вы меня угостите еще шампанским? Ну, если вы такой скупой, то я спрошу хоть апельсинов. Вы на время или на ночь?

— На ночь. Иди ко мне.

Она легла с ним рядом, торопливо бросила через себя на пол папиросу и забарахталась под одеялом.

— Ты у стенки любишь? — спросила она.— Хорошо, лежи, лежи. У, какие у тебя ноги холодные! Ты знаешь, я обожаю военных. Как тебя зовут?

— Меня? — он откашлялся и ответил неверным тоном.— Я — штабс-капитан Рыбников, Василий Александрович Рыбников.

— А, Вася! У меня есть один знакомый лицеистик Вася — прелесть, какой хорошенький!

Она запела, ежась под одеялом, смеясь и жмурясь:

Вася, Вася, Васенька,
Говоришь ты басенки.

— А знаешь, ей-богу, ты похож на японочика. И знаешь, на кого? На микаду. У нас есть портрет. Жаль, теперь поздно, а то я бы тебе показала. Ну, вот прямо как две капли воды.

— Что ж, очень приятно,— сказал Рыбников и тихо обнял ее гладкое и круглое плечо.

— А может, ты и правда японец? Они говорят, что ты был на войне,— это правда? Ой, милочка, я боюсь щекотки. А что, страшно на войне?

— Страшно... Нет, не особенно. Оставим это,— сказал он устало.— Как твое имя?

— Клотильда. Нет, я тебе скажу по секрету, что меня зовут Настей. Это только мне здесь дали имя Клотильда. Потому что мое имя такое некрасивое... Настя, Настасья, точно кухарка.

— Настя? — переспросил он задумчиво и осторожно поцеловал ее в грудь.— Нет, это хорошо. На-стя,— повторил он медленно.

— Ну вот, что хорошего? Вот хорошие имена, например, Мальвина, Ванда, Женя, а то вот еще Ирма... Ух, дуся!— Она прижалась к нему.— А вы симпатичный... Такой брюнет. Я люблю брюнетов. Вы, наверно, женаты?

— Нет, не женат.

— Ну вот, рассказывайте. Все здесь прикидываются холостыми. Наверно, шесть человек детей имеете?

Оттого что окно было заперто ставнями, а лампа едва горела, в комнате было темно. Ее лицо, лежавшее совсем близко от его головы, причудливо и изменчиво выделялось на смуглой белизне подушки. Оно уже стало непохоже на прежнее лицо, простое и красивое, круглое русское сероглазое лицо,— теперь оно сделалось точно худее и, ежеминутно и странно меняя выражение, казалось нежным, милым, загадочным и напоминало Рыбникову чье-то бесконечно знакомое, давно любимое, обаятельное, прекрасное лицо.

— Как ты хороша! — шептал он.— Я люблю тебя... я тебя люблю...

Он произнес вдруг какое-то непонятное слово, совершенно чуждое слуху женщины.

— Что ты сказал? — спросила она с удивлением.

— Нет, ничего... ничего. Это — так. Милая! Женщина! Ты — женщина... Я люблю тебя...

Он целовал ей руки, шею, волосы, дрожа от нетерпения, сдерживать которое ему доставляло чудесное наслаждение. Им овладела бурная и нежная страсть к этой сытой, бездетной самке, к ее большому, молодому, выхоленному, красивому телу. Влечение к женщине,

подавляемое до сих пор суровой аскетической жизнью, постоянной физической усталостью, напряженной работой ума и воли, внезапно зажглось в нем нестерпимым, опьяняющим пламенем.

— У тебя и руки холодные,— сказала она с застенчивой неловкостью. Было в этом человеке что-то неожиданное, тревожное, совсем непонятное для нее.—Руки холодные — сердце горячее.

— Да, да, да... Сердце,— твердил он, как безумный, задыхаясь и дрожа.— Сердце горячее... сердце...

Она уже давно привыкла к внешним обрядам и постыдным подробностям любви и исполняла их каждый день по нескольку раз — механически, равнодушно, часто с молчаливым отвращением. Сотни мужчин, от древних старцев, клавших на ночь свои зубы в стакан с водой, до мальчишек, у которых в голосе бас мешается с дискантом, штатские, военные, люди плешивые и обросшие, как обезьяны, с ног до головы шерстью, взволнованные и бессильные, морфинисты, не скрывавшие перед ней своего порока, красавцы, калеки, развратники, от которых ее иногда тошнило, юноши, плакавшие от тоски первого падения — все они обнимали ее с бесстыдными словами, с долгими поцелуями, дышали ей в лицо, стонали от пароксизма собачьей страсти, которая — она уже заранее знала — сию минуту сменится у них нескрываемым, непреодолимым отвращением. И давно уже все мужские лица потеряли в ее глазах всякие индивидуальные черты — и точно слились в одно омерзительное, но неизбежное, вечно склоняющееся к ней, похотливое, козлиное мужское лицо с колючим слюнявым ртом, с затуманенными глазами, тусклыми, как слюда, перекошенное, обезображенное гримасой сладострастия, которое ей было противно, потому что она его никогда не разделяла.

К тому же все они были грубы, требовательны и лишены самого простейшего стыда, были большей частью безобразно смешны, как только может быть безобразен и смешон современный мужчина в нижнем белье. Но этот маленький пожилой офицер производил какое-то особенное, новое, привлекательное впечатление. Все движения его отличались тихой и вкрадчивой осторожностью. Его ласки, поцелуи и прикосновения были невиданно нежны. И между тем он незаметно окружал

ее той нервной атмосферой истинной, напряженной, звериной страсти, которая даже на расстоянии, даже против воли, волнует чувственность женщины, делает ее послушной, подчиняет ее желаниям самца. Но ее бедный маленький ум, не выходивший за узкие рамки обихода публичного дома, не умел сознать этого странного, волнующего очарования. Она могла только шептать, стыдясь, счастливая и удивленная, обычные пошлые слова:

— Какой вы интересный мужчина! Вы мой цыпа-ляля? Да?

Она встала, потушила лампу и опять легла возле него. Сквозь щели между ставнями и стеной тонкими полосами белело утро, наполняя комнату синим туманным полусветом. Где-то за перегородкой торопливо стучал будильник. Кто-то пел далеко-далеко и грустно.

— Когда ты еще придешь? — спросила женщина.

— Что? — сонно спросил Рыбников, открывая глаза. — Когда приду? Скоро... Завтра...

— Ну да... обманываешь. Нет, скажи по правде— когда? Я без тебя буду скучать.

— Мм... Мы придем скучать... Мы им напишем... Они остановятся в горах...— бормотал он бессвязно.

Тяжелая дремота сковывала и томила его тело. Но, как это всегда бывает с людьми, давно выбившимися из сна, он не мог заснуть сразу. Едва только сознание его начинало заволакиваться темной, мягкой и сладостной пеленой забвения, как страшный внутренний толчок вдруг подбрасывал его тело. Он со стоном вздрагивал, широко открывал в диком испуге глаза и тотчас же опять погружался в раздражающее переходное состояние между сном и бодрствованием, похожее на бред, полный грозных, путаных видений.

Женщине не хотелось спать. Она сидела на кровати в одной сорочке, обхватив голыми руками согнутые колени, и с боязливым любопытством смотрела на Рыбникова. В голубоватом полумраке его лицо еще больше пожелтело, обострилось и было похоже на мертвое. Рот оставался открытым, но дыхания его она не слышала. И на всем его лице — особенно кругом глаз и около рта — лежало выражение такой измученности, такого глубокого человеческого страдания, какого она еще никог-

да не видала в своей жизни. Она тихо провела рукой по его жестким волосам и лбу. Кожа была холодна и вся покрыта липким потом. От этого прикосновения Рыбников задрожал, испуганно вскрикнул и быстрым движением поднялся с подушек.

— А!.. Кто это? Кто? — произносил он отрывисто, вытирая рукавом рубашки лицо.

— Что с тобой, котик? — спросила женщина участливо.— Тебе нехорошо? Может быть, дать тебе воды?

Но Рыбников уже овладел собой и опять лег.

— Нет, благодарю!.. Теперь хорошо... Мне приснилось... Ложись спать, милая девочка, прошу тебя.

— Когда тебя разбудить, дуся? — спросила она.

— Разбудить... Утром... Рано взойдет солнце, и приедут драгуны... Мы поплывем... Знаете? Мы поплывем через реку.

Он замолчал и несколько минут лежал тихо. Но внезапно его неподвижное мертвое лицо исказилось гримасой мучительной боли. Он со стоном повернулся на спину, и странные, дико звучащие, таинственные слова чужого языка быстро побежали с его губ.

Женщина слушала, перестав дышать, охваченная тем суеверным страхом, который всегда порождается бредом спящего. Его лицо было в двух вершках от нее, и она не сводила с него глаз. Он молчал с минуту, потом опять заговорил длинно и непонятно. Опять помолчал, точно прислушиваясь к чьим-то словам. И вдруг женщина услышала произнесенное громко, ясным и твердым голосом, единственное знакомое ей из газет японское слово:

— Банзай!

Сердце ее так сильно трепетало, что от его толчков часто и равномерно вздрагивало плюшевое одеяло. Она вспомнила, как сегодня в красном кабинете Рыбникова называли именами японских генералов, и слабое, далекое подозрение уже начинало копошиться в ее темном уме.

Кто-то тихонько поцарапался в дверь. Она встала и отворила ее.

— Клотильдочка, это ты?— послышался тихий женский шепот.— Ты не спишь? Зайди ко мне на минуточку. У меня Ленька, угощает абрикотином. Зайди, милочка!

Это была Соня-Каранмка — соседка Клотильды, связанная с нею узами той истеричной и слащавой влюблен-

ности, которая всегда соединяет попарно женщин в этих учреждениях.

— Хорошо. Я сейчас приду. Ах, я тебе расскажу что-то интересное. Подожди, я оденусь.

— Глупости! Не надо. Перед кем стесняться, перед Ленькой! Иди, как есть.

Она стала надевать юбку.

Рыбников проснулся.

— Ты куда? — спросил он сонно.

— Я сейчас, мне надо,— ответила она, поспешно завязывая тесемку над бедрами.— Спи себе. Я сию минуту вернусь.

Но он уже не слыхал ее последних слов, потому что густой черный сон сразу потопил его сознание.

VI

Ленька был кумиром всего дома, начиная от мамаши и кончая последней горничной. В этих учреждениях, где скука, бездействие и лубочная литература порождают повышенные романтические вкусы, наибольшим обожанием пользуются воры и сыщики благодаря своему героическому существованию, полному захватывающих приключений, опасности и риска. Ленька появлялся здесь в самых разнообразных костюмах, чуть ли не гримированным, был в некоторых случаях многозначительно и таинственно молчалив, и главное — это все хорошо помнят — он неоднократно доказывал, что местные городовые чувствуют к нему безграничное уважение и слепо исполняют его приказания. Был случай, когда он тремя-четырьмя словами, сказанными на загадочном жаргоне, в один миг прекратил страшный скандал, затеянный пьяными ворами, и заставил их покорно уйти из заведения. Кроме того, у него временами водились большие деньги. Поэтому немудрено, что к Генриетте, или, как он ее называл, Геньке, с которою он «крутил любовь», относились здесь с завистливым почтением.

Это был молодой человек со смуглым веснушчатым лицом, с черными усами, торчащими вверх, к самым глазам, с твердым, низким и широким подбородком и с темными, красивыми, наглыми глазами. Он сидел теперь на диване без сюртука, в расстегнутом жилете и раз-

вязанном галстуке. Он был строен и мал ростом, но выпуклая грудь и крепкие мускулы, распиравшие рукава рубашки у плеч, говорили об его большой силе. Рядом с ним, с ногами на диване, сидела Генька, напротив — Клотильда. Медленно потягивая красными губами ликер, он рассказывал небрежно, наигранным фатовским тоном:

— Привели его в участок. Паспорт при нем: Корней Сапетов, колпинский мещанин, или как там его. Ну, конечно, обязательно пьян, каналья. «Посадить его в холодную для вытрезвленья». Обыкновенный принцип. Но в эту самую минуту я случайно прихожу в канцелярию пристава. Гляжу — ба-ба-ба! Старый знакомый, Санька-Мясник. Тройное убийство и взлом святого храма. Сейчас сделал издали глазами намек дежурному околоточному и, как будто ничего себе, вышел в коридор. Выходит ко мне околоточный. «Что вы, Леонтий Спиридонович?» — «А ну-ка, отправьте этого красавца на минуточку в сыскную». Привели его. У мерзавца ни один мускул на лице не дрогнул. Я этак посмотрел ему в глаза и го-ворю...— Ленька значительно постучал костяшками пальцев по столу.— «Давно ли, Санечка, пожаловали к нам из Одессы?» Он, конечно, держит себя индифферентно — валяет дурака. Никаких. Тоже субъект! «Не могу знать, какой-такой Санька-Мясник. Я такой-то». Тут я подхожу к нему, хвать его за бороду! — трах! Борода остается у меня в руках. Привязная!.. «Сознаёшься, сукин сын?» — «Не могу знать». Кэ-эк я его, прохвоста, врежу в переносье, прямым штосом — р-раз! Потом — два! В кровь! «Сознаёшься?» — «Не могу знать».— «А — так ты так-то! Я до сих пор гуманно щадил тебя. А теперь пеняй на себя. Позвать сюда Арсентия-Блоху». Был у нас такой арестант, до слез этого Саньку ненавидел. Я, брат, уж тонко знаю ихние взаимные фигель-мигели. Привели Блоху. «Ну, так и так, Блоха. Кто сей самый индивидум?» Блоха смеется: «Да кто же иной, как не Санька-Мясник? Как ваше здоровье, Санечка? Давно ли к нам припожаловали? Как вам фартило в Одестах?» Ну, уж тут Мясник сдался. «Берите, говорит, Леонтий Спиридонович, ваша взяла, от вас никуда не уйдешь. Одолжите папироочку». Ну, конечно, я ему папироску дал. Я им в этом никогда не отказываю из альтруизма. Повели раба божьего. А на Блоху он только поглядел. И я подумал: «Ну,

уж, должно быть, Блохе не поздоровится. Наверно, его Мясник пришьет».

— Пришьет? — шепотом, с ужасом, с подобострастием и уверенностью спросила Генька.

— Абсолютно пришьет. Амба. Этот такой!

Он самодовольно прихлебнул из рюмки. Генька, которая глядела на него остановившимися испуганными глазами с таким вниманием, что даже рот у нее открылся и стал влажным, хлопнула себя руками по ляжкам.

— Ах ты, боже ж мой! Какие ужасы! Ну, подумай только, Клотильдочка! И ты не боялся, Леня?

— Ну вот!.. Стану я всякой рвани бояться.

Восторженное внимание женщин раззудило его, и он стал врать о том, что где-то на Васильевском острове студенты готовили бомбы, и о том, как ему градоначальник поручил арестовать этих злоумышленников. А бомб там было — потом уж это оказалось — двенадцать тысяч штук. Если б все это взорвалось, так не только что дома этого, а, пожалуй, и пол-Петербурга не осталось бы...

Дальше следовал захватывающий рассказ о необычайном героизме Леньки, который сам переоделся студентом, проник в «адскую лабораторию», подал кому-то знак из окна и в один миг обезоружил злодеев. Одного он даже схватил за рукав в тот самый момент, когда тот собирался взорвать кучу бомб.

Генька ахала, ужасалась, шлепала себя по ногам и то и дело обращалась к Клотильде с восклицаниями:

— Ах, ну и что же это такое, господи? Нет, ты подумай только, Клотильдочка, какие подлецы эти студенты. Вот уж я их никогда не уважала.

Наконец, совсем растроганная, очарованная своим любовником, она повисла у него на шее и стала его громко целовать.

— Ленечка, моя дуся! Даже страшно слушать! И как это ты ничего не боишься?

Он самодовольно взвинтил свой левый ус вверх и обронил небрежно:

— Чего ж бояться? Раз умирать. За то и деньги получаю.

Клотильду все время мучила ревнивая зависть к подруге, обладавшей таким великолепным любовником. Она

смутно подозревала, что в рассказах Леньки много вранья, а между тем у нее было сейчас в руках нечто совсем необыкновенное, чего еще ни у кого не бывало и что сразу заставило бы потускнеть впечатление от Ленькиных подвигов. Она колебалась несколько минут. Какой-то отголосок нежной жалости к Рыбникову еще удерживал ее. Но истерическое стремление блеснуть романтическим случаем взяло верх, и она сказала тихо, глухим голосом:

— А знаешь, Леня, что я тебе хотела сказать? Вот у меня сегодня странный гость.

— Мм? Думаешь, жулик? — спросил снисходительно Ленька.

Генька обиделась.

— Что-о? Это, по-твоему, жулик? Тоже скажешь! Пьяный офицеришка какой-то.

— Нет, ты не говори,— с деловой важностью перебил ее Ленька,— бывают, которые и жулики офицерами переодеваются. Ну, так что ты хотела сказать, Клотильда?

Тогда она рассказала подробно, обнаружив большую, мелочную, чисто женскую наблюдательность, обо всем, что касалось Рыбникова: о том, как его называли генералом Куроки, об его японском лице, об его странной нежности и страстности, об его бреде и наконец о том, как он сказал слово «банзай».

— Слушай, ты не врешь? — спросил быстро Ленька, и в его темных глазах зажглись острые искры.

— Вот ей-богу! Не сойти мне с места! Да ты посмотри в замок — я открою ставню. Ну, вот — две капли воды — японец!

Ленька встал, неторопливо, с серьезным видом, надел сюртук и заботливо ощупал левый внутренний карман.

— Пойдем,— сказал он решительно.— С кем он приехал?

Из всей ночной компании остались только Карюков и Штральман. Но Карюкова не могли добудиться, а Штральман, с оплывшими красными глазами, еще полупьяный, ворчал неразборчиво:

— Какой офицер? Да черт с ним совсем. Подсел он к нам в Буффе, откуда он взялся, никто не знает.

Он тотчас стал одеваться, сердито сопя. Ленька извинился и вышел. Он уже успел разглядеть в дверную щел-

ку лицо Рыбникова, и хотя у него оставались кое-какие сомнения, но он был хорошим патриотом, отличался наглостью и не был лишен воображения. Он решил действовать на свой риск. Через минуту он был уже на крыльце и давал тревожные свистки.

VII

Рыбников внезапно проснулся, точно какой-то властный голос крикнул внутри его: встань! Полтора часа сна совершенно освежили его. Прежде всего он подозрительно уставился на дверь: ему почудилось, что кто-то следил за ним оттуда пристальным взглядом. Потом он оглянулся вокруг. Ставня была полуоткрыта, и оттого в комнате можно было разглядеть всякую мелочь. Женщина сидела напротив кровати у стола, безмолвная и бледная, глядя на него огромными светлыми глазами.

— Что случилось? — спросил Рыбников тревожно.— Послушай, что здесь случилось?

Она не отвечала. Но подбородок у нее задрожал, и зубы застучали друг о друга.

Недоверчивый, жестокий блеск зажегся в глазах офицера. Он весь перегнулся вперед с кровати и наклонил ухо по направлению к двери. Чьи-то многочисленные шаги, очевидно, непривычные к осторожности, приближались по коридору и вдруг затихли у двери.

Рыбников мягким, беззвучным движением спрыгнул с кровати и два раза повернул ключ. Тотчас же в дверь постучали. Женщина с криком опрокинулась головой на стол, закрыв лицо ладонями.

В несколько минут штабс-капитан оделся. В двери опять постучали. С ним была толька фуражка. Шашку и пальто он оставил внизу. Он был бледен, но совершенно спокоен, даже руки у него не дрожали, когда он одевался, и все движения его были отчетливо-неторопливы и ловки. Застегивая последнюю пуговицу сюртука, он подошел к женщине и с такой страшной силой сжал ее руку выше кисти, в запястье, что у нее лицо мгновенно побагровело от крови, хлынувшей в голову.

— Ты! — сказал он тихо, гневным шепотом, не разжимая челюстей.— Если ты шевельнешься, крикнешь, я тебя убью!..

В дверь снова постучались. И глухой голос произнес:

— Господин, соблаговолите, пожалуйста, отворить.

Теперь штабс-капитан не хромал больше. Он быстро и беззвучно подбежал к окну, мягким, кошачьим движением вскочил на подоконник, отворил ставни и одним толчком распахнул рамы. Внизу под ним белел мощеный двор с чахлой травой между камнями и торчали вверх ветви жидких деревьев. Он не колебался ни секунды, но в тот самый момент, когда он, сидя боком на железной облицовке подоконника, опираясь в нее левой рукой и уже свесив вниз одну ногу, готовился сделать всем телом толчок,— женщина с пронзительным криком кинулась к нему и ухватила его за левую руку. Вырываясь, он сделал неловкое движение и вдруг с слабым, точно удивленным криком, неловко, нерасчетливо полетел вниз на камни.

Почти одновременно ветхая дверь упала внутрь в комнату. Первым вбежал, задыхаясь, с оскаленными зубами и горящими глазами Ленька. За ним входили, топоча и придерживая левыми руками шашки, огромные городовые. Увидав открытое окно и женщину, которая, уцепившись за раму, визжала не переставая, Ленька быстро понял все, что здесь произошло. Он был безусловно смелым человеком и потому, не задумываясь, не произнеся ни слова, точно это заранее входило в план его действий, он с разбегу выпрыгнул в окошко.

Он упал в двух шагах от Рыбникова, который лежал на боку неподвижно. Несмотря на то, что у Леньки от падения гудело в голове, несмотря на страшную боль, которую он ощущал в животе и пятках, он не потерялся и в один миг тяжело, всем телом навалился на штабс-капитана.

— А-а! Вре-ошь,— хрипел он, тиская свою жертву с бешеным озлоблением.

Штабс-капитан не сопротивлялся. Глаза его горели непримиримой ненавистью, но он был смертельно бледен, и розовая пена пузырьками выступала на краях его губ.

— Не давите меня,— сказал он шепотом,— я сломал себе ногу.

ТОСТ

Истекал двухсотый год новой эры. Оставалось всего пятнадцать минут до того месяца, дня и часа, в котором, два столетия тому назад, последняя страна с государственным устройством, самая упрямая, консервативная и тупая из всех стран,— Германия,— наконец решилась расстаться со своей давно устаревшей и смешной национальной самобытностью и, при ликовании всей земли, радостно примкнула к всемирному анархическому союзу свободных людей. По древнему же, христианскому летосчислению теперь был канун 2906 года.

Но нигде не встречали нового, двухсотого года с таким гордым торжеством, как на Северном и Южном полюсах, на главных станциях великой Электроземномагнитной Ассоциации. В продолжение последних тридцати лет много тысяч техников, инженеров, астрономов, математиков, архитекторов и других ученых специалистов самоотверженно работали над осуществлением самой вдохновенной, самой героической идеи II-го века. Они решили обратить земной шар в гигантскую электромагнитную катушку и для этого обмотали его с севера до юга спиралью из стального, одетого в гуттаперчу троса, длиною около четырех миллиардов километров. На обоих полюсах они воздвигли электроприемники необычайной мощности и, наконец, соединили между собою все уголки Земли бесчисленным множеством проводов. За этим удивительным предприятием тревожно следили не только на Земле, но и на всех ближайших к ней планетах, с которыми у обитателей Земли поддерживались постоян-

ные сообщения. Многие глядели на затею Ассоциации с недоверием, иные с опасением и даже с ужасом.

Но истекший год — был годом, полным блестящей победы Ассоциации над скептиками. Неистощимая магнитная сила Земли привела в движение все фабрики, заводы, земледельческие машины, железные дороги и пароходы. Она осветила все улицы и все дома и обогрела все жилые помещения. Она сделала ненужным дальнейшее употребление каменного угля, залежи которого уже давно иссякли. Она стерла с лица земли безобразные дымовые трубы, отравлявшие воздух. Она избавила цветы, травы и деревья — эту истинную радость Земли — от грозившего им вымирания и истребления. Наконец, она дала неслыханные результаты в земледелии, подняв повсеместно производительность почвы почти в четыре раза.

Один из инженеров Северной станции, избранный на сегодня председателем, встал со своего места и поднял кверху бокал. Все тотчас же замолкли. И он сказал:

— Товарищи! Если вы согласны, то я сейчас же соединюсь с нашими дорогими сотрудниками, работающими на Южной станции. Они только что сигнализировали.

Огромная зала Совещания бесконечно уходила вдаль. Это было великолепное здание из стекла, мрамора и железа, все украшенное экзотическими цветами и пышными деревьями, скорее похожее на прекрасную оранжерею, чем на общественное место. Снаружи его стояла полярная ночь, но благодаря действию особых конденсаторов яркий солнечный свет весело заливал и зелень растений, и столы, и лица тысячи пирующих, и стройные колонны, поддерживавшие потолок, и чудесные картины, и статуи в простенках. Три стены залы Совещания были прозрачны, но четвертая, спиной к которой помещался председатель, представляла собою белый четырехугольный экран, сделанный из необыкновенно нежного, блестящего и тонкого стекла.

И вот, получив согласие общества, председатель дотронулся пальцем до маленькой кнопки, заключенной в столе. Экран мгновенно осветился ослепительным внут-

ренним светом и сразу точно растаял, а за ним открылся такой же высокий, уходящий вдаль прекрасный стеклянный дворец, и так же, как и здесь, сидели за столами сильные, красивые люди, с радостными лицами, в легких сверкающих одеждах. И те и другие, разделенные расстоянием в двадцать тысяч верст, узнавали друг друга, улыбались друг другу и в виде приветствия подымали кверху бокалы. Но из-за общего смеха и восклицаний они пока еще не слышали голосов своих далеких друзей.

Тогда опять встал и заговорил председатель, и тотчас замолчали его друзья и сотрудники на обоих концах земного шара.

И он сказал:

— Дорогие мои сестры и братья! И вы, прелестные женщины, к которым теперь обращена моя страсть! И вы, сестры, прежде любившие меня, вы, к которым мое сердце преисполнено благодарностью! Слушайте. Слава вечно юной, прекрасной, неисчерпаемой жизни. Слава единственному Богу на Земле — Человеку. Воздадим хвалу всем радостям Его тела и воздадим торжественное, великое поклонение Его бессмертному уму!

Вот гляжу я на вас — гордые, смелые, равные, веселые,— и горячей любовью зажигается моя душа! Ничем не стеснен наш ум, и нет преград нашим желаниям. Не знаем мы ни подчинения, ни власти, ни зависти, ни вражды, ни насилия, ни обмана. Каждый день развертывает перед нами целые бездны мировых тайн, и все радостнее познаем мы бесконечность и всесильность знания. И самая смерть уже не страшит нас, ибо уходим мы из жизни, не обезображенные уродством старости, не с диким ужасом в глазах и не с проклятием на устах, а красивые, богоподобные, улыбающиеся, и мы не цепляемся судорожно за жалкий остаток жизни, а тихо закрываем глаза, как утомленные путники. Труд наш — это наслаждение. И любовь наша, освобожденная от всех цепей рабства и пошлости,— подобна любви цветов: так она свободна и прекрасна. И единственный наш господин — человеческий гений!

Друзья мои! Может быть, я говорю давно известные общие места? Но я не могу поступить иначе. Сегодня с утра я читал, не отрываясь, замечательную и ужасную книгу. Эта книга — История революций XX столетия.

Часто мне приходило в голову: не сказку ли я читаю? Такой неправдоподобной, такой чудовищной и нелепой казалась мне жизнь наших предков, отдаленных от нас девятью веками.

Порочные, грязные, зараженные болезнями, уродливые, трусливые— они были похожи на омерзительных гадов, запертых в узкую клетку. Один крал у другого кусок хлеба и уносил его в темный угол и ложился на него животом, чтобы не увидал третий. Они отнимали друг от друга жилища, леса, воду, землю и воздух. Кучи обжор и развратников, подкрепленные ханжами, обманщиками, ворами, насильниками, натравляли одну толпу пьяных рабов на другую толпу дрожащих идиотов и жили паразитами на гное общественного разложения. И земля, такая обширная и прекрасная, была тесна для людей, как темница, и душна, как склеп.

Но и тогда среди покорных вьючных животных, среди трусливых пресмыкающихся рабов вдруг подымали головы нетерпеливые гордые люди, герои с пламенными душами. Как они рождались в тот подлый, боязливый век,— я не могу понять этого! Но они выходили на площади и на перекрестки и кричали: «Да здравствует свобода!» И в то ужасное кровавое время, когда ни один частный дом не был надежным убежищем, когда насилие, истязание и убийство награждались по-царски, эти люди в своем священном безумии кричали: «Долой тиранов!»

И они обагряли своей праведной горячей кровью плиты тротуаров. Они сходили с ума в каменных мешках. Они умирали на виселицах и под расстрелом. Они отрекались добровольно от всех радостей жизни, кроме одной радости — умереть за свободную жизнь грядущего человечества.

Друзья мои! Разве вы не видите этого моста из человеческих трупов, который соединяет наше сияющее настоящее с ужасным, темным прошлым? Разве вы не чувствуете той кровавой реки, которая вынесла все человечество в просторное, сияющее море всемирного счастья?

Вечная память вам, неведомые! вам, безмолвные страдальцы! Когда вы умирали, то в прозорливых глазах ваших, устремленных в даль веков, светилась улыбка. Вы провидели нас, освобожденных, сильных, торжествую-

щих, и в великий миг смерти посылали нам свое благословение.

Друзья мои! Пусть каждый из нас тихо, не произнеся ни слова, наедине с собственным сердцем, выпьет бокал в память этих далеких мучеников. И пусть каждый почувствует на себе их примиренный, благословляющий взгляд!..

И все выпили молча. Но женщина необычайной красоты, сидевшая рядом с оратором, вдруг прижалась головой к его груди и беззвучно заплакала. И на вопрос его о причине слез, она ответила едва слышно:

— А все-таки... как бы я хотела жить в то время... с ними... с ними...

СЧАСТЬЕ

Сказка

Один великий царь велел привести к себе поэтов и мудрецов своей страны. И спросил он их:

— В чем счастье?

— В том,— ответил поспешно первый,— чтобы всегда видеть сияние твоего божественного лица и вечно чувствовать...

— Выколоть ему глаза,— сказал царь равнодушно.— Следующий!..

— Счастье—это власть. Ты, царь, счастлив!—вскричал второй.

Но царь возразил с горькой улыбкой:

— Однако я страдаю геморроем и не властен исцелить его. Вырвать ему ноздри, каналье. Дальше!..

— Быть богатым! — сказал, заикаясь, следующий.

Но царь ответил:

— Я богат, а вопрошаю о счастье. Довольно ли тебе слитка золота весом в твою голову?

— О, царь!..

— Ты получишь его. Привяжите ему на шею слиток золота весом в его голову и бросьте этого нищего в море.

И царь крикнул нетерпеливо:

— Четвертый!

Тогда вполз на животе человек в лохмотьях, с лихорадочными глазами, и забормотал:

— О, премудрый! Я хочу малого! Я голоден! Сделай меня сытым, и я буду счастлив и прославлю имя твое во всей вселенной.

— Накормите его,— сказал царь брезгливо.— И, когда он умрет от объедения, придите сказать мне об этом.

И пришли также двое. Один — мощный атлет с розовым телом и низким лбом. Он сказал со вздохом:

— Счастье в творчестве.

А другой был бледный, худой поэт, на щеках которого горели красные пятна. И он сказал:

— Счастье в здоровье.

Царь же улыбнулся с горечью и произнес:

— Если бы в моей воле было переменить ваши судьбы, то через месяц ты, о поэт, молил бы богов о вдохновеньи, а ты, о подобие Геркулеса, бегал бы к врачам за редукционными пилюлями. Идите оба с миром. Кто там еще?

— Смертный! — сказал гордо седьмой, украшенный цветами нарцисса.— Счастье в небытии!

— Отрубите ему голову! — молвил лениво властелин.

— Царь, о царь, помилуй!..— залепетал приговоренный и стал бледнее лепестков нарцисса.— Я не то хотел сказать.

Но царь устало махнул рукой, зевнул и произнес коротко:

— Уведите его... Отрубите ему голову. Слово царя твердо, как агат.

Приходили еще многие. Один из них сказал только два слова:

— Женская любовь!..

— Хорошо,— согласился царь,— дайте ему сотню красивейших женщин и девушек моей страны. Но дайте ему также и кубок с ядом. А когда настанет время — скажите мне: я приду посмотреть на его труп.

И еще один сказал:

— Счастье в том, чтобы каждое мое желание исполнялось мгновенно.

— А что ты сейчас хочешь? — спросил лукаво царь.

— Я?

— Да. Ты.

— Царь... вопрос слишком неожидан.

— Закопать его живым в землю. Ах, и еще один мудрец? Ну, ну. Подойди поближе... Может быть, ты знаешь, в чем счастье?

Мудрец же — и он был истинный мудрец — ответил:

— Счастье в прелести человеческой мысли.

Брови у царя дрогнули, и он закричал гневно:

— Ага! Человеческая мысль! Что такое человеческая мысль?

Но мудрец — ибо он был истинный мудрец — лишь улыбнулся сострадательно и ничего не ответил.

Тогда царь велел ввергнуть его в подземную темницу, где была вечная темнота и где не было слышно ни одного звука извне. И когда через год привели к царю узника, который ослеп, оглох и едва держался на ногах, то на вопрос царя: — «Что? И теперь ты счастлив?» — мудрец ответил спокойно:

— Да, я счастлив. Сидя в тюрьме, я был и царем, и богачом, и влюбленным, и сытым, и голодным,— все это давала моя мысль.

— Что же такое мысль? — воскликнул царь нетерпеливо.— Знай, что через пять минут я тебя повешу и плюну в твое проклятое лицо! Утешит ли тебя тогда твоя мысль? И где будут тогда твои мысли, которые ты расточал по земле?

Мудрец же ответил спокойно, ибо он был истинный мудрец:

— Дурак! Мысль бессмертна.

УБИЙЦА

Говорили о теперешних событиях: о казнях и расстрелах, о заживо сожженных, об обесчещенных женщинах, об убитых стариках и детях, о нежных свободолюбивых душах, навсегда обезображенных, затоптанных в грязь мерзостью произвола и насилия.

Хозяин дома сказал:

— Как изменился масштаб жизни — страшно подумать! Давно ли? — лет пять тому назад — все русское общество волновалось и ужасалось по поводу какого-нибудь одиночного случая насилия. Городовые избили в кутузке чиновника, земский начальник арестовал приезжего студента за непочтение. А теперь! Там расстреляна целая толпа без предупреждения; там казнили по ошибке одного однофамильца вместо другого; там стреляют людей просто так себе, от нечего делать, чтобы разрядить заряд; там хватают и секут нагайками молодого человека, секут без всякого повода, для дарового развлечения солдатам и офицерам. И уже — вот! — это не возбуждает в нас ни удивления, ни переполоха. Все стало привычным...

Кто-то нервно завозился в углу дивана. Все обернулись туда, чувствуя, что этот человек сейчас заговорит, хотя не видели его. И он начал говорить тихим, преувеличенно-ровным тоном, но с такими частыми паузами между словами и с такими странными вздрагиваниями в голосе, что всем стало ясно, как трудно ему сдерживать внутреннее волнение и скорбь.

— Да... я вот что хотел... По-моему, это... неправда,

что можно... привыкнуть к этому. Я понимаю еще убийство... из мести — тут есть какая-то громадная... какая-то звериная радость. Понимаю убийство в гневе, в ослеплении страстью, из ревности. Ну, наконец, убийство на дуэли... Но когда люди делают это механически... без раздражения, без боязни какой бы то ни было ответственности... и не ожидая даже сопротивления... нет, это для меня так же дико, ужасно и непостижимо, как непостижима для меня психология палача... Когда я читаю или думаю о погромах, об усмирительных экспедициях или о том, как на войне приканчивают пленных, чтобы не обременять ими отряда, я теряю голову. Я стою точно над какой-то черной смрадной бездной, в которую способна падать иногда человеческая душа... И я ничего не понимаю... мне жутко и гадко... до тошноты... но... странное, мучительное, больное любопытство приковывает меня... к ужасу... ко всей безмерности этого падения.

Он помолчал немного, прерывисто вздохнул, и когда опять заговорил, то по его изменившемуся голосу, ставшему внезапно глухим, можно было догадаться, что он закрыл глаза руками.

— Ну, что же... все равно... я это должен рассказать... На моей душе тоже лежит этот давнишний кровавый бред... Около десяти лет тому назад я совершил убийство... Я никому до сих пор не говорил... но... все равно... Видите ли — у меня в имении, в людской избе, жила кошка. Такая худая, маленького роста, заморыш... скорее похожая на котенка... белой шерсти... но так как она жила всегда под печкой, то всегда была грязно-серой, какой-то голубой...

Все это произошло зимой... да, поздней зимой. Было утро — чудесное, тихое, безветренное. Светило солнце, уже теплое, и на снег было невозможно смотреть, так он сверкал. В этот год навалило снегу необыкновенно много,— и все мы ходили на лыжах. И вот в это утро я надел лыжи и пошел осмотреть плодовый питомник, который за ночь попортили зайцы. Я двигался тихонько вдоль правильных рядов молодых яблонек, и, как теперь помню,— снег казался розовым, а тени от маленьких деревьев лежали совсем голубые и такие прелестные, что хотелось стать на колени около них и уткнуться лицом в пушистый снег.

И вот ко мне подходит старый работник Языкант. Его как-то иначе звали, но такое уж у него было прозвище. Идем с ним рядом,— он тоже на лыжах,— говорим о том, о сем. Вдруг он засмеялся:

— А наша кощенка, барин, без ноги осталась.

Я спросил: почему?

— Да, должно быть, попала в волчий капкан. Полноги начисто.

Тогда я захотел поглядеть на нее, и мы пошли к людской избе. Вскоре нам дорогу пересек тоненький следок из частых красных пятнышек. Он вел к завалинке, под которой сидела раненая кошка. Увидев нас, она зажмурилась, жалобно разинула рот и длинно мяукнула. Мордочка у нее была необыкновенно худенькая и грязная. Правая передняя лапка была перекушена повыше коленного сустава и странно торчала вперед, точно раненая рука, и из нее редкими каплями капала кровь и высовывалась наружу бѣлая тонкая косточка.

Я приказал Языканту:

— Поди ко мне в спальню и принеси ружье. Оно на ковре, над кроватью.

— Да что ей сделается? Залижет! — возразил рабочий.

Но я настоял на своем. Мне хотелось прекратить мучение изуродованного животного. Кроме того, я был уверен, что рана непременно будет гноиться и кошка все равно издохнет от заражения крови.

Языкант принес ружье. Один его ствол был заряжен мелкой дробью для рябчиков, другой волчиной картечью. Я поманил кошку — кись, кись, кись. Она тихо замяукала и сделала несколько шагов. Тогда я зашел вправо, так, чтобы она пришлась ко мне левым боком, прицелился и выстрелил. До животного было не более шестисеми шагов, и сейчас же после выстрела мне показалось, что в боку у нее образовалась черная дыра величиною в моих два кулака. Но я не убил ее. Она пронзительно закричала и бросилась бежать от меня с необыкновенной быстротой, совсем не прихрамывая.

Я видел, как она перебежала широкий, шагов в полтораста, двор и юркнула в темный четырехугольник открытой сушилки. Мне сделалось стыдно, и досадно, и противно. Я побежал вслед за нею. По дороге моя нога вы-

скочила из лыжного стремени. Я упал боком в снег и насилу выбрался. Движения мои были неловки, в рукав полушубка набрался снег, а руки сильно дрожали.

Я вошел в сушилку. Там было совсем темно. Я хотел покликать кошку, но почему-то застыдился. Но вдруг я услышал наверху тихое, злобное урчание. Я поглядел вверх и увидел только ее глаза — две зеленых горящих точки. Она сидела на печке.

Я выстрелил по этим точкам наугад, почти не целясь. Кошка фыркнула, закричала, заметалась... Потом затихла... Я уже хотел уйти, но опять с печки послышалось длительное, злое урчание. Я оглянулся. Два зеленых огонька светились из темноты с выражением такой дьявольской ненависти, что волосы у меня на голове зашевелились и кожа на темени похолодела.

Я быстро пошел домой. Готовых ружейных патронов у меня больше не было, но зато был револьвер Смита и Вессона и к нему целая коробка патронов. Я зарядил все шесть гнезд и вернулся в сушилку.

Кошка издали встретила меня своим ужасным урчаньем. Я выпустил в нее все шесть патронов, потом вернулся домой, опять зарядил оружие и снова сделал шесть выстрелов. И каждый раз бешеное фырканье, царапанье и метанье на печке, мучительные крики и потом два зеленых огня и яростное долгое урчанье.

Мне уже не было ее жалко, но и не было во мне раздражения. Я точно отупел, и холодная, тяжкая, ненасытная потребность убийства управляла моими руками, ногами, всеми моими движениями. Но сознание мое спало, окутанное какой-то грязной, скользкой пеленой. И самому мне было холодно, и в груди и в животе я чувствовал противную щекочущую близость обморока. И я не мог остановиться.

Помню я также, что светлое, милое зимнее утро както странно изменилось и потемнело: пожелтел снег, посерело небо, а во мне самом было деревянное, скучное равнодушие ко всему — и к небу, и к солнцу, и к деревьям, с их чистыми голубыми тенями.

Я возвращался из дому к сушилке в третий раз и опять с заряженным револьвером. Но из сушилки вышел Языкант, держа в руке за задние ноги что-то красное, истерзанное, с вывалившимися кишками, кричащее.

Увидев меня, он сказал грубо:

— Чего уж там... не надо... иди... я сам...

Он старался не глядеть мне в глаза, но я ясно увидел вокруг его рта выражение сурового отвращения, и я знал, что это отвращение относится ко мне.

Он зашел за угол и, сильно размахнувшись, ударил кошку головой о бревно. И все было кончено...

Рассказывающий помолчал немного. Слышно было, как он сморкался и возился на диване. Потом он продолжал еще тише, чем прежде, с оттенком тоски и недоумения:

— Так вот... Целый день этот кровавый сон не выходил из моей головы. И ночью я долго не спал и все думал о грязной белой кощенке. И все ловил себя на той мечте, что я опять иду на сушилку, и опять слышу страдальческое и злобное урчание, вижу эти зеленые точки, полные ужаса и ненависти, и все стреляю, стреляю в них... Я должен признаться, господа... что это — самое тяжелое, самое отвратительное впечатление из всей моей жизни!.. Мне вовсе не жаль этой шелудивой белой кошки... Нет... Мне приходилось стрелять лосей, медведя... Три года тому назад я пристрелил на скачках лошадь. Наконец я был на войне, черт возьми!.. Нет, нет, это не то. Но до конца моих дней я не забуду, как внезапно со дна моей души поднялась и завладела ею, ослепила, залила ее какая-то темная, подлая, но в то же время непреодолимая, неведомая, грозная сила. Ах, этот кровавый туман, это одеревенение, это обморочное равнодушие, это тихое влечение убивать!..

Он опять примолк. Чей-то низкий голос произнес из дальнего угла:

— Да, правда... Какое тяжелое воспоминание.

Но тот, что рассказывал, вдруг перебил его с горячностью:

— Нет, нет, вы подумайте только, вы ради бога подумайте об этих несчастных, которые шли и убивали, убивали, убивали. Я думаю, день им казался черным, как ночь! Я думаю, их тошнило от крови, но они все равно не могли остановиться. Они могли в эти дни спать, есть, пить, даже разговаривать, даже смеяться, но это были не они, а владевший ими дьявол с мутными глазами и с липкой кожей... Я говорю «несчастные», потому что во-

ображаю себе их не сейчас, а потом, гораздо позднее, когда они будут стариками. Ведь они никогда, никогда не забудут той мерзости и того ужаса, которые в эти дни навеки исковеркали и опоганили их души. И я воображаю себе их длинные, бессонные старческие ночи, их отвратительные сны! Им все будет грезиться, что они идут по длинным унылым дорогам, под темным небом, и что по обеим сторонам пути стоят бесконечной цепью обезоруженные, связанные люди, и они бьют их, стреляют в них, разбивают головы прикладами... И нет уже в убийцах ни гнева, ни сожаления, ни раскаяния, но не могут они остановиться, ибо кровавый грязный бред овладел их мозгом. И они будут просыпаться в ужасе, будут дрожать, увидев свое отражение в зеркале, будут плакать и богохульствовать и будут завидовать тем, чью жизнь еще раньше, еще в цвете лет, прекратила мстительная рука. Но дьявол, выпивший их душу, никогда не оставит их. И даже в предсмертной агонии их глаза будут видеть пролитую ими кровь.

РЕКА ЖИЗНИ

I

Хозяйская комната в номерах «Сербия». Желтые обои; два окна с тюлевыми грязными занавесками; между ними раскосое овальное зеркало, наклонившись под углом в 45 градусов, отражает в себе крашеный пол и ножки кресел; на подоконниках пыльные, бородавчатые кактусы; под потолком клетка с канарейкой. Комната перегорожена красными ситцевыми ширмами. Меньшая, левая часть — это спальня хозяйки и ее детей, правая же тесно заставлена всякой случайной разнофасонной мебелью, просиженной, раскоряченной и хромоногой. По углам комнаты свален беспорядочно всяческий, покрытый паутиной, хлам: астролябия в рыжем кожаном чехле и при ней тренога с цепью, несколько старых чемоданов и сундуков, бесструнная гитара, охотничьи сапоги, швейная машина, музыкальный ящик «Монопан», фотографический аппарат, штук пять ламп, груды книг, веревки, узлы белья и многое другое. Все эти вещи были в разное время задержаны хозяйкой за неплатеж или покинуты сбежавшими жильцами. От них в комнате негде повернуться.

«Сербия» — гостиница третьего разбора. Постоянные жильцы в ней редкость, и те — проститутки. Преобладают случайные пассажиры, приплывающие в город по Днепру: мелкие арендаторы, евреи-комиссионеры, дальние мещане, богомольцы, а также сельские попы, кото-

рые наезжают в город с доносами или возвращаются домой после доноса. Занимаются также номера в «Сербии» парочками из города на ночь и на время.

Весна. Четвертый час дня. Занавески на открытых окнах тихо колеблются. В комнате пахнет керосиновым чадом и тушеной капустой. Это хозяйка разогревает на машинке бигос по-польски из капусты, свиного сала и колбасы с громадным количеством перца и лаврового листа. Она вдова лет тридцати шести — сорока, видная, крепкая, проворная женщина. Волосы, которые она завивает на лбу в мелкие кудерьки, тронуты сильной сединой, но лицо у нее свежее, чувственный большой рот красен, а темные, совсем молодые глаза влажны и игривокитры. Имя-отчество ее Анна Фридриховна—она полунемка, полуполька из Остзейского края, но близкие знакомые называют ее просто Фридрихом, и это больше идет к ее решительному характеру. Она гневлива, крикунья и страшная сквернословка; дерется иногда со своими швейцарами и с подгулявшими жильцами; может выпить наряду с мужчинами и до безумия любит танцы; переходы от ругани к смеху у нее мгновенны. К законам она чувствует мало уважения, принимает гостей без паспортов, а неисправного жильца собственноручно «выкидает на улицу», как она сама выражается, то есть в отсутствие жильца отпирает его номер и выносит его вещи в коридор или на лестницу, а то и в свою комнату. Полиция с ней дружна из-за ее гостеприимства, живого характера и в особенности из-за той веселой, легкой, бесцеремонной и бескорыстной податливости, с которой она отвечает на каждое мимолетное мужское чувство.

У нее четверо детей. Двое старших, Ромка и Алечка, еще не пришли из гимназии, а младшие — семилетний Адька и пятилетний Эдька, здоровые мальчуганы со щеками, пестрыми от грязи, от лишаев, от размазанных слез и от раннего весеннего загара,— торчат около матери. Они оба держатся руками за край стола и попрошайничают. Они всегда голодны, потому что их мать насчет стола беспечна: едят кое-как в разные часы, посылая в мелочную лавочку за всякой всячиной.

Вытянув губы трубой, нахмурив брови, глядя исподлобья, Адька гудит угрюмым басом:

— Ишь ты кака-ая, не даешь попробовать...

— Да-ай попло-обуву-уть,— тянет за ним в нос Эдька и чешет босой ножкой икру другой ноги.

За столом у окна сидит поручик запаса армии Валерьян Иванович Чижевич. Перед ним домовая книга, в которую он вписывает паспорты постояльцев. Но после вчерашнего работа идет у него плохо, буквы рябят и расползаются, дрожащие пальцы не ладят с пером, а в ушах гудит, как осенью в телефонном столбе. Временами ему кажется, что голова у него начинает пухнуть, пухнуть, и тогда стол с книгой, с чернильницей и с поручиковой рукой уходят страшно далеко и становятся совсем маленькими, потом, наоборот, книга приближается к самым его глазам, чернильница растет и двоится, а голова уменьшается до смешных и странных размеров.

Наружность поручика Чижевича говорит о бывшей красоте и утраченном благородстве: черные волосы ежиком, но на затылке просвечивает лысина, борода острижена по-модному, острым клинышком, лицо худое, грязное, бледное, истасканное, и на нем как будто написана вся история поручиковых явных слабостей и тайных болезней.

Положение его в номерах «Сербия» сложное: он ходит к мировым судьям по делам Анны Фридриховны, репетирует ее детей и учит их светским манерам, ведет квартирную книгу, пишет счета постояльцам, читает по утрам вслух газету и говорит о политике. Ночует он обыкновенно в одном из пустующих номеров, а в случае наплыва гостей — и в коридоре на древнем диване, у которого пружины вылезли наружу вместе с мочалкой. В последнем случае поручик аккуратно развешивает над диваном, на гвоздиках, все свое имущество: пальто, шапку, лоснящийся от старости, белый по швам, но чистенький сюртучок, бумажный воротник «Монополь» и офицерскую фуражку с синим околышем, а записную книжку и платок с чужой меткой кладет под подушку.

Вдова держит своего поручика в черном теле. «Женись — тогда я тебе все заведу,— обещает она,— полную кипировку и что нужно из белья, и ботинки с калошами приличные. Все у тебя будет, и даже по праздникам будешь носить часы моего покойника с цепью». Но поручик покамест все еще раздумывает. Он дорожит свободой и

слишком высоко ценит свое бывшее офицерское достоинство. Однако кое-что старенькое из белья покойника он донашивает.

II

Время от времени в хозяйском номере происходят бури. То, бывает, поручик при помощи своего воспитанника Ромки продаст букинисту кипу чужих книг, то перехватит, пользуясь отсутствием хозяйки, суточную плату за номер, то заведет втайне игривые отношения с горничной. Как раз накануне поручик злоупотребил кредитом Анны Фридриховны в трактире напротив; это всплыло наружу, и вот вспыхнула ссора с руганью и с дракой в коридоре. Двери всех номеров раскрылись, и из них выглянули с любопытством мужские и женские головы. Анна Фридриховна кричала так, что ее было слышно на улице:

— Вон отсюда, разбойник, вон, босявка! Я все кровные труды на тебя потратила! Ты моих детей кровную копейку заедаешь!..

— Нашу копейку заедаешь! — орал гимназист Ромка, кривляясь за материной юбкой.

— Заеда-аешь!— вторили ему в отдалении Адька с Эдькой.

Швейцар Арсений молча, с каменным видом, сопя, напирал грудью на поручика. А из номера девятого какой-то мужественный обладатель великолепной раздвоенной черной бороды, высунувшись из дверей до половины в нижнем белье и почему-то с круглой шляпой на голове, советовал решительным тоном:

— Арсень! Дай ему между глаз.

Таким образом поручик был вытеснен на лестницу. Но так как на эту же лестницу отворялось широкое окно из коридора, то Анна Фридриховна еще продолжала кричать вслед поручику, свесившись вниз:

— Каналья, шарлатанщик, разбишака, босявка киевская!

— Босявка! Босявка!— надсаживались в коридоре мальчишки.

— И чтобы ноги твоей больше здесь не было! И вещи свои паршивые забирай с собой! Вот они, вот тебе, вот!

В поручика полетели сверху позабытые им впопыхах

вещи: палка, бумажный воротничок и записная книжка. На последней ступеньке поручик остановился, поднял голову и погрозил кулаком. Лицо у него было бледно, под левым глазом краснела ссадина.

— Под-дождите, сволочи, я все докажу кому следует. Ага! Сводничают! Грабят жильцов!..

— А ты иди, иди, пока цел,— говорил сурово Арсений, наваливаясь сзади и тесня поручика плечом.

— Прочь, хам! Не имеешь права касаться офицера! — воскликнул гордо поручик.— Я все знаю! Вы здесь без паспорта пускаете! Укрываете! Краденое укрываете... Пристано...

Но тут Арсений ловко обхватил поручика сзади, дверь со звоном и с дребезгом хлопнула, два человека, свившись клубком, выкатились на улицу, и уже оттуда донеслось гневное:

— ...держательствуете!

Сегодня утром, как это всегда бывало и раньше, поручик Чижевич явился с повинной, принеся с собою букет наломанной в чужом саду сирени. Лицо у него утомлено, вокруг ввалившихся глаз тусклая синева, виски желты, одежда не чищена, в голове пух. Примирение идет туго. Анна Фридриховна еще недостаточно насладилась униженным видом своего любовника и его покаянными словами. Кроме того, она немного ревнует Валерьяна к тем трем ночам, которые он провел неизвестно где.

— Нюничка, а куда же...— начинает поручик необыкновенно кротким и нежным, даже слегка дрожащим фальцетом.

— Что та-ко-е? Кто это вам здесь за Нюничка! — презрительно обрывает его хозяйка.— Всякий гицель и тоже — Нюничка!

— Нет, видишь ли, я только хотел спросить тебя, куда выписать Прасковью Увертышеву, тридцати четырех лет? Тут нет пометки.

— Ну и выписывай на толчок. И себя туда же можешь выписать. Одна компания. Или в ночлежку.

«Стерва!» — думает поручик, но только глубоко и покорно вздыхает:

— Какая ты сегодня нервная, Нюничка!

— Нервная... Какая бы я там ни была, а я знаю про себя, что я женщина честная и трудящая... Прочь, вы,

байструки!—кричит она на детей, и вдруг — шлеп! шлеп! — два метких удара ложкой влетают по лбу Адьке и Эдьке. Мальчики хнычут.

— Проклятое мое дело, и судьба моя проклятая...— ворчит сердито хозяйка.— Как я за покойным мужем жила, я никакого горя себе не видела. А теперь, что ни швейцар — так пьяница, а горничные все воровки. Цыц, вы, проклятики!.. Вот и эта Проська, двух дней не прожила, а уж из номера двенадцатого у девушки чулки стащила. А то еще бывают некоторые другие, которые только по трактирам ходят за чужие деньги, а дела никакого не делают...

Поручик очень хорошо знает, на кого намекает Анна Фридриховна, но сосредоточенно молчит. Запах бигоса вселяет в него кое-какие далекие надежды. В это время дверь отворяется и входит, не снимая с головы фуражки с тремя золотыми позументами, швейцар Арсений. У него наружность скопца и альбиноса и все нечистое лицо в буграх. Он служит у Анны Фридриховны по крайней мере в сороковой раз и служит до первого запоя, пока хозяйка собственноручно не прибьет его и не прогонит, отняв сначала у него символ власти — фуражку с позументами. Тогда Арсений наденет белую кавказскую папаху на голову и темно-синее пенсне на нос, будет куражиться в трактире напротив, пока весь не пропьется, а под конец загула будет горько плакать перед равнодушным половым о своей безнадежной любви к Фридриху и будет угрожать смертью поручику Чижевичу. Протрезвившись, он явится в «Сербию» и упадет хозяйке в ноги. И она опять примет его, потому что новый швейцар, заменивший Арсения, уже успел за этот короткий срок обворовать ее, напиться и наскандалить и даже попасть в участок.

— Ты что? С парохода? — спрашивает Анна Фридриховна.

— Да. Привел шесть богомольцев. Насилу отнял у Якова из «Коммерческой». Он уже их вел, а я подошел к одному и говорю на ухо: «Мне, говорю, все равно, идите хочь куда хотите, а как вы люди в здешних местах неизвестные и мне вас ужасно жалко, то я вам скажу, чтобы вы лучше за этим человеком не ходили, потому что у них в гостинице на прошлой неделе богомольцу одно-

му подсыпали порошку и обокрали». Так и увел их. Яков потом мне кулаком издальки грозился. Кричит: «Ты постой у меня, Арсений, я тебя еще споймаю, ты моих рук не убежишь!» Но только я ему и сам, если придется...

— Ладно! — прерывает его хозяйка.— Большое мне дело до твоего Якова. По скольку сговорились?

— По тридцать копеек. Ей-богу, барыня, как ни уговаривал, больше не дают.

— У, дурень ты, ничего не умеешь. Отведи им номер второй.

— Всех в один?

— Дурак: нет, каждому по два номера. Конечно в один. Принести им матрацев, из старых, три матраца принести. А на диван — скажи, чтобы не смели ложиться. Всегда от этих богомольцев клопы. Ступай!

По уходе его поручик замечает вполголоса нежным и заботливым тоном:

— Я удивляюсь, Нюточка, как это ты позволяешь ему входить в комнату в шапке. Это же все-таки неуважение к тебе, как к даме и как к хозяйке. И потом— посуди мое положение: я офицер в запасе, а он все-таки... нижний чин. Неудобно как-то.

Но Анна Фридриховна набрасывается на него с новым ожесточением.

— Нет, уж ты, пожалуйста, не суйся, куда тебя не спрашивают. О-фи-цер! Таких офицерей много у Терещенки в приюте ночует. Арсений человек трудящий, он свой кусок зарабатывает... не то что... Прочь, вы, лайдаки! Куда с руками лезете!

— Да-а... не дае-ешь! — гудит Адька.

— Не да-е-ос!..

Между тем бигос готов. Анна Фридриховна гремит посудой на столе. Поручик в это время старательно припал головой к домовой книге. Он весь ушел в дело.

— Что ж, садись, что ли,— отрывисто приглашает хозяйка.

— Нет, спасибо, Нюточка. Кушай сама. Мне что-то не очень хочется,— говорит Чижевич, не оборачиваясь, сдавленным голосом и громко глотает слюну.

— А ты иди, когда говорят. Тоже, скажите, задается. Ну, иди!..

— Сейчас, сию минуту, Нюничка. Вот только последний листок дописать. По удостоверению, выданному из Бильдинского волостного правления... губернии... за номером 2039... Готово.— Поручик встает и потирает руки.— Люблю я поработать.

— Хм! Тоже работа! — презрительно фыркает хозяйка.— Садись.

— Нюничка, и если бы... одну... маленькую...

— Обойдется и без.

Но так как мир почти уже водворен, то Анна Фридриховна достает из шкафа маленький пузатый граненый графинчик, из которого пил еще отец покойного. Адька размазывает капусту по тарелке и дразнит брата тем, что у него больше. Эдька обижается и ревет:

— Адьке больсе полози-ила. Да-а!

Хлоп! — Звонкий удар ложкой поражает Эдьку в лоб. И тотчас же, как ни в чем не бывало, Анна Фридриховна продолжает разговор:

— Рассказывай! Тоже мастер врать. Наверно, валялся у какой-нибудь.

— Нюничка! — восклицает поручик укоризненно и, оставив есть, прижимает руки — в одной из них вилка с куском колбасы — к груди.— Чтобы я? О, как ты меня мало знаешь. Я скорее дам голову на отсечение, чем позволю себе подобное. Когда я тот раз от тебя ушел, то так мне горько было, так обидно! Иду я по улице и, можешь себе представить, заливаюсь слезами. Господи, думаю, и я позволил себе нанести ей оскорбление. Кому-у! Ей! Единственной женщине, которую я люблю так свято, так безумно...

— Хорошо поешь,— вставляет польщенная, хотя все еще немного недоверчивая хозяйка.

— Да! Ты не веришь мне! — возражает поручик с тихим, но глубоким трагизмом.— Ну что ж, я заслужил это. А я каждую ночь приходил под твои окна и в душе творил молитву за тебя.— Поручик быстро опрокидывает рюмку, закусывает и продолжает с набитым ртом и со слезящимися глазами: — И я все думал, что если бы случился вдруг пожар или напали разбойники. Я бы тогда доказал тебе. Я бы с радостью отдал за тебя жизнь... Увы, она и так недолга,— вздыхает он.— Дни мои сочтены...

В это время хозяйка роется в кошельке.

— Скажите, пожалуйста! — возражает она с кокетливой насмешкой.— Адька, вот тебе деньги, сбегай к Василь Василичу за бутылкой пива. Только скажи, чтобы свежего. Живо!

Завтрак уже окончен, бигос съеден и пиво выпито, когда появляется развращенный гимназист приготовительного класса Ромка, весь в мелу и в чернилах. Еще в дверях он оттопыривает губы и делает сердитые глаза. Потом швыряет ранец на пол и начинает завывать:

— Да-а... без меня все поели. Я голодный, как со-ба-а-ака...

— А у меня еще есть, а я тебе не дам,— дразнит его Адька, показывая издали тарелку.

— Да-а-а... Это сви-инство,— тянет Ромка.— Мама, вели А-адьке...

— Молчать!—вскрикивает пронзительно Анна Фридриховна.— Ты бы еще до ночи шлялся. Вот тебе пятачок. Купи колбасы, и довольно с тебя.

— Да-а, пятачок! Сами с Валерьяном Иванычем бигос едят, а меня учиться заставляют. Я как соба-а-а...

— Вон! — кричит Анна Фридриховна страшным голосом, и Ромка поспешно исчезает. Однако он успевает схватить с полу ранец: в голове у него мгновенно родилась мысль — пойти продать свои учебники на толкучке. В дверях он сталкивается со старшей сестрой Алечкой и, пользуясь случаем, щиплет ее больно за руку. Алечка входит, громко жалуясь:

— Мама, вели Ромке, чтобы он не щипался.

Она хорошенькая тринадцатилетняя девочка, начинающая рано формироваться. Она желто-смуглая брюнетка, с прелестными, но не детскими темными глазами. Губы у нее красные, полные и блестящие, и над верхней губкой, слегка зачерненной легким пушком, две милые родинки. Она общая любимица в номерах. Мужчины дарят ей конфеты, часто зазывают к себе, целуют и говорят бесстыдные вещи. Она все знает, что может знать взрослая девушка, но никогда в этих случаях не краснеет, а только опускает вниз свои черные длинные ресницы, бросающие синие тени на янтарные щеки, и улыбается странной, скромной, нежной и в то же время сладострастной — какой-то ожидающей улыбкой. Ее лучшая приятельница — девица Женя, квартирующая в номере двена-

дцатом, тихая, аккуратная в плате за квартиру, полная блондинка, которую содержит какой-то купец-дровяник, но которая в свободные дни водит к себе кавалеров с улицы. Эту особу Анна Фридриховна весьма уважает и говорит про нее: «Ну что ж, что Женечка девка, зато она женщина самостоятельная».

Увидев, что завтрак съеден, Алечка вдруг делает одну из своих принужденных улыбок и говорит тонким голоском, громко и несколько театрально:

— Ах, вы уже позавтракали. Я опоздала. Мама, можно мне пойти к Евгении Николаевне?

— Ах, иди, куда хочешь!

— Мерси.

Она уходит. После завтрака водворяется полный мир. Поручик шепчет на ухо вдове самые пылкие слова и жмет ей под столом круглое колено, а она, раскрасневшись от еды и от пива, то прижимается к нему плечом, то отталкивает его и стонет с нервным смешком:

— Да Валерьян! Да бесстыдник! Дети!

Адька и Эдька смотрят на них, засунув пальцы в рот и широко разинув глаза. Мать вдруг набрасывается на них:

— Идите гулять, лаборданцы. Й-я вас. Расселись, точно в музее. Марш, живо!

— Когда я не хочу гулять,— гудит Адька.

— Я не хоц-у-у.

— Я вот вам дам — не хочу. Две копейки на леденцы — и марш!

Она запирает за ними дверь, садится к поручику на колени, и они начинают целоваться.

— Ты сердишься, мое золотце? — шепчет ей на ухо поручик.

Но в дверь стучат. Приходится отпирать. Входит новая горничная, высокая, мрачная, одноглазая женщина, и говорит хрипло, с свирепым выражением лица:

— Там двенадцатый номер самовар требует, и чай, и сахар.

Анна Фридриховна нетерпеливо выдает все, что нужно. Поручик, раскинувшийся на диване, говорит томно:

— Я бы отдохнул немного, Нюничка. Нет ли свободного номера? Здесь все люди толкутся.

Свободный номер оказывается только один — пятый, и они отправляются туда. Номер в одно окно, темный, узкий и длинный, как кегельбан. Кровать, комод, облупленный коричневый умывальник и ночной столик составляют всю его меблировку. Хозяйка и поручик опять начинают целоваться, причем стонут, как голуби весною на крыше.

— Нюничка, если ты меня любишь, мое сокровище, пошли за папиросами «Плезир», шесть копеек десяток,— вкрадчиво говорит поручик, раздеваясь.

— Потом...

Весенний вечер быстро темнеет, и вот на дворе уже ночь. В окно слышны свистки пароходов на Днепре, и скользит далекий запах травы, пыли, сирени, нагретого камня. Вода звонкими каплями мерно падает внутри умывальника. Но в дверь опять стучатся.

— Кто там? Какого черта все шляетесь? — кричит разбуженная Анна Фридриховна. Она босиком вскакивает с кровати и гневно распахивает дверь.— Ну, что еще нужно?

Поручик Чижевич стыдливо натягивает на голову одеяло.

— Студент спрашивает номер,— суфлерским шепотом говорит за дверью Арсений.

— Какой студент? Скажи ему, что остался только один номер и то в два рубля. Он один или с женщиной?

— Один.

— Так и скажи. И паспорт и деньги вперед. Знаю я этих студентов.

Поручик поспешно одевается. Благодаря привычке он делает свой туалет в десять секунд. Анна Фридриховна в это время ловко и быстро оправляет постель. Возвращается Арсений.

— Заплатил вперед,— говорит он мрачно.— И паспорт вот.

Хозяйка выходит в коридор. Волосы у нее разбились и прилипли ко лбу, на пунцовых щеках оттиснулись складки подушки, глаза необычайно блестят. За ее спиной поручик бесшумной тенью пробирается в хозяйский номер.

У окна на лестнице дожидается студент. Он светловолосый, худощавый, уже немолодой человек с длинным, бледным, болезненно-нежным лицом. Голубоватые глаза

смотрят точно сквозь туман, добродушны, близоруки и чуть-чуть косят. Он вежливо кланяется хозяйке, отчего та смущенно улыбается и защелкивает верхнюю кнопку на блузке.

— Мне бы номер,— говорит он мягко, точно робея.— Мне надо ехать. И еще бы я попросил свечку, перо и чернила.

Ему показывают кегельбан. Он говорит:

— Прекрасно, лучше нельзя требовать. Здесь чудесно. Только вот, пожалуйста, перо и чернила.

От чаю и от белья он отказывается. Ему все равно.

III

В хозяйском номере горит лампа. На открытом окне сидит, поджавши ноги, Алечка и смотрит, как колышется внизу темная, тяжелая масса воды, освещенной электричеством, как тихо покачивается жидкая, мертвенная зелень тополей вдоль набережной. На щеках у нее горят два круглых, ярких, красных пятна, а глаза влажно и устало мерцают. Издалека, с той стороны реки, где сияет огнями кафешантан, красиво плывут в холодеющем воздухе резвые звуки вальса.

Пьют чай с покупным малиновым вареньем. Адька и Эдька накрошили себе в чашки черного хлеба, сделали тюрю, измазали ею щеки, лбы и носы и делают друг другу рожи, пуская пузыри в блюдечко. Ромка, вернувшийся с синяком под глазом, торопливо, со свистом тянет чай из блюдечка. Поручик Чижевич, расстегнув жилет и выпустив наружу бумажную грудь манишки, благодушествует среди этой домашней идиллии, полулежа на диване.

— Все номера, слава богу, заняты,— вздыхает мечтательно Анна Фридриховна.

— А что? Все моя легкая рука! — говорит поручик.— Как я пришел, так и дело пошло.

— Ну да, рассказывай.

— Нет, ей-богу, у меня рука необыкновенно легкая. У нас в полку, когда, бывало, капитан Горжевский мечет банк, то всегда сажает меня около себя. Эх, как у нас в полку здорово резались в карты! Этот самый Горжевский, еще подпоручиком, выиграл во время турец-

кой войны двенадцать тысяч. Пришел наш полк в Букарешт. Ну, конечно, денег у господ офицерства гибель, девать было некуда, женщин нет. Начали картеж. И вдруг Горжевский налетает на шулера. Прямо по морде видать, что шулер, но так ловко передергивает, что невозможно уследить...

— Подожди, я сейчас приду,— перебивает его хозяйка,— мне только надо выдать полотенце.

Она уходит. Поручик подкрадывается к Алечке и близко наклоняется к ней. Ее прекрасный профиль, темный на фоне ночи, тонко, серебристо и нежно очерчен сиянием электрических фонарей.

— О чем, Алечка, задумалась? Или, может быть, *о ком?* — спрашивает он сладко, с дрожью в голосе.

Она отворачивается от него. Но он быстро приподнимает ее толстую косу, целует ее под волосы в теплую тонкую шейку и жадно нюхает запах ее кожи.

— Я маме скажу,— шепчет Алечка, не отодвигаясь.

Дверь отворяется,— это возвратилась Анна Фридриховна. Поручик тотчас же начинает говорить неестественно громко и развязно.

— Действительно, славно в такую чудную, весеннюю ночь прокатиться на лодке с любимым существом или близким другом. Да, Нюничка, так вот я продолжаю. Таким образом Горжевский пропускает целых шесть тысяч, черт побери! Наконец его кто-то надоумил, он и говорит: «Баста! Я так не буду играть. А вот не угодно ли, прибьем колоду гвоздем к столу и будем отрывать по карте?» Тот было на попятный. Но Горжевский вынул револьвер: «Или играй, собака, или пулю в лоб!» Ничего не поделаешь, шулер сел и, главное, так растерялся, что позабыл, что сзади него зеркало, а Горжевский сидит напротив, и ему в зеркало все карты партнера видны. И Горжевский не только свои отыграл, но еще выиграл чистых одиннадцать тысяч. Он даже велел этот гвоздь оправить в золото и теперь носит при часах, в виде брелока. Очень оригинально.

IV

В это время в пятом номере сидит на кровати студент. Перед ним на ночном столике свеча и лист почтовой бумаги. Студент быстро пишет, на минуту останавливает-

ся, шепчет что-то про себя, покачивает головой, напряженно улыбается и опять пишет. Вот он глубоко обмакнул перо в чернила, потом зачерпнул им, как ложечкой, жидкого стеарина около фитиля и сует эту смесь в огонь. Она трещит и брызжет во все стороны бойкими синими огоньками. Этот фейерверк напоминает студенту что-то смешное, полузабытое из далекого детства. Он глядит на пламя свечки, кося глаза и рассеянно и печально улыбаясь. Потом вдруг, точно очнувшись, встряхивает головой, вздыхает и, быстро обтерши перо о рукав синей рубашки, продолжает писать:

«Ты скажи им все, что скажет тебе мое письмо и чему, я знаю, ты поверишь. Меня они все равно не поймут, а у тебя есть слова, простые и понятные для них. Странно одно: вот я пишу тебе и знаю, что через десять — пятнадцать минут я застрелюсь, и эта мысль совсем не страшит меня. Но когда седой огромный жандармский полковник весь побагровел и с руганью затопал на меня ногами, я растерялся. Когда он закричал, что мое упорство напрасно и только губит меня и моих товарищей и что Белоусов, и Книге, и Соловейчик сознались, то я подтвердил. Я, не боящийся смерти, испугался окрика этого тупого, ограниченного человека, закостеневшего в своем профессиональном апломбе. И что всего подлее: ведь он на других не смел кричать, а был любезен, предупредителен и слащав, как провинциальный зубной врач,— был даже либерален. Во мне же он сразу понял уступчивую и дряблую волю. Это чувствуется между людьми без слова, с одного взгляда.

Да, я сознаю, что все это вышло дико, и презренно, и смешно, и отвратительно. Но иначе не могло быть, и если бы повторилось, то вышло бы по-прежнему. Отчаянной храбрости боевые генералы очень часто боятся мышей. Они иногда даже бравируют этой маленькой слабостью. А я с печалью говорю, что больше смерти боюсь этих деревянных людей, жестко застывших в своем миросозерцании, глупо-самоуверенных, не знающих колебаний. Если бы ты знал, как робею я и стесняюсь перед монументальными городовыми, перед откормленными, мордатыми петербургскими швейцарами, перед барышнями в редакциях журналов, перед секретарями в судах, перед лающими начальниками станций!

Когда мне однажды пришлось свидетельствовать в участке подпись, то один вид толстого пристава с рыжими подусниками в ладонь, с выпяченной грудью и с рыбьими глазами, который все время меня перебивал, не дослушивал, на минуты забывал о моем присутствии или вдруг притворялся непонимающим самой простой русской речи,— один его вид привел меня в такой гадкий трепет, что я сам слышал в своем голосе заискивающие, рабские интонации.

Кто виноват в этом? Я тебе скажу: моя мать. Это она была первой причиной того, что вся моя душа загажена, развращена подлой трусостью. Она рано овдовела, и мои первые детские впечатления неразрывны со скитаньем по чужим домам, клянченьем, подобострастными улыбками, мелкими, но нестерпимыми обидами, угодливостью, попрошайничеством, слезливыми, жалкими гримасами, с этими подлыми уменьшительными словами: кусочек, капелька, чашечка чайку... Меня заставляли целовать ручки у благодетелей — у мужчин и у женщин. Мать уверяла, что я не люблю того-то и того-то лакомого блюда, лгала, что у меня золотуха, потому что знала, что от этого хозяйским детям останется больше и что хозяевам это будет приятно. Прислуга втихомолку издевалась над нами: дразнила меня горбатым, потому что я в детстве держался сутуловато, а мою мать называли при мне приживалкой и салопницей. И сама мать, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла себе к носу свой старый, трепаный кожаный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: «А вот нос моего сыночка Левушки». Они смеялись, а я краснел и бесконечно страдал в эти минуты за нее и за себя и молчал, потому что мне в гостях запрещалось говорить. Я ненавидел этих благодетелей, глядевших на меня, как на неодушевленный предмет, сонно, лениво и снисходительно совавших мне руку в рот для поцелуя, и я ненавидел и боялся их, как теперь ненавижу и боюсь всех определенных, самодовольных, шаблонных, трезвых людей, знающих все наперед: кружковых ораторов, старых, волосатых, румяных профессоров, кокетничающих невинным либерализмом, внушительных и елейных соборных протопопов, жандармских полковников, радикальных женщин-врачей, твердящих впопыхах куски из прокла-

маций, но с душой холодной, жестокой и плоской, как мраморная доска. Когда я говорю с ними, я чувствую, что на моем лице лежит противной маской чужая, поддакивающая, услужливая улыбка, и презираю себя за свой заискивающий тонкий голос, в котором ловлю отзвук прежних материнских ноток. Души этих людей мертвы, мысли окоченели в прямых, твердых линиях, и сами они беспощадны, как только может быть беспощаден уверенный и глупый человек.

От семи до десяти лет я пробыл в закрытом благотворительном казенном пансионе с фребелевской системой воспитания. Там классные дамы, озлобленные девы, все страдавшие флюсом, насаждали в нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подглядывание и наушничество, зависть к любимчикам и — главное — самое главное — тишайшее поведение; мы же, мальчишки, сами собою, культивировали воровство и онанизм. Потом из милости меня приняли в казенный пансион при гимназии. Там было все, что бывает в казенных пансионах. Обыски и шпионство со стороны надзирателей, бессмысленный зубреж, куренье в третьем классе, водка в четвертом, в пятом — первая публичная женщина и первая нехорошая болезнь.

Дальше вдруг повеяло новыми, молодыми словами, буйными мечтами, свободными, пламенными мыслями. Мой ум с жадностью развернулся им навстречу, но моя душа была уже навеки опустошена, мертва и опозорена. Низкая неврастичная боязливость впилась в нее, как клещ в собачье ухо: оторвешь его, останется головка, и он опять вырастет в целое гнусное насекомое.

Не я один погиб от этой моральной заразы. Я, может быть, был слабейшим из всех. Но ведь все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции! Потому что тихое оподление души человеческой ужаснее всех баррикад и расстрелов в мире.

Странно: когда я один на один с моей собственной волей, я не только не трус, но я даже мало знаю людей, которые так легко способны рисковать жизнью. Я ходил по

карнизам от окна к окну на пятиэтажной высоте и глядел вниз, я заплывал так далеко в море, что руки и ноги отказывались служить мне, и я, чтобы избегнуть судороги, ложился на спину и отдыхал. И многое, многое другое. Наконец через десять минут я убью себя, а это тоже ведь чего-нибудь да стоит. Но людей я боюсь. Людей я боюсь! Когда я слышу, как пьяные ругаются и дерутся на улице, я бледнею от ужаса в своей комнате. А когда я ночью, лежа в постели, представляю себе пустую площадь и несущийся по ней с грохотом взвод казаков, я чувствую, как сердце у меня перестает биться, как холодеет все мое тело, и мои пальцы судорожно корчатся. Я на всю жизнь испуган чем-то, что есть в большинстве людей и чего я не умею объяснить. Таково было и все молодое поколение предыдущего, переходного времени. Мы в уме презирали рабство, но сами росли трусливыми рабами. Наша ненависть была глубока, страстна, но бесплодна, и была похожа на безумную влюбленность кастрата.

Но ты все поймешь и все объяснишь товарищам, которым я перед смертью говорю, что люблю их и уважаю, несмотря ни на что. Может быть, они поверят тебе, что я умер вовсе не потому, что невольно и низко предал их. Я знаю, что нет в мире ничего страшнее этого страшного слова «предатель», которое, идя от уст к ушам, от уст к ушам, заживо умерщвляет человека. О, я сумел бы загладить мою ошибку, не будь я рожден и воспитан рабом человеческой наглости, трусости и глупости. Но именно оттого, что я таков, я и умираю. В теперешнее страшное, бредовое время позорно, и тяжело, и прямо невозможно жить таким, как я.

Да, мой дорогой, я в последние годы очень много слышал, видел и читал. Я говорю тебе: над нашей родиной прошло ужасное вулканическое извержение. Вырвалось пламя долго сдержанного гнева и потопило все: боязнь завтрашнего дня, почтение к предкам, любовь к жизни, мирные сладости семейного благополучия. Я знаю о мальчиках, почти детях, которые отказывались надевать повязку на глаза перед расстрелом. Я сам видел людей, перенесших пытки и не сказавших ни слова. И все это родилось внезапно, появилось в каком-то бурном дыхании. Из яиц индюшек вдруг выклевывались

орлята. Как недолог, но как чудесен и героичен был их полет к пылающему солнцу свободы! Я видел, как в детях, в гимназистах, в школьниках просыпалось и загоралось священное уважение к своему радостному, гордому, свободному «я», именно к тому, что из нас вытравила духовная нищета и трепетная родительская мораль. Ну — и к черту нас!

Сейчас без восьми девять. Ровно в девять — со мной будет кончено. Собака лает на дворе — раз, два, потом помолчит и — раз, два, три. Может быть, когда угаснет мое сознание, и вместе с ним навеки исчезнет для меня все: города, площади, пароходные свистки, утра и вечера, номера гостиниц, тиканье часов, люди, звери, воздух, свет и тьма, время и пространство, и не будет ничего, даже не будет мысли об этом «ничего»,—может быть, эта собака долго будет лаять нынешним вечером — сначала два раза, потом три.

Девять без пяти минут. Смешная идея меня занимает. Я думаю: мысль человека — это как бы ток от таинственного, еще неведомого центра, это какая-то широкая напряженная вибрация невесомой материи, разлитой в мировом пространстве и проникающей одинаково легко между атомами камня, железа и воздуха. Вот мысль вышла из моего мозга, и вся мировая сфера задрожала, заколебалась вокруг меня, как вода от брошенного камня, как звук вокруг звенящей струны. И мне думается, что вот человек уходит, сознание его уже потухло, но мысль его еще остается, еще дрожит в прежнем месте. Может быть, мысли и сны всех людей, бывших до меня в этой длинной, мрачной комнате, еще реют вокруг меня и тайно направляют мою волю? И, может быть, завтра случайный посетитель этого номера задумается внезапно о жизни, о смерти, о самоубийстве, потому что я оставлю здесь после себя мою мысль? И, почем знать, может быть, не завися ни от веса, ни от времени, ни от преград материи, мои мысли в один и тот же момент ловятся таинственными, чуткими, но бессознательными приемниками в мозгу обитателя Марса, так же как и в мозгу собаки, лающей на дворе? Ах, я думаю, что ничто в мире не пропадает — ничто! — не только сказанное, но и подуманное. Все наши дела, слова и мысли — это ручейки, тонкие подземные ключи. Мне кажется, я

вижу, как они встречаются, сливаются в родники, просачиваются наверх, стекаются в речки — и вот уже мчатся бешено и широко в неодолимой Реке жизни. Река жизни — как это громадно! Все она смоет рано или поздно, снесет все твердыни, оковавшие свободу духа. И где была раньше отмель пошлости — там сделается величайшая глубина героизма. Вот сейчас она увлечет меня в непонятную, холодную даль, а может быть, не далее как через год, она хлынет на весь этот огромный город, и потопит его, и унесет с собою не только его развалины, но и самое его имя!

А может быть, все это смешно, что я пишу. Осталось две минуты. Горит свечка, часы торопливо постукивают передо мною. Собака все еще лает. А что, если ничего не останется ни от меня, ни во мне, но останется только одно, самое последнее ощущение — может быть, боль, может быть, звук выстрела, может быть, голый, дикий ужас, но останется навсегда, на тысячи миллионов веков, возведенных в миллиардную степень?

Стрелка дошла. Сейчас мы все это увидим. Нет, подожди: какая-то смешная стыдливость заставила меня встать и запереть дверь на ключ. Прощай. Еще два слова: а ведь темная душа собаки должна быть гораздо более восприимчива к вибрациям мысли, чем человеческая... Не оттого ли они и воют, почуяв покойника. А? Вот и эта собака, что лает внизу. Теперь она уже чувствует тревогу. Но через минуту от центральной батареи моего мозга побегут страшными скачками новые чудовищные токи и коснутся бедного мозга собаки. И она завоет в нестерпимом, слепом ужасе... Прощай. Иду».

Студент запечатал письмо, аккуратно заткнул для чего-то пробкой чернильницу, встал с кровати и достал из кармана тужурки браунинг. Перевел предохранитель с «sûr» на «feu» [1]. Расставив ноги для устойчивости, зажмурился. И вдруг, быстро поднеся обеими руками револьвер к правому виску, он нажал гашетку.

— Что это? — тревожно спрашивает Анна Фридриховна.

---

[1] «Безопасно»... «огонь» *(франц.)*.

— А это твой студент застрелился,— небрежно шутит поручик.— Такие всё сволочи — эти студенты...

Но Анна Фридриховна вскакивает и бежит в коридор, поручик лениво следует за ней. Из номера пятого кисло пахнет газами бездымного пороха. Смотрят в замочную щелку — студент лежит на полу.

Через пять минут у подъезда гостиницы уже стоит черная, густая, жадная толпа, и Арсений с озлоблением гонит посторонних с лестницы. В гостинице суета. Слесарь взламывает дверь запертого номера, дворник бежит за полицией, горничная — за доктором. Через некоторое время появляется околоточный надзиратель, высокий, тонкий молодой человек с белыми волосами, белыми ресницами и белыми усами. Он в мундире и в широчайших шароварах, спускающихся до половины лакированных сапог. Он тотчас же напирает грудью на публику и, выкативши светлые глаза, гремит начальственно:

— Ос-сади назад! Р-р-разойдись! Я не понимаю, господа, что т-тут вы нашли любопытного? Ровно ничего. Господин... убедительно прошу... А еще, кажется, интеллигентный человек, в котелке... Что-с? А вот я тебе покажу полицейский произвол-с. Михальчук, заметь этого. Эй, мальчишка, куда лезешь. Я-ть!..

Дверь взломана. В номер входят надзиратель, Анна Фридриховна, поручик, четверо детей, понятые, городовой, два дворника—впоследствии доктор. Студент лежит на полу, уткнувшись лицом в серый коврик перед кроватью, левая рука у него подогнута под грудь, правая откинута, револьвер валяется в стороне. Под головой лужа темной крови, в правом виске круглая маленькая дырочка. Свеча еще горит, и часы на ночном столике поспешно тикают.

Составляется короткий протокол в казенных словах, и к нему прилагается оставленное самоубийцей письмо... Двое дворников и городовой несут труп вниз по лестнице. Арсений светит, высоко подняв лампу над головой. Анна Фридриховна, надзиратель и поручик смотрят сверху из окна в коридоре. Несущие на повороте разладились в движениях, застряли между стеной и перилами, и тот, который поддерживал сзади голову, опускает руки. Голова резко стукается об одну ступеньку, о другую, о третью.

— Так его! Так его! — озлобленно кричит из окна хозяйка.— Так ему и надо, подлецу! Я еще на чай дам!

— Какие вы кровожадные, мадам Зигмайер,— игриво замечает надзиратель и, закрутив ус, скашивает глаза на его кончик.

— А еще бы! Теперь в газету из-за него попадешь. Я женщина бедная, трудящая, а теперь из-за него люди будут мою гостиницу обегать.

— Это конечно,— любезно соглашается надзиратель.— И удивляюсь я на этих господ студентов. Учиться не хочут, красные флаги какие-то выбрасывают, стреляются. Не хочут понять, каково это ихним родителям. Ну, еще бедные — черт с ними, прельщаются на жидовские деньги. Но ведь и порядочные туда же, сыновья дворян, священников, купцов... Нар-род! Однако, мадам, пожелав вам всего хорошего...

— Нет, нет, нет, нет, ни за что! — схватывается хозяйка.— У нас сейчас ужин... селедочка. А так я вас ни за что не пущу.

— Собственно говоря...— мнется околоточный.— А впрочем, пожалуй. Я, признаться, и так хотел зайти напротив к Нагурному перехватить чего-нибудь. Наша служба,— говорит он, вежливо пропуская даму в дверь,— наша служба тяжелая. Иногда и целый день во рту куска не бывает.

За ужином все трое пьют много водки. Анна Фридриховна, вся раскрасневшаяся, с сияющими глазами и губами, как кровь, сняла под столом одну туфлю и горячей ногой в чулке жмет ногу околоточному. Поручик хмурится, ревнует и все пытается рассказать о том, как «у нас в полку». Околоточный же не слушает его, перебивает и рассказывает о потрясающих случаях «у нас в полиции». Каждый из них старается быть как можно небрежнее и невнимательнее к другому, и оба они похожи на двух только что встретившихся во дворе кобелей.

— Вот вы всё — «у нас в полку»,— говорит, глядя не на поручика, а на хозяйку, надзиратель.— А позвольте полюбопытствовать, почему вы вышли из военной службы?

— Позвольте-с,— возражает обидчиво поручик.— Однако я вас не спрашиваю, как вы дошли до полиции? Как дошли вы до жизни такой?

Но тут Анна Фридриховна вытаскивает из угла музыкальный ящик «Монопан» и заставляет Чижевича вертеть ручку. После небольших упрашиваний околоточный танцует с ней польку — она скачет, как девочка, а на лбу у нее прыгают крутые кудряшки. Затем вертит ручку околоточный, а танцует поручик, прикрутив руку хозяйки к своему левому боку и высоко задрав голову. Танцует и Алечка с опущенными ресницами и своей странной, нежно-развратной улыбкой на губах.

Околоточный уже окончательно прощается, когда появляется Ромка.

— Да-а... Я студента провожал, а вы без меня-а-а. Я, как соба-а-ака...

А то, что было прежде студентом, уже лежит в холодном подвале анатомического театра, на цинковом ящике, на льду,— лежит, освещенное газовым рожком, обнаженное, желтое, отвратительное. На правой голой ноге выше щиколотки толстыми чернильными цифрами у него написано: 14. Это его номер в анатомическом театре.

ОБИДА

Истинное происшествие

Был июль, пять часов пополудни и страшная жара. Весь каменный огромный город дышал зноем, точно раскаленная печь. Белые стены домов сияли нестерпимо для глаз. Асфальтовые тротуары размягчились и жгли подошвы. Тени от акаций простерлись по плитяной мостовой, жалкие, измученные, и тоже казались горячими. Бледное от солнечных лучей море лежало неподвижно и тяжело, как мертвое. По улицам носилась белая пыль.

В это время в одном из частных театров, в фойе, заканчивала свою очередную работу небольшая комиссия из местных адвокатов, которая взялась бесплатно вести дела жителей, пострадавших от последнего еврейского погрома. Их было девятнадцать человек, все помощники присяжных поверенных, люди молодые, передовые и добросовестные. Заседание не требовало никакой нарядности, и потому преобладали легкие, пикейные, фланелевые и люстриновые костюмчики. Сидели где кому пришлось, по двое и по трое, за мраморными столиками, а председатель помещался за пустующим прилавком, где раньше, еще зимой, продавались конфеты.

Зной, лившийся в открытые окна вместе с ослепительным светом и уличным грохотом, совсем изморил молодых адвокатов. Заседание велось лениво и немного раздраженно.

Высокий молодой человек с белыми усами и редкими волосами на голове, председатель собрания, сладо-

страстно мечтал о том, как он поедет сейчас на новом, только что купленном велосипеде на дачу и как он быстро разденется, и, еще не остывший, потный, бросится в чистое, благоуханное, прохладное море. При этих мыслях все его тело расслабленно потягивалось и вздрагивало. В то же время, нетерпеливо передвигая перед собою бумаги, он говорил вялым голосом:

— Итак, господа, дело Рубинчика ведет Иосиф Моисеевич. Может быть, у кого-нибудь есть еще заявления к порядку дня?

Самый младший товарищ — маленький, толстенький, очень черный и очень живой караим — произнес вполголоса, но так, что его все услышали:

— К порядку дня теперь самое лучшее квас со льдом...

Председатель взглянул на него строго, вбок, но сам не мог удержаться от улыбки. Он уже вздохнул и даже положил обе руки на стол, чтобы подняться и объявить заседание закрытым, как театральный сторож, стоявший у дверей, вдруг отделился от них и сказал:

— Ваше благородие... там пришли каких-то семь. Просют впустить.

Председатель нетерпеливо обежал глазами товарищей.

— Господа, как?

Послышались голоса:

— К следующему заседанию. Баста.

— Пусть изложат письменно...

— Да ведь, если скоро. Решайте поскорее.

— А ну их! Фу ты, господи, какое пекло!

— Пустите их,— раздраженно кивнул головой председатель.— И потом, пожалуйста, принесите мне нарзану! Только холодного, будьте добры.

Сторож открыл дверь и сказал в коридор:

— Пожалуйте. Разрешили.

И вот в фойе, один за другим, вошло семь самых неожиданных, самых неправдоподобных личностей. Сначала показался некто рослый, самоуверенный, в щегольской сюртучной паре цвета морского песка, в отличном белье — розовом с белыми полосками, с пунцовой розой в петличке. Голова у него, глядя спереди, была похожа формой на стоячий боб, а сбоку — на лежачий. Лицо

украшалось крутыми, воинственными толстыми усами и остренькой модной бородкой. На носу темно-синее пенсне, на руках палевые перчатки, в левой руке черная с серебром трость, в правой — голубой носовой платок.

Остальные шестеро производили странное, сумбурное и пестрое впечатление. Точно все они впопыхах перемешали не только одежды, но и руки, и ноги, и головы. Здесь был человек с великолепным профилем римского сенатора, но облаченный почти в лохмотья. Другой носил на себе франтовской фрачный жилет, из-за круглого выреза которого пестрела грязная малорусская рубаха. Здесь были асимметричные лица арестантского типа, но глядевшие с непоколебимой самоуверенностью. И все эти люди, несмотря на видимую молодость, очевидно, обладали большим житейским опытом, развязностью, задором и каким-то скрытым, подозрительным лукавством.

Барин в песочном костюме свободно и ловко поклонился головой и сказал полувопросительно:

— Господин председатель?

— Да, это я,— ответил тот.— Что вам угодно?

— Мы, вот все, кого вы перед собою видите,— начал барин спокойным тоном и, обернувшись назад, обвел рукой своих компаньонов,— мы являемся делегатами от соединенной Ростовско-Харьковской и Одесса-Николаевской организации воров.

Юристы зашевелились на своих местах. Председатель откинулся назад и вытаращил глаза.

— Организации кого-о? — спросил он врастяжку.

— Организации воров,— повторил хладнокровно джентльмен в песочном костюме.— Что касается до меня, то мои товарищи сделали мне высокую честь, избрав меня представителем делегации.

— Очень... приятно,— сказал председатель неуверенно.

— Благодарю вас. Все мы семеро суть обыкновенные воры, конечно, разных специальностей. И вот организация уполномочила нас изложить перед вашим почтенным собранием,— джентльмен опять сделал изящный поклон,— нашу почтительную просьбу о помощи.

— Я не понимаю, собственно говоря, какое отношение...— развел руками председатель.— Но, однако, прошу вас, продолжайте.

— Дело, с которым мы имеем смелость и честь обратиться к вам, милостивые государи,— дело очень ясное, очень простое и очень короткое. Оно займет не более шести-семи минут времени, о чем считаю долгом заранее предупредить ввиду позднего времени и тридцати семи градусов, которые показывает реомюр в тени.— Оратор слегка откашлялся и поглядел на отличные золотые часы.— Видите ли: за последнее время в местных газетах, в отчетах о прискорбных и ужасных днях последнего погрома, довольно часто стали появляться указания на то, что в число погромщиков, науськанных и нанятых полицией, в это отребье общества, состоявшее из пропойц, босяков, сутенеров и окраинных хулиганов, входили также и воры. Сначала мы молчали, но, наконец, сочли себя вынужденными протестовать перед лицом всего интеллигентного общества против такого несправедливого и тяжкого обвинения. Я хорошо знаю, что с законной точки зрения мы — преступники и враги общества. Но вообразите себе хоть на одно мгновение, господа, положение этого врага общества, когда его обвиняют огулом и за то преступление, которого он не только не совершал, но которому готов противиться всеми силами души. Несомненно, ведь несомненно, что обиду от такой несправедливости он почувствует гораздо острее, чем средний, благополучный, нормальный обыватель. Так вот, мы и заявляем, что обвинение, взведенное на нас, лишено всякой не только фактической, но и логической подкладки. Это я и намерен доказать в двух словах, если почтенное собрание соблаговолит меня выслушать.

— Говорите,— сказал председатель.

— Просим, просим,— раздалось среди оживившихся адвокатов.

— Приношу вам мою искреннюю благодарность от лица всех наших товарищей. Поверьте, вы никогда не раскаетесь в вашем внимании к представителям нашей... ну, да, скажем, скользкой, но в то же время несчастной и нелегкой профессии. Итак, мы начинаем, как поет Джиральдони в прологе из «Паяцев».

Кстат я попрошу у господина председателя позволения немного утолить жажду. Сторож, принеси-ка мне, братец, лимонаду и рюмку английской горькой! Не буду говорить, милостивые государи, о нравственной стороне нашего ремесла и о его социальном значении. Вам, без сомнения, лучше меня известен удивительный, блестящий парадокс Прудона: «Собственность—это воровство», парадокс, как хотите, а все-таки до сих пор не опрокинутый никакими причитаниями трусливых мещан и жирных попов. Пример. Отец — энергичный и умный хищник — скопил миллион и оставляет его сыну, рахитическому, бездеятельному и невежественному балбесу, вырождающемуся идиоту, безмозглому червю, истинному паразиту. Миллион рублей — это в потенциале миллион рабочих дней, а стало быть,— право ни с того ни с сего на труд, пот, кровь и жизнь страшной уймы людей. Зачем? За что? Почему? Совсем неизвестно. Итак, господа, отчего же не согласиться с тем положением, что наша профессия является до известной степени как бы поправкой к чрезмерному накоплению ценностей в одних руках, служит протестом против всех тягостей, мерзостей, произвола, насилия, пренебрежения к человеческой личности, против всех этих уродств, порожденных буржуазно-капиталистическим строем современного общества? Социальная революция рано или поздно все равно перевернет этот порядок. Собственность отойдет в область печальных воспоминаний, и тогда — увы! — сами собой исчезнем с лица земли и мы — les braves chevaliers d'industrie [1].

Оратор остановился и, взяв из рук подошедшего сторожа поднос, поставил около себя на столик.

— Виноват. Одну минутку. Получи, братец, и, кстати, когда отсюда выйдешь, то притвори за собою покрепче дверь.

— Слушаю, ваше сиятельство! — гаркнул радостно сторож.

Оратор отпил полстакана и продолжал:

— Однако в сторону философскую, экономическую и социальную сторону вопроса. Не желая утруждать вашего внимания, я должен, однако, заявить, что наше занятие очень близко подходит к понятию того, что зо-

[1] Крупные авантюристы *(франц.)*.

вется искусством, потому что в него входят все элементы, составляющие искусство: призвание, вдохновение, фантазия, изобретательность, честолюбие и долгий, тяжкий искус науки. В нем — увы!—отсутствует только добродетель, о которой писал с такой блестящей и пламенной увлекательностью великий Карамзин.

Милостивые государи, я далек от мысли буффонить перед таким почтенным собранием или отнимать у вас драгоценное время бесцельными парадоксами. Но не могу не подтвердить хоть кратко мою мысль. Чужому уху нелепо, дико и смешно слышать о воровском призвании. Однако смею вас уверить,что такое призвание существует. Есть люди, которые, обладая особенной силой зрительной памяти, остротой и меткостью глаза, хладнокровием, ловкостью пальцев и в особенности тонким осязанием, как будто бы специально рождены на свет божий для того, чтобы быть прекрасными шулерами. Ремесло карманного вора требует необыкновенной юркости и подвижности, страшной точности движений, не говоря уже о находчивости, наблюдательности, напряженном внимании. У некоторых есть положительное призвание взламывать денежные кассы: от самого нежного детства их влекут к себе тайны всяческих сложных механизмов: велосипедов, швейных машин, заводных игрушек, часов. Наконец, господа юристы, есть люди с наследственной враждой собственности. Вы называете это явление вырождением — как вам угодно. Но я скажу, что истинного вора, вора по призванию, не переманишь в будни честного прозябания никакими пряниками: ни хорошо обеспеченной службой, ни даровыми деньгами, ни женской любовью. Ибо здесь постоянная прелесть риска, увлекательная пропасть опасности, замирание сердца, буйный трепет жизни, восторг! Вы вооружены покровительством закона, замка́ми, револьверами, телефонами, полицией, войсками — мы же только ловкостью, хитростью и смелостью. Мы — лисы, а общество — это курятник, охраняемый собаками. Известно ли вам, что в деревнях самые художественные, самые одаренные натуры идут в конокрады и в браконьеры-охотники? Что делать: жизнь до сих пор была так скудна, так плоска, так невыносимо скучна для пылких сердец!

Но я перехожу к вдохновению. Без сомнения, вам,

милостивые государи, приходилось читать о сверхъестественных по своему замыслу и выполнению кражах? Их в газетах, в рубрике происшествий, обыкновенно озаглавливают: «грандиозное хищение», или «гениальная мошенническая проделка», или еще «ловкая проделка аферистов». В этих случаях буржуазные отцы семейства разводят руками и восклицают: «Какое печальное явление! Если бы изобретательность этих отщепенцев, их удивительное знание людской психологии, их самообладание и смелость, их несравненные актерские способности,— если бы все это обратить в добрую сторону! Сколько пользы принесли бы эти люди отечеству!» Но давно известно, милостивые государи, что буржуазные отцы семейств созданы творцом небесным для того, чтобы говорить общие места и пошлости. Мне самому иногда приходится...— что ж, сознаюсь, мы, воры, народ сентиментальный,— приходится где-нибудь в Александровском парке или на морском берегу любоваться прекрасным закатом. И я всегда заранее уверен, что кто-нибудь непременно около меня скажет с апломбом: «А вот, поди, нарисуй так художник,— никто никогда не поверит!» Тогда я оборачиваюсь и, конечно, вижу самодовольного, откормленного отца семейства, который, сказав чужую глупость, радуется на свою собственную. Что же касается до любезного отечества, то буржуазный отец семейства глядит на него, как на жареного индюка: урвал кусок послаще и ешь его потихоньку в укромном месте, и славь бога. Но, собственно, и не в нем дело. Ненависть к пошлости отвлекла меня, и я прошу прощения за лишние слова. Но дело в том, что гений и вдохновение, хотя бы они были обращены и не на пользу православной церкви, все-таки остаются редкими и прекрасными вещами. Все идет вперед, и в воровстве есть свое творчество.

Наконец наше ремесло вовсе не так уж легко и весело, как это кажется с первого взгляда. Оно требует долговременного опыта, постоянных упражнений, медленной и мучительной тренировки. Оно заключает в себе сотни гибких, осторожных приемов, недоступных самому ловкому фокуснику. Но, не желая быть голословным, я, милостивые государи, сейчас произведу перед вами несколько опытов. Прошу вас быть покойными за исполнителей. Все мы в настоящее время находимся на легальной свободе,

и хотя за нами, по обыкновению, следят и нас знают наперечет в лицо, и наши фотографии украшают альбомы всех сыскных отделений, но покамест нам нет надобности скрываться ни от кого. Если же впоследствии вы узнаете кого-либо из нас при иных обстоятельствах, то, пожалуйста, мы вас об этом усиленно просим, поступайте всегда сообразно с тем, что вам велят профессиональный долг и обязанности гражданина. Мы же, в благодарность за ваше внимание, решили объявить вашу частную собственность неприкосновенной, облечь ее воровским табу. Однако к делу.

Обернувшись назад, оратор приказал:

— Сысой Великий, прошу.

Огромный сутуловатый малый, с руками по колени, человек без лба и без шеи, похожий на заспанного ярмарочного геркулеса, выдвинулся вперед. Он тупо улыбался и от смущения почесывал левую бровь.

— Та тут нема чого робить,— сказал он сипло.

Но за него заговорил джентльмен в песочном костюме, обращаясь к собранию:

— Милостивые государи. Перед вами один из почтенных членов нашей организации. По специальности он взламыватель сундуков, железных касс и других хранилищ денежных знаков. Иногда при своих вечерних занятиях он пользуется для расплавки металла электрическим током от осветительных проводов. К сожалению, здесь ему не на чем показать лучшие номера своего искусства. Всякую дверь, с самым сложным замком, он отпирает безукоризненно. Кстати, вот эта дверь, должно быть, заперта?

Все обернулись назад к двери, на которой висел печатный плакат: «Вход за кулисы посторонним лицам строго воспрещен».

— Да, эта дверь, по-видимому, заперта,— подтвердил председатель.

— И чудесно. Сысой Великий, будьте любезны.

— Та це ж пустое дило,— сказал великан лениво и пренебрежительно.

Он подошел к двери, потряс ее сначала осторожно рукой, потом вытащил из кармана какой-то маленький блестящий инструмент, сделал им, нагнувшись к замку, несколько почти незаметных движений и вдруг, выпря-

мившись, распахнул дверь быстро и бесшумно. Председатель следил за ним с часами в руках: все дело заняло не более десяти секунд.

— Благодарю вас, Сысой Великий,—сказал вежливо джентльмен в песочном костюме.— Вы можете идти на место.

Но председатель возразил с некоторой тревогой:

— Виноват. Все это интересно и очень поучительно, но... скажите, входит ли в профессию вашего уважаемого коллеги также и искусство затворять двери?

— Ah, mille pardons! [1] — торопливо поклонился джентльмен.— Я упустил это из виду. Сысой Великий, будьте добры...

Дверь была так же ловко и бесшумно заперта. Уважаемый коллега, переваливаясь и усмехаясь, возвратился к своим друзьям.

— Теперь я буду иметь честь показать вам искусство одного нашего товарища, оперирующего по части карманных краж в театрах и на вокзалах,— продолжал оратор.— Он еще чрезвычайно молод, но по его тонкой работе вы можете до известной степени судить о том, что из него выйдет впоследствии при некотором прилежании. Яша!

Смуглый юноша в синей шелковой рубахе и лакированных сапогах, похожий на цыгана, развязно вышел вперед и остановился около оратора, поигрывая кистями пояса и весело щуря большие, с желтыми белками, наглые черные глаза.

Джентльмен в песочном костюме сказал искательно:

— Господа... я принужден попросить... не согласится ли кто-нибудь... подвергнуть себя маленькому опыту. Уверяю вас, что это будет только пример, так сказать, игра...

Он обводил сидящих глазами. Маленький, толстенький, черный, как жук, караим вышел из-за своего столика.

— К вашим услугам,— сказал он смешливо.

— Яша! — кивнул головой оратор.

Яша подошел вплотную к адвокату. Теперь на левой, согнутой руке висел у него блестящий, шелковый, узорчатый фуляр.

— Ежели, примерно, в церкви, или, скажем, в буфе-

[1] Ах, тысячу извинений! *(франц.)*.

те в театре, или тоже в цирке...— начал он сладенькой скороговоркой,— сейчас вижу, это идет фрейер... извините, господин, вот хоть бы вы... фрейер — тут ничего нет обидного: просто богатый господин, который приличный и ничего не понимает. Первым долгом: какие могут быть предметы? Предметы самые разнообразные. Обыкновенно сначала часы с чепочкой. Опять-таки — где? Некоторые носят в верхнем кармане жилеточки — вот здесь, некоторые в нижнем — вот тут. Портмонет же почти всегда лежит в брючных карманах. Разве уж какой совсем ёлод положит в пиджак. Затем — порцыгар. Натурально, прежде поглядишь, какой: золотой или серебряный с монограмом, а из кожаного кто же станет мараться, если себя уважаешь? Порцыгар может быть в семи карманах: здесь, здесь, здесь, вот здесь, здесь, там и тут. Не так ли-с? Сообразно с тем и оперируешь.

Говоря таким образом, молодой вор улыбался, блестел глазами прямо в глаза адвокату и быстрыми, ловкими движениями правой руки указывал на разные места в его одежде.

— Опять-таки может обращать внимание и булавочка вот тут-с, в галстуке. Однако мы избегаем присвоять. Теперь такой народ пошел, что редко из мужчин носят настоящие камушки. И вот я подхожу-с. Сейчас обращаюсь по-благовоспитанному: господин, дозвольте прикуриться, или еще что-нибудь, одно слово, завожу разговор. Первое дело что? Первым делом гляжу ему прямо в зеньки, вот так, а работают у меня только два пальца: вот этот-с и вот этот-с.

Яша поднял в уровень своего лица два пальца правой руки, указательный и средний, и пошевелил ими.

— Видали? Вот этими двумя пальцами вся музыка и играет. И, главное, ничего тут нет удивительного: раз, два, три—и *готово*! Всякий неглупый человек может весьма легко выучиться. Вот и все-с. Самое обыкновенное дело. Мое почтение-с.

Вор легко повернулся и пошел было на место.

— Яша! — веско и многозначительно произнес джентльмен в песочном костюме.— Я-ша! — повторил он строго.

Яша остановился. Он был спиной к адвокату, но, должно быть, о чем-то красноречиво упрашивал глаза-

ми своего представителя, потому что тот хмурил брови и отрицательно тряс головой.

— Яша! — в третий раз с выражением угрозы произнес он.

— Эх! — крякнул досадливо молодой вор и нехотя повернулся опять лицом к адвокату.— А где же ваши часики-то, господин? — произнес он тонким голосом.

— Ах! — схватился караим.

— Вот видите, теперь — ах! — продолжал Яша укоризненно.— Вы все время на мою правую ручку любовались, а я тем временем ваши часики левой рукой соперировал-с. Вот именно этими двумя пальчиками. Из-под кашны-с. Для того и кашну носим. А как у вас чепка нестоящая, шнурок, должно быть, на память от какой мамзели, а часики золотые, то я чепку вам оставил в знак предмета памяти. Получайте-с,—прибавил он со вздохом, протягивая часы.

— Однако ловко! — сказал смущенный адвокат.— Я и не заметил.

— Тем торгуем,— заметил Яша с гордостью.

Он развязно возвратился к своим товарищам. Оратор между тем отпил из стакана и продолжал:

— Теперь, милостивые государи, следующий из наших сотрудников покажет вам несколько обыкновенных карточных вольтов, которые в ходу на ярмарках, на пароходах и на железных дорогах. С помощью трех карт, например, дамы, туза и шестерки, он весьма удобно... Впрочем, может быть, господа, вас утомили эти опыты?

— Нет, все это крайне интересно,— любезно ответил председатель.— Я бы хотел только спросить,— если, конечно, мой вопрос не покажется вам нескромным,— ваша специальность?

— Моя... гм... нет, отчего же нескромность?.. Я работаю в больших брильянтовых магазинах, а другое мое занятие — банки,— со скромной улыбкой ответил оратор.—Нет, вы не думайте, что мое ремесло легче других. Достаточно того, что я знаю четыре европейских языка: немецкий, французский, английский и итальянский, не считая, понятно, польского, малорусского и еврейского. Так как же, господин председатель, производить ли дальнейшую демонстрацию?

Председатель взглянул на часы.

— К сожалению, у нас слишком мало времени,— сказал он.— Не перейти ли нам лучше к самой сути вашего дела? Тем более что опыты, которых мы были только что свидетелями, в достаточной мере убеждают нас в ловкости ваших почтенных сочленов. Не правда ли, Исаак Абрамович?

— О да, совершенно!—подтвердил с готовностью адвокат-караим...

— И прекрасно,— любезно согласился джентльмен в песочном костюме.— Графчик,— обратился он к курчавому блондину, похожему на маркера в праздник,— спрячьте вашу машинку, она не нужна больше. Мне осталось, господа, всего несколько слов. Теперь, когда вы удостоверились в том, что наше искусство хотя и не пользуется просвещенным покровительством высокопоставленных особ, но оно все-таки — искусство; когда вы, может быть, согласились со мною, что это искусство требует многих личных качеств, кроме постоянного труда, опасностей и неприятных недоразумений,— вы, надеюсь, поверите также, что к нашему искусству можно пристраститься и—как это ни странно с первого взгляда—любить и уважать его. Теперь представьте себе, что вдруг известному, талантливому поэту, легенды и поэмы которого украшают лучшие наши журналы, вдруг ему предлагают написать в стихах, по три копейки за строчку и притом за полной подписью, рекламу для папирос «Жасмин»? Или кого-нибудь из вас, блестящих и знаменитых адвокатов, вдруг оклеветали в том, что вы промышляете лжесвидетельством по бракоразводным делам или пишете в кабаках прошения к градоначальнику для извозчиков? Конечно, ваши родные, друзья и знакомые не поверят этому, но слух уже отравил вас, и вы переживаете мучительные минуты. А теперь представьте себе, что такая позорная, неизвестно кем пущенная клевета грозит не только вашему доброму имени и спокойному пищеварению, но угрожает вашей свободе, вашему здоровью, даже вашей жизни?

В таком именно положении находимся мы, оклеветанные газетами воры. Я должен оговориться. Существует категория прохвостов — passez moi le mot [1],— которых мы называем маменькиными сынками и с которыми нас—

[1] Простите мне это слово *(франц.)*.

увы! — смешивают. Это люди без стыда и без совести, промотавшаяся шушера, именно маменькины оболтусы, ленивые и неуклюжие дармоеды, неумело проворовавшиеся приказчики. Ему ничего не стоит жить на счет своей любовницы-проститутки, подобно самцу рыбы макрели, которая плавает за самкой и питается ее извержениями; он способен обобрать и обидеть ребенка в темном переулке, чтобы отнять у него три копейки; он убьет спящего и будет пытать старуху. Эти люди — язва нашего ремесла. Для них не существует ни прелестей, ни традиции искусства. Они следят за нами, за настоящими ловкими ворами, как шакалы за львом. Положим, мне удалось сделать большое дело. Не говоря уже о том, что при продаже вещей или при промене билетов я оставляю в руках ростовщиков до двух третей всей суммы, не говоря даже об обычных подачках неподкупной полиции,—я должен еще уделить некоторую часть каждому из этих паразитов, который хоть мельком, случайно, понаслышке знает о моем деле. Мы их так и называем: мотиенты, от слова «мотя», что значит — половина, испорченное — moitié... своеобразная филология. Я даю только за то, что он знает и может донести. И чаще всего бывает так, что, воспользовавшись своею частью, он все-таки мгновенно бежит в полицию и доносит на меня, чтобы заработать еще пять рублей. Мы, честные воры... да, да, смейтесь, господа, я все-таки говорю: мы, честные воры, презираем этих гадов. У нас есть для них еще одна кличка, позорная, как клеймо, но я не смею ее выговорить здесь из уважения к месту и людям. О да, они услужливо примут приглашение идти на погром; но одна мысль о том, что нас могут смешать с ними, в сто раз обиднее для нас, чем самое обвинение в погроме.

Милостивые государи! До сих пор, пока я говорил, я часто замечал на ваших лицах улыбки. Я понимаю вас: наше присутствие здесь, наше обращение к вашей помощи, наконец самая неожиданность такого явления, как систематическая воровская организация, с делегатами-ворами и уполномоченным от делегации — вором-профессионалом, все это настолько оригинально, что не может не вызвать улыбки. Но теперь я буду говорить от глубины моего сердца. Сбросимте, господа, внешние оболочки. Люди говорят к людям.

Почти все мы грамотны и все любим чтение и читаем не только «Похождения Рокамболя», как пишут о нас наши бытописатели. Или, вы думаете, у нас не обливалось кровью сердце и не горели щеки, как от пощечин, от стыда за все время этой несчастной, позорной, проклятой, подлой войны? И неужели вы думаете, что у нас не пылают души от гнева, когда нашу родину полосуют нагайками, топчут каблуками, расстреливают и плюют на нее дикие остервенелые люди? Неужели вы не поверите тому, что мы — воры — с трепетом восторга встречаем каждый шаг грядущего освобождения?

Каждый из нас понимает — разве немногим хуже, чем вы, господа адвокаты,— истинную суть погромов. Каждый раз, после крупной подлости или постыдной неудачи, совершив ли казнь мученика в темном крепостном закоулке, передернув ли на народном доверии, кто-то скрытый, неуловимый пугается народного гнева и отводит его русло на головы неповинных евреев. Какой дьявольский ум изобретает эти погромы — эти гигантские кровесосные банки, эти каннибальские утехи для темных, звериных душ?

Но все мы отлично видим, что наступают последние судороги бюрократии. Простите, я расскажу образно. У одного народа был главный храм, и в нем за занавеской, охраняемой жрецами, обитало кровожадное божество. Ему приносились человеческие жертвы. Но вот однажды смелые руки сорвали завесу, и все тогда увидели, вместо бога, огромного, мохнатого, прожорливого паука, омерзительного спрута. Его бьют, в него стреляют, его уже расчленили на куски, но он все-таки в бешенстве последней агонии простирает по всему древнему храму свои гадкие, цепкие щупальца. И жрецы, сами приговоренные к смерти, толкают в лапы чудовища всех, кого захватят их дрожащие от ужаса пальцы.

Простите. То, что я сказал, вероятно, несвязно и дико. Но я несколько взволнован. Простите. Я продолжаю. Нам, ворам по профессии, более чем кому-либо другому, известно, как делались эти погромы. Мы толкаемся повсюду: в кабаках, на базарах, в чайных, по ночлежкам, по площадям, в порту. Да, мы, именно мы, можем присягнуть перед богом, перед людьми, перед потомством, что мы видели, как грубо, не стыдясь и почти не прячась,

организовала полиция массовые избиения. Мы их всех знаем в лицо — и одетых и переодетых. Они предлагали многим из нас принять участие, но никто из наших не был настолько подл, чтобы дать хоть ложное, хоть вынужденное трусостью согласие.

Вы знаете, конечно, как все слои русского общества относятся к полиции? Ее не уважают даже те, кто питается ее темными услугами. Но мы презираем и ненавидим ее втрое, в десять раз. И не за то, что многих из нас истязали в сыскных отделениях, в этих настоящих застенках, били смертным боем, били воловьими жилами и гуттаперчевыми палками, чтобы выпытать сознание или заставить предать товарища. Да, конечно, и за то. Но мы, воры, мы все, сидевшие в тюрьме, с безумной страстностью обожаем свободу. И потому-то именно мы и ненавидим тюремщиков всею ненавистью, на которую способно человеческое сердце. Я скажу про себя. Меня трижды истязали полицейские сыщики до полусмерти. У меня отбиты легкие и печень. По утрам я кашляю кровью, пока не отдышусь. Но, если мне скажут, что я, пожав руку самого главного генерала-от-полиции, предотвращу этим такое же четвертое избиение, — я откажусь!

И вот газеты говорят, что из этих рук мы приняли деньги иудины, омоченные свежей человеческой кровью. Нет, господа, это — клевета, колющая нас в самую душу с нестерпимой болью. Ни деньги, ни угрозы, ни обещания не сделают нас наемными братоубийцами или их пособниками.

— Никогда! Нет, нет! — глухо зароптали сзади оратора его товарищи.

— Я скажу больше, — продолжал вор. — Многие из нас во время этого погрома защищали избиваемых. Наш товарищ, носящий кличку Сысой Великий, — вы его только что видели, господа,— квартировал в это время у еврея-шмуклера на Молдаванке. И он отстоял своего хозяина с кочергой в руках против целой орды убийц. Правда, Сысой Великий обладает страшной физической силой, и это хорошо известно многим из обитателей Молдаванки, но все-таки согласитесь, господа, разве Сысой Великий не глядел в эти минуты прямо в лицо смерти? Другой наш товарищ — Мартын Рудо-

«ПОЕДИНОК»

«ШТАБС-КАПИТАН РЫБНИКОВ»

коп — вот этот самый, господа, — оратор указал на державшегося сзади бледного бородатого мужчину с прекрасными темными глазами, — он спас старую незнакомую еврейку, за которой гналась толпа этой рвани. Ему за это пробили голову железом, сломали в двух местах руку и перебили ребро. Он только что из больницы. Вот как поступили наиболее пылкие и сильные духом. Другие дрожали от злости и плакали от бессилия.

Никто из нас не забудет ужасов этих кровавых дней, этих ночей, озаренных пламенем пожаров, этих женских воплей, этих неубранных, истерзанных маленьких детских трупов. Но никто из нас зато и не думает, что полиция и чернь — начало зла. Эти маленькие, глупые, омерзительные зверюшки — они только бессмысленный кулак, управляемый подлым, расчетливым умом, возбуждаемым дьявольской волей...

Да, господа адвокаты, — продолжал оратор, — мы — воры и заслужили ваше законное презрение. Но когда вам, лучшим людям, понадобятся на баррикадах ловкие, смелые, послушные молодчики, которые сумеют весело, с песней и шуткой встретить смерть ради лучшего слова в мире — свобода, — неужели вы из-за застарелой брезгливости оттолкнете, прогоните нас?

Черт возьми! Во время французской революции первой жертвой была проститутка. Она вскочила на баррикаду и, подобрав с шиком платье, крикнула: «Ну-ка, солдаты, кто из вас посмеет выстрелить в женщину?» Да, черт! — воскликнул громко оратор и ударил кулаком по мраморной доске стола.— Ее убили, но, ей-богу, ее жест был великолепен и ее слова бессмертно-прекрасны.

Если вы в великую минуту прогоните нас, мы скажем вам, о незапятнанные херувимы: «А что если человеческие мысли обладали бы способностью ранить, убивать, лишать людей чести и имущества, то кто из вас, о невинные голуби, не заслужил бы кнута и каторги?» И тогда мы уйдем от вас и построим свою собственную веселую, смешную, отчаянную воровскую баррикаду и умрем с таким дружным пением, что вы позавидуете нам, белоснежные!

Впрочем, я опять увлекся. Простите. Кончаю. Вы видите теперь, господа, какие чувства вызвала в нас га-

зетная клевета. Верьте же нашей искренности и сделайте что-нибудь, чтобы снять с нас это кровавое и грязное пятно, так несправедливо нас заклеймившее. Я кончил.

Он отошел от стола и присоединился к своим товарищам. Адвокаты вполголоса о чем-то перешептывались, подобно тому как это делают члены суда на заседаниях. Потом председатель встал и объявил:

— Мы безусловно доверяем вам и приложим все усилия, чтобы очистить имя вашей корпорации от этого тяжелого обвинения. Вместе с тем мои товарищи уполномочили меня выразить вам, господа, наше глубокое уважение за ваши горячие гражданские чувства. Я же, лично с своей стороны, прошу у представителя делегации позволения пожать ему руку.

И эти два человека, оба высокие и серьезные, стиснули друг другу руки крепким, мужским пожатием.

Адвокаты расходились из театра. Но четверо из них замешкались в передней около вешалок: Исаак Абрамович никак не мог отыскать своей новой желтой прекрасной шляпы-панамы. Вместо нее на деревянном колышке висел суконный картуз, лихо приплюснутый с боков.

— Яша! — вдруг послышался снаружи, по ту сторону дверей, строгий голос недавнего оратора.— Яша, я тебе в последний раз говорю, черт бы тебя побрал!.. Слышишь? Ну?..

Тяжелая дверь распахнулась. Вошел джентльмен в песочном костюме. В руках у него была шляпа Исаака Абрамовича; на лице играла милая, светская улыбка.

— Господа! Ради бога простите. Маленькое, смешное недоразумение. Один из наших товарищей совершенно случайно обменял шляпу. Ах, это ваша? Тысячу извинений. Швейцар, что же ты, братец, зеваешь? А? Подай сюда вот эту фуражку. Еще раз простите, господа.

И с любезными поклонами, все с тою же милою улыбкой, он быстро вышел на улицу.

НА ГЛУХАРЕЙ

Я не могу себе представить, какие ощущения в мире могут сравниться с тем, что испытываешь на глухарной охоте. В ней так много неожиданного, волнующего, таинственного, трудного и прелестного, что этих впечатлений не забудешь никогда в жизни.

Просыпаешься среди темной, безлунной, мартовской ночи и сначала никак не можешь сообразить, где ты находишься. Лежишь на земляном полу подле целой груды раскаленных головешек, по которым то и дело трепетно пробегают последние огненные языки. Бревенчатые стены и низкий бревенчатый потолок больше чем на палец покрыты черной, висящей, как бахрома, сажей. Пространство в половину кубической сажени. Вместо двери — узкое отверстие, сквозь которое глядит ночь, еще более темная, чем эти закоптелые стены.

Но отчаянный храп человека, лежащего по другую сторону костра, живо возвращает память не успевшему еще проснуться как следует сознанию. Мы находимся в старой, заброшенной «угольнице», в самом центре Полесья, в сорока верстах от какого бы то ни было жилья, кроме одиноких лесных сторожек, затерянных среди непроходимой чащи. Нас окружает со всех сторон сплошной вековой бор, равный по величине доброму немецкому княжеству.

Вспоминается весь вчерашний день: ранний торопливый выезд и узкая лесная дорожка, вьющаяся самыми неожиданными зигзагами между деревьев, —

дорожка, по которой умеют пробираться только привычные, крошечные, но сердитые и бойкие полесские лошаденки. Целый день мы то пробирались среди сугробов рыхлого, грязного снега, то вязли в густой грязи, то тряслись и подпрыгивали вместе с телегой по узловатым корневищам, пересекающим дорогу, то на песчаных, уже обсохших пригорках сходили на землю и криками ободряли усталых, потемневших от поту лошадей, то переправлялись мимо снесенных половодьем мостов через неглубокие, но широкие и быстрые, коричневые от грязи, лесные ручьи... Наконец около одной сторожки дорога совсем прекратилась, и мы добрались до угольницы пешком, средь быстро падавших на землю сумерек, по едва заметным тропинкам, злые, голодные, поминутно сбиваясь с дороги и не доверяя друг другу...

Неподвижный, устремленный на меня взгляд заставляет меня обернуться. Мой спутник уже не спит. Он спокойно смотрит на меня сонными, ничего не выражающими глазами и усиленно посасывает потухшую короткую трубку. Увидев, что я уже бодрствую, он языком передвигает трубку в угол рта и произносит глухо:

— Эге!.. Не спите, паныч? А я целую ночь не сплю. Все вас стерегу.

— То-то ты храпел так.

— Ну-ну!.. Я одним ухом сплю, а другим все слушаю... Я хитрый... А ну-ка, паныч, который теперь час будет?

Я смотрю на часы.

— Час без четверти... Может быть, собираться?

Трофим вяло глядит на потухающие уголья, задумчиво чешет затылок, сдвинув шапку совсем на глаза, потом чешет поясницу.

— А что ж!—вдруг восклицает он с неожиданным приливом энергии.— Собираться так собираться. Лучше пойдем себе помаленьку, не будем торопиться...

Сборы наши не занимают много времени. Я стягиваю потуже вокруг талии пантронташный ремень и выпрастываю из-под него кверху бока свитки, чтобы дать больше свободы рукам, сильно встряхиваюсь всем телом, чтобы убедиться, что ничто на мне не бренчит и

не болтается, натягиваю кожаные бахилы[1] и крепко обвязываю их повыше колен вокруг ног, а тем временем Трофим дает мне последние наставления, и хотя я их слышал по крайней мере раз десять, я слушаю еще раз со вниманием и новым любопытством.

Трофим Щербатый — казенный лесник, благосклонному вниманию которого меня рекомендовал лесничий — мой родственник, а его непосредственный начальник. Трофим беспечен, груб, немного хвастун и лентяй и втихомолку торгует казенной дичью. Это его отрицательные качества. Но зато он смел, знает лес не хуже любого зверя, прекрасный стрелок и неутомимый охотник. Ко мне он относится покровительственно.

— Сначала глухарь с опаской играет, — наставительно говорит Трофим. — Чок! и замолчал. Сидит себе на суку и во все стороны слушает. Потом опять: чок, чок! — и опять тихо. Уже тут спаси вас господи, паныч, поворохнуться или сучком треснуть — только и услышите, как он крыльями по всему лесу захлопает. Потому что его хоть и называют — глухарь, а нет в целом свете такой чуткой птахи, как он... Потом вдруг как зашипит! Вот тут-то вы уж что есть духу скачите вперед. Изо всей силы... Прыгнули раз с пять — и стой! И—ни мур-мур. Даже не пять, а хоть четыре, аль бы три сначала. И уж сто-ой... опять жди песни. Тут он вскорости опять заиграет: чок-чок... чок-чок... чок-чок... и опять зашипел. Вы опять вперед и опять стой — ожидай песню. Иной глухарь как разойдется, так без передышки песен тридцать сыграет, а вы только знайте себе, скакайте вперед и больше ничего. А потом вдруг замолчит и а-ни-ни, как отрезал. Полчаса, подлец, будет прислушиваться. Ну, уж тут ничего не сделаешь: как стал, так и стой. Ждите. Другой раз в багне[2] по пояс загрузнешь, дрожишь весь, а терпи! Ноги замлеют, спина ноет, руки болят, а все-таки жди... А как он только опять начал играть, так вы, паныч, одну песню пропустите. Бывают из них такие прохвосты, что

---

[1] Бахилы — род толстого кожаного чулка. Бахилы выделываются из цельного куска кожи и потому совершенно не пропускают воды. *(Прим. автора.)*

[2] Багно — вязкое болото. *(Прим. автора.)*

стрельца обдуривают. Это харкуны называются. Зачокает, зачокает... ты — скок, а он и замолчал. Подождет немного и давай харкать: хрр... хрр... Это он другим глухарям весть подает: берегись, говорит, стрелец идет. И уж если где такой харкун завелся—все токовище ни к чертову батьку не годится. Только и знает, холера, что сидит на суку да сторожит, не идет ли кто.

Мы подымаемся по трем земляным ступенькам, вылезаем сквозь узкое отверстие, боком, из угольницы и сразу попадаем в такую глубокую темень, что кажется, будто нас внезапно окунули в какую-то гигантскую чернильницу. Я остановился вновь в нерешительности, почти в страхе. Чтобы обмануть себя, я нарочно на несколько секунд закрываю глаза и потом быстро раскрываю их. Нет! — ночь по-прежнему черна и непроницаема до жуткости. Я подымаю голову вверх. Но на небе нет ни одной звезды, и у меня вдруг мелькает мистическая, тревожная мысль: неужели все живущее осуждено погрузиться после смерти в такой же непобедимый, вечный, ужасный мрак?

— Ну, что же вы, паныч? Идите за мной,— слышу я где-то впереди себя глухой голос Щербатого.

И я иду, прислушиваясь к его шагам, боязливо простирая перед собой руки и осторожно ощупывая ногами почву. Меня ни на секунду не покидает ожидание, что вот-вот я наткнусь лицом на острый сучок, и от этого ожидания я испытываю в глазах странную, тупую боль, точно кто-то сильно давит на них изнутри.

Мы идем без дороги, прямиком. Ноги по колено без всякого усилия входят в жидкий, как кашица, зернистый, холодный снег, под которым при каждом шаге громко хлюпает вода. То мы идем по сплошной грязи, с трудом вытаскивая из нее ноги, иногда взбираемся на сухие и твердые пригорки, иногда шагаем по мшистым кочкам, подающимся мягко и упруго вниз, когда на них ступаешь. Но где мы? Куда мы идем? — я не знаю. Я с первых же шагов перестал ориентироваться, и теперь наше шествие представляется мне чем-то нелепым, тяжелым и фантастическим, как кошмар. Порою ветки каких-то деревьев хлещут меня по лицу и цепляются, точно невидимые длинные руки, за мои плечи. Порою прямо передо мной, в аршине от моего лица,

вдруг вырастает черный толстый ствол дерева. Я останавливаюсь, отшатываюсь в испуге и протягиваю вперед руки... но пальцы мои встречают все тот же непроницаемый для глаз, пропитанный тьмою воздух.

— Идите, идите, паныч, — ободряет меня Щербатый. — Тут недалеко... всего полторы версты... Можно бы было... О черт!..

Я слышу, как он падает куда-то вниз, ломая сухой валежник, и как потом его тело с размаху бултыхает в воду. Мной овладевает дикий, эгоистический страх и какая-то растерянная, беспомощная, тоскливая озлобленность. Мне кажется, что, если я сделаю еще хоть один шаг среди этой грозной темноты, я тоже полечу в глубокую, холодную и грязную трясину.

— В яму угодил! — говорит откуда-то снизу Щербатый, и я слышу, как он, вылезая, отфыркивается и топчется ногами по грязи. — Держитесь левее, паныч, левее... Идите на меня... вот так... И как это я в нее так ловко нацелился? Ведь, кажись, добре знаю. В эту самую яму в позапрошлом году лось попал, весною. Так и подох в ней, не мог выкарабкаться...

Его спокойствие передается и мне, и опять я бреду, ощупывая, как слепец, руками воздух и прислушиваясь к шагам лесника.

— Много ли осталось, Трофим?

— Осталось? Да еще с версту будет. Нет, не будет с версту... Меньше... Будет еще с три четверти.

Чтобы обмануть свое нетерпение, я начинаю считать шаги. «Отсчитаю хоть пятьсот шагов,— думаю я, — тогда уж самые пустяки останутся». И я уже успеваю насчитать более двухсот, как вдруг наталкиваюсь на спину остановившегося Щербатого.

— Чего ты стал, Трофим?

— Тут полегче надо, паныч. Будем речонку переходить.

Я слышу, как быстро-текущая вода бурлит и плещется вокруг Трофимовых сапог, и тотчас же чувствую, что и я сам постепенно вхожу в воду, которая упруго и яростно бьется о мои ноги. Разлившаяся лесная речонка неглубока, но она так стремительно несется вниз по крутому косогору, что я принужден волочить ноги по дну из опасения быть сбитым течением. По временам

я попадаю на более глубокие места и каждый раз, внезапно погружаясь в них, чувствую, как у меня от испуга дыхание пересекается быстрым и коротким вздохом. Мне немного жутко, потому что самой воды я в темноте не вижу, но со всех сторон, далеко вокруг себя, я слышу ее торопливое журчание, таинственные всплески и гневный ропот...

Наконец мы выходим на плотный, упругий песчаный берег. Я только теперь замечаю, что ночь немного посветлела,— замечаю потому, что смутно вижу спину шагающего впереди Трофима и неясные очертания сосен. Трофим на ходу поворачивает ко мне голову и шепчет:

— Ну, паныч, идите потихоньку, не шумите. Сейчас придем на токовище. «Он» еще с вечера уселся на место, а теперь проснулся и слушает...

— А скоро он начнет? — спрашиваю я также шепотом.

— Тсс... тихонько!.. Сперва журавли заиграют.

Теперь мы подвигаемся медленно, шаг за шагом. Под ногами у нас узенькая лесная тропинка, обледенелая и скользкая. Трофим идет совсем бесшумно в своих легких лыковых постолах, но я то и дело наступаю на какие-то веточки и сучки, и мне кажется, что их треск оглушительно разносится по всему лесу.

Трофим останавливается и, не оборачиваясь, подзывает меня к себе рукою. Я подхожу. Он наклоняется к моему уху и шепчет так тихо, что я с трудом разбираю слова:

— Здесь станем. Не ворошитесь, паныч.

Ночь побледнела еще больше. От земли поднялся густой туман. Я слышу его влажное прикосновение на своем лице, слышу его сырой запах. На его седом фоне ближайшие сосны однотонно плоско и неясно вырисовываются своими прямыми, голыми стволами. В их неподвижности среди этой глубокой тишины, среди этого холодного, мокрого тумана чувствуется что-то суровое, сознательно печальное и покорное.

Я не знаю, сколько прошло времени, может быть, пять минут, может быть, полчаса. Внезапно мой слух поражается такими странными звуками, что я невольно вздрагиваю от неожиданности. Это какие-то высокие, необыкновенно звучные и гармоничные стоны, изда-

ваемые целыми десятками голосов. Я никак не могу определить, откуда они несутся: справа, слева, спереди или сзади? Они торопятся, вторят друг другу, перегоняют друг друга, сплетаются и вновь расходятся, образуя своеобразный размер и оригинальную мелодию, и разбуженный лес откликается на нее звонким и чистым отзвуком.

— Журавли! — еле слышно произносит Трофим.

— Уу-рлы, урлу-рлы, урлу-рлы, — стонет по всему лесу невидимый хор, и едва только он замолкает, как в ответ ему откуда-то с противоположного конца леса раздаются такие же гармонические стоны другого стада проснувшихся журавлей, потом отзывается третье стадо, за ним четвертое... Эта утренняя перекличка служит сигналом для всего леса. Заяц начинает вопить своим дрожащим, гнусавым и прерывающимся сопрано, где-то близко около нас чуфыкнул задорно и резко тетерев, сова расхохоталась на верхушке высокого дерева... И опять все стихает, погружается в прежнюю чуткую дремоту, и опять мы стоим молча и неподвижно и, еле дыша и теряя счет времени, подслушиваем тайны леса.

Вдруг Трофим встрепенулся, вытянул шею, подался вперед всем туловищем и так и замер в напряженной выжидательной позе. Очевидно, его изощренный слух уловил какие-то отдаленные, слабые звуки, но я, как ни прислушивался, как ни насиловал свое внимание, ничего не мог различить, кроме непрерывного глухого шума, раздававшегося у меня в ушах.

— Играет! — прошептал Трофим. — Слышите?

— Нет.

— Все равно, идите за мной. Как я скокну, так и вы. Нога в ногу... А как услышите совсем хорошо, тогда скажите... я тогда от вас отстану... О! Чуете? Опять заиграл.

Но я по-прежнему ничего не слыхал. Вдруг Трофим, точно подброшенный сильной пружиной, сорвался с места, сделал три огромных прыжка прямо по глубокому снегу и остановился, точно окаменелый. Я не мог поспеть за ним и пропустил лишний шаг.

Трофим молча повернулся ко мне и с исказившимся, злым и взволнованным лицом погрозил мне пальцем.

Через минуту пружина опять бросила его вперед. Теперь я изловчился и, попадая ногами как раз в те самые места, которые только что оставляли ноги Трофима, успел остановиться вместе с ним. Трофим одобрительно кивнул головой.

Мы сделали таким образом около двадцати перебежек, когда я, наконец, расслышал играющего глухаря. Это были сухие, отрывистые звуки с металлическим оттенком, похожие на то, как если бы кто щелкал ногтем по пустой жестяной коробке. Они следовали друг за другом попарно, сначала очень редко, с интервалом в несколько секунд, но потом повторялись все чаще и чаще, пока не переходили в мелкую сливающуюся дробь. В этот момент мы с Трофимом стремглав бросились вперед, высоко вскидывая ноги и разбрасывая вокруг себя жидкий снег.

— Трофим, — шепнул я, дернув за рукав лесника. — Теперь я...

Но он грубо вырвал у меня руку и укоризненно замотал головой. И только тогда, когда глухарь опять зачастил и перешел в дробь, Трофим резко обернулся ко мне и закричал:

— Можно говорить только под песню. Постойте!

Дождавшись еще одной дроби, он прибавил так же громко и торопливо:

— Помните: целься под песню, заряжай под песню, стреляй под песню...

Наконец во время третьей дроби он сказал уже более спокойно:

— Захотите кашлять — ждите песню. Ну... идите.

Глухарь тотчас же заиграл в четвертый раз. Я ринулся вперед. В то же время побежал и Трофим, но не за мной, а в противоположную сторону. Таким образом, в пять перебежек мы потеряли друг друга, и я остался один.

У меня так сильно колотилось сердце и так дрожали ноги, что я решился пропустить несколько песен, чтобы оправиться. Тут я расслышал совершенно ясно и второе колено. Чистая дробь незаметно и быстро переходит в сплошной жесткий и резкий звук, похожий скорее на скрежет, чем на шипение, и напоминающий звук, происходящий от трения двух металли-

ческих поверхностей. Этот скрежет продолжается недолго — секунды четыре, — но зато в эти секунды глухарь абсолютно ничего не видит и не слышит, потому что плотно зажмуривает глаза, а уши у него герметически закупориваются отростками челюстных костей. В эти секунды можно выпалить из пушки в расстоянии четверти аршина от его головы: он не обратит на выстрел никакого внимания и все-таки докончит свое колено. Уже много времени спустя я узнал, что все эти звуки глухарь производит своим кривым и твердым клювом. Глухарь — единственная птица, у которой нет языка, но зато огромная полость его рта представляет собою прекраснейший резонатор. Начиная песню, он ударяет верхнею частью клюва о нижнюю. Ударит и прислушается. Потом еще ударит и еще прислушается, и ударяет все чаще и чаще, пока не переходит в дробь. Тогда глухарь уже не в силах остановиться. В диком любовном экстазе он трет одной челюстью о другую, ожесточенно скрежещет ими и забывает в эти мгновения об опасности, и о многочисленных врагах, и о мудром благоразумии, и решительно обо всем на свете.

В то время, когда я отдыхал, глухарь вдруг перестал играть и молчал, должно быть, минут с десять. Потом он чокнул один раз, но — тихо, осторожно, как будто бы нехотя, и опять замолчал на несколько минут, затем чокнул другой раз, уже сильнее и громче, еще немного погодя чокнул два раза, затем опять два, зачастил, заторопился и, будучи не в силах остановиться, перешел во второе колено. Согласно наставлению Щербатого, я пропустил первую песню. Глухарь тотчас же, почти без перерыва, заиграл вторую, и я побежал вперед.

Ровная покатость, по которой мне до сих пор приходилось бежать, перешла в низменное водянистое болото, поросшее редким сосновым лесом. Изредка попадалась редкая ольха и осина и приземистые кусты можжевельника. Одинокие кочки, покрытые мягким мохом и брусникой, торчали кое-где из-под тонкого и хрупкого утреннего ледка, затянувшего за ночь болото. Мне не всегда удавалось попадать ногами на эти кочки, и я обрывался, уходя в грязь по пояс. Бахилы мои налились водою и страшно отяжелели. Один раз, вытаскивая ноги

из болота, я не удержал равновесия и, пробив телом тонкий лед, упал ничком прямо в вязкую и холодную гущу. Однако у меня хватило мужества лежать в таком неудобном положении, чтобы не всполошить глухаря. Я лежал и слышал, как надо мною булькают подымающиеся из болота пузырьки, чувствовал, как вонючая влага медленно просачивается за борт и в рукава моей свитки... К счастью, глухарь недолго испытывал мое терпение. Когда он заиграл, я быстро вскочил и утвердился на кочке. В следующую песню я побежал дальше.

С каждой перебежкой песня становилась все яснее и яснее. Теперь я не только слышал хорошо оба колена, но даже различал между ними какой-то новый странный звук, какое-то глухое и быстрое фырканье. Наконец я остановился. Я слышал, что глухарь играет где-то совсем близко, над самой моей головой, на одной из шести или семи сосен, обступивших почти правильным кругом кочку, на которой я стоял. Под песню я поднял голову вверх и стал жадно всматриваться в густые шапки сосен. Но или ночь была еще слишком темна, или мой глаз недостаточно зорок,— я ничего не различал в этих черных массах перепутавшихся ветвей.

А глухарь все играл и играл не переставая одну песнь за другой. Он так разгорячился, что окончательно забыл об осторожности: он уже не чокал, а начинал прямо с дроби и, едва окончив одну песню, тотчас же принимался за другую. Никогда в жизни, ни раньше, ни впоследствии, не слыхал я ничего более странного, загадочного и волнующего, чем эти металлические, жесткие звуки. В них чувствуется что-то допотопное, что-то принадлежащее давно исчезнувшим формациям, когда птицы и звери чудовищного вида перекликались страшными голосами в таинственных первобытных лесах...

Мне показалось, что в ветвях ближайшего дерева шевельнулось что-то черное. Это «что-то» могло быть и сучком и птицей, но мое воображение уверило меня, что это глухарь. Выждав песню, я дрожащими руками взвел курок и прицелился... Ноги у меня тряслись от волнения, а сердце так колотилось в груди, что стук его, казалось, разносился по всему лесу.

Глухарь заиграл снова. Я потянул собачку. Как загремел, как загрохотал после моего выстрела проснув-

шийся лес!.. По всей его громадной площади пронеслось эхо, разбиваясь о деревья на тысячи медленно стихающих отзвуков, и еще долго-долго глухо гудело и рокотало оно где-то далеко на опушке... С дерева дождем посыпалась сбитая выстрелом хвоя. Должно быть, она обсыпала и глухаря, потому что он на несколько секунд прекратил песню, но потом, точно рассердившись на внезапную помеху, заиграл с новым ожесточением.

Тотчас же после своего выстрела я услышал сзади себя, в очень далеком расстоянии, выстрел Трофимовой шестилинейной одностволки,— характерный, долгий, глухой, подобный пушечному, выстрел. «Этот-то уж, наверно, не промахнулся»,— подумал я и почувствовал, что в сердце моем шевельнулась охотничья зависть.

Рассвет близился. В воздухе стало холоднее и сырее. Опять прокричали журавли, и опять отозвались на их крик лесные обитатели: звонко затрещала желна, меланхолически застонала горлица, где-то послышалось робкое и нежное болботание тетерева, пичужки с легким писком завозились в кустах.

А я все стоял, не решаясь стрелять в другой раз, и мной уже начинали овладевать скука и утомление. Вдруг со стороны Трофима раздался второй выстрел. Что-то шевельнулось вверху над моей головой. Я поднял глаза и почти в том самом месте, куда только что стрелял, совершенно отчетливо увидел глухаря.

От меня до него по прямому направлению было не больше десяти — пятнадцати шагов, но он мне показался величиною с домашнего голубя. Играя песню, он то вытягивал вперед, то опять втягивал шею, точь-в-точь, как это делает кричащий индюк, а переходя ко второму колену, он весь поворачивался на суку, опускал вниз крылья и с шумом разворачивал веером хвост (этот-то шум, похожий на фырканье, я и услышал раньше, не понимая его значения). Во всех его движениях было что-то напыщенное, глубоко-важное и комическое.

На этот раз я не промахнулся. Глухарь, как камень, свалился вниз, брякнувшись глухо и плотно о землю. Я подбежал к нему. Он был жив и судорожно бился и подпрыгивал по земле, яростно хлопая могучими крыльями. Однако страдания его не были продолжительны. Он упал спиной в мелкую лужицу и уже не мог больше под-

няться. Несколько раз его шея быстро поднялась из воды и опустилась, потом по ногам пробежала мелкая, частая дрожь, и все было кончено.

Я поднял его. В нем было фунтов около пятнадцати весу, а величиной он равнялся среднего роста индюку. Шея и живот — черные, спина светло-коричневая, с седоватыми пятнами, брови красные, бархатистого оттенка, лапы в серых штаниках, а пальцы их покрыты костяной бахромой, глаз круглый, коричневый, с большим круглым и черным зрачком.

Скоро я услышал голос звавшего меня Трофима, и мы сошлись с ним на прежней тропинке. За спиной у него было два глухаря, которых он связал между собою, продев сквозь их клювы веревку.

— Я хитрый,— говорил он хвастливо.— Я как подошел к своему петуху, так слышу, что зараз и другой прилетел, да близенько так, всего каких тридцать шагов... и давай они оба играть. Ну, думаю, если своего убью, так другой заслышит и улетит. Так я что сделал! Прицелился в своего, да и жду, когда другой заиграет. Тот как заиграл, я сейчас — бах! — и есть. И сейчас к другому — раз! — и готово. Вот как у нас, паныч!..

Потом он взвесил моего глухаря на руке и похвалил:

— Петух хороший... Добрый петух... Ну, с полем вас, паныч!

Когда мы возвращались обратно, лес совсем проснулся и ожил и весь наполнился птичьим радостным гомоном. Пахло весной, талой землею и прошлогодним прелым листом. Голубое небо было так прохладно, чисто и весело, а верхушки сосен, точно осыпанные золотой пылью, уже грелись в первых лучах весеннего солнца.

ЛЕГЕНДА

Высокий, худой и длинноволосый человек, в лице которого странно соединялась бледность голодной и нечистой жизни со строгой глубиной плачущего вдохновения, заиграл на скрипке. Это был торжественный, сказочный мотив — то жалобно-прекрасный в верхних нотах, то звучавший мрачной скорбью в басах. И было в нем что-то средневековое, безнадежное, изысканно-слащавое, жестокое, длительное и страшное.

Меценат, хозяин дома, в красном халате, с блуждающими, безумными, огромными, светлыми глазами, встал и, притворяясь озаренным восторгом творчества, начал импровизировать. И при этом рассчитанно-неверными, широкими, капризными движениями рукавов он опрокидывал на мокрую скатерть бокалы и рюмки.

— Это было давно...— говорил он, закрывая глаза, тряся головой и поднимая подбородок вверх, и у него выходило: «эття былля дэвно...», хотя он был русский, из хорошей дворянской фамилии, из правоведов.

— Это было давно!.. О, как давно это было! Много веков прошло... О, как много веков... И об этом забыли. Это было страшно давно...

Тогда вдруг встал человек, до сих пор молчавший, почти никому не знакомый; кто-то привел его и даже не позаботился назвать его фамилию. Он был плохо одет, широкоплеч, мал ростом, вульгарен, со смешной конторской прической ежиком.

— Позвольте мне,— сказал он умоляющим голосом.

И меценат, паясничая, пятясь назад, согнувшись в

пояснице, размахивая руками от груди к земле и назад, ответил клоунски-вежливым тоном:

— О, пожж-ж-жалуйста...

— Начните сначала,— строго сказал вульгарный человек скрипачу.

Только одним взглядом обменялись они со скрипачом, и незнакомец начал вместе с первыми звуками скрипки.

Это было давно. Много с тех пор погибло старых родов и много разрушилось замков.

Тогда старый замок стоял еще на скале среди озера. И знали все вокруг, что озеро это бездонно, замок неприступен, а длинный железный мост на огромных блоках подымается на ночь.

Король изредка писал письма владельцу замка, называл его кузеном и предлагал ему титулы и почести. Но гордый князь, вместо благодарности, вешал королевских послов на зубцах своих башен. Он никого не боялся. Замок его был неприступен, и припасов в нем всегда могло бы хватить на десять лет.

Князь был знатен, силен и безумно смел, хотя и было ему шестьдесят лет. С веселым орлиным криком, страшный в кровавом свете смоляных факелов, мчался он впереди своих воинов ночью через мост, и внизу плескались волны, и стук лошадиных копыт раздавался как плеск. Тогда пылали деревни, плакали женщины, и богатые обозы купцов брались как добыча.

Никто не знает, зачем он женился. Разве мало ему было красивых дочерей его вассалов? Разве не выдали бы за него любую дочь из богатого древнего рода? Он праздновал дикую, кровавую свадьбу, пил вино, бросал челяди горстями брильянты и огромными, страшными, бесцветными глазами глядел на молодую жену. Она была дочерью скромного художника.

Прошел длинный год, и еще один, и еще один. Бледнела молодая жена, страшнее и бессоннее становились глаза князя. Пылали по ночам деревни. И у женщин, осужденных на смерть, одичалые псы выгрызали внутренности.

Тысячи глаз стерегли прекрасную женщину. Но была одна пара глаз, которая глядела на нее с нежной стра-

стью и говорила ей: «Вот моя жизнь. Возьми, если нужно. Я люблю тебя!..»

Однажды,— так говорит темное предание,— князь возвратился с охоты и застал молодого пажа, стоявшего на коленях перед его женой. Он велел вывести пажа на двор и в упор выстрелил ему в правый глаз из арбалета.

Но жены он не тронул. Он собрал свою буйную, послушную шайку, одарил ее золотом, как царь, и сказал:

— Вы все свободны. Уезжайте.

И когда последний из них переехал на тот берег, князь своими руками поднял на визжащих блоках кверху железный мост, оборвал цепь, обломал блок и запер тяжелые ворота замка.

А когда последние из его шайки обернулись назад на замок, они увидели, как в башне, в самом верхнем окне, показался князь и как он бросил в бездонное озеро огромный железный ключ от ворот замка.

И проходили годы за годами. Одиноко стоял среди озера старый, грозный замок. Никто не узнал его тайны. Теперь там одни развалины, мох и мусор, зеленые ящерицы, дикие благоуханные каприфолии... Что было с этими людьми? Много ли длились их мучения? Кто мучился больше?

Никто, никто не узнал этой тайны. Тихо плещутся волны о каменные своды... Слышится в этом плеске давний, страшный топот лошадиных копыт. Никто не узнает тайны.

Тихо, тихо плещутся волны...

Оба умолкли вместе — и скрипач и импровизатор. И среди всеобщей чуткой тишины меценат сказал, презрительно фыркнув:

— Все? Н-да-а. Немного, но жалостно.

ИСКУССТВО

У одного гениального скульптора спросили:

— Как согласовать искусство с революцией?

Он отдернул занавеску и сказал:

— Смотрите.

И показал им мраморную фигуру, которая представляла раба, разрывающего оковы страшным усилием мышц всего тела.

И один из глядевших сказал:

— Как это прекрасно!

Другой сказал:

— Как это правдиво!

Но третий воскликнул:

— О, я теперь понимаю радость борьбы!

ДЕМИР-КАЯ

Восточная легенда

Ветер упал. Может быть, сегодня нам придется ночевать в море. До берега тридцать верст. Двухмачтовая фелюга лениво покачивается с боку на бок. Мокрые паруса висят.

Белый туман плотно окружил судно. Не видно ни звезд, ни неба, ни моря, ни ночи. Огня мы не зажигаем.

Сеид-Аблы, старый, грязный и босой капитан фелюги, тихим, важным, глубоким голосом рассказывает древнюю историю, которой я верю от всего сердца. Верю потому, что ночь так странно молчалива, потому, что под нами спит невидимое море, и мы, окутанные туманом, плывем медленно в белых густых облаках.

«Звали его Демир-Кая. По-вашему это значит — железная скала. Так называли его за то, что этот человек не ведал ни жалости, ни стыда, ни страха.

Он разбойничал со своей шайкой в окрестностях Стамбула, и в благословенной Фессалии, и в гористой Македонии, и на тучных пастбищах болгарских. Девяносто девять человек погибло от его руки, и в числе том были женщины, старики и дети.

Но вот однажды в горах его окружило сильное войско падишаха — да продлит аллах дни его! Три дня отбивался Демир-Кая, точно волк от стаи собак. На утро четвертого дня он прорвался, но — один. Часть его товарищей погибла во время яростной погони, отсталые же

приняли смерть от руки палача в Стамбуле на круглой площади.

Израненный, истекающий кровью, лежал Демир-Кая у костра в неприступной пещере, где его приютили дикие горные пастухи. И вот среди ночи явился к нему светлый ангел с пылающим мечом. Узнал Демир-Кая вестника смерти, посланника неба Азраила, и сказал:

— Да будет воля аллаха! Я готов.

Но ангел сказал:

— Нет, Демир-Кая, час твой еще не пришел. Слушай волю божию. Когда ты встанешь с одра смерти, пойди, вырой из земли твои сокровища и обрати их в золото. Потом ты пойдешь прямо на восток и будешь идти до тех пор, пока не дойдешь до места, где сходятся семь дорог. Там построишь ты дом с прохладными комнатами, с широкими диванами, с чистой водой в фонтанах для омовений, с едой и питьем для странников, с ароматным кофе и благовонным наргиле для усталых. Зови к себе всех, кто идет и едет мимо, и служи им как последний раб. Пусть твой дом — будет их домом, твое золото — их золотом, твой труд — их отдохновением. И знай, что настанет время, когда аллах забудет твои тяжкие грехи и простит тебе кровь детей его.

Но Демир-Кая спросил:

— Какое же знамение даст мне господь, что грехи мои прощены?

И ангел ответил:

— Из костра, что тлеет возле тебя, возьми обгорелую головню, покрытую пеплом, и посади в землю. И когда мертвое дерево оденется корой, пустит ростки и зацветет, то знай — настал час твоего искупления.

Прошло с тех пор двадцать лет. По всей стране падишаха — да продлит аллах дни его! — шла слава о гостинице у семи дорог на пути из Джедды в Смирну. Нищий уходит оттуда с рупиями в дорожной суме, голодный — сытым, усталый — бодрым, раненый — исцеленным.

Двадцать лет, двадцать долгих лет глядел каждый вечер Демир-Кая на чудесный обрубок дерева, вкопанный во дворе, но он оставался черен и мертв. Потускнели у Демир-Кая орлиные глаза, согнулся его могучий

стан, и волосы на голове его стали белы, как крылья ангела.

Но вот однажды ранним утром услышал он конский топот, и выбежал на дорогу, и увидел всадника, который мчался на взмыленной лошади. Кинулся к нему Демир-Кая, схватил коня под уздцы и молил всадника:

— О брат мой, зайди в дом ко мне. Освежи лицо свое водою, подкрепи себя пищей и питьем, услади уста твои сладким благоуханием кальяна.

Но путник крикнул в злобе:

— Пусти меня, старик! Пусти!

И плюнул он в лицо Демир-Кая, и ударил его рукояткою бича по голове, и поскакал дальше.

Загорелась в Демир-Кая гордая разбойничья кровь. Поднял он с земли тяжелый камень, и бросил его вслед обидчику, и разбил ему череп. Покачался всадник на седле, схватился за голову, упал на дорожную пыль.

С ужасом в сердце подбежал к нему Демир-Кая и сказал скорбно:

— Брат мой, я убил тебя!

Но умирающий ответил:

— Не ты убил меня, а рука аллаха. Слушай. Паша нашего вилайета — жестокий, алчный, несправедливый человек. Мои друзья затеяли против него заговор. Но я прельстился богатой денежной наградой. Я хотел их выдать. И вот, когда я торопился с моим доносом, меня остановил камень, брошенный тобою. Так хочет бог. Прощай.

Удрученный горем, вернулся Демир-Кая в свой двор. Лестница добродетели и раскаяния, по которой он так терпеливо всходил вверх целых двадцать лет, подломилась под ним и рухнула в один короткий миг летнего утра.

В отчаянии поглядел он туда, где взор его привык ежедневно останавливаться на черной, обугленной головне. И вдруг — о, чудо! — он видит, что на его глазах умершее дерево пускает ростки, покрывается почками, одевается благоуханной зеленью и расцветает нежными желтыми цветами.

Тогда упал Демир-Кая и радостно заплакал. Ибо он понял, что великий и всемилостивый аллах в неизреченной премудрости своей простил ему девяносто девять загубленных жизней за смерть предателя».

КАК Я БЫЛ АКТЕРОМ

Эту печальную и смешную историю — более печальную, чем смешную,— рассказывал мне как-то один приятель, человек, проведший самую пеструю жизнь, бывавший, что называется, и на коне и под конем, но вовсе не утративший под хлыстом судьбы ни сердечной доброты, ни ясности духа. Лишь одна эта история отразилась на нем несколько странным образом: после нее он раз навсегда перестал ходить в театр и до сих пор не ходит, как бы его ни уговаривали.

Я постараюсь передать рассказ моего приятеля, хотя и боюсь, что мне не удастся это сделать в той простой форме, с той мягкой и грустной насмешкой, как я его слышал.

I

Ну, вот... Представляете ли вы себе скверный южный уездный городишко? Посредине этакая огромная колдобина, где окрестные хохлы, по пояс в грязи, продают с телег огурцы и картофель. Это базар. С одной его стороны собор и, конечно, Соборная улица, с другой — городской сквер, с третьей—каменные городские ряды, у которых желтая штукатурка облупилась, а на крыше и на карнизах сидят голуби; наконец, с четвертой стороны впадает главная улица, с отделением какого-то банка, с почтовой конторой, с нотариусом и с парикмахером Теодором из Москвы. В окрестностях города, в разных там Засельях, Замостьях, Заречьях, был расквартирован пе-

хотный полк, в центре города стоял драгунский. В городском сквере возвышался летний театр. Вот и все.

Впрочем, надо еще прибавить, что и самый город с его думой и реальным училищем, а также сквер, и театр, и мостовая на главной улице — все это существует благодаря щедротам местного миллионера и сахарозаводчика Харитоненко.

II

Как я попал туда — длинная история. Скажу вкратце. Я должен был встретиться в этом городке с одним моим другом, с настоящим, царство ему небесное, истинным другом, у которого, однако же, была жена, которая, по обыкновению всех жен наших *истинных* друзей, терпеть меня не могла. И у него и у меня было по нескольку тысяч, скопленных тяжелым трудом: он, видите ли, служил много лет педагогом и в то же время страховым инспектором, а я целый год счастливо играл в карты. Однажды мы с ним набрели на весьма выгодное предприятие с южным барашком и решили рискнуть. Я поехал вперед, он должен был приехать двумя-тремя днями позже. Так как мое ротозейство было уже давно известно, то общие деньги хранились у него, хотя в разных пакетах, ибо мой друг был человек аккуратности немецкой.

И вот начинается град несчастий. В Харькове на вокзале, пока я ел холодную осетрину, соус провансаль, у меня вытащили из кармана бумажник. Приезжаю в С. (это тот самый городишко, о котором идет речь) с той мелочью, что была у меня в кошельке, и с тощим, но хорошим желто-красным английским чемоданом. Останавливаюсь в гостинице — конечно, Петербургской — и начинаю посылать телеграмму за телеграммой. Гробовое молчание. Да, да, именно гробовое, потому что в тот самый час, когда вор тащил мой бумажник — представьте, какие шутки шутит судьба! — в этот час мой друг и компаньон умер от паралича сердца, сидя на извозчике. Все его вещи и деньги были опечатаны, и по каким-то дурацким причинам эта волокита с судейскими чинами продолжалась полтора месяца. Знала ли убитая горем вдова, или не знала о моих деньгах — мне неизвестно. Однако телеграммы мои она все получила до одной, но молчала упорно, молчала

из мелочной, ревнивой и глупой женской мести. Впрочем, эти телеграммы сослужили мне впоследствии большую пользу. Уже по снятии печатей совсем незнакомый мне человек, присяжный поверенный, ведший дело о вводе в наследство, обратил случайно на них внимание, пристыдил вдову и на свой страх перевел мне прямо на театр пятьсот рублей. Да и то сказать — это были не телеграммы, а трагические вопли моей души по двадцати и по тридцати слов.

III

Итак, я сижу в Петербургской гостинице уже десятый день. Вопли души совершенно истощили мое портмоне. Хозяин — мрачный, заспанный, лохматый хохол с лицом убийцы—уже давно не верит ни одному моему слову. Я ему показываю некоторые письма и бумаги, из которых он мог бы и т. д., но он пренебрежительно отворачивает лицо и сопит. Под конец мне приносят обедать, точно Ивану Александровичу Хлестакову: «Хозяин сказал, что это в последний раз...»

И вот наступил день, когда в моем кармане остался один сиротливый, позеленелый двугривенный. В это утро хозяин грубо сказал мне, что ни кормить меня, ни держать больше не станет, а пойдет к господину приставу и пожалится. По тону его я понял, что этот человек решился на все.

Я вышел из гостиницы и весь день блуждал по городу. Помню, заходил я в какую-то транспортную контору и еще куда-то просить места. Понятно, мне отказали с первого же слова. Иногда я присаживался на одну из зеленых скамеек, что стояли вдоль тротуара главной улицы, между высокими пирамидальными тополями. Голова у меня кружилась, меня тошнило от голода. Но ни на секунду мысль о самоубийстве не приходила мне в голову. Сколько, сколько раз в моей путаной жизни бывал я на краю этих мыслей, но, глядишь, прошел год, иногда месяц, а то и просто десять минут, и вдруг все изменилось, все опять пошло удачно, весело, хорошо... И в этот день, бродя по жаркому, скучному городу, я только говорил самому себе: «Да-с, дорогой Павел Андреевич, попали мы с вами в переплет».

Хотелось есть. Но по какому-то тайному предчувствию я все берег мои двадцать копеек. Уже вечерело, когда я увидел на заборе красную афишу. Мне все равно нечего было делать. Я машинально подошел и прочитал, что сегодня в городском саду дают трагедию Гуцкова «Уриэль Акоста» при участии таких-то и таких-то. Два имени были напечатаны большим черным шрифтом: артистка петербургских театров г-жа Андросова и известный харьковский артист г. Лара-Ларский; другие были помельче: г-жи Вологодская, Медведева, Струнина-Дольская, гг. Тимофеев-Сумской, Акименко, Самойленко, Нелюбов-Ольгин, Духовской. Наконец самым меньшим набором стояло: Петров, Сергеев, Сидоров, Григорьев, Николаев и др. Режиссер г. Самойленко. Директор-распорядитель г. Валерьянов.

На меня снизошло внезапное, вдохновенное, отчаянное решение. Я быстро перебежал напротив, к парикмахеру Теодору из Москвы, и на последний двугривенный велел сбрить себе усы и остренькую бородку. Боже праведный! Что за угрюмое, босое лицо взглянуло на меня из зеркала! Я не хотел верить своим глазам. Вместо тридцатилетнего мужчины не слишком красивой, но во всяком случае порядочной наружности, там, в зеркале, напротив меня, сидел, обвязанный по горло парикмахерской простыней,— старый, прожженный, заматерелый провинциальный комик, со следами всяческих пороков на лице и к тому же явно нетрезвый.

— В нашем театре будете служить? — спросил меня парикмахерский подмастерье, отрясая простыню.

— Да! — ответил я гордо.— Получи!

IV

По дороге к городскому саду я размышлял:

«Нет худа без добра. Они сразу увидят во мне старого, опытного воробья. В таких маленьких летних театриках каждый лишний человек полезен. Буду на первый раз скромен... рублей пятьдесят... ну, сорок в месяц. Будущее покажет... Прошу аванс... рублей в двадцать... нет, это много... рублей в десять... Первым делом пошлю потрясающую телеграмму... пятью пять — двадцать пять, да ноль — два с полтиной, да пятнадцать за подачу —

два рубля шестьдесят пять... На остальные как-нибудь продержусь, пока не приедет Илья... Если они захотят испытать меня... ну что ж... я им произнесу что-нибудь... вот хотя бы монолог Пимена».

И я начал вслух, вполголоса, торжественным утробным тоном:

Еще одно-о после-еднее сказа-анье.

Прохожий отскочил от меня в испуге. Я сконфузился и крякнул. Но я уже подходил к городскому саду. Там играл военный оркестр, по дорожкам, шаркая ногами, ходили тоненькие местные барышни в розовом и голубом, без шляпок, а за ними увивались с непринужденным смехом, заложив руку за борт кителя, с белыми фуражками набекрень, местные писцы, телеграфисты и акцизники.

Ворота были открыты настежь. Я вошел. Кто-то пригласил меня получить из кассы билет, но я спросил небрежно: где здесь распорядитель, господин Валерьянов? Мне тотчас же указали на двух бритых молодых господ, сидевших неподалеку от входа на скамейке. Я подошел и остановился в двух шагах.

Они не замечали меня, занятые разговором, но я успел рассмотреть их: один, в легкой панаме и в светлом фланелевом костюме с синими полосками, имел притворно-благородный вид и гордый профиль первого любовника и слегка поигрывал тросточкой; другой, в серенькой одежде, был необыкновенно длинноног и длиннорук, ноги у него как будто бы начинались от середины груди, и руки, вероятно, висели ниже колен,— благодаря этому, сидя, он представлял собою причудливую ломаную линию, которую, впрочем, легко изобразить при помощи складного аршина. Голова у него была очень мала, лицо в веснушках и живые черные глаза.

Я скромно откашлялся. Они оба повернулись ко мне.

— Могу я видеть господина Валерьянова? — спросил я ласково.

— Это я,— ответил рябой,— что вам угодно?

— Видите ли, я хотел...— у меня что-то запершило в горле,— я хотел предложить вам мои услуги в качестве... в качестве, там, второго комика, или... вот...третьего простака... Также и характерные...

Первый любовник встал и удалился, насвистывая и помахивая тросточкой.

— А вы где раньше служили? — спросил господин Валерьянов.

Я только один раз был на сцене, когда играл Макарку в любительском спектакле, но я судорожно напряг воображение и ответил:

— Собственно, ни в одной солидной антрепризе, как, например, ваша, я до сих пор не служил... Но мне приходилось играть в маленьких труппах в Юго-Западном крае... Они так же быстро распадались, как и создавались... например, Маринич... Соколовский... и еще там другие...

— Слушайте, а вы не пьете? — вдруг огорошил меня господин Валерьянов.

— Нет,— ответил я без запинки.— Иногда перед обедом или в компании, но совсем умеренно.

Господин Валерьянов поглядел, щуря свои черные глаза на песок, подумал и сказал:

— Ну хорошо... я беру вас. Пока что двадцать пять рублей в месяц, а там посмотрим. Да, может быть, вы и сегодня будете нужны. Идите на сцену и спросите помощника режиссера Духовского. Он вас представит режиссеру.

Я пошел на сцену и дорогой думал: почему он не спросил моей театральной фамилии? Вероятно, забыл? А может быть, просто догадался, что у меня никакой фамилии нет? Но на всякий случай я тут же по пути изобрел себе фамилию—не особенно громкую, простую и красивую— Осинин.

V

За кулисами я разыскал Духовского — вертлявого мальчугана с испитым воровским лицом. Он в свою очередь представил меня режиссеру Самойленке. Режиссер играл сегодня в пьесе какую-то героическую роль и потому был в театральных золотых латах, в ботфортах и в гриме молодого любовника. Однако сквозь эту оболочку я успел разобрать, что Самойленко толст, что лицо у него совершенно кругло, и на этом лице два маленьких острых глаза и рот, сложенный в вечную баранью улыбку. Меня он принял надменно и руки мне не подал. Я уже хотел отойти от него, как он сказал:

— Постойте-ка... как вас?.. Я не расслышал фамилии...

— Васильев! — услужливо подскочил Духовской.

Я смутился, хотел поправить ошибку, но было уже поздно.

— Вы вот что, Васильев... Вы сегодня не уходите... Духовской, скажите портному, чтобы Васильеву дали куту.

Таким-то образом из Осинина я и сделался Васильевым и остался им до самого конца моей сценической деятельности, в ряду с Петровым, Ивановым, Николаевым, Григорьевым, Сидоровым и др. Неопытный актер — я лишь спустя неделю догадался, что среди этих громких имен лишь одно мое прикрывало реальное лицо. Проклятое созвучие погубило меня!

Пришел портной — тощий, хромой человек, надел на меня черный коленкоровый длинный саван с рукавами и заметал его сверху донизу. Потом пришел парикмахер. Я в нем узнал того самого подмастерья от Теодора, который только что меня брил, и мы дружелюбно улыбнулись друг другу. Парикмахер надел на мою голову черный парик с пейсами. Духовской вбежал в уборную и крикнул: «Васильев, гримируйтесь же!» Я сунул палец в какую-то краску, но сосед слева, суровый мужчина с глубокомысленным лбом, оборвал меня:

— Разве не видите, что лезете в чужой ящик? Вот общие краски.

Я увидел большой ящик с ячейками, наполненными смешавшимися грязными красками. Я был, как в чаду. Хорошо было Духовскому кричать: «Гримируйтесь!» А как это делается? Но я мужественно провел вдоль носа белую черту и сразу стал похож на клоуна. Потом навел себе жестокие брови. Сделал под глазами синяки. Потом подумал: что бы мне еще сделать? Прищурился и устроил между бровей две вертикальные морщины. Теперь я походил на предводителя команчей.

— Васильев, приготовьтесь! — крикнули сверху.

Я поднялся из уборной и подошел к полотняным сквозящим дверям задней стенки. Меня ждал Духовской.

— Сейчас вам выходить. Фу, черт, на кого вы похожи! Как только скажут: «Нет, он вернется» — идите! Войдете и скажете...— Он назвал какое-то имя собствен-

ное, которое я теперь забыл:— «Такой-то требует свиданья...» — и назад. Поняли?

— Да.

«...Нет, он вернется!»— слышу я и, оттолкнув Духовского, стремлюсь на сцену. Черт его побери, как зовут этого человека? Секунда, другая молчания... Зрительная зала — точно черная шевелящаяся бездна. Прямо передо мной на сцене ярко освещены лампой незнакомые мне, грубо намазанные лица. Все смотрят на меня напряженно. Духовской шепчет что-то сзади, но я ничего не могу разобрать. Тогда я вдруг выпаливаю голосом торжественного укора:

— Да! Он вернулся!

Мимо меня проносится, как ураган, в своем золотом панцире Самойленко. Слава богу! Я скрываюсь за кулисы.

В этом спектакле меня употребляли еще два раза. В той сцене, где Акоста громит еврейскую рутину и потом падает, я должен был подхватить его на руки и волочить за кулисы. В этом деле мне помогал пожарный солдат, наряженный в такой же черный саван, как и я. (Почем знать, может быть, он у публики сошел за Сидорова?) Уриэлем Акостой оказался тот самый актер, что сидел давеча с Валерьяновым на скамейке; он же был и известный харьковский артист Лара-Ларский. Подхватили мы его довольно неловко—он был мускулист и тяжел,— но, к счастью, не уронили. Он только сказал нам шепотом: «Чтоб вас черт, олухи!» Так же благополучно мы его протащили сквозь узкие двери, хотя долго потом вся задняя стена древнего храма раскачивалась и волновалась.

В третий раз я присутствовал без слов при суде над Акостой. Тут случилось маленькое происшествие, о котором не стоило бы и говорить. Просто, когда вошел Бен-Акиба и все перед ним встали, я, по ротозейству, продолжал сидеть. Но кто-то больно щипнул меня выше локтя и зашипел:

— Вы с ума сошли. Это Бен-Акиба! Встаньте!

Я поспешно встал. Но, ей-богу, я не знал, что это Бен-Акиба. Я думал: так себе, старичок.

По окончании пьесы Самойленко сказал мне:

— Васильев, завтра в одиннадцать на репетицию.

Я возвратился в гостиницу, но, узнав мой голос, хозяин захлопнул дверь. Ночь я провел на одной из зеленых скамеечек между тополями. Спать мне было тепло, и во сне я видел славу. Но холодный утренник и ощущение голода разбудили меня довольно рано.

VI

Ровно в половине одиннадцатого я пришел в театр. Никого еще не было. Только кое-где по саду бродили заспанные лакеи из летнего ресторана в белых передниках. В зеленой решетчатой беседке, затканной диким виноградом, для кого-то приготовляли завтрак или утренний кофе.

Потом я узнал, что здесь каждое утро завтракали на свежем воздухе распорядитель театра господин Валерьянов и старая бывшая актриса Булатова-Черногорская, дама лет шестидесяти пяти, которая содержала как театр, так и самого распорядителя.

Была постлана свежая блестящая скатерть, стояли два прибора, и на тарелке возвышались две столбушки нарезанного хлеба — белого и ситного...

Тут идет щекотливое место. Я в первый и в последний раз сделался вором. Быстро оглянувшись кругом, я юркнул в беседку и растопыренными пальцами схватил несколько кусков хлеба. Он был такой мягкий! Такой прекрасный! Но когда я выбежал наружу, то вплотную столкнулся с лакеем. Не знаю, откуда он взялся, должно быть, я его не заметил сзади беседки. Он нес судок с горчицей, перцем и уксусом. Он строго поглядел на меня, на хлеб в моей руке и сказал тихо:

— Это что же такое?

Какая-то жгучая, презрительная гордость колыхнулась во мне. Глядя ему прямо в зрачки, я ответил тихо:

— Это то... что с третьего дня, с четырех часов... я ровно ничего еще не ел...

Он вдруг повернулся и, не говоря ни слова, поспешно побежал куда-то. Я спрятал хлеб в карман и стал ждать. Сразу стало мне жутко и весело! «Чудесно! — думал я.—Вот сейчас прибежит хозяин, соберутся лакеи, засвистят полицию... подымется гам, ругань, свалка... О, как ве-

ликолепно буду я бить эти самые тарелки и судки об их головы. Я искусаю их до крови!»

Но вот, я вижу, мой лакей бежит ко мне... и... один. Немного запыхался. Подходит ко мне боком, не глядя. Я тоже отворачиваюсь... И вдруг он из-под фартука сует мне в руку большой кусок вчерашней холодной говядины, заботливо посоленный, и умоляюще шепчет:

— Пожалуйста... прошу вас... кушайте.

Я грубо взял у него мясо, пошел с ним за кулисы, выбрал местечко, где было потемнее, и там, сидя между всяким бутафорским хламом, с жадностью разрывал зубами мясо и сладко плакал.

Я потом часто, почти ежедневно, видел этого человека. Его звали Сергеем. Когда не случалось никого из посетителей, он издали глядел на меня ласковыми, преданными, просящими глазами. Но я не хотел портить ни себе, ни ему первого теплого впечатления, хотя — признаюсь — и бывал иногда голоден, как волк зимой.

Он был такой маленький, толстенький, лысенький, с черными тараканьими усами и с добрыми глазами в виде узеньких лучистых полукругов. И всегда он торопился, приседая на одну ножку. Когда я получил, наконец, мои деньги и моя театральная кабала осталась позади, как сон, и вся эта сволочь лакала мое шампанское и льстила мне, как я тосковал о тебе, мой дорогой, смешной, трогательный Сергей! Я не посмел бы, конечно, предложить ему денег — разве можно такую нежность и любовь человеческую расценивать на деньги? Мне просто хотелось оставить ему что-нибудь на память... Какую-нибудь безделицу... Или подарить что-нибудь его жене или ребятишкам—у него их была целая куча, и иногда по утрам они прибегали к нему... суетливые и крикливые, как воробьята.

Но за неделю до моего чудесного превращения Сергея уволили со службы, и я даже знал за что. Ротмистру фон Брадке поднесли бифштекс, поджаренный не по вкусу. Он закричал:

— Как подаешь, прохвост? Не знаешь, что я люблю с кровью?..

Сергей осмелился заметить, что это не его вина, а повара и что он сейчас пойдет переменить, и даже прибавил робко:

— Извините, сударь.

Это извинение совсем взбесило офицера. Он ударил Сергея по лицу горячим бифштексом и, весь багровый, заорал:

— Что-о? Я тебе сударь? Я т-тебе сударь? Я тебе не сударь, а государю моему штабс-ротмистр! Хозяин! Позвать сюда хозяина! Иван Лукьяныч, чтоб сегодня же убрали этого идиота! Чтоб его и духу не было! Иначе моя нога в вашем кабаке не будет!

Штабс-ротмистр фон Брадке широко кутил, и потому Сергея рассчитали в тот же день. Хозяин целый вечер успокаивал офицера. И я сам, выходя во время антрактов в сад освежиться, долго еще слышал негодующий, раскатистый голос, шедший из беседки:

— Нет, каков мерзавец! Сударь! Если бы не дамы, я бы ему такого сударя показал!

VII

Между тем понемногу собрались актеры, и в половине первого началась репетиция. Ставили пьесу «Новый мир», какую-то нелепую балаганную переделку из романа Сенкевича «Quo vadis» [1]. Духовской дал мне литографированный листик с моими словами. Это была роль центуриона из отряда Марка Великолепного. Там были отличные, громкие слова, вроде того, что «твои приказания, о Марк Великолепный, исполнены в точности!» или «Она будет ждать тебя у подножия Помпеевой статуи, о Марк Великолепный». Роль мне понравилась, и я уже готовил про себя мужественный голос этакого старого рубаки, сурового и преданного....

Но по мере того как шла репетиция, со мной стала происходить странная история: я, неожиданно для себя самого, начал дробиться и множиться. Например: матрона Вероника кончает свои слова. Самойленко, который следил за пьесой по подлиннику, хлопает в ладоши и кричит:

— Вошел раб!

Никто не входит.

— Господа, кто же раб? Духовской, поглядите, кто раб?

[1] «Камо грядеши» *(лат.)*.

«РЕКА ЖИЗНИ»

«ГАМБРИНУС»

Духовской поспешно роется в каких-то листках. Раба не оказывается.

— Вымарать, что там! — лениво советует Боев, тот самый резонер с глубокомысленным лбом, в краски которого я залез накануне пальцем.

Но Марк Великолепный (Лара-Ларский) вдруг обижается:

— Нет, уж пожалуйста... Тут у меня эффектный выход... Я эту сцену без раба не играю.

Самойленко мечется глазами по сцене и натыкается на меня.

— Да вот... позвольте... позвольте... Васильев, вы в этом акте заняты?

Я смотрю в тетрадку.

— Да. В самом конце...

— Так вот вам еще одна роль — раба Вероники. Читайте по книге.— Он хлопает в ладоши.— Господа, прошу потише! Раб входит... «Благородная госпожа...» Громче, громче, вас в первом ряду не слышно...

Через несколько минут не могут сыскать раба для божественной Мерции (у Сенкевича она — Лигия), и эту роль затыкают мною. Потом не хватает какого-то домоправителя. Опять я. Таким образом к концу репетиции у меня, не считая центуриона, было еще пять добавочных ролей.

Сначала у меня не ладилось. Я выхожу и говорю мои первые слова:

— О Марк Великолепный...

Тут Самойленко раздвигает врозь ноги, нагибается вперед и прикладывает ладони к ушам.

— Что-с? Что вы такое бормочете? Ничего не понимаю.

— О Марк Великолепный...

— Виноват. Ничего не слышу... Громче! — Он подходит ко мне вплотную.— Вот как надо это произносить...— и горловым козлиным голосом он выкрикивает на весь летний сад: — О Марк Великолепный, твое повеление... Вот как надо... Помните, молодой человек, бессмертное изречение одного из великих русских артистов: «На сцене не говорят, а произносят, не ходят, а выступают».— Он самодовольно оглядел кругом.— Повторите.

Я повторил, но еще неудачнее. Тогда меня стали учить поочередно и учили до самого конца репетиции положительно все: и гордый Лара-Ларский с пренебрежительным и брезгливым видом, и старый оплывший благородный отец Гончаров, у которого дряблые щеки в красных жилках висели ниже подбородка, и резонер Боев, и простак Акименко с искусственно наигранной миной Иванушки-дурачка... Я походил на задерганную дымящуюся лошадь, вокруг которой собралась уличная толпа советчиков, а также и на слабого новичка, попавшего прямо из теплой семьи в круг опытных, продувных и безжалостных школяров.

На этой же репетиции я приобрел себе мелочного, но беспощадного врага, который потом отравлял каждый день моего существования. Вот как это произошло.

Я произносил одну из своих беспрерывных реплик: «О Марк Великолепный», как вдруг ко мне торопливо подбежал Самойленко.

— Позвольте, голуба, позвольте, позвольте, позвольте. Не так, не так. Ведь вы к кому обращаетесь? К самому Марку Великолепному? Ну, стало быть, вы не имеете ни малейшего представления о том, как в древнем Риме подчиненные говорили с главным начальником. Глядите: вот, вот жест.

Он подвинул правую ногу вперед на полшага, нагнул туловище под прямым углом, а правую руку свесил вниз, сделав ладонь лодочкой.

— Видите, каков жест? Поняли? Повторите.

Я повторил, но жест вышел у меня таким глупым и некрасивым, что я решился на робкое возражение:

— Извините... но мне кажется, что военная выправка... она вообще как-то избегает согбенного положения... и, кроме того... вот тут ремарка... выходит в латах... а согласитесь, что в латах...

— Извольте молчать! — крикнул гневно Самойленко и сделался пурпурным.— Если вам режиссер велит стоять на одной ноге, высунув язык, вы обязаны исполнить беспрекословно. Извольте повторить.

Я повторил. Вышло еще безобразнее. Но тут за меня вступился Лара-Ларский.

— Оставь, Борис,— сказал он нехотя Самойленке,— видишь, у него не вытанцовывается. И, кроме того, как

ты сам знаешь, история нам не дает здесь прямых указаний... Вопрос... мм... спорный...

Самойленко оставил меня в покое со своим классическим жестом. Но с этих пор он не пропускал ни одного случая, когда можно было меня оборвать, уязвить и обидеть. Он ревниво следил за каждым моим промахом. Он так меня ненавидел, что, я думаю, даже видел меня во сне каждую ночь. Что касается меня... Видите ли, с тех пор прошло уже десять лет, но до сего дня, как только я вспомню этого человека, злоба подымается у меня из груди и душит меня за горло. Правда, перед отъездом... впрочем, об этом скажу потом, иначе придется повредить стройности рассказа.

Перед самым концом репетиции на сцену вдруг явился высокий, длинноносый, худой господин в котелке и с усами. Он пошатывался, задевал за кулисы, и глаза у него были совсем как две оловянные пуговицы. Все глядели на него с омерзением, но замечания ему никто не сделал.

— Кто это? — спросил я шепотом Духовского.

— Э! Пьяница! — ответил тот небрежно.— Нелюбов-Ольгин, наш декоратор. Талантливый человек — он иногда и играет, когда трезв,— но совсем, окончательно пропойца. А заменить его некем: дешев и пишет декорации очень скоро.

VIII

Репетиция кончилась. Расходились. Актеры острили, играя словами: Мерция-Комерция. Лара-Ларский многозначительно звал Боева «туда». Я догнал в одной из аллей Валерьянова и, едва поспевая за его длинными шагами, сказал:

— Виктор Викторович... я бы очень попросил у вас денег... хоть немножко.

Он остановился и едва мог прийти в себя от изумления.

— Что? Каких денег? Зачем денег? Кому?

Я стал объяснять ему мое положение, но он, не дослушав меня, нетерпеливо повернулся спиной и пошел вперед. Потом вдруг остановился и подозвал меня.

— Вы вот что... как вас... Васильев... Вы подите к этому... к своему хозяину и скажите ему, чтобы он наведался

сюда, ко мне. Я здесь пробуду в кассе еще с полчаса. Я с ним переговорю.

Я не пошел, а полетел в гостиницу! Хохол выслушал меня с мрачной недоверчивостью, однако надел коричневый пиджак и медленно поплелся в театр. Я остался ждать его. Через четверть часа он вернулся. Лицо его было, как грозовая туча, а в правой руке торчал пучок красных театральных контрамарок. Он сунул мне их в самый нос и сказал глухим басом:

— Бачите! Ось! Я думал, он мне гроши даст, а он мне — якись гумажки. На що воны мини!

Я стоял сконфуженный. Однако и бумажки принесли некоторую пользу. После долгих увещеваний хозяин согласился на раздел: он оставил себе в виде залога мой прекрасный новый английский чемодан из желтой кожи, а я взял белье, паспорт и, что было для меня всего дороже, мои записные книжки. На прощанье хохол спросил меня:

— А що, и ты там будешь дурака валять?

— Да, и я,— подтвердил я с достоинством.

— Ого! Держись. Я как тебе забачу, зараз скричу: а где мои двадцать карбованцив!

Три дня подряд я не смел беспокоить Валерьянова и ночевал на зеленой скамеечке, подложив себе под голову узелок с бельем. Две ночи, благодарение богу, были теплые; я даже чувствовал, лежа на скамейке, как от каменных плит тротуара, нагревшихся за день, исходит сухой жар. Но на третью шел мелкий, долгий дождик, и, спасаясь от него под навесами подъездов, я не мог заснуть до утра. В восемь часов отворили городской сад. Я забрался за кулисы и на старой занавеси сладко заснул на два часа. И, конечно, попался на глаза Самойленке, который долго и язвительно внушал мне, что театр — это храм искусства, а вовсе не дортуар, и не будуар, и не ночлежный дом. Тогда я опять решился догнать в аллее распорядителя и попросить у него хоть немного денег, потому что мне негде ночевать.

— Позвольте-с,— развел он руками,— да мне-то какое дело? Вы, кажется, не малолетний, и я не ваша нянька.

Я промолчал. Он побродил прищуренными глазами по яркому солнечному песку дорожки и сказал в раздумье:

— Разве... вот что... Хотите, ночуйте в театре? Я говорил об этом сторожу, но он, дурак, боится.

Я поблагодарил.

— Только один уговор: в театре не курить. Захотите курить — выходите в сад.

С тех пор у меня был обеспечен ночлег под кровлей. Иногда днем я ходил за три версты на речку, мыл там в укромном местечке свое белье и сушил его на ветках прибрежных ветл. Это белье мне было большим подспорьем. Время от времени я ходил на базар и продавал там рубашку или что-нибудь другое. На вырученные двадцать — тридцать копеек я бывал сыт два дня. Обстоятельства принимали явно благоприятный оборот для меня. Однажды мне даже удалось в добрую минуту выпросить у Валерьянова рубль, и я тотчас же послал Илье телеграмму:

«Умираю голоду переведи телеграфом С. театр Леонтовичу».

IX

Вторая репетиция была и генеральной. Тут, кстати, мне подвалили еще две роли: древнего христианского старца и Тигеллина. Я взял их безропотно.

К этой репетиции приехал и наш трагик Тимофеев-Сумской. Это был плечистый мужчина, вершков четырнадцати ростом, уже немолодой, курчавый, рыжий, с вывороченными белками глаз, рябой от оспы — настоящий мясник или, скорее, палач. Голос у него был непомерный, и играл он в старой, воющей манере:

И диким зверем завывал
Широкоплечий трагик.

Роли своей он не знал совершенно (он играл Нерона), да и читал ее по тетрадке с трудом, при помощи сильных старческих очков. Когда ему говорили:

— Вы бы, Федот Памфилыч, хоть немного рольку-то подучили.

Он отвечал низкой октавой:

— Наплевать. Сойдет. Пойду по суфлеру. Не впервой. Публика все равно ничего не понимает. Публика — дура.

С моим именем у него все выходили нелады. Он никак не мог выговорить— Тигеллин, а звал меня то Тигелинием, то Тинегилом. Каждый раз, когда его поправляли, он рявкал:

— Плевать. Ерунда. Стану я мозги засаривать!

Если ему попадался трудный оборот или несколько иностранных слов подряд, он просто ставил карандашом у себя в тетрадке зэт и произносил:

— Вымарываю.

Впрочем, вымарывали все. От пьесы-ботвиньи осталась только гуща. Из длинной роли Тигеллина получилась всего одна реплика.

Нерон спрашивает:

— Тигеллин! В каком состоянии львы?

А я отвечаю, стоя на коленях:

— Божественный цезарь! Рим никогда не видал таких зверей. Они голодны и свирепы.

Вот и все.

Наступил и спектакль. Зрительная открытая зала была полна. Снаружи, вокруг барьера, густо чернела толпа бесплатных зрителей. Я волновался.

Боже мой, как они все отвратительно играли! Точно они заранее сговорились словами Тимофеева: «Наплевать, публика — дура». Каждое их слово, каждый жест напоминали что-то старенькое-старенькое, давно примелькавшееся десяткам поколений. Мне все время казалось, что в распоряжении этих служителей искусства имеется всего-навсего десятка два заученных интонаций и десятка три зазубренных жестов вроде того, например, которому бесплодно хотел меня научить Самойленко. И мне думалось: каким путем нравственного падения могли дойти эти люди до того, чтобы потерять стыд своего лица, стыд голоса, стыд тела и движений!

Тимофеев-Сумской был великолепен. Склонившись на правый бок трона, причем его левая вытянутая нога вылезала на половину сцены, с шутовской короной набекрень, он вперял вращающиеся белки в суфлерскую будку и так ревел, что мальчишки за барьером взвизгивали от восторга. Моего имени он, конечно, не запомнил. Он просто заорал на меня, как купец в бане:

— Телянтин! Подай сюда моих львов и тигров. Ж-жива!

Я покорно проглотил мою реплику и ушел. Конечно, всех хуже был Марк Великолепный — Лара-Ларский, потому что был бесстыднее, разнузданнее, пошлее и самоувереннее всех остальных. Из пафоса у него выходил крик, из нежных слов — сладкая тянучка, из-за повелительных реплик римского воина-патриция выглядывал русский брандмайор. Зато поистине была прекрасна Андросова. Все в ней было очаровательно: вдохновенное лицо, прелестные руки, гибкий музыкальный голос, даже длинные волнистые волосы, которые она в последнем действии распустила по спине. Играла она так же просто, естественно и красиво, как поют птицы.

Я с настоящим художественным наслаждением, иногда со слезами, следил за нею сквозь маленькие дырочки в холсте декораций. Но я не предчувствовал, что через несколько минут она растрогает меня, но уже совсем иным образом, не со сцены.

Я в этой пьесе был так многообразен, что, право, дирекции не худо было бы на афише к именам Петрова, Сидорова, Григорьева, Иванова и Васильева присоединить еще Дмитриева и Александрова. В первом акте я сначала явился старцем в белом балахоне с капюшоном на голове, потом побежал за кулисы, сбросил куту и уже выступил центурионом, в латах и шлеме, с голыми ногами, потом опять исчез и опять вылез христианским старцем. Во втором акте я был центурионом и рабом. В третьем — двумя новыми рабами. В четвертом — центурионом и еще двумя чьими-то рабами. В пятом — домоуправителем и новым рабом. Наконец я был Тигеллином и в заключение безгласным воином, который повелительным жестом указывает Мерции и Марку дорогу на арену, на съедение львам.

Даже простак Акименко потрепал меня по плечу и сказал благодушно:

— Черт вас возьми! Вы какой-то трансформист.

Но мне дорого стоила эта похвала. Я едва держался на ногах от усталости.

Спектакль окончился. Сторож тушил лампы. Я ходил по сцене в ожидании, когда последние актеры разгримируются и мне можно будет лечь на мой старый театральный диван. Я также мечтал о том куске жареной трактирной печенки, который висел у меня в уголке между

бутафорской комнатой и общей уборной. (С тех пор как у меня однажды крысы утащили свиное сало, я стал съестное подвешивать на веревочку.) Вдруг я услышал сзади себя голос:

— До свиданья, Васильев.

Я обернулся. Андросова стояла с протянутой рукой. Ее прелестное лицо было утомлено.

Надо сказать, что изо всей труппы только она, не считая маленьких, Духовского и Нелюбова-Ольгина, подавала мне руку (остальные гнушались). И я даже до сих пор помню ее пожатие: открытое, нежное, крепкое — настоящее женственное и товарищеское пожатие.

Я взял ее руку. Она внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Послушайте, вы не больны? У вас плохой вид.— И добавила тише: — Может быть, вам нужны деньги?.. а?.. взаймы...

— О нет, нет, благодарю вас! — перебил я искренно. И вдруг, повинуясь безотчетному воспоминанию только что пережитого восторга, я воскликнул пылко: —Как вы были прекрасны сегодня!

Должно быть, комплимент по искренности был не из обычных. Она покраснела от удовольствия, опустила глаза и легко рассмеялась.

— Я рада, что доставила вам удовольствие.

Я почтительно поцеловал ее руку. Но тут как раз женский голос крикнул снизу:

— Андросова! Где вы там? Идите, вас ждут ужинать.

— До свиданья, Васильев,— сказала она просто и ласково, потом покачала головой и, уже уходя, чуть слышно произнесла: — Ах, бедный вы, бедный...

Нет, я себя вовсе не чувствовал бедным в эту минуту. Но мне казалось, что, если бы она на прощанье коснулась губами моего лба, я бы умер от счастья!

X

Скоро я пригляделся ко всей труппе. Признаюсь, я и до моего невольного актерства никогда не был высокого мнения о провинциальной сцене. Но благодаря Островскому в моем воображении все-таки засели грубые по внешности, но нежные и широкие в душе Несчастливцевы,

шутоватые, но по-своему преданные искусству и чувству товарищества Аркашки... И вот я увидел, что сцену заняли просто-напросто бесстыдник и бесстыдница.

Все они были бессердечны, предатели и завистники по отношению друг к другу, без малейшего уважения к красоте и силе творчества,— прямо какие-то хамские, дубленые души! И вдобавок люди поражающего невежества и глубокого равнодушия, притворщики, истерически холодные лжецы с бутафорскими слезами и театральными рыданиями, упорно-отсталые рабы, готовые всегда радостно пресмыкаться перед начальством и перед меценатами... Недаром Чехов сказал как-то: «Более актера истеричен только околоточный. Посмотрите, как они оба в царский день стоят перед буфетной стойкой, говорят речи и плачут».

Но театральные традиции хранились у нас непоколебимо. Какой-то Митрофанов-Козловский, как известно, перед выходом на сцену всегда крестился. Это всосалось. И каждый из наших главных артистов перед своим выходом непременно проделывал то же самое и при этом косил глазом вбок: смотрят или нет? И если смотрят, то, наверно, уж думают: как он суеверен!.. Вот оригинал!..

Какой-то из этих проституток искусства, с козлиным голосом и жирными ляжками, прибил однажды портного, а в другой раз парикмахера. И это также вошло в обычай. Часто я наблюдал, как Лара-Ларский метался по сцене с кровавыми глазами и с пеной на губах и кричал хрипло:

— Дайте мне этого портного! Я убью этого портного!

А потом, уже ударив этого портного и в тайне души ожидая и побаиваясь крепкого ответа, он простирал назад руки, дрожал и вопил:

— Держите меня! Держите! Иначе я в самом деле сделаюсь убийцей!..

Но зато как проникновенно они говорили о «святом искусстве» и о сцене! Помню один светлый, зеленый июньский день. У нас еще не начиналась репетиция. На сцене было темновато и прохладно. Из больших актеров пришли раньше всех Лара-Ларский и его театральная жена — Медведева. Несколько барышень и реалистов сидят в партере. Лара-Ларский ходит взад и вперед по сцене.

Лицо его озабочено. Очевидно, он обдумывает какой-то новый глубокий тип. Вдруг жена обращается к нему:

— Саша, насвисти, пожалуйста, этот вчерашний мотив из «Паяцев».

Он останавливается, меряет ее с ног до головы выразительным взглядом и произносит, косясь на партер, бархатным актерским баритоном:

— Свистать? На сцене? Ха-ха-ха! (Он смеется горьким актерским смехом.) Ты ли это говоришь? Да разве ты не знаешь, что сцена — это хра-ам, это алтарь, на который мы кладем все свои лучшие мысли и желания. И вдруг — свистать! Ха-ха-ха...

Однако в этот же самый алтарь, в дамские уборные ходили местные кавалеристы и богатые бездельники-помещики совершенно так же, как в отдельные кабинеты публичного дома. На этот счет мы вообще не были щепетильны. Сколько раз бывало: внутри виноградной беседки светится огонь, слышен женский хохот, лязганье шпор и звон бокалов, а театральный муж, точно дозорный часовой, ходит взад и вперед по дорожке около входа в темноте и ждет, не пригласят ли его. И лакей, пронося на высоко поднятом подносе судака о-гратен, толкнет его локтем и скажет сухо:

— Посторонитесь, сударь.

А когда его позовут, он будет кривляться, пить водку с пивом и уксусом и рассказывать похабные анекдоты из еврейского быта.

Но все-таки об искусстве они говорили горячо и гордо. Тимофеев-Сумской не раз читал лекцию об утерянном «классическом жесте ухода».

— Утерян жест классической трагедии!— говорил он мрачно.— Прежде как актер уходил? Вот! — Тимофеев вытягивался во весь рост и подымал кверху правую руку со сложенными в кулак пальцами, кроме указательного, который торчал крючком.— Видите? — И он огромными медленными шагами начинал удаляться к двери.— Вот что называлось «классическим жестом ухода»! А что теперь? Заложил ручки в брючки и фить домой. Так-то, батеньки.

Иногда они любили и новизну, отсебятину. Лара-Ларский так, например, передавал о своем исполнении роли Хлестакова:

— Нет, позвольте. Я эту сцену с городничим вот как веду. Городничий говорит, что номер темноват. А я отвечаю: «Да. Захочешь почитать что-нибудь, *например Максима Горького*,— нельзя! Темыно, тем-мыно!» И всегда... аплодисмент!

Хорошо было послушать, как иной раз разговаривают в подпитии старики, например Тимофеев-Сумской с Гончаровым.

— Да, брат Федотушка, не тот ноне актер пошел. Нет, брат, не то-от.

— Верно, Петряй. Не тот. Помнишь, брат, Чарского, Любского!.. Э-хх, брат!

— Заветы не те.

— Верно, Петербург. Не те. Не стало уважения к святости искусства. Мы с тобой, Пека, все-таки жрецами были, а эти... Э-хх! Выпьем, Пекаторис.

— А помнишь, брат Федотушка, Иванова-Козельского?

— Оставь, Петроград, не береди. Выпьем. Куда теперешним?

— Куда!

— Ку-уда!

И вот среди этой мешанины пошлости, глупости, пройдошества, альфонсизма, хвастовства, невежества и разврата — поистине служила искусству Андросова, такая чистая, нежная, красивая и талантливая. Теперь, став старее, я понимаю, что она так же не чувствовала этой грязи, как белый прекрасный венчик цветка не чувствует, что его корни питаются черной тиной болота.

XI

Пьесы ставились, как на курьерских. Небольшие драмы и комедии шли с одной репетиции, «Смерть Иоанна Грозного» и «Новый мир» — с двух, «Измаил», сочинение господина Бухарина, потребовал трех репетиций, и то благодаря тому, что в нем участвовало около сорока статистов из местных команд: гарнизонной, конвойной и пожарной.

Особенно памятно мне представление «Смерти Иоанна Грозного»—памятно по одному глупому и смешному происшествию. Грозного играл Тимофеев-Сумской. В парчо-

вой длинной одежде, в островерхой шапке из собачьего меха — он походил на движущийся обелиск. Для того чтобы придать грозному царю побольше свирепости, он все время выдвигал вперед нижнюю челюсть и опускал вниз толстую губу, причем вращал глазами и рычал, как никогда.

Конечно, роли он не знал и читал ее такими стихами, что даже у актеров, давно привыкших к тому, что публика — дура и ничего не понимает, становились волосы дыбом. Но особенно отличился он в той сцене, где Иоанн в покаянном припадке становится на колени и исповедуется перед боярами: «Острупился мой ум» и т. д.

И вот он доходит до слов: «Аки пес смердящий...» Нечего и говорить, что глаза его были все время в суфлерской будке. На весь театр он произносит: «Аки!» — и умолкает.

— Аки пес смердящий...— шепчет суфлерша.

— Паки! — ревет Тимофеев.

— Аки пес...

— Каки!

— Аки пес смердящий...

Наконец ему удается справиться с текстом. При этом он не обнаруживает ни замешательства, ни смущения. Но со мной — я в это время стоял около трона —вдруг случился неудержимый припадок смеха. Ведь всегда так бывает: когда знаешь, что *нельзя* смеяться,— тогда именно и овладевает тобою этот сотрясающий, болезненный смех. Я быстро сообразил, что лучше всего спрятаться за высокой спинкой трона и там высмеяться вдоволь. Поворачиваюсь,— иду торжественной боярской походкой, едва удерживаясь от хохота; захожу за трон и... вижу, что там прижались к спинке и трясутся и давятся от беззвучного смеха две артистки, Волкова и Богучарская. Это было выше моего терпения. Я выбежал за кулисы, упал на бутафорский диван, на *мой* диван, и стал по нему кататься... Самойленко, всегда ревниво следивший за мною, оштрафовал меня за это на пять рублей.

Да и вообще этот спектакль изобиловал приключениями. Я забыл сказать, что у нас был актер Романов, очень красивый, высокий, представительный молодой человек на громкие и величественные второстепенные роли. К сожалению, он отличался чрезвычайною близорукостью, так

что даже носил стекла по какому-то особенному заказу. На сцене, без пенсне, он вечно натыкался на что-нибудь, опрокидывал колонны, вазы и кресла, путался в коврах и падал. Он уже был давно известен тем, что в другом городе и в другой труппе, играя в «Принцессе Грезе» зеленого рыцаря, он упал и покатился в своих жестяных латах к рампе, громыхая, как огромный самовар. В «Смерти Иоанна Грозного» Романов, однако, превзошел самого себя. Он ворвался в дом Шуйского, где собрались заговорщики, с такой стремительностью, что опрокинул на пол длинную скамью вместе с сидевшими на ней боярами.

Эти бояре были очаровательны. Все они были набраны из молодых караимчиков, служивших на местной табачной фабрике. Я выводил их на сцену. Я небольшого роста, но самый высокий из них приходился мне по плечо. Притом половина из этих родовитых бояр была в кавказских костюмах с газырями, а другая половина—в кафтанах, взятых напрокат из местного архиерейского хора. Прибавьте еще к этому мальчишеские лица с подвязанными черными бородами, блестящие черные глаза, восторженно раскрытые рты и застенчиво-неловкие движения. Публика приветствовала наш торжественный выход дружным ржанием.

Благодаря тому, что мы ставили ежедневно новые пьесы, театр наш довольно охотно посещался. Офицеры и помещики ходили из-за актрис. Кроме того, ежедневно посылался Харитоненке билет на ложу. Сам он бывал редко — не более двух раз за весь сезон, но каждый раз присылал по сту рублей. Вообще театр делал недурные дела, и если младшим актерам не платили жалованья, то тут у Валерьянова был такой же тонкий расчет, как у того извозчика, который вешал впереди морды своей голодной клячи кусок сена для того, чтобы она скорее бежала.

XII

Однажды — не помню почему — спектакля не было. Стояла скверная погода. В десять часов вечера я уже лежал на моем диване и в темноте прислушивался, как дождь барабанит в деревянную крышу.

Вдруг где-то за кулисами послышался шорох, шаги, потом грохот падающих стульев. Я засветил огарок, пошел навстречу и увидел пьяного Нелюбова-Ольгина, который беспомощно шарашился в проходе между декорациями и стеной театра. Увидев меня, он не испугался, но спокойно удивился:

— К'кого ч-черта вы тут делаете?

Я объяснил ему в двух словах. Заложив руки в карманы панталон и кивая длинным носом, он некоторое время раскачивался с носков на каблуки. Потом вдруг потерял равновесие, но удержался, сделав несколько шагов вперед, и сказал:

— А п'чему не ко мне?

— Мы с вами так мало знакомы...

— Чепуха. Пойдем!

Он взял меня под руку, и мы пошли к нему. С этого часа и до самого последнего дня моего актерства я разделял с ним его крошечную полутемную комнатенку, которую он снимал у бывшего с — ого исправника. Этот пьяница и скандалист, предмет лицемерного презрения всей труппы, оказался кротким, тихим человеком, с большим запасом внутренней деликатности, и отличным товарищем. Но у него была в душе какая-то болезненная, незалечимая трещина, нанесенная женщиной. Я никогда, впрочем, не мог понять, в чем суть его неудачного романа. Будучи пьяным, он часто вытаскивал из своей дорожной корзинки портрет какой-то женщины, не очень красивой, но и не дурной, немного косенькой, со вздернутым вызывающим носиком, несколько провинциальной наружности. Он то целовал эту фотографию, то швырял ее на пол, прижимал ее к сердцу и плевал на нее, ставил ее в угол на образ и потом капал на нее стеарином. Я не мог также разобраться, кто из них кого бросил и о чьих детях шла речь: его, ее или кого-то третьего.

Ни у него, ни у меня денег не было. Он уже давно забрал у Валерьянова крупную сумму, чтобы послать *ей*, и теперь находился в состоянии крепостной зависимости, порвать которую ему мешала простая порядочность. Изредка он подрабатывал несколько копеек у местного живописца вывесок. Но этот заработок был большим секретом от труппы: помилуйте, разве Лара-Ларский вытерпел бы такое надругание над искусством!

Наш хозяин — отставной исправник — толстый, румяный мужчина в усах и с двойным подбородком, был человек большого благодушия. Каждое утро и вечер, после того, когда в доме у него отпивали чай, нам приносили вновь долитый самовар, чайник со спитым чаем и сколько угодно черного хлеба. Мы бывали сыты.

После послеобеденного сна отставной исправник выходил в халате и с трубкой на улицу и садился на крылечко. Перед тем как идти в театр, и мы подсаживались к нему. Разговор у нас шел всегда один и тот же — о его служебных злоключениях, о несправедливости высшего начальства и о гнусных интригах врагов. Он все советовался с нами, как бы это ему написать такое письмо в столичные газеты, чтобы его невинность восторжествовала и чтобы губернатор с вице-губернатором, с нынешним исправником и с подлецом-приставом второй части, который и был главной причиной всех бед, полетели со своих мест. Мы давали ему разные советы, но он только вздыхал, морщился, покачивал головой и твердил:

— Эх, не то... Не то, не то... Вот если бы мне найти человека с пером! Перо бы мне найти! Никаких денег не пожалею.

А у него— канальи — были деньги. Войдя однажды к нему в комнату, я застал его за стрижкой купонов. Он немного смутился, встал и загородил бумаги спиной и распахнутым халатом. Я твердо уверен, что во время службы за ним водились: и взяточничество, и вымогательство, и превышение власти, и другие поступки.

По ночам, после спектакля, мы иногда бродили с Нелюбовым по саду. В тихой, освещенной огнями зелени повсюду уютно стояли белые столики, свечи горели не колеблясь в стеклянных колпачках. Женщины и мужчины как-то по-праздничному, кокетливо и значительно улыбались и наклонялись друг к другу. Шуршал песок под легкими женскими ножками...

— Хорошо бы нам найти карася! — говорил иногда сиплым баском Нелюбов и поглядывал на меня лукаво сбоку.

Меня сначала коробило. Я всегда ненавидел эту жадную и благородную готовность садовых актеров примазываться к чужим обедам и завтракам, эти собачьи, ласковые, влажные и голодные глаза, эти неестественно-

развязные баритоны за столом, это гастрономическое всезнайство, эту усиленную внимательность, эту привычно-фамильярную повелительность с прислугой. Но потом, ближе узнав Нелюбова, я понял, что он шутит. Этот чудак был по-своему горд и очень щекотлив.

Но вышел один смешной и чуть-чуть постыдный случай, когда сам карась поймал меня с моим другом в кулинарную сеть. Вот это как было.

Мы с ним выходили последними из уборной после представления, и вдруг откуда-то из-за кулис выскочил на сцену некто Альтшиллер... местный Ротшильд, еврей, этакий молодой, но уже толстый, очень развязный, румяный мужчина, сладострастного типа, весь в кольцах, цепях и брелоках. Он бросился к нам.

— Ах, боже мой... я уже вот полчаса везде бегаю... сбился с ног... Скажите, ради бога, вы не видели Волкову и Богучарскую?

Мы действительно видели, как эти артистки сейчас же после спектакля уехали кататься с драгунскими офицерами, и любезно сообщили об этом Альтшиллеру. Он схватился за голову и заметался по сцене.

— Но это же безобразие! У меня заказан ужин! Нет, это просто бог знает что такое: дать слово, обещаться и... Как это называется, господа, я вас спрашиваю?

Мы молчали.

Он еще покрутился по сцене, потом остановился, помялся, почесал нервно висок, почмокал в раздумье губами и вдруг сказал решительно:

— Господа, я вас покорнейше прошу отужинать со мной.

Мы отказались.

Но не тут-то было. Он прилип к нам, как клей-синдетикон. Он кидался то к Нелюбову, то ко мне, тряс нам руки, заглядывал умильно в глаза и с жаром уверял, что он любит искусство. Нелюбов первый дрогнул.

— А, черт! Пойдем, в самом деле. Чего там!

Меценат повел нас на главную эстраду и засуетился. Выбрал наиболее видное место, усадил нас, а сам все время вскакивал, бегал вслед за прислугой, размахивал руками и, выпив рюмку доппель-кюммеля, притворялся отчаянным кутилой. Котелок у него был для лихости набоку.

— Может быть, огуречика? Как это по-русски говорится? Значит, эфто без огуречика никакая пишшыя не проходит. Так? А водочки? Пожалуйста, кушайте... кушайте до конца, прошу вас. А может быть, беф-строганов? Здесь отлично готовят... Псст! Человек!

От большого куска горячего жареного мяса я опьянел, как от вина. Глаза у меня смыкались. Веранда с огнями, с синим табачным дымом и с пестрой скачкой болтовни, плыла куда-то вбок, мимо меня, и я точно сквозь сон слышал:

— Пожалуйста, кушайте еще, господа... Не стесняйтесь. Ну, что я могу с собой поделать, когда я так люблю искусство!..

XIII

Но приближался момент развязки. Питание одним чаем с черным хлебом отзывалось на мне болезненно. Я стал раздражителен и часто, чтобы сдержать себя, убегал с репетиций куда-нибудь подальше в сад. Кроме того, я давно уже распродал все мое белье.

Самойленко продолжал терзать меня. Знаете, иногда бывает в закрытых учебных заведениях, что учитель вдруг ни с того ни с сего возненавидит какого-нибудь замухрышку-ученика: возненавидит за бледность лица, за торчащие уши, за неприятную манеру дергать плечом,— и эта ненависть продолжается целые года. Так именно относился ко мне Самойленко. Он уже успел оштрафовать меня в общей сложности на пятнадцать рублей и на репетициях обращался со мною по крайней мере как начальник тюрьмы с арестантом. Иногда, слушая его грубые замечания, я опускал веки и видел у себя перед глазами огненные круги. Валерьянов теперь уже совсем не разговаривал со мной и при встречах убегал от меня со скоростью страуса. Я служил уже полтора месяца и до сих пор получил все-навсего один рубль.

Однажды утром я проснулся с больной головой, с металлическим вкусом во рту и с тяжелой, черной, беспричинной злобой в душе. В таком настроении я пошел на репетицию.

Не помню, что мы ставили, но помню хорошо, что в моей руке была толстая, сложенная трубкой тетрадь. Роль свою я знал, как и всегда, безукоризненно. В ней, между прочим, стояли слова: «Я это заслужил».

И вот пьеса доходит до этого места.

— Я это заслужил,— говорю я.

Но Самойленко подбегает ко мне и вопит:

— Ну кто же так говорит по-русски? Кто так говорит? Я это заслужил! Надо говорить: я на это заслужил! Без-здарность!

Побледнев, я протянул было к нему тетрадку со словами:

— Извольте справиться с текстом...

Но он выкрикнул горлом:

— Плевать я на ваш текст! Я сам для вас текст! Не хотите служить — убирайтесь к черту!

Я быстро поднял на него глаза. Он вдруг понял все, побледнел так же, как и я, и быстро отступил на два шага. Но было уже поздно. Тяжелым свертком я больно и громко ударил его по левой щеке, и по правой, и потом опять по левой, и опять по правой, и еще, и еще. Он не сопротивлялся, даже не нагнулся, даже не пробовал бежать, а только при каждом ударе дергал туда и сюда головой, как клоун, разыгрывающий удивление. Затем я швырнул тетрадь ему в лицо и ушел со сцены в сад. Никто не остановил меня.

И вот случилось чудо! Первый, кого я увидел в саду, был мальчишка-рассыльный из местного отделения Волжско-Камского банка. Он спрашивал, кто здесь Леонтович, и вручил мне повестку на пятьсот рублей.

Через час я и Нелюбов были уже опять в саду и заказывали себе чудовищный завтрак, а через два часа вся труппа чокалась со мною шампанским и поздравляла меня. Честное слово: это не я, а Нелюбов пустил слух, что мне досталось наследство в шестьдесят тысяч. Я не опровергал его. Валерьянов потом клялся, что дела с антрепризой ужасно плохи, и я подарил ему сто рублей.

В пять часов вечера я садился в поезд. В кармане у меня, кроме билета до Москвы, было не более семидесяти рублей, но я чувствовал себя Цезарем. Когда, после второго звонка, я поднимался в вагон, ко мне подошел Самойленко, который до сих пор держался в отдалении.

— Простите меня, я погорячился,— сказал он театрально.

Я пожал протянутую руку и ответил любезно:

— Простите, я тоже погорячился.

Мне прокричали «ура» на прощанье. Последним теплым взглядом я обменялся с Нелюбовым. Пошел поезд, и все ушло назад, навсегда, безвозвратно. И когда стали скрываться из глаз последние голубые избенки Заречья и потянулась унылая, желтая, выгоревшая степь — странная грусть сжала мне сердце. Точно там, в этом месте моих тревог, страданий, голода и унижений, осталась навеки частица моей души.

ГАМБРИНУС

I

Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно благодаря ее подземному расположению. Часто посетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе, умудрялся миновать это замечательное заведение и, только пройдя две-три соседние лавки, возвращался назад.

Вывески совсем не было. Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в двадцать каменных ступеней, избитых и скривленных многими миллионами тяжелых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось горельефное раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса, величиною приблизительно в два человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя и казалось грубо исполненным из окаменелых кусков ноздреватой губки, но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого сомнения, что перед посетителем — сам великий патрон пивоварения.

Пивная состояла из двух длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась беглыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и нощно, потому

что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно еще было достаточно ясно разобрать следы занимательной стенной живописи. На одной картине пировала большая компания немецких молодчиков, в охотничьих зеленых куртках, в шляпах с тетеревиными перьями, с ружьями за плечами. Все они, обернувшись лицом к пивной зале, приветствовали публику протянутыми кружками, а двое при этом еще обнимали за талию двух дебелых девиц, служанок при сельском кабачке, а может быть, дочерей доброго фермера. На другой стене изображался великосветский пикник времен первой половины XVIII столетия; графини и виконты в напудренных париках жеманно резвятся на зеленом лугу с барашками, а рядом, под развесистыми ивами,— пруд с лебедями, которых грациозно кормят кавалеры и дамы, сидящие в какой-то золотой скорлупе. Следующая картина представляла внутренность хохлацкой хаты и семью счастливых малороссиян, пляшущих гопака со штофами в руках. Еще дальше красовалась большая бочка, и на ней, увитые виноградом и листьями хмеля, два безобразно толстые амура с красными лицами, жирными губами и бесстыдно-маслеными глазами чокаются плоскими бокалами. Во второй зале, отделенной от первой полукруглой аркой, шли картины из лягушечьей жизни: лягушки пьют пиво в зеленом болоте, лягушки охотятся на стрекоз среди густого камыша, играют струнный квартет, дерутся на шпагах и т. д. Очевидно, стены расписывал иностранный мастер.

Вместо столов были расставлены на полу, густо усыпанном опилками, тяжелые дубовые бочки; вместо стульев — маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней стояло пианино. Здесь каждый вечер, уже много лет подряд, играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка — еврей,— кроткий, веселый, пьяный, плешивый человек, с наружностью облезлой обезьяны, неопределенных лет. Проходили года, сменялись лакеи в кожаных нарукавниках, сменялись поставщики и развозчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка неизменно каждый вечер к шести часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях, а к часу ночи уходил из Гамбрину-

са в сопровождении той же собачки Белочки, едва держась на ногах от выпитого пива.

Впрочем, было в Гамбринусе и другое несменяемое лицо — буфетчица мадам Иванова,— полная, бескровная, старая женщина, которая от беспрерывного пребывания в сыром пивном подземелье походила на бледных ленивых рыб, населяющих глубину морских гротов. Как капитан корабля из рубки, она с высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря от дыма правый глаз. Голос ее редко кому удавалось слышать, а на поклоны она отвечала всегда одинаковой бесцветной улыбкой.

II

Громадный порт, один из самых больших торговых портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гигантские броненосцы. В нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые толстотрубые пароходы Добровольного флота, поглощавшие ежедневно длинные поезда с товарами или тысячи арестантов. Весной и осенью здесь развевались сотни флагов со всех концов земного шара, и с утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможных языках. От судов к бесчисленным пакгаузам и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики: русские босяки, оборванные, почти оголенные, с пьяными, раздутыми лицами, смуглые турки в грязных чалмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах, коренастые мускулистые персы, с волосами и ногтями, окрашенными хной в огненно-морковный цвет. Часто в порт заходили прелестные издали двух- и трехмачтовые итальянские шкуны со своими правильными этажами парусов — чистых, белых и упругих, как груди молодых женщин; показываясь из-за маяка, эти стройные корабли представлялись — особенно в ясные весенние утра — чудесными белыми видениями, плывущими не по воде, а по воздуху, выше горизонта. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде, среди мусора, яичной скорлупы, арбузных корок и стад белых морских чаек, высоковерхие анатолийские кочермы и трапезондские

фелюги, с их странной раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда, под черными просмоленными парусами, с грязной тряпкой вместо флага; обогнув мол и чуть-чуть не черкнув об него бортом, такое судно, все накренившись набок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало среди разноязычной руготни, проклятий и угроз к первому попавшемуся молу, где матросы его,— совершенно голые, бронзовые, маленькие люди,— издавая гортанный клекот, с непостижимой быстротой убирали рваные паруса, и мгновенно грязное, таинственное судно делалось как мертвое. И так же загадочно, темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта. Весь залив по ночам кишел легкими лодочками контрабандистов. Окрестные и дальние рыбаки свозили в город рыбу: весною — мелкую камсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом—уродливую камбалу, осенью — макрель, жирную кефаль и устрицы, а зимой — десяти- и двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега.

Все эти люди — матросы разных наций, рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты,— все они были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска, ценили выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова, а на суше предавались с диким наслаждением разгулу, пьянству и дракам. По вечерам огни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда обещая что-то новое, радостное, еще не испытанное, и всегда обманывая.

Город соединялся с портом узкими, крутыми, коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью. На каждом шагу здесь попадались ночлежные дома с грязными, забранными решеткой окнами, с мрачным светом одинокой лампы внутри. Еще чаще встречались лавки, в которых можно было продать с себя всю одежду вплоть до нательной матросской сетки и вновь одеться в любой морской костюм. Здесь также было много пивных, таверн, кухмистерских и трактиров с выразительными вывесками на всех языках и немало

явных и тайных публичных домов, с порогов которых по ночам грубо размалеванные женщины зазывали сиплыми голосами матросов. Были греческие кофейни, где играли в домино и в шестьдесят шесть, и турецкие кофейни, с приборами для курения наргиле и с ночлегом за пятачок; были восточные кабачки, в которых продавали улиток, петалиди, креветок, мидий, больших бородавчатых чернильных каракатиц и другую морскую гадость. Где-то на чердаках и в подвалах, за глухими ставнями, ютились игорные притоны, в которых штосс и баккара часто кончались распоротым животом или проломленным черепом, и тут же рядом за углом, иногда в соседней каморке, можно было спустить любую краденую вещь, от брильянтового браслета до серебряного креста и от тюка с лионским бархатом до казенной матросской шинели.

Эти крутые узкие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными, точно они потели в кошмарном сне. И они походили на сточные канавы или на грязные кишки, по которым большой международный город извергал в море все свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порок, заражая ими крепкие мускулистые тела и простые души.

Здешние буйные обитатели редко подымались наверх в нарядный, всегда праздничный город с его зеркальными стеклами, гордыми памятниками, сиянием электричества, асфальтовыми тротуарами, аллеями белой акации, величественными полицейскими, со всей его показной чистотой и благоустройством. Но каждый из них, прежде чем расшвырять по ветру свои трудовые, засаленные, рваные, разбухшие рублевки, непременно посещал Гамбринус. Это было освящено древним обычаем, хотя для этого и приходилось под прикрытием вечернего мрака пробираться в самый центр города.

Многие, правда, совсем не знали мудреного имени славного пивного короля. Просто кто-нибудь предлагал:

— Идем к Сашке?

А другие отвечали:

— Есть! Так держать.

И уже все вместе говорили:

— Вира!

Нет ничего удивительного, что среди портовых и морских людей Сашка пользовался бо́льшим почетом и из-

вестностью, чем, например, местный архиерей или губернатор. И, без сомнения, если не его имя, то его живое обезьянье лицо и его скрипка вспоминались изредка в Сиднее и в Плимуте, так же как в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Константинополе и на Цейлоне, не считая уже всех заливов и бухт Черного моря, где водилось множество почитателей его таланта из числа отважных рыбаков.

III

Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там еще никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива и было темновато, потому что днем берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный город изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада.

Сашка подходил к прилавку, здоровался с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда буфетчица просила:

— Саша, сыграйте что-нибудь!

— Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова? — любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен.

— Что-нибудь свое...

Он садился на обычное место налево от пианино и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. Становилось как-то сонно и тихо в подземелье, только с улицы доносилось глухое рокотание города, да изредка лакеи осторожно побрякивали посудой за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся затканная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо Сашки с напруженным подбородком и низко опущенным лбом, с глазами, сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям Гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка Белочка сидела у него на коленях. Она давно уже привыкла не подвывать музыке, но страстно-тоскливые, рыдающие и проклинающие звуки невольно раздражали ее: она в су-

дорожных зевках широко раскрывала рот, завивая назад тонкий розовый язычок, и при этом на минуту дрожала всем тельцем и нежной черноглазой мордочкой.

Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика, на буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром, и, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу: «Майский парад, ейн, цвей, дрей!» — и начинал бурный марш. С этой минуты он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. В то же время Сашка прищуривал то один, то другой глаз, собирал кверху длинные морщины на своем лысом, покатом назад черепе, двигал комически губами и улыбался на все стороны.

К десяти-одиннадцати часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до двухсот и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках, никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на смятую шапку, на чужое пиво, окатившее штаны; если обижались, то только по пьяному делу «для задёра». Подвальная сырость, тускло блестя, еще обильнее струилась со стен, покрытых масляной краской, а испарения толпы падали вниз с потолка, как редкий, тяжелый, теплый дождь. Пили в Гамбринусе серьезно. В нравах этого заведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоем-втроем, так уставлять стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видеть собеседника, как в стеклянном зеленом лесу.

В развале вечера гости краснели, хрипли и становились мокрыми. Табачный дым резал глаза. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гаме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики.

Но посетители быстро пьянели от пива, от близости женщин, от жаркого воздуха. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно тор-

чали, дергая его за рукав и мешая ему играть, по два, по три человека, с тупыми глазами и нетвердыми движеньями.

— Сашш!.. С-стра-дательную... Убла...— проситель икал,— убла-а-твори!

— Сейчас, сейчас,— твердил Сашка, быстро кивая головой, и с ловкостью врача, без звука, опускал в боковой карман серебряную монету.— Сейчас, сейчас.

— Сашка, это же подлость. Я деньги дал и уже двадцать раз прошу: «В Одессу морем я плыла».

— Сейчас, сейчас...

— Сашка, «Соловья»!

— Сашка, «Марусю»!

— «Зец-Зец», Сашка, «Зец-Зец»!

— Сейчас, сейчас...

— «Ча-ба-на»! — орал с другого конца залы не человеческий, а какой-то жеребячий голос.

И Сашка при общем хохоте кричал ему по-петушиному:

— Сейча-а-ас...

И он играл без отдыха все заказанные песни. Повидимому, не было ни одной, которой бы он не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпались серебряные монеты, и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он слезал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части.

— Сашенька... Мил'чек... Одну кружечку.

— Саша, за ваше здоровье. Иди же сюда, черт, печенки, селезенки, если тебе говорят.

— Сашка-а, пиво иди пи-ить! — орал жеребячий голос.

Женщины, склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличаться и раболепствовать перед ними, звали его воркующим голосом, с игривым, капризным смешком:

— Сашечка, вы должны непременно от мене выпить... Нет, нет, нет, я вас просю. И потом сыграйте «куку-вок».

Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо, прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пиво и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь «Разлуку». Иногда, чтобы потешить своих

слушателей, он заставлял свою скрипку в лад мотиву скулить щенком, хрюкать свиньею или хрипеть раздирающими басовыми звуками. И слушатели встречали эти шутки с благодушным одобрением:

— Го-го-го-го-о-о!

Становилось все жарче. С потолка лило, некоторые из гостей уже плакали, ударяя себя в грудь, другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин и из-за прежних обид и лезли друг на друга, удерживаемые более трезвыми соседями, чаще всего прихлебателями. Лакеи чудом протискивались между бочками, бочонками, ногами и туловищами, высоко держа над головами сидящих свои руки, унизанные пивными кружками. Мадам Иванова, еще более бескровная, невозмутимая и молчаливая, чем всегда, распоряжалась из-за буфетной стойки действиями прислуги, подобно капитану судна во время бури.

Всех одолевало желание петь. Сашка, размякший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно. И под звуки его скрипки охрипшие люди нескладными деревянными голосами орали в один тон, глядя друг другу с бессмысленной серьезностью в глаза:

На что нам ра-азлучаться,
Ах, на что в разлу-уке жить.
Не лучше ль повенчаться,
Любовью дорожить?

А рядом другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, голосила уже совсем вразброд:

Вижу я по походке,
Что пестреются штанцы.
В него волос под шантрета
И на рипах сапоги.

Гамбринус часто посещали малоазиатские греки «допголаки», которые приплывали в русские порты на рыбные промысла. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящие из унылого, гнусавого однообразного воя на двух-трех нотах, и с мрачными лицами, с горящими глазами готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка и итальянские народные куплеты, и хохлацкие думки, и еврейские свадебные танцы, и много другого. Однажды зашла в Гамбринус кучка матросов-

негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть. Сашка быстро уловил по слуху скачущую негритянскую мелодию, тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот, к большому восторгу и потехе завсегдатаев Гамбринуса, пивная огласилась странными, капризными, гортанными звуками африканской песни.

Один репортер местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача. Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, блеять и реветь. Гости Гамбринуса так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно:

— Клоунство.

И ушел, не допив своей кружки.

IV

Нередко деликатные маркизы и пирующие немецкие охотники, жирные амуры и лягушки бывали со своих стен свидетелями такого широкого разгула, какой редко где можно было бы увидеть, кроме Гамбринуса.

Являлась, например, закутившая компания воров после хорошего дела, каждый с возлюбленной, каждый в фуражке, лихо заломленной набок, в лакированных сапогах, с изысканными трактирными манерами, с пренебрежительным видом. Сашка играл для них особые, воровские песни: «Погиб я, мальчишечка», «Не плачь ты, Маруся», «Прошла весна» и другие. Плясать они считали ниже своего достоинства, но их подруги, все недурные собой, молоденькие, иные почти девочки, танцевали «Чабана» с визгом и щелканьем каблуков. И женщины и мужчины пили очень много,— было дурно только то, что воры всегда заканчивали свой кутеж старыми денежными недоразумениями и любили исчезнуть не платя.

Приходили большими артелями, человек по тридцати, рыбаки после счастливого улова. Поздней осенью выдавались такие счастливые недели, когда в каждый завод попадалось ежедневно тысяч по сорока скумбрии или кефали. За это время самый мелкий пайщик зарабатывал более двухсот рублей. Но еще более обогащал рыбаков удачный лов белуги, зимой, зато он и отличался боль-

шими трудностями. Приходилось тяжело работать, за тридцать — сорок верст от берега, среди ночи, иногда в ненастную погоду, когда вода заливала баркас и тотчас же обледеневала на одежде, на веслах, а погода держала по двое, по трое суток в море, пока не выбрасывала куда-нибудь верст за двести, в Анапу или в Трапезонд. Каждую зиму пропадало без вести до десятка яликов, и только весною волны прибивали то тут, то там к чужому берегу трупы отважных рыбаков.

Зато когда они возвращались с моря благополучно и удачливо, то на суше ими овладевала бешеная жажда жизни. Несколько тысяч рублей спускались в два-три дня в самом грубом, оглушительном, пьяном кутеже. Рыбаки забирались в трактир или еще в какое-нибудь веселое место, вышвыривали всех посторонних гостей, запирали наглухо двери и ставни и целые сутки напролет пили, предавались любви, орали песни, били зеркала, посуду, женщин и нередко друг друга, пока сон не одолевал их где попало — на столах, на полу, поперек кроватей, среди плевков, окурков, битого стекла, разлитого вина и кровавых пятен. Так кутили рыбаки несколько суток подряд, иногда меняя место, иногда оставаясь в одном и том же. Прокутив все до последнего гроша, они с гудящими головами, со знаками битв на лицах, трясясь от похмелья, молчаливые, удрученные и покаянные, шли на берег, к баркасам, чтобы приняться вновь за свое милое и проклятое, тяжелое и увлекательное ремесло.

Они никогда не забывали навестить Гамбринус. Они туда вламывались огромные, осипшие, с красными лицами, обожженными свирепым зимним норд-остом, в непромокаемых куртках, в кожаных штанах и в воловьих сапогах по бедра,— в тех самых сапогах, в которых их друзья среди бурной ночи шли ко дну, как камни.

Из уважения к Сашке они не выгоняли посторонних, хотя и чувствовали себя хозяевами пивной и били тяжелые кружки об пол. Сашка играл им ихние рыбацкие песни, протяжные, простые и грозные, как шум моря, и они пели все в один голос, напрягая до последней степени свои здоровые груди и закаленные глотки. Сашка действовал на них, как Орфей, усмирявший волны, и случалось, что какой-нибудь сорокалетний атаман баркаса, бо-

родатый, весь обветренный, звероподобный мужчинище, заливался слезами, выводя тонким голосом жалостливые слова песни:

Ах, бедный, бедный я, мальчишечка,
Что вродился рыбаком...

А иногда они плясали, топчась на месте, с каменными лицами, громыхая своими пудовыми сапогами и распространяя по всей пивной острый соленый запах рыбы, которым насквозь пропитались их тела и одежды. К Сашке они были очень щедры и подолгу не отпускали от своих столов. Он хорошо знал образ их тяжелой, отчаянной жизни. Часто, когда он играл им, то чувствовал у себя в душе какую-то почтительную грусть.

Но особенно он любил играть английским матросам с коммерческих судов. Они приходили гурьбой, держась рука об руку,— все как бы на подбор грудастые, широкоплечие, молодые, белозубые, с здоровым румянцем, с веселыми, смелыми голубыми глазами. Крепкие мышцы распирали их куртки, а из глубоко вырезанных воротников возвышались прямые, могучие, стройные шеи. Некоторые знали Сашку по прежним стоянкам в этом порту. Они узнавали его и, приветливо скаля белые зубы, приветствовали его по-русски:

— Здрайст, здрайст.

Сашка сам, без приглашения, играл им «Rule Britannia» [1]. Должно быть, сознание того, что они сейчас находятся в стране, отягощенной вечным рабством, придавало особенно гордую торжественность этому гимну английской свободы. И когда они пели, стоя, с обнаженными головами, последние великолепные слова:

Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом! —

то невольно и самые буйные соседи снимали шапки.

Коренастый боцман с серьгой в ухе и с бородой, растущей, точно бахрома, из шеи, подходил к Сашке с двумя кружками пива, широко улыбался, хлопал его дружелюбно по спине и просил сыграть джигу. При первых

[1] «Правь, Британия» (*англ.*).

же звуках этого залихватского морского танца англичане вскакивали и расчищали место, отодвигая к стенам бочонки. Посторонних просили об этом жестами, с веселыми улыбками, но если кто не торопился, с тем не церемонились, а прямо вышибали из-под него сидение хорошим ударом ноги. К этому, однако, прибегали редко, потому что в Гамбринусе все были ценителями танцев и в особенности любили английскую джигу. Даже сам Сашка, не переставая играть, становился на стул, чтобы лучше видеть.

Матросы делали круг и в такт быстрому танцу били в ладоши, а двое выступали в середку. Танец изображал жизнь матроса во время плавания. Судно готово к отходу, погода чудесная, все в порядке. У танцоров руки скрещены на груди, головы откинуты назад, тело спокойно, хотя ноги выбивают бешеную дробь. Но вот поднялся ветерок, начинается небольшая качка. Для моряка —это одно веселье, только колена танца становятся все сложнее и замысловатее. Задул и свежий ветер—ходить по палубе уже не так удобно,— танцоров слегка покачивает с боку на бок. Наконец вот и настоящая буря — матросов швыряет от борта к борту, дело становится серьезным. «Все наверх, убирать паруса!» По движениям танцоров до смешного понятно, как они карабкаются руками и ногами на ванты, тянут паруса и крепят шкоты, между тем как буря все сильнее раскачивает судно. «Стой, человек за бортом!» Спускают шлюпку. Танцоры, опустив вниз головы, напружив мощные голые шеи, гребут частыми взмахами, то сгибая, то распрямляя спины. Буря, однако, проходит, мало-помалу утихает качка, проясняется небо, и вот уже судно опять плавно бежит с попутным ветром, и опять танцоры с неподвижными телами, со скрещенными руками отделывают ногами веселую частую джигу.

Приходилось Сашке иногда играть лезгинку для грузин, которые занимались в окрестностях города виноделием. Для него не было незнакомых плясок. В то время когда один танцор, в папахе и черкеске, воздушно носился между бочками, закидывая за голову то одну, то другую руку, а его друзья прихлопывали в такт и подкрикивали, Сашка тоже не мог утерпеть и вместе с ними одушевленно кричал: «Хас! хас! хас! хас!»

Случалось ему также играть молдаванский джок, и итальянскую тарантеллу, и вальсы немецким матросам.

Случалось, что в Гамбринусе дрались, и довольно жестоко. Старые посетители любили рассказывать о легендарном побоище между русскими военными матросами, уволенными в запас с какого-то крейсера, и английскими моряками. Дрались кулаками, кастетами, пивными кружками и даже швыряли друг в друга бочонками для сидения. Не к чести русских воинов надо сказать, что они первые начали скандал, первые же пустили в ход ножи и вытеснили англичан из пивной только после получасового боя, хотя превосходили их численностью в три раза.

Очень часто Сашкино вмешательство останавливало ссору, которая на волоске висела от кровопролития. Он подходил, шутил, улыбался, гримасничал, и тотчас же со всех сторон к нему протягивались бокалы.

— Сашка, кружечку!.. Сашка, со мной!.. Вера, закон, печенки, гроб...

Может быть, на простые дикие нравы влияла эта кроткая и смешная доброта, весело лучившаяся из его глаз, спрятанных под покатым черепом? Может быть, своеобразное уважение к таланту и что-то вроде благодарности? А может быть, также и то обстоятельство, что большинство завсегдатаев Гамбринуса состояло вечными Сашкиными должниками. В тяжелые минуты «декохта», что на морском и портовом жаргоне обозначает полное безденежье, к Сашке свободно и безотказно обращались за мелкими суммами или за небольшим кредитом у буфета.

Конечно, долгов ему не возвращали — не по злостному умыслу, а по забывчивости, — но эти же должники в минуту разгула возвращали ссуду десятерицею за Сашкины песни.

Буфетчица иногда выговаривала ему:

— Удивляюсь, Саша, как это вы не жалеете своих денег?

Он возражал убедительно:

— Да мадам же Иванова. Да мне же их с собой в могилу не брать. Нам с Белочкой хватит. Белинька, собачка моя, поди сюда.

V

Появлялись в Гамбринусе также и свои модные, сезонные песни.

Во время войны англичан с бурами процветал «Бурский марш» (кажется, к этому именно времени относилась знаменитая драка русских моряков с английскими). По меньшей мере раз двадцать в вечер заставляли Сашку играть эту героическую пьесу и неизменно в конце ее махали фуражками, кричали «ура», а на равнодушных косились недружелюбно, что не всегда бывало добрым предзнаменованием в Гамбринусе.

Затем подошли франко-русские торжества. Градоначальник с кислой миной разрешил играть марсельезу. Ее тоже требовали ежедневно, но уже не так часто, как бурский марш, причем «ура» кричали жиже и шапками совсем не размахивали. Происходило это оттого, что, с одной стороны, не было мотивов для игры сердечных чувств, с другой стороны — посетители Гамбринуса недостаточно понимали политическую важность союза, а с третьей — было замечено, что каждый вечер требуют марсельезу и кричат «ура» все одни и те же лица.

На минутку сделался было модным мотив кекуока, и даже какой-то случайный, заколобродивший купчик, не снимая енотовой шубы, высоких калош и лисьей шапки, протанцевал его однажды между бочками. Однако этот негритянский танец был вскорости позабыт.

Но вот наступила великая японская война. Посетители Гамбринуса зажили ускоренною жизнью. На бочонках появились газеты, по вечерам спорили о войне. Самые мирные, простые люди обратились в политиков и стратегов, но каждый из них в глубине души трепетал, если не за себя, то за брата, или, что еще вернее, за близкого товарища: в эти дни ясно сказалась та незаметная и крепкая связь, которая спаивает людей, долго разделявших труд, опасность и ежедневную близость к смерти.

Вначале никто не сомневался в нашей победе. Сашка раздобыл где-то «Куропаткин-марш» и вечеров двадцать подряд играл его с некоторым успехом. Но как-то в один вечер «Куропаткин-марш» был навсегда вытеснен песней, которую привезли с собой балаклавские рыба-

ки, «соленые греки», или «пиндосы», как их здесь называли:

Ах, зачем нас отдали в солдаты,
Посылают на Дальний Восток?
Неужли же мы в том виноваты,
Что вышли ростом на лишний вершок?

С тех пор в Гамбринусе ничего другого не хотели слушать. Целыми вечерами только и было слышно требование:

— Саша, страдательную! Балаклавскую! запасную!

Пели и плакали и пили вдвое больше обыкновенного, как, впрочем, пила тогда поголовно вся Россия. Каждый вечер приходил кто-нибудь прощаться, храбрился, ходил петухом, бросал шапку об землю, грозился один разбить всех япошек и кончал страдательной песней со слезами.

Однажды Сашка явился в пивную раньше, чем всегда. Буфетчица, налив ему первую кружку, сказала, по обыкновению:

— Саша, сыграйте, что-нибудь свое...

У него вдруг закривились губы, и кружка заходила в руке.

— Знаете что, мадам Иванова? — сказал он точно в недоумении.— Ведь меня же в солдаты забирают. На войну.

Мадам Иванова всплеснула руками.

— Да не может быть, Саша! Шутите?

— Нет,— уныло и покорно покачал головой Сашка,— не шучу.

— Но ведь вам лета вышли, Саша? Сколько вам лет?

Этим вопросом как-то до сих пор никто не интересовался. Все думали, что Сашке столько же лет, сколько стенам пивной, маркизам, хохлам, лягушкам и самому раскрашенному королю Гамбринусу, сторожившему вход.

— Сорок шесть.— Саша подумал.— А может быть, сорок девять. Я сирота,— прибавил он уныло.

— Так вы пойдите, объясните кому следует.

— Я уже ходил, мадам Иванова, я уже объяснял.

— И... Ну?

— Ну, мне ответили: пархатый жид, жидовская морда, поговори еще — попадешь в клоповник... И дали вот сюда.

Вечером новость стала известной всему Гамбринусу, и из сочувствия Сашку напоили мертвецки. Он пробовал кривляться, гримасничать, прищуривать глаза, но из его кротких смешных глаз глядели грусть и ужас. Один здоровенный рабочий, ремеслом котельщик, вдруг вызвался идти на войну вместо Сашки. Всем была ясна очевидная глупость такого предложения, но Сашка растрогался, прослезился, обнял котельного мастера и тут же подарил ему свою скрипку. А Белочку он оставил буфетчице.

— Мадам Иванова, вы же смотрите за собачкой. Может, я и не вернусь, так будет вам память о Сашке. Белинька, собачка моя! Смотрите, облизывается. Ах ты, моя бедная... И еще попрошу вас, мадам Иванова. У меня за хозяином остались деньги, так вы получите и отправьте... Я вам напишу адреса. В Гомеле у меня есть двоюродный брат, у него семья, и еще в Жмеринке живет вдова племянника. Я им каждый месяц... Что ж, мы, евреи, такой народ... мы любим родственников. А я сирота, я одинокий. Прощайте же, мадам Иванова.

— Прощайте, Саша! Давайте хоть поцелуемся на прощание-то. Сколько лет... И — вы не сердитесь — я вас перекрещу на дорогу.

Сашкины глаза были глубоко печальны, но он не мог удержаться, чтобы не спаясничать напоследок:

— А что, мадам Иванова, я от русского креста не подохну?

VI

Гамбринус опустел и заглох, точно он осиротел без Сашки и его скрипки. Хозяин пробовал было пригласить в виде приманки квартет бродячих мандолинистов, из которых один, одетый опереточным англичанином с рыжими баками и наклейным носом, в клетчатых панталонах и в воротничке выше ушей, исполнял с эстрады комические куплеты и бесстыдные телодвижения. Но квартет не имел ровно никакого успеха: наоборот, мандолинистам свистали и бросали в них огрызками сосисок, а главного комика однажды поколотили тендровские рыбаки за непочтительный отзыв о Сашке.

Однако, по старой памяти, Гамбринус еще посещался морскими и портовыми молодцами из тех, кого война не

повлекла на смерть и страдания. Сначала о Сашке вспоминали каждый вечер:

— Эх, Сашку бы теперь! Душе без него тесно...

— Да-а... Где-то ты витаешь, мил-любезный друг Сашенька?

В полях Манжу-у-урии далеко...—

заводил кто-нибудь новую сезонную песню, смущенно замолкал, а другой произносил неожиданно:

— Раны бывают сквозные, колотые и рубленые. А бывают и рваные...

Сибе с победой проздравляю,
Тибе с оторванной рукой...

— Постой, не скули... Мадам Иванова, от Сашки нет ли каких известий? Письма или открыточки?

Мадам Иванова теперь целыми вечерами читала газету, держа ее от себя на расстоянии вытянутой руки, откинув голову и шевеля губами. Белочка лежала у нее на коленях и мирно похрапывала. Буфетчица далеко уже не походила на бодрого капитана, стоящего на посту, а ее команда бродила по пивной вялая и заспанная.

На вопрос о Сашкиной судьбе она медленно качала головой.

— Ничего не знаю... И писем нет, и из газет ничего неизвестно.

Потом медленно снимала очки, клала их вместе с газетой, рядом с теплой, угревшейся Белочкой, и, отвернувшись, тихонько всхлипывала.

Иногда она, склоняясь к собачке, говорила жалобным, трогательным голоском:

— Что, Белинька? Что, собаченька? Где наш Саша? А? Где наш хозяин?

Белочка подымала кверху деликатную мордочку, моргала влажными черными глазами и в тон буфетчице начинала тихонько подвывать:

— А-у-у-у... Ау-ф... А-у-у...

Но... все обтачивает и смывает время. Мандолинистов сменили балалаечники, балалаечников — русско-малороссийский хор с девицами, и, наконец, прочнее других утвердился в Гамбринусе известный Лешка-гармонист, по профессии вор, но решивший, вследствие женитьбы,

искать правильных путей. Его давно знали по разным трактирам, а потому терпели и здесь, да, впрочем, и надо было терпеть, дела в Гамбринусе шли очень плохо.

Проходили месяцы, прошел год. О Сашке теперь никто не вспоминал, кроме мадам Ивановой, да и та больше не плакала при его имени. Прошел еще год. Должно быть, о Сашке забыла даже и беленькая собачка.

Но, вопреки Сашкиному сомнению, он не только не подох от русского креста, но не был даже ни разу ранен, хотя участвовал в трех больших битвах и однажды ходил в атаку впереди батальона в составе музыкантской команды, куда его зачислили играть на флейте. Под Вафангоу он попал в плен и по окончании войны был привезен на германском пароходе в тот самый порт, где работали и буйствовали его друзья.

Весть о его прибытии, как электрический ток, разнеслась по всем гаваням, молам, пристаням и мастерским... Вечером в Гамбринусе было так много народа, что большинству приходилось стоять, кружки с пивом передавались из рук в руки через головы, и хотя многие в этот день ушли, не плативши, Гамбринус торговал, как никогда. Котельный мастер принес Сашкину скрипку, бережно завернутую в женин платок, который он тут же и пропил. Откуда-то раздобыли последнего по времени Сашкина аккомпаниатора. Лешка-гармонист, человек самолюбивый и самомнительный, вломился было в амбицию. «Я получаю поденно, и у меня контракт!» — твердил он упрямо. Но его попросту выбросили за дверь и наверно поколотили бы, если бы не Сашкино заступничество.

Уж наверно ни один из отечественных героев времен японской войны не видел такой сердечной и бурной встречи, какую сделали Сашке! Сильные, корявые руки подхватывали его, поднимали на воздух и с такой силой подбрасывали вверх, что чуть не расшибли Сашку о потолок. И кричали так оглушительно, что газовые язычки гасли, а городовой несколько раз заходил в пивную и упрашивал, «чтобы потише, потому что на улице очень громко».

В этот вечер Сашка переиграл все любимые песни и танцы Гамбринуса. Играл он также и японские песенки, заученные им в плену, но они не понравились

слушателям. Мадам Иванова, словно ожившая, опять бодро держалась над своим капитанским мостиком, а Белка сидела у Сашки на коленях и визжала от радости. Случалось, что когда Сашка переставал играть, то какой-нибудь простодушный рыболов, только теперь осмысливший чудо Сашкиного возвращения, вдруг восклицал с наивным и радостным изумлением:

— Братцы, да ведь это Сашка!

Густым ржанием и веселым сквернословием наполнялись залы Гамбринуса, и опять Сашку хватали, бросали под потолок, орали, пили, чокались и обливали друг друга пивом.

Сашка, казалось, совсем не изменился и не постарел за свое отсутствие: время и бедствия так же мало действовали на его наружность, как и на лепного Гамбринуса, охранителя и покровителя пивной. Но мадам Иванова с чуткостью сердечной женщины заметила, что из глаз Сашки не только не исчезло выражение ужаса и тоски, которые она видела в них при прощании, но стало еще глубже и значительнее. Сашка попрежнему паясничал, подмигивал и собирал на лбу морщины, но мадам Иванова чувствовала, что он притворяется.

VII

Все пошло своим порядком, как будто вовсе не было ни войны, ни Сашкиного пленения в Нагасаки. Так же праздновали счастливый улов белуги и лобана рыбаки в сапогах-великанах, так же плясали воровские подруги, и Сашка по-прежнему играл матросские песни, привезенные из всех гаваней земного шара.

Но уже близились пестрые, переменчивые, бурные времена. Однажды вечером весь город загудел, заволновался, точно встревоженный набатом, и в необычный час на улицах стало черно от народа. Маленькие белые листки ходили по рукам вместе с чудесным словом: «свобода», которое в этот вечер без числа повторяла вся необъятная, доверчивая страна.

Настали какие-то светлые, праздничные, ликующие дни, и сияние их озаряло даже подземелье Гамбринуса. Приходили студенты, рабочие, приходили молодые, кра-

сивые девушки. Люди с горящими глазами становились на бочки, так много видевшие на своем веку, и говорили. Не все было понятно в этих словах, но от той пламенной надежды и великой любви, которая в них звучала, трепетало сердце и раскрывалось им навстречу.

— Сашка, марсельезу! Ж-жарь! Марсельезу!

Нет, это было совсем не похоже на ту марсельезу, которую скрепя сердце разрешил играть градоначальник в неделю франко-русских восторгов. По улицам ходили бесконечные процессии с красными флагами и пением. На женщинах алели красные ленточки и красные цветы. Встречались совсем незнакомые люди и вдруг, светло улыбнувшись, пожимали руки друг другу...

Но вся эта радость мгновенно исчезла, точно ее смыло, как следы детских ножек на морском прибрежье. В Гамбринус однажды влетел помощник пристава, толстый, маленький, задыхающийся, с выпученными глазами, темно-красный, как очень спелый томат.

— Что? Кто здесь хозяин? — хрипел он.— Подавай хозяина!

Он увидел Сашку, стоявшего со скрипкой.

— Ты хозяин? Молчать! Что? Гимны играете? Чтобы никаких гимнов!

— Никаких гимнов больше не будет, ваше превосходительство,— спокойно ответил Сашка.

Полицейский посизел, приблизил к самому носу Сашки указательный палец, поднятый вверх, и грозно покачал им влево и вправо.

— Ник-как-ких!

— Слушаю, ваше превосходительство, никаких.

— Я вам покажу революцию, я вам покаж-у-у-у!

Помощник пристава, как бомба, вылетел из пивной, и с его уходом всех придавило уныние.

И на весь город спустился мрак. Ходили темные, тревожные, омерзительные слухи. Говорили с осторожностью, боялись выдать себя взглядом, пугались своей тени, страшились собственных мыслей. Город в первый раз с ужасом подумал о той клоаке, которая глухо ворочалась под его ногами, там, внизу, у моря, и в которую он так много лет выбрасывал свои ядовитые испражнения. Город забивал щитами зеркальные окна своих великолепных магазинов, охранял патрулями

гордые памятники и расставлял на всякий случай по дворам прекрасных домов артиллерию. А на окраинах в зловонных каморках и на дырявых чердаках трепетал, молился и плакал от ужаса избранный народ божий, давно покинутый гневным библейским богом, но до сих пор верящий, что мера его тяжелых испытаний еще не исполнена.

Внизу, около моря, в улицах, похожих на темные липкие кишки, совершалась тайная работа. Настежь были открыты всю ночь двери кабаков, чайных и ночлежек.

Утром начался погром. Те люди, которые однажды, растроганные общей чистой радостью и умиленные светом грядущего братства, шли по улицам с пением, под символами завоеванной свободы,— те же самые люди шли теперь убивать, и шли не потому, что им было приказано, и не потому, что они питали вражду против евреев, с которыми часто вели тесную дружбу, и даже не из-за корысти, которая была сомнительна, а потому, что грязный, хитрый дьявол, живущий в каждом человеке, шептал им на ухо: «Идите. Все будет безнаказанно: запретное любопытство убийства, сладострастие насилия, власть над чужой жизнью».

В дни погромов Сашка свободно ходил по городу со своей смешной обезьяньей, чисто еврейской физиономией. Его не трогали. В нем была та непоколебимая душевная смелость, та *небоязнь боязни*, которая охраняет даже слабого человека лучше всяких браунингов. Но один раз, когда он, прижатый к стене дома, сторонился от толпы, ураганом ливщейся во всю ширь улицы, какой-то каменщик, в красной рубахе и белом фартуке, замахнулся над ним зубилом и зарычал:

— Жи-ид! Бей жида! В крррровь!

Но кто-то схватил его сзади за руку.

— Стой, черт, это же Сашка. Олух ты, матери твоей в сердце, в печень...

Каменщик остановился. Он в эту хмельную, безумную, бредовую секунду готов был убить кого угодно — отца, сестру, священника, даже самого православного бога, но также был готов, как ребенок, послушаться приказания каждой твердой воли.

Он осклабился, как идиот, сплюнул и утер нос рукой. Но вдруг в глаза ему бросилась белая нервная

собачка, которая, дрожа, терлась около Сашки. Быстро наклонившись, он поймал ее за задние ноги, высоко поднял, ударил головой о плиты тротуара и побежал. Сашка молча глядел на него. Он бежал, весь наклонившись вперед, с протянутыми руками, без шапки, с раскрытым ртом и с глазами, круглыми и белыми от безумия.

На сапоги Сашки брызнул мозг из Белочкиной головы. Сашка отер пятно платком.

VIII

Затем настало странное время, похожее на сон человека в параличе. По вечерам во всем городе ни в одном окне не светилось огня, но зато ярко горели огненные вывески кафешантанов и окна кабачков. Победители проверяли свою власть, еще не насытясь вдоволь безнаказанностью. Какие-то разнузданные люди в маньчжурских папахах, с георгиевскими лентами в петлицах курток, ходили по ресторанам и с настойчивой развязностью требовали исполнения народного гимна и следили за тем, чтобы все вставали. Они вламывались также в частные квартиры, шарили в кроватях и комодах, требовали водки, денег и гимна и наполняли воздух пьяной отрыжкой.

Однажды они вдесятером пришли в Гамбринус и заняли два стола. Они держали себя самым вызывающим образом, повелительно обращались с прислугой, плевали через плечи незнакомых соседей, клали ноги на чужие сиденья, выплескивали на пол пиво под предлогом, что оно несвежее. Их никто не трогал. Все знали, что это сыщики, и глядели на них с тем же тайным ужасом и брезгливым любопытством, с каким простой народ смотрит на палачей. Один из них явно предводительствовал. Это был некто Мотька Гундосый, рыжий, с перебитым носом, гнусавый человек — как говорили — большой физической силы, прежде вор, потом вышибала в публичном доме, затем сутенер и сыщик, крещеный еврей.

Сашка играл «Метелицу». Вдруг Гундосый подошел к нему, крепко задержал его правую руку и, оборотясь назад, на зрителей, крикнул:

— Гимн! Народный гимн! Братцы, в честь обожаемого монарха... Гимн!

— Гимн! Гимн! — загудели мерзавцы в папахах.

— Гимн! — крикнул вдали одинокий, неуверенный голос.

Но Сашка выдернул руку и сказал спокойно:

— Никаких гимнов.

— Что? — заревел Гундосый.— Ты не слушаться! Ах ты, жид вонючий!

Сашка наклонился вперед, совсем близко к Гундосому, и, весь сморщившись, держа опущенную скрипку за гриф, спросил:

— А ты?

— Что́ а я?

— Я жид вонючий. Ну хорошо. А ты?

— Я православный.

— Православный? А за сколько?

Весь Гамбринус расхохотался, а Гундосый, белый от злобы, обернулся к товарищам.

— Братцы! — говорил он дрожащим, плачущим голосом чьи-то чужие, заученные слова.— Братцы, доколе мы будем терпеть надругания жидов над престолом и святой церковью?..

Но Сашка, встав на своем возвышении, одним звуком заставил его вновь обернуться к себе, и никто из посетителей Гамбринуса никогда не поверил бы, что этот смешной, кривляющийся Сашка может говорить так веско и властно.

— Ты! — крикнул Сашка.— Ты, сукин сын! Покажи мне твое лицо, убийца... Смотри на меня!.. Ну!..

Все произошло быстро, как один миг. Сашкина скрипка высоко поднялась, быстро мелькнула в воздухе, и — трах! — высокий человек в папахе качнулся от звонкого удара по виску. Скрипка разлетелась в куски. В руках у Сашки остался только гриф, который он победоносно подымал над головами толпы.

— Братцы-ы, выруча-ай! — заорал Гундосый.

Но выручать было уже поздно. Мощная стена окружила Сашку и закрыла его. И та же стена вынесла людей в папахах на улицу.

Но спустя час, когда Сашка, окончив свое дело, выходил из пивной на тротуар, несколько человек бросилось

на него. Кто-то из них ударил Сашку в глаз, засвистел и сказал подбежавшему городовому:

— В Бульварный участок. По политическому. Вот мой значок.

IX

Теперь вторично и окончательно считали Сашку похороненным. Кто-то видел всю сцену, происшедшую на тротуаре около пивной, и передал ее другим. А в Гамбринусе заседали опытные люди, которые знали, что такое за учреждение Бульварный участок и что такое за штука месть сыщиков.

Но теперь о Сашкиной судьбе гораздо меньше беспокоились, чем в первый раз, и гораздо скорее забыли о нем. Через два месяца на его месте сидел новый скрипач (между прочим, Сашкин ученик), которого разыскал аккомпаниатор.

И вот однажды, спустя месяца три, тихим весенним вечером, в то время когда музыканты играли вальс «Ожидание», чей-то тонкий голос воскликнул испуганно:

— Ребята, Сашка!

Все обернулись и встали с бочонков. Да, это был он, дважды воскресший Сашка, но теперь обросший бородой, исхудалый, бледный. К нему кинулись, окружили, тискали его, мяли, совали ему кружки с пивом. Но внезапно тот же голос крикнул:

— Братцы, рука-то!..

Все вдруг замолкли. Левая рука у Сашки, скрюченная и точно смятая, была приворочена локтем к боку. Она, очевидно, не сгибалась и не разгибалась, а пальцы торчали навсегда около подбородка.

— Что это у тебя, товарищ? — спросил, наконец, волосатый боцман из «Русского общества».

— Э, глупости... там какое-то сухожилие или что,— ответил Сашка беспечно.

— Та-а-к...

Опять все помолчали.

— Значит, и «Чабану» теперь конец?—спросил боцман участливо.

— «Чабану»? — переспросил Сашка, и глаза его заиграли.— Эй, ты!—приказал он с обычной уверенностью аккомпаниатору.— «Чабана»! Ейн, цвей, дрей!..

Пианист зачастил веселую пляску, недоверчиво оглядываясь назад. Но Сашка здоровой рукой вынул из кармана какой-то небольшой, в ладонь величиной, продолговатый черный инструмент с отростком, вставил этот отросток в рот и, весь изогнувшись налево, насколько ему это позволяла изуродованная, неподвижная рука, вдруг засвистел на окарине оглушительно веселого «Чабана».

— Хо-хо-хо! — раскатились радостным смехом зрители.

— Черт! — воскликнул боцман и совсем неожиданно для самого себя сделал ловкую выходку и пустился выделывать дробные коленца. Подхваченные его порывом, заплясали гости, женщины и мужчины. Даже лакеи, стараясь не терять достоинства, с улыбкой перебирали на месте ногами. Даже мадам Иванова, забыв обязанности капитана на вахте, качала головой в такт огненной пляске и слегка прищелкивала пальцами. И, может быть, даже сам старый, ноздреватый, источенный временем Гамбринус пошевеливал бровями, весело глядя на улицу, и казалось, что из рук изувеченного, скрючившегося Сашки жалкая, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще не понятном ни для друзей Гамбринуса, ни для самого Сашки:

— Ничего! Человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.

СЛОН

I

Маленькая девочка нездорова. Каждый день к ней ходит доктор Михаил Петрович, которого она знает уже давно-давно. А иногда он приводит с собою еще двух докторов, незнакомых. Они переворачивают девочку на спину и на живот, слушают что-то, приложив ухо к телу, оттягивают вниз нижнее веко и смотрят. При этом они как-то важно посапывают, лица у них строгие, и говорят они между собою на непонятном языке.

Потом переходят из детской в гостиную, где их дожидается мама. Самый главный доктор — высокий, седой, в золотых очках — рассказывает ей о чем-то серьезно и долго. Дверь не закрыта, и девочке с ее кровати все видно и слышно. Многого она не понимает, но знает, что речь идет о ней. Мама глядит на доктора большими, усталыми, заплаканными глазами. Прощаясь, главный доктор говорит громко:

— Главное,— не давайте ей скучать. Исполняйте все ее капризы.

— Ах, доктор, но она ничего не хочет!

— Ну, не знаю... вспомните, что ей нравилось раньше, до болезни. Игрушки... какие-нибудь лакомства...

— Нет, нет, доктор, она ничего не хочет...

— Ну, постарайтесь ее как-нибудь развлечь... Ну, хоть чем-нибудь... Даю вам честное слово, что если вам удастся ее рассмешить, развеселить,— то это будет лучшим лекарством. Поймите же, что ваша дочка больна равнодушием к жизни, и больше ничем... До свидания, сударыня!

II

— Милая Надя, милая моя девочка,— говорит мама,— не хочется ли тебе чего-нибудь?

— Нет, мама, ничего не хочется.

— Хочешь, я посажу к тебе на постельку всех твоих кукол. Мы поставим креслица, диван, столик и чайный прибор. Куклы будут пить чай и разговаривать о погоде и о здоровье своих детей.

— Спасибо, мама... Мне не хочется... Мне скучно...

— Ну, хорошо, моя девочка, не надо кукол. А может быть, позвать к тебе Катю или Женечку? Ты ведь их так любишь.

— Не надо, мама. Правда же, не надо. Я ничего, ничего не хочу. Мне так скучно!

— Хочешь, я тебе принесу шоколаду?

Но девочка не отвечает и смотрит в потолок неподвижными, невеселыми глазами. У нее ничего не болит и даже нет жару. Но она худеет и слабеет с каждым днем. Что бы с ней ни делали, ей все равно, и ничего ей не нужно. Так лежит она целые дни и целые ночи, тихая, печальная. Иногда она задремлет на полчаса, но и во сне ей видится что-то серое, длинное, скучное, как осенний дождик.

Когда из детской отворена дверь в гостиную, а из гостиной дальше в кабинет, то девочка видит папу. Папа ходит быстро из угла в угол и все курит, курит. Иногда он приходит в детскую, садится на край постельки и тихо поглаживает Надины ноги. Потом вдруг встает и отходит к окну. Он что-то насвистывает, глядя на улицу, но плечи у него трясутся. Затем он торопливо прикладывает платок к одному глазу, к другому и, точно рассердясь, уходит к себе в кабинет. Потом он опять бегает из угла в угол и все... курит, курит, курит... И кабинет от табачного дыма делается весь синий.

III

Но однажды утром девочка просыпается немного бодрее, чем всегда. Она что-то видела во сне, но никак не может вспомнить, что именно, и смотрит долго и внимательно в глаза матери.

— Тебе что-нибудь нужно? — спрашивает мама.

Но девочка вдруг вспоминает свой сон и говорит шепотом, точно по секрету:

— Мама... а можно мне... слона? Только не того, который нарисован на картинке... Можно?

— Конечно, моя девочка, конечно, можно.

Она идет в кабинет и говорит папе, что девочка хочет слона. Папа тотчас же надевает пальто и шляпу и куда-то уезжает. Через полчаса он возвращается с дорогой, красивой игрушкой. Это большой серый слон, который сам качает головою и машет хвостом; на слоне красное седло, а на седле золотая палатка и в ней сидят трое маленьких человечков. Но девочка глядит на игрушку так же равнодушно, как на потолок и на стены, и говорит вяло:

— Нет. Это совсем не то. Я хотела настоящего, живого слона, а этот мертвый.

— Ты погляди только, Надя,— говорит папа.— Мы его сейчас заведем, и он будет совсем, совсем как живой.

Слона заводят ключиком, и он, покачивая головой и помахивая хвостом, начинает переступать ногами и медленно идет по столу. Девочке это совсем не интересно и даже скучно, но, чтобы не огорчить отца, она шепчет кротко:

— Я тебя очень, очень благодарю, милый папа. Я думаю, ни у кого нет такой интересной игрушки... Только... помнишь... ведь ты давно обещал свозить меня в зверинец посмотреть на настоящего слона... и ни разу не повез...

— Но, послушай же, милая моя девочка, пойми, что это невозможно. Слон очень большой, он до потолка, он не поместится в наших комнатах... И потом, где я его достану?

— Папа, да мне не нужно такого большого... Ты мне

привези хоть маленького, только живого. Ну, хоть вот, вот такого... Хоть слоненышка.

— Милая девочка, я рад все для тебя сделать, но этого я не могу. Ведь это все равно, как если бы ты вдруг мне сказала: папа, достань мне с неба солнце.

Девочка грустно улыбается.

— Какой ты глупый, папа. Разве я не знаю, что солнце нельзя достать, потому что оно жжется. И луну тоже нельзя. Нет, мне бы слоника... настоящего.

И она тихо закрывает глаза и шепчет:

— Я устала... Извини меня, папа...

Папа хватает себя за волосы и убегает в кабинет. Там он некоторое время мелькает из угла в угол. Потом решительно бросает на пол недокуренную папиросу (за что ему всегда достается от мамы) и кричит горничной:

— Ольга! Пальто и шляпу!

В переднюю выходит жена.

— Ты куда, Саша? — спрашивает она.

Он тяжело дышит, застегивая пуговицы пальто.

— Я сам, Машенька, не знаю куда... только, кажется, я сегодня к вечеру и в самом деле приведу сюда, к нам, настоящего слона.

Жена смотрит на него тревожно.

— Милый, здоров ли ты? Не болит ли у тебя голова? Может быть, ты плохо спал сегодня?

— Я совсем не спал,— отвечает он сердито.— Я вижу, ты хочешь спросить, не сошел ли я с ума? Покамест нет еще. До свиданья! Вечером все будет видно.

И он исчезает, громко хлопнув входной дверью.

IV

Через два часа он сидит в зверинце, в первом ряду, и смотрит, как ученые звери по приказанию хозяина выделывают разные штуки. Умные собаки прыгают, кувыркаются, танцуют, поют под музыку, складывают слова из больших картонных букв. Обезьянки — одни в красных юбках, другие в синих штанишках — ходят по канату и ездят верхом на большом пуделе. Огромные рыжие львы скачут сквозь горящие обручи. Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. Под конец выводят слонов. Их три: один, большой, два совсем маленькие, карлики, но все-

таки ростом куда больше, чем лошадь. Странно смотреть, как эти громадные животные, на вид такие неповоротливые и тяжелые, исполняют самые трудные фокусы, которые не под силу и очень ловкому человеку. Особенно отличается самый большой слон. Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке, переворачивает хоботом страницы большой картонной книги и, наконец, садится за стол и, повязавшись салфеткой, обедает, совсем как благовоспитанный мальчик.

Представление оканчивается. Зрители расходятся. Надин отец подходит к толстому немцу, хозяину зверинца. Хозяин стоит за дощатой перегородкой и держит во рту большую черную сигару.

— Извините, пожалуйста,— говорит Надин отец.— Не можете ли вы отпустить вашего слона ко мне домой на некоторое время?

Немец от удивления широко открывает глаза и даже рот, отчего сигара падает на землю. Он, кряхтя, нагибается, подымает сигару, вставляет ее опять в рот и только тогда произносит:

— Отпустить? Слона? Домой? Я вас не понимаю.

По глазам немца видно, что он тоже хочет спросить, не болит ли у Надиного отца голова... Но отец поспешно объясняет, в чем дело: его единственная дочь, Надя, больна какой-то странной болезнью, которой даже доктора не понимают как следует. Она лежит уж месяц в кроватке, худеет, слабеет с каждым днем, ничем не интересуется, скучает и потихоньку гаснет. Доктора велят ее развлекать, но ей ничто не нравится; велят исполнять все ее желания, но у нее нет никаких желаний. Сегодня она захотела видеть живого слона. Неужели это невозможно сделать?

И он добавляет дрожащим голосом, взявши немца за пуговицу пальто:

— Ну, вот... Я, конечно, надеюсь, что моя девочка выздоровеет. Но... спаси бог... вдруг ее болезнь окончится плохо... вдруг девочка умрет?.. Подумайте только: ведь меня всю жизнь будет мучить мысль, что я не исполнил ее последнего желания!..

Немец хмурится и в раздумье чешет мизинцем левую бровь. Наконец он спрашивает:

— Гм... А сколько вашей девочке лет?

— Шесть.

— Гм... Моей Лизе тоже шесть. Гм... Но, знаете, вам это будет дорого стоить. Придется привести слона ночью и только на следующую ночь увести обратно. Днем нельзя. Соберется публикум, и сделается один скандал... Таким образом выходит, что я теряю целый день, и вы мне должны возвратить убыток.

— О, конечно, конечно... не беспокойтесь об этом...

— Потом: позволит ли полиция вводить один слон в один дом?

— Я это устрою. Позволит.

— Еще один вопрос: позволит ли хозяин вашего дома вводить в свой дом один слон?

— Позволит. Я сам хозяин этого дома.

— Ага! Это еще лучше. И потом еще один вопрос: в котором этаже вы живете?

— Во втором.

— Гм... Это уже не так хорошо... Имеете ли вы в своем доме широкую лестницу, высокий потолок, большую комнату, широкие двери и очень крепкий пол? Потому что мой Томми имеет высоту три аршина и четыре вершка, а в длину четыре аршин. Кроме того, он весит сто двенадцать пудов.

Надин отец задумывается на минуту.

— Знаете ли что? — говорит он.— Поедем сейчас ко мне и рассмотрим все на месте. Если надо, я прикажу расширить проход в стенах.

— Очень хорошо! — соглашается хозяин зверинца.

V

Ночью слона ведут в гости к больной девочке.

В белой попоне он важно шагает по самой середине улицы, покачивает головой и то свивает, то развивает хобот. Вокруг него, несмотря на поздний час, большая толпа. Но слон не обращает на нее внимания: он каждый день видит сотни людей в зверинце. Только один раз он немного рассердился.

Какой-то уличный мальчишка подбежал к нему под самые ноги и начал кривляться на потеху зевакам.

Тогда слон спокойно снял с него хоботом шляпу и перекинул ее через соседний забор, утыканный гвоздями.

Городовой идет среди толпы и уговаривает ее:

— Господа, прошу разойтись. И что вы тут находите такого необыкновенного? Удивляюсь! Точно не видали никогда живого слона на улице.

Подходят к дому. На лестнице, так же как и по всему пути слона, до самой столовой, все двери растворены настежь, для чего приходилось отбивать молотком дверные щеколды. Точно так же делалось однажды, когда в дом вносили большую чудотворную икону.

Но перед лестницей слон останавливается в беспокойстве и упрямится.

— Надо дать ему какое-нибудь лакомство...— говорит немец.— Какой-нибудь сладкий булка или что... Но... Томми!.. Ого-го!.. Томми!

Надин отец бежит в соседнюю булочную и покупает большой круглый фисташковый торт. Слон обнаруживает желание проглотить его целиком вместе с картонной коробкой, но немец дает ему всего четверть. Торт приходится по вкусу Томми, и он протягивает хобот за вторым ломтем. Однако немец оказывается хитрее. Держа в руке лакомство, он подымается вверх со ступеньки на ступеньку, и слон с вытянутым хоботом, с растопыренными ушами поневоле следует за ним. На площадке Томми получает второй кусок.

Таким образом его приводят в столовую, откуда заранее вынесена вся мебель, а пол густо застлан соломой... Слона привязывают за ногу к кольцу, ввинченному в пол. Кладут перед ним свежей моркови, капусты и репы. Немец располагается рядом, на диване. Тушат огни, и все ложатся спать.

VI

На другой день девочка просыпается чуть свет и прежде всего спрашивает:

— А что же слон? Он пришел?

— Пришел,— отвечает мама,— но только он велел, чтобы Надя сначала умылась, а потом съела яйцо всмятку и выпила горячего молока.

— А он добрый?

— Он добрый. Кушай, девочка. Сейчас мы пойдем к нему.

— А он смешной?

— Немножко. Надень теплую кофточку.

Яйцо быстро съедено, молоко выпито. Надю сажают в ту самую колясочку, в которой она ездила, когда была еще такой маленькой, что совсем не умела ходить, и везут в столовую.

Слон оказывается гораздо больше, чем думала Надя, когда разглядывала его на картинке. Ростом он только чуть-чуть пониже двери, а в длину занимает половину столовой. Кожа на нем грубая, в тяжелых складках. Ноги толстые, как столбы. Длинный хвост с чем-то вроде помела на конце. Голова в больших шишках. Уши большие, как лопухи, и висят вниз. Глаза совсем крошечные, но умные и добрые. Клыки обрезаны. Хобот — точно длинная змея и оканчивается двумя ноздрями, а между ними подвижной, гибкий палец. Если бы слон вытянул хобот во всю длину, то наверно достал бы он им до окна.

Девочка вовсе не испугана. Она только немножко поражена громадной величиной животного. Зато нянька, шестнадцатилетняя Поля, начинает визжать от страха.

Хозяин слона, немец, подходит к колясочке и говорит:

— Доброго утра, барышня. Пожалуйста, не бойтесь. Томми очень добрый и любит детей.

Девочка протягивает немцу свою маленькую бледную ручку.

— Здравствуйте, как вы поживаете? — отвечает она.— Я вовсе, ни капельки не боюсь. А как его зовут?

— Томми.

— Здравствуйте, Томми,— произносит девочка и кланяется головой. Оттого, что слон такой большой, она не решается говорить ему на «ты».— Как вы спали эту ночь?

Она и ему протягивает руку. Слон осторожно берет и пожимает ее тоненькие пальчики своим подвижным сильным пальцем и делает это гораздо нежнее, чем доктор Михаил Петрович. При этом слон качает головой, а его маленькие глаза совсем сузились, точно смеются.

— Ведь он все понимает? — спрашивает девочка немца.

— О, решительно все, барышня!

— Но только он не говорит?

— Да, вот только не говорит. У меня, знаете, есть тоже одна дочка, такая же маленькая, как и вы. Ее зовут Лиза. Томми с ней большой, очень большой приятель.

— А вы, Томми, уже пили чай? — спрашивает девочка слона.

Слон опять вытягивает хобот и дует в самое лицо девочки теплым сильным дыханием, отчего легкие волосы на голове девочки разлетаются во все стороны.

Надя хохочет и хлопает в ладоши. Немец густо смеется. Он сам такой большой, толстый и добродушный, как слон, и Наде кажется, что они оба похожи друг на друга. Может быть, они родня?

— Нет, он не пил чаю, барышня. Но он с удовольствием пьет сахарную воду. Также он очень любит булки.

Приносят поднос с булками. Девочка угощает слона. Он ловко захватывает булку своим пальцем и, согнув хобот кольцом, прячет ее куда-то вниз под голову, где у него движется смешная, треугольная, мохнатая нижняя губа. Слышно, как булка шуршит о сухую кожу. То же самое Томми проделывает с другой булкой, и с третьей, и с четвертой, и с пятой и в знак благодарности кивает головой, и его маленькие глазки еще больше суживаются от удовольствия. А девочка радостно хохочет.

Когда все булки съедены, Надя знакомит слона со своими куклами:

— Посмотрите, Томми, вот эта нарядная кукла — это Соня. Она очень добрый ребенок, но немножко капризна и не хочет есть суп. А это Наташа — Сонина дочь. Она уже начинает учиться и знает почти все буквы. А вот это — Матрешка. Это моя самая первая кукла. Видите, у нее нет носа и голова приклеена и нет больше волос. Но все-таки нельзя же выгонять из дому старушку. Правда, Томми? Она раньше была Сониной матерью, а теперь служит у нас кухаркой. Ну, так давайте играть, Томми: вы будете папой, а я мамой, а это будут наши дети.

Томми согласен. Он смеется, берет Матрешку за шею и тащит к себе в рот. Но это только шутка. Слегка пожевав куклу, он опять кладет ее девочке на колени, правда немного мокрую и помятую.

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет:

— Это лошадь, это канарейка, это ружье... Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона... А это вот, посмотрите, это слон! Правда, совсем не похоже? Разве же слоны бывают такие маленькие, Томми?

Томми находит, что таких маленьких слонов никогда не бывает на свете. Вообще ему эта картинка не нравится. Он захватывает пальцем край страницы и переворачивает ее.

Наступает час обеда, но девочку никак нельзя оторвать от слона. На помощь приходит немец:

— Позвольте, я все это устрою. Они пообедают вместе.

Он приказывает слону сесть. Слон послушно садится, отчего пол во всей квартире сотрясается и дребезжит посуда в шкафу, а у нижних жильцов сыплется с потолка штукатурка. Напротив его садится девочка. Между ними ставят стол. Слону подвязывают скатерть вокруг шеи, и новые друзья начинают обедать. Девочка ест суп из курицы и котлетку, а слон — разные овощи и салат. Девочке дают крошечную рюмку хересу, а слону — теплой воды со стаканом рома, и он с удовольствием вытягивает этот напиток хоботом из миски. Затем они получают сладкое — девочка чашку какао, а слон половину торта, на этот раз орехового. Немец в это время сидит с папой в гостиной и с таким же наслаждением, как и слон, пьет пиво, только в большем количестве.

После обеда приходят какие-то папины знакомые, их еще в передней предупреждают о слоне, чтобы они не испугались. Сначала они не верят, а потом, увидев Томми, жмутся к дверям.

— Не бойтесь, он добрый! — успокаивает их девочка.

Но знакомые поспешно уходят в гостиную и, не просидев и пяти минут, уезжают.

Наступает вечер. Поздно. Девочке пора спать. Однако ее невозможно оттащить от слона. Она так и засыпает около него, и ее уже сонную отвозят в детскую. Она даже не слышит, как ее раздевают.

В эту ночь Надя видит во сне, что она женилась на

Томми, и у них много детей, маленьких, веселых слонят. Слон, которого ночью отвели в зверинец, тоже видит во сне милую, ласковую девочку. Кроме того, ему снятся большие торты, ореховые и фисташковые, величиною с ворота...

Утром девочка просыпается бодрая, свежая и, как в прежние времена, когда она была еще здорова, кричит на весь дом, громко и нетерпеливо:

— Мо-лоч-ка!

Услышав этот крик, мама радостно крестится у себя в спальне.

Но девочка тут же вспоминает о вчерашнем и спрашивает:

— А слон?

Ей объясняют, что слон ушел домой по делам, что у него есть дети, которых нельзя оставлять одних, что он просил кланяться Наде и что он ждет ее к себе в гости, когда она будет здорова.

Девочка хитро улыбается и говорит:

— Передайте Томми, что я уже совсем здорова!

БРЕД

Рота капитана Маркова ехала на соединение с карательным отрядом. Усталые, раздраженные солдаты, утомленные длинным передвижением в неудобных вагонах, были молчаливы и пасмурны. На какой-то станции со странным, не по-русски звучавшим названием их поили водкой и пивом какие-то люди в поддевках. Солдаты кричали «ура!», пели песни и плясали с каменным выражением лиц.

Потом началось дело. Рота не могла обременять себя пленными, и потому всех подозрительных и даже просто беспаспортных людей, захваченных по дороге, немедленно расстреливали. Капитан Марков не ошибся в своем психологическом расчете: он знал, что постепенно нараставшая озлобленность солдат найдет некоторое удовлетворение в кровавых расправах над жителями.

Вечером 31 декабря рота остановилась на ночлег в полуразрушенной баронской ферме. До города оставалось пятнадцать верст, и капитан рассчитывал прийти туда завтра к трем часам. Он был уверен, что его роте завтра же придется принять участие в серьезном и продолжительном деле, и потому хотел, чтобы люди, размещенные в разных амбарах, конторах и службах, хоть немного отдохнули, успокоились и подкрепились. Сам же он занял себе под спальню большую, гулкую, пустую залу с камином в готическом стиле и с постелью, которую отобрали у местного пастора.

Черная, беззвездная ночь с мокрым снегом и ветром незаметно и быстро надвинулась над фермой. Мар-

ков сидел один в огромной пустой комнате перед камином, в котором ярко пылали доски разломанного забора. Поставив ноги на каминную решетку и разложив на худых острых коленях карту генерального штаба—«зеленку»,— он внимательно изучал глазами пространство между фермой и городом. При красном свете огня его лицо с высоким лбом, усами кольчиками и с упрямым, твердым подбородком казалось еще более суровым, чем всегда.

Вошел фельдфебель. С его клеенчатого плаща бежала на пол дождевая вода. Постояв несколько секунд и убедившись, что капитан не обращает на него внимания, фельдфебель осторожно кашлянул.

— Это ты? — Капитан повернул назад голову.— Что?

— Все обстоит благополучно, ваше высокоблагородие. Третий взвод в наряде. Так что первое отделение у церковной ограды, а второе...

— Так. Дальше. Пропуск сообщен?

— Точно так, ваше высокоблагородие...

Он помолчал немного, точно выжидая, но капитан тоже молчал, и солдат сказал тоном ниже:

— Как прикажете, выше высокоблагородие, с теми тремя, которые...

— Расстрелять на рассвете! — резко оборвал Марков, не давая фельдфебелю договорить.— И потом...— он, прищурившись, поглядел на солдата,— чтобы я больше таких вопросов не слышал! Понимаешь?

— Слушаю, ваше высокоблагородие! — крикнул фельдфебель.

И опять они оба замолчали. Капитан лег одетый на постель, фельдфебель стоял у двери в тени. Но солдат почему-то медлил уходить.

— Все? — нетерпеливо спросил Марков, не поворачивая головы.

— Так точно, ваше высокоблагородие!

Солдат переминался с ноги на ногу и вдруг решительно и настойчиво произнес:

— Ваше высокоблагородие... Так что солдаты спрашивают... Как прикажете с тем... который старик?..

— Вон! — закричал Марков на фельдфебеля и быстро, с гневным лицом выпрямился. Кажется, он готов был его ударить.

Фельдфебель тотчас же ловко, в два темпа, по-строевому, повернулся кругом и отворил дверь. Но на пороге он задержался на минутку и казенным голосом сказал:

— Так что, ваше высокоблагородие, имею честь поздравить с наступающим Новым годом. И желаем...

— Спасибо, братец,— сухо ответил Марков.— Не забудь распорядиться, чтобы люди тщательнее осмотрели винтовки.

Оставшись один, Марков, не раздеваясь и не отстегивая шашки, бросился на кровать, лицом к камину. Лицо его сразу изменилось, точно постарело, коротко остриженная голова ушла в плечи, глаза потухли, полузакрылись с усталым, болезненным выражением. Марков уже целую неделю страдал мучительной лихорадкой и только благодаря усилиям воли переламывал болезнь. Никому в отряде не было известно, что по ночам он метался в жестоких пароксизмах, трясясь в ознобе, тяжело бредя, забываясь только на мгновения в уродливых, фантастических кошмарах.

Капитан лежал на спине, глядя, как перебегают синие огоньки в потухающем камине, и чувствуя, как к нему медленно подкрадывается, туманя голову и расслабляя тело, привычный приступ малярии. Мысли его странным образом были прикованы к пойманному утром старику, о котором только что докладывал фельдфебель. Марков рассудком догадывался, что фельдфебель прав: в старике действительно было что-то необыкновенное, какое-то величественное равнодушие к жизни, вместе с кротостью и глубокой печалью. Подобных людей, похожих — но в очень слабой степени — на этого старика, капитан видел там, под Ляояном и у Мукдена, среди безропотно умиравших рядовых солдат. Когда сегодня привели к Маркову этих трех человек и он объяснил им при помощи цинично-красноречивого жеста, что с ними будет поступлено, как со шпионами, то лица двух других сразу побледнели и исказились смертельным ужасом, а старик только усмехнулся с каким-то странным выражением усталости, равнодушия и даже... даже будто бы тихого, снисходительного сострадания к самому начальнику карательной экспедиции.

«Если он в самом деле мятежник,— размышлял Мар-

ков, закрывая воспаленные глаза и чувствуя, как мимо его глаз плывет какая-то мягкая, бездонная тьма,— то, без сомнения, он занимает там важный пост, и я поступил очень благоразумно, приказав его расстрелять. Ну, а если старик ни в чем не виновен? Тем хуже для него. Не могу же я отрывать для присмотра за ним двух человек, в особенности ввиду завтрашнего. Наконец, почему же он должен избегнуть участи *тех* пятнадцати, которых мы оставили позади? Нет, это было бы несправедливостью по отношению к прежним».

Капитан медленно открыл глаза и вдруг вскочил в смертельном страхе.

Перед капитаном, на низкой скамейке, сидел, понурившись, опершись ладонями о колени, в спокойной и грустно-задумчивой позе, приговоренный к смертной казни старик.

Капитан не был трусом в общепринятом смысле, хотя и верил в сверхъестественное и носил на груди ладанку с какой-то косточкой. Отступить в страхе, даже перед самым таинственным, нематериальным явлением, капитан счел бы таким же позором, как бегство перед неприятелем или унизительную мольбу о пощаде. Выхватив быстрым, привычным движением револьвер из кожаного чехла, он взвел курок, направил его дуло в голову незнакомца и закричал бешено:

— Если ты шевельнешься, черт тебя возьми!..

Старик медленно повернул голову. По его губам прошла та же самая улыбка, которая так врезалась капитану в память с сегодняшнего утра.

— Не тревожьтесь, капитан, я пришел к вам без дурного намерения,—произнес старик.— Попробуйте хоть до утра воздержаться от убийства.

Голос у этого странного гостя был такой же загадочный, как и его улыбка, ровный, однотонный и как будто бы без всякого тембра. Давным-давно, еще в раннем детстве, Марков нередко слышал, оставаясь один в комнате, за своею спиной такие голоса, без цвета и выражения, зовущие его по имени. Повинуясь непонятному влиянию этой улыбки и этого голоса, офицер положил револьвер под подушку и опять прилег, опершись головой на локоть и не сводя глаз с темной фигуры незнакомца. Несколько минут в комнате была тяже-

лая, жуткая тишина: только походный хронометр Маркова торопливо отбивал секунды, да перегоревшие уголья в камине падали вниз со слабым, но звонким металлическим хрустеньем.

— Скажи мне, Марков, — начал, наконец, старик,— что ответишь ты не судьям, не начальству, даже не императору, а своей совести, если она у тебя спросит: зачем пошел ты на эту ужасную, несправедливую бойню?..

Марков насмешливо пожал плечами.

— Однако у тебя, старикашка, довольно непринужденный тон для человека, которого через четыре часа расстреляют у дерева. Впрочем, поговорим, пожалуй. Это все-таки занимательней, чем метаться без сна в лихорадке... Итак, что я отвечу своей совести? Я отвечу ей, во-первых, что я солдат и мое дело повиноваться без всяких размышлений. Во-вторых, я — природный русский, и пусть всему миру станет известным, что тот, кто осмелится восстать против могущества великой державы, будет раздавлен под ее пятою, как червь, и даже самая могила его сровняется с землей...

— О Марков, Марков, сколько дикой и кровожадной гордости в твоих словах, — возразил старик. — И сколько неправды! Ты смотришь на предмет, приблизив его к самым глазам, и видишь одни лишь мелкие его подробности, но отойди от него дальше, и он представится тебе в своем настоящем виде. Неужели ты думаешь, что твоя великая родина бессмертна? Но разве не то же самое говорили и думали когда-то персы, и македоняне, и гордый Рим, охвативший весь мир своими железными когтями, и дикие полчища гуннов, нахлынувших на Европу, и могущественная Испания, владевшая тремя частями света? Спроси у истории, куда девалась их необъятная власть? А я тебе скажу, что и до них, за тысячи веков, были великие государства, более сильные, гордые и культурные, чем твое отечество. Но жизнь, которая сильнее народов и древнее памятников, смела их со своего таинственного пути, не оставив от них ни следа, ни воспоминания.

— Это пустяки,— возразил слабеющим языком капитан, опускаясь на спину.— История идет своим течением, и не нам направлять ее или указывать ей дорогу.

Старик беззвучно засмеялся.

— Не уподобляйся той африканской птице, которая прячет голову в песок, когда ее преследуют охотники... Верь мне, пройдет сто лет, и дети твоих детей будут стыдиться своего предка Александра Васильевича Маркова, палача и убийцы.

— Сильно сказано, старина! Да, и я слыхал об этих бреднях восторженных мечтателей, которые собираются переделать мечи на плуги... Ха-ха-ха!.. Воображаю себе это царство золотушных неврастеников и рахитических идиотов. Нет, только война выковывает атлетические тела и железные характеры. Впрочем...— Марков крепко потер виски, силясь что-то припомнить.— Впрочем, это все неважно... О чем я хотел тебя спросить? Ах, да! Почему-то мне кажется, что ты не будешь говорить неправды. Ты здешний?

— Нет,— покачал головой старик.

— Но все-таки ты родился здесь?

— Нет.

— Но все-таки ты — европеец? Француз? Англичанин? Русский? Немец?

— Нет, нет...

Марков в раздражении ударил кулаком о борт кровати.

— Да кто же ты наконец? И почему, черт возьми, мне так страшно знакомо твое лицо? Видались мы когда-нибудь с тобой?

Старик еще больше понурился и долго сидел, не говоря ни слова. Наконец он заговорил, точно в раздумье:

— Да, мы с тобой встречались, Марков, но ты никогда не видал меня. Вероятно, ты не помнишь или забыл, как во время чумы твой дядя повесил в одно утро пятьдесят девять человек? В этот день я был в двух шагах от него, но он не видел меня.

— Да... правда... пятьдесят девять...— прошептал Марков, чувствуя, как им овладевает нестерпимый жар.— Но это... были... мятежники...

— Я был очевидцем жестоких подвигов твоего отца под Севастополем и твоего деда после взятия Измаила,— продолжал своим беззвучным голосом старик.— На моих глазах пролилось столько крови, что ею можно было бы затопить весь земной шар. Я был с Наполео-

ном на полях Аустерлица, Фридланда, Иены и Бородина. Я видел чернь, которая рукоплескала Сансону, когда он показывал с подмостков гильотины окровавленную голову Людовика. При мне в ночь святого Варфоломея правоверные католики с молитвой на устах избивали жен и детей гугенотов. В толпе беснующихся фанатиков я созерцал, как святые отцы инквизиторы жгли на кострах еретиков, как во славу божию сдирали они с них кожу и как заливали им рот расплавленным свинцом. Я шел вслед за полчищем Атиллы, Чингисхана и Солимана Великолепного, которые означали свой путь горами, сложенными из человеческих черепов. Вместе с буйной римской толпой я присутствовал в цирке при том, как травили псами зашитых в звериные шкуры христиан и как в мраморных бассейнах кормили мурен телами пленных рабов... Я видел безумные кровавые оргии Нерона и слышал плач иудеев у разрушенных стен Иерусалима.

— Ты — кошмар... уйди... ты — бред моего больного воображения. Отойди от меня,— с трудом прошептал Марков запекшимися губами.

Старик поднялся со скамейки. Его сгорбленная фигура точно выросла в одно мгновение, так что волосы его головы касались потолка. И он опять заговорил медленно, однотонно и грозно:

— Я видел, как впервые пролилась кровь человека. Были на земле два брата. Один ласковый, нежный, трудолюбивый и сострадательный. Другой — старший — был горд, жесток и завистлив. Однажды они оба приносили, по обычаю отцов, жертву своему богу: младший — плоды земные, а старший — мясо наловленных им зверей. Но старший питал в сердце злобу к своему брату, и дым от его жертвенника стлался по земле, между тем как дым от жертвенника младшего прямым столбом поднимался к небу. Тогда переполнилась душа старшего давнишней завистью и злобой. И произошло на земле первое убийство...

— Ах, отойди, оставь меня... ради бога,— шептал Марков, мечась по сбившейся простыне.

Но старик продолжал свою речь:

— Да, я видел, как его глаза расширились от ужаса смерти и как его скорченные пальцы судорожно царапали

мокрый от крови песок. И когда он, вздрогнув в последний раз, вытянулся на земле, холодный, неподвижный и бледный, то нестерпимый страх овладел убийцей. Он бежал, пряча лицо свое, в лесную чащу и лежал там, дрожа всем телом, до самого вечера, до тех пор, пока не услышал голос разгневанного бога: «Каин, где брат твой Авель?»

— Уйди, не мучь меня! — с трудом шевелил губами Марков.

— Объятый трепетом, я отвечал господу: «Разве я сторож моему брату?» Тогда проклял меня господь вечным проклятием: «Оставайся в живых до тех пор, пока стоит созданный мною мир. Броди бездомным скитальцем во всех веках, народах и странах, и пусть твои глаза ничего не видят, кроме пролитой тобою крови, и пусть твои уши ничего не слышат, кроме предсмертных стонов, в которых ты всегда будешь узнавать последний стон твоего брата».

Старик замолчал на минуту, и когда он заговорил, то каждое его слово падало на Маркова с тяжелой болью:

— О господи, справедлив и неумолим твой суд! Уже многие столетия и десятки столетий странствую я по земле, напрасно ожидая смерти. Высшая, беспощадная сила влечет меня туда, где умирают на полях сражений окровавленные, изуродованные люди, где плачут матери, произнося проклятия мне, первому братоубийце. И нет предела моим страданиям, потому что каждый раз, когда я вижу истекающего кровью человека, я снова вижу моего брата, распростертого на земле и хватающего помертвелыми пальцами песок... И тщетно хочу я крикнуть людям: «Проснитесь! Проснитесь! Проснитесь!..»

— Проснитесь, ваше высокоблагородие, проснитесь! — твердил под ухом Маркова настойчивый голос фельдфебеля.— Телеграмма...

Капитан быстро поднялся на ноги, мгновенно овладев, по привычке, своей волей. Угольев камине давно потухли, а в окно столовой уже глядел бледный свет занимающегося дня.

— А как же... те?..— спросил Марков с дрожью в голосе.

— Так точно, ваше высокоблагородие. Только что...

— А старик? Старик?

— Тоже.

Капитан, точно сразу обессилев, опустился на кровать. Фельдфебель стоял около него навытяжку, ожидая приказаний.

— Вот что, братец. Ты примешь вместо меня команду,— заговорил Марков слабым голосом.— Я сегодня подаю рапорт, потому что я... что меня... совершенно измучила эта проклятая лихорадка... И может быть,— он попробовал усмехнуться, но улыбка у него вышла кривая, — может быть, мне придется скоро и совсем уйти на покой.

Ничему не удивлявшийся фельдфебель, приложив руку к козырьку, ответил спокойно:

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

СКАЗОЧКИ

(приноровленные детьми для родителей)

I

О ДУМЕ

Раз был праздник. Благородные дети играли в песочек. И все у них шло хорошо, и сами они были такие умные, и костюмчики на них нарядные, и ручки чистенькие. Вдруг приходит уличный мальчишка: волосы сосульками, рыжие, нос вверх ноздрями смотрит, босой да корявый. И гнусит:

— Прими-ите в игру-у.

Благородные дети ему и говорят:

— Нет, нет, уходи. Ты нас еще гадким словам научишь.

— Ей-богу, не научу. Вот лопни глаза... Прими-ите...

— Нет, уходи, уходи. У тебя коклюш и дифтерит. Нам мама не велит с тобой водиться.

— Да она не узнает. Ей-богу. А я вас научу гнезда разорять. И еще я умею муравьев рыть... И лягушек надувать умею соломинкой.

— Ну? А не врешь?

— Ей-богу.

И приняли его благородные мальчики в игру. А он взял да нарочно всем и напакостил. Одному благородному ребенку крапивы в панталончики натолкал, другому синяк подставил под глазом, а самого главного генеральского ребенка завел в лужу, да там и посадил и оставил сидеть. А потом всех выбранил дурными словами и убежал.

Прибежали на их крик родители и очень разгневались. Всех благородных мальчиков по домам развели и по пустым комнатам рассажали. А про уличного мальчишку сказали:

— Ладно! Попадись ты в другой раз!

А он стоит за забором, кажет язык, вертит кукиш и дразнится:

— Не боюся никого,
Кроме бога одного...

Это все, милые родители, присказка. Сказка еще впереди.

II

О КОНСТИТУЦИИ

Жил-был мальчик. И жила-была большая дворовая собака. Она жила в конуре на цепи. Она была добрая-предобрая, но голодная. И мальчик ее все дразнил.

Вот он раз однажды привязал на длинную веревку кусок жирной говядины. Потом подошел к конуре и спрашивает:

— Бабачка, а бабачка, хочешь ньям-ньям?

— Гав!

— Очень хочешь?

— Гав, гав!

Тогда мальчик кинул ей мясо. Тогда собака хам! — и проглотила мясо. А мальчик взял за конец веревку и вытащил мясо назад. И опять спрашивает:

— Бабачка, а бабачка, хочешь кушать?

— Гав! гав! гав!

Он опять ей кинул мясо, собака опять проглотила, а он опять взял да вытащил назад. И опять спрашивает:

— Бабачка, говядинки хочешь?

Тогда собака рассердилась. Кинулась, оборвала цепь и разодрала на мальчике новые штанишки сверху донизу. Мальчик убежал, а собака взяла да и съела все мясо, и с веревкой.

Заплакал мальчик горькими слезами. Стал жаловаться папе-маме, дяде-тете. А папа-мама, дядя-тетя и говорят:

— А ты бы не дразнил собаку. Она голодная. Теперь вот ее и на цепь не посадишь.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ

Ложи, партер и хоры большой, в два света, залы губернского дворянского собрания были битком набиты, и, несмотря на это, публика сохраняла такую тишину, что, когда оратор остановился, чтобы сделать глоток воды, всем было слышно, как в окне бьется одинокая, поздняя муха.

Среди белых, розовых и голубых платьев дам, среди их роскошных обнаженных плечей и нежных головок сияло шитье мундиров, чернели фраки и золотились густые эполеты.

Оратор, в форме министерства народного просвещения,— высокий, худой человек, желтое лицо которого, казалось, состояло только из черной бороды и черных сверкающих очков,— стоял на эстраде, опираясь рукою на стол.

Но внимательные глаза публики были обращены не на него, а на какой-то странный, массивный, гораздо выше человеческого роста предмет в парусиновом чехле, широкий снизу и узкий вверху, возвышавшийся серой пирамидой тут же, на эстраде, возле самой рампы.

Утолив жажду, оратор откашлялся и продолжал:

— Резюмирую кратко все сказанное. Итак, что мы видим, господа? Мы видим, что поощрительная система отметок, наград и отличий ведет к развитию зависти и недоброжелательства в одних и нежелательного озлобления в других. Педагогические внушения теряют свою силу благодаря частой повторяемости. Ставить на колени, в угол носом, у часов, под лампу и тому подобное— это часто служит не примером для прочих учеников, а

чем-то вроде общей потехи, смехотворного балагана. Заключение в карцере положительно вредно, не говоря уже о том, что оно бесплодно отнимает время от учебных занятий. Принудительная работа лишает самую работу ее высокого святого смысла. Наказание голодом вредно отзывается на мозговой восприимчивости. Лишение отпуска в закрытых учебных заведениях только озлобляет учеников и вызывает неудовольствие родителей. Что же остается? Исключить неспособного или шаловливого юношу из школы, памятуя святое писание, советующее лучше отсечь болящий член, нежели всему телу быть зараженным? Да, увы — подобная мера бывает подчас так же неизбежна, как неизбежна, к сожалению, смертная казнь в любом из благоустроенных государств. Но прежде чем прибегнуть к этому последнему, безвозвратному средству, поищем...

— А драть? — густым басом сказал из первого ряда местный комендант, седой, тучный, глухой старец, и тотчас же под его креслом сердито и хрипло тявкнул мопс.

Генерал повсюду являлся с палкой, слуховым рожком и старым, задыхающимся мопсом.

Оратор поклонился, приятно осклабившись.

— Я не имел в виду выразиться так коротко и определенно, но в основе его превосходительство угадали мою мысль. Да, милостивые государыни и милостивые государи, мы еще не говорили об одной доброй, старой, исконно русской мере — о наказании на теле. Однако она лежит в самом духе истории великого русского народа, мощного своей национальностью, патриотизмом и глубокой верой в провидение! Еще апостол сказал: ему же урок — урок, ему же лоза — лоза. Незабвенный исторический памятник средневековой письменности — «Домострой» — с отеческой твердостью советует то же самое. Вспомним нашего гениального царя-преобразователя — Петра Великого с его знаменитой дубинкой. Вспомните изречение бессмертного Пушкина, воскликнувшего:

...Наши предки чем древнее,
Тем больше съели батогов...

Вспомним, наконец, нашего удивительного Гоголя, сказавшего устами простого, немудрящего крепостного

слуги: мужика надо драть, потому что мужик балуется... Да, господа, я смело утверждаю, что наказание розгами по телу проходит красной нитью через все громадное течение русской истории и коренится в самых глубоких недрах русской самобытности.

Но, погружаясь мыслью в прошедшее и являясь таким образом консерватором, я, милостивые государыни и милостивые государи, тем не менее с распростертыми руками иду навстречу самым либеральнейшим из гуманистов. Я открыто, громогласно признаю, что в телесном наказании, в том виде, как оно до сих пор практиковалось, заключается много оскорбительного для наказуемого и унизительного для наказующего. Непосредственное насилие человека над человеком возбуждает неизбежно с обеих сторон ненависть, страх, раздражение, мстительность, презрение и, наконец, зловредное взаимное упорство в преступлении и в наказании, доходящее до какого-то зверского сладострастия. Итак, вы скажете, господа, что я отвергаю телесное наказание? Да, я отвергаю его, но только для того, чтобы снова утвердить, заменив человека *машиной*. После многолетних трудов, размышлений и опытов я выработал, наконец, идею механического правосудия и осуществил ее,—хорошо или дурно — это я сейчас же предоставлю судить почтеннейшему собранию.

Оратор сделал знак головой в сторону, туда, где в дни любительских спектаклей помещались кулисы. Тотчас же на эстраду выскочил бравый усатый вахтер и быстро снял брезент со странного предмета, стоявшего у рампы. Глазам присутствующих предстала, блестя новыми металлическими частями, машина, несколько похожая на те самовесы, которые ставятся в увеселительных садах для взвешивания публики за пять копеек, только сложнее и значительно больше размерами. По залу дворянского собрания пронесся вздох удивления, головы заходили влево и вправо.

Оратор широко простер руку, указывая на аппарат.

— Вот мое детище! — сказал он взволнованным голосом.— Вот аппарат, который по чести может быть назван орудием механического правосудия. Устройство его необыкновенно просто и по цене доступно бюджету даже скромного сельского училища. Прошу обратить внимание на его устройство. Во-первых, вы замечаете горизон-

тальную площадку на пружинах и ведущую к ней металлическую подножку. На площадке помещается узкая скамейка, спинка которой состоит также из весьма эластических пружин, обвитых мягкой кожей. Под скамейкой, как вы видите, свободно вращается на шарнирах система серповидных рычагов. От действия тяжести на пружины скамейки и платформы — рычаги эти, выходя из состояния равновесия, описывают полукруг и смыкаются попарно на высоте от пяти до восемнадцати вершков над поверхностью скамейки, в зависимости от силы давления. Сзади скамейки возвышается вертикальный чугунный столб, полый внутри, с квадратным пеперечным сечением. В его пустоте заключается мощный механизм, наподобие часового, приводящийся в движение четырехпудовой гирей и спиральной пружиной. Сбоку столба устроена небольшая дверца для чистки и выверивания механизма, но ключи от нее, числом два,—прошу это особенно отметить, господа,— хранятся только у главного инспектора механических самосекателей известного района и у начальника данного учебного заведения России. Таким образом, этот аппарат, однажды приведенный в действие, уже никак не может остановиться, не закончив своего назначения, если только не будет насильственно поврежден, что, однако, представляется маловероятным ввиду исключительной простоты, прочности и массивности всех частей машины.

Часовой механизм, пущенный в ход, сообщает посредством зубчатых колес движение небольшому, находящемуся внутри столба, горизонтальному валу, на поверхности которого, по спиральной линии, составляющей неполный оборот, вставлены в стальные зажимы, перпендикулярно к оси, восемь длинных гибких камышовых или стальных прутьев. В случае изнашивания их можно заменять новыми. Необходимо также пояснить, что вал имеет еще некоторое последовательное движение влево и вправо по винтовому ходу, чем достигается разнообразие точек удара.

Итак, вал приведен в движение, и вместе с ним движутся, описывая спиральные круги, прутья. Каждый прут совершенно свободно проходит внизу, но, поднявшись вертикально наверх, он встречает препятствие— перекладину, в которую он сначала упирается своим верхним концом, затем, задержанный ею, выгибается полу-

кругом наружу и затем, сорвавшись с нее, наносит удар. А так как эта перекладина может быть передвигаема по желанию, вверх и вниз, на двух зубчатых рейках и закрепляется на любой высоте специальными защелками, то вполне понятно, что чем мы ниже опустим перекладину, тем более выгибается прут и тем энергичнее наносится удар. Этим мы регулируем силу наказания, для каковой надобности на рейках имеются соответствующие деления от ноля до двадцати четырех. Цифра ноль — самая верхняя, она употребляется только в тех случаях, когда наказание носит лишь условный, так сказать, символический характер, при шести чувствуется уже значительная боль. Пределом для низших учебных заведений мы считаем силу удара, означенную делением десять, для средних—пятнадцать, для войск, волостных правлений и студентов—двадцать и, наконец, для исправительных арестантских отделений и бастующих рабочих полную меру, то есть двадцать четыре.

Вот в сущности схема моего изобретения. Остаются детали. Эта рукоятка сбоку, совершенно такого же вида, как ручка у шарманки, служит для завода внутренней спиральной пружины. Эта движущаяся в полукруглой щели стрелка регулирует малую, среднюю или большую скорость вращения вала. На самом верху столба, под стеклом—механический счетчик. Выскакивающие в нем цифры, во-первых, позволяют контролировать правильность действия аппарата, а во-вторых, служат для статистических и ревизионных целей. Ввиду второго назначения счетчик устроен таким образом, что может показывать до шестидесяти тысяч. Наконец, у подножия столба вы, господа, видите некоторое подобие урны, внутри коей на дне находится круглое отверстие величиной в чайное блюдечко. В нее бросают один из этих вот жетонов, после чего весь механизм мгновенно приходит в действие. Все жетоны разной величины и различного веса, от самого маленького, величиною с серебряный пятачок и соответствующего минимальному наказанию в пять ударов, до этого, размером с серебряный рубль, который, будучи опущен в урну, заставляет машину отсчитать ровно двести ударов. Различными комбинациями изо всех жетонов мы можем получить любое, кратное пяти, количество ударов от пяти до трехсот пятидесяти. Но...—

и тут оратор скромно улыбнулся,— но мы сочли бы нашу задачу не выполненной до конца, если бы остановились на этой предельной цифре.

С вашего изволения, господа, я прошу вас отметить и запомнить ту цифру, которую показывает в настоящую минуту счетчик. Кстати, почтеннейшая публика может убедиться, что до момента опускания жетонов в урну можно совершенно безопасно стоять на подножке.

Итак... счетчик показывает две тысячи девятьсот. Следовательно, по окончании экзекуции стрелка должна будет отметить... три тысячи двести пятьдесят... Кажется, я не ошибаюсь?..

Достаточно бросить в урну любой предмет с кругообразным сечением, все равно, продольным или поперечным, и вы можете увеличить количество ударов если не до бесконечности, то, во всяком случае, до тех пор, пока хватит пружинного завода, то есть приблизительно до семисот восьмидесяти — восьмисот. Конечно, я имел также в виду и то, что в общежитии жетоны, весьма вероятно, будут заменяться обыкновенной разменной монетой. На этот случай к каждому механическому самосекателю прилагается сравнительная табличка веса медной, серебряной и золотой монеты с количеством ударов. Вы ее видите здесь, сбоку главного столба.

Кажется, я уже кончил... Остаются некоторые подробности относительно устройства вращающейся подножки, качающейся скамейки и серповидных рычагов. Но так как оно несколько сложно, то я предоставляю почтеннейшей публике увидеть его действие во время демонстрации, которую я буду иметь честь немедленно же произвести.

Вся процедура наказания состоит в следующем. Сначала мы, тщательно разобравшись в мотивах и свойствах преступления, определяем меру наказания, то есть количество ударов, их скорость и энергию, а иногда и материал прутьев. Затем человеку, заведующему аппаратом, посылается в машинное отделение краткая рапортичка или сообщается по телефону. Машинист приготовляет все, что нужно, и немедленно удаляется. Заметьте, господа, человека нет, остается только машина. Одна беспристрастная, непоколебимая, спокойная, справедливая машина.

Сейчас я перехожу к опыту. Преступника нам заменит кожаный манекен. Для того чтобы показать машину в самом блестящем виде, мы условимся, что перед нами находится наитягчайший преступник.

— Сторож! — крикнул оратор за кулисы.—Приготовьте: сила двадцать четыре, скорость малая.

При общем напряженном молчании усатый вахтер завел рукояткой машину, опустил вниз перекладину, передвинул стрелку указателя и скрылся за кулисами.

— Теперь все готово,— сказал оратор,—и комната, где стоит самосекатель, *совершенно* пуста. Нам остается только призвать наказуемого, объяснить ему степень его виновности и размер наказания, и он сам —заметьте, господа, сам! — сам берет из ящичка соответствующие марки. Конечно, можно устроить так, что он тут же опускает их в отверстие, устроенное в столе, а они по особому желобу падают вниз, прямо в урну... Но это уж деталь — очень легко выполнимая и несущественная.

С этого момента виновный весь находится во власти машины. Он идет в уборную, где и раздевается. Отворяет дверь, становится на подножку, опускает жетоны в урну и... кончено. Дверь за ним герметически запирается. Он может простоять на подножке хоть до второго пришествия, но непременно кончит тем, что бросит жетоны в урну. Ибо, милостивые государыни и милостивые государи,— воскликнул педагог с торжествующим смехом,— ибо подножка и платформа устроены таким образом, что каждая минута промедления на них увеличивает число ударов на количество от пяти до тридцати, в зависимости от веса наказуемого... Но едва только он опустит свои марки, как подножка делает вращательное движение снизу вверх и наперед, скамейка в то же время подымается головным концом вертикально вверх, и брошенный на ее спину преступник охватывается в трех местах — за шею, вокруг поясницы и за ноги — серповидными рычагами, и скамейка принимает прежнее горизонтальное положение. Все это совершается буквально в одно мгновение. В следующий миг наносится первый удар, и теперь никакая сила не может ни остановить действия машины, ни ослабить ударов, ни увеличить или уменьшить скорость вращения вала до тех пор, пока не совер-

шится полное правосудие. Это физически невозможно сделать, не имея ключа.

— Сторож, принесите манекен. Прошу уважаемую аудиторию назначить число ударов... Просто какую-нибудь цифру... желательно трехзначную, но не более трехсот пятидесяти. Прошу вас...

— Пятьсот! — крикнул комендант.

— Бэфф! — брехнул мопс под его стулом.

— Пятьсот слишком много,— мягко возразил оратор.— Но, во внимание к желанию, высказанному его превосходительством, остановимся на максимальном числе. Пусть будет триста пятьдесят. Мы опустим в урну все имеющиеся у нас жетоны.

В это время сторож внес под мышкой уродливый кожаный манекен и поставил его на пол, поддерживая сзади. В искривленных ногах манекена, в растопыренных руках и в закинутой назад голове было что-то вызывающее и насмешливое.

Стоя на подножке, оратор продолжал:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Еще одно последнее слово. Я не сомневаюсь в том, что мой механический самосекатель должен в ближайшем будущем получить самое широкое распространение. Малопомалу его примут во всех школах, училищах, корпусах, гимназиях и семинариях. Мало того — его введут в армию и флот, в деревенский обиход, в военные и гражданские тюрьмы, в участки и пожарные команды, во все истинно русские семьи.

Жетоны постепенно и неизбежно вытеснятся деньгами, и таким образом не только окупается стоимость машин, но получатся сбережения, которые могут быть употребляемы на благотворительные и просветительные цели. Исчезнет сам собой бич наших финансов — вечные недоимки, потому что при взыскании их с помощью этого аппарата крестьянин неизбежно должен будет опустить в урну причитающуюся с него сумму. Исчезнут пороки, преступления, лень и халатность; процветут трудолюбие, умеренность, трезвость и бережливость...

Трудно предугадать более глубокую будущность этой машины. Разве мог предвидеть великий Гутенберг, устраивая свой наивный деревянный станок, тот неизмеримо громадный переворот, который книгопечатание внес-

ло в историю человеческого прогресса? Однако я далек от мысли, господа, кичиться перед вами в своем авторском самолюбии, тем более что мне принадлежит лишь голая идея. В практической разработке моего изобретения мне оказали самую существенную помощь учитель физики в здешней четвертой гимназии господин N и инженер X. Пользуюсь лишним случаем, чтобы выразить им мою глубокую признательность.

Зала загремела от аплодисментов. Два человека из первого ряда встали и застенчиво, неловко поклонились публике.

— Для меня же лично,— продолжал оратор,— величайшим удовлетворением служит бескорыстное сознание пользы, принесенной мною возлюбленному отечеству, и — вот эти вот — знаки милостивого внимания, которые я на днях имел счастье получить: именные часы с портретом его высокопревосходительства и медаль от курского дворянства с надписью: Similia similibus [1].

Он отцепил и поднял высоко над головой огромный старинный хронометр, приблизительно в полфунта весом; на особой коротенькой цепочке болталась массивная золотая медаль.

— Я кончил, господа,— прибавил тихо и торжественно оратор, кланяясь.

Но еще не успели разразиться аплодисменты, как произошло нечто невероятное, потрясающее. Часы вдруг выскользнули из поднятой руки педагога и с металлическим грохотом провалились в урну.

В тот же момент машина зашипела и защелкала. Подножка вывернулась кверху, скамейка быстро качнулась вверх и вниз, блеснула сталь сомкнувшихся рычагов, мелькнули в воздухе фалды форменного фрака, и вслед за отчетливым, резким ударом по зале пронесся дикий вопль изобретателя.

— 2901! — стукнул механический счетчик.

Трудно описать в быстрых и отчетливых чертах то, что произошло в собрании. Сначала все опешили на несколько секунд. Среди общей тишины раздавались лишь крики невольной жертвы, свист прутьев и щелканье счетчика. Потом все ринулись на эстраду...

---

[1] Подобное подобным *(лат.)*.

— Ради бога! — кричал несчастный.— Ради бога! Ради бога!

Но помочь ему было невозможно. Мужественный учитель физики протянул было руку, чтобы схватить прут, но тотчас же отдернул ее назад, и все увидели на ее наружной поверхности длинный кровавый рубец. Передвинутая перекладина не поддавалась никаким усилиям.

— Ключ! Скорее ключ! — кричал педагог.— Он у меня в панталонах! Скорее!

Преданный вахтер кинулся обыскивать карманы, едва уклоняясь от ударов. Но ключа не оказалось.

— 2950—2951—2952—2953,—продолжал отщелкивать счетчик.

— Ваше высокоблагородие! — сказал со слезами на глазах вахтер.—Дозвольте снять панталоны. Жалко, если пропадут... Совсем новые... Которые дамы, так они отвернутся.

— Убирайся к черту, идиот! Ой, ой, ой!.. Господа, ради бога!.. Ой, ой... Я забыл... Ключи у меня в пальто... Ой, поскорее!

Побежали в переднюю за пальто. Но и там ключа не оказалось. Очевидно, изобретатель забыл его дома. Кто-то вызвался съездить за ним. Предводитель дворянства предложил своих лошадей.

Отрывистые удары сыпались через каждую секунду с математической правильностью; педагог кричал, а счетчик равнодушно отсчитывал:

— 3180—3181—3182...

Какой-то гарнизонный подпоручик вдруг выхватил шашку и принялся с ожесточением рубить по машине, но после пятого же удара в руках у него остался один эфес, а отскочивший клинок ударил по ногам председателя земской управы. Панталоны изобретателя уже превратились сверху в лохмотья. Ужаснее всего было то, что нельзя было предугадать, когда остановится действие машины. Часы оказались чересчур тяжелыми. Человек, уехавший за ключом, все не возвращался, а счетчик, уже давно переваливший за назначенное изобретателем число, спокойно отсчитывал:

— 3999—4000—4001.

Педагог не прыгал больше. Он лежал с разинутым ртом и выпученными глазами и лишь судорожно дергал конечностями.

Но комендант вдруг затрясся от негодования, налился кровью и заревел под лай своего мопса:

— Безобразие! Разврат! Немысленно! Подать сюда пожарную команду!

Эта мысль была самой мудрой. Местный губернатор был большим любителем пожарных выездов и щеголял их быстротой. Меньше чем через пять минут, и именно в тот момент, когда счетчик отстукивал 4550-й удар, молодцеватые пожарные с топорами, ломами и крючьями ворвались на эстраду.

Великолепный механический самосекатель погиб на веки вечные, а вместе с ним умерла и великая идея. Что же касается до изобретателя, то, проболев довольно долго от телесных повреждений и нервного потрясения, он возвратился к своим обязанностям. Но роковой случай совершенно преобразил его. Он стал на всю жизнь тихим, кротким, меланхолическим человеком и, хотя преподавал латынь и греческий, тем не менее вскоре сделался общим любимцем своих учеников.

К своему изобретению он не возвращался.

ИСПОЛИНЫ

Невольный стыд овладевает мною при начинании этого рассказа. Увы! В нем участвует вся рождественская бутафория: вечер сочельника, снег, веселая толпа, освещенные окна игрушечных магазинов, бедные дети, глазеющие с улицы на елки богачей, и румяный окорок, и вещий сон, и счастливое пробуждение, и добродетельный извозчик.

Но войдите же и в мое положение, господа читатели! Как мне обойтись без этого реквизита, если моя правдивая история произошла именно как раз в ночь под рождество. Она могла бы случиться когда угодно: под пасху или в троицу, в самый будничный из будничных понедельников, но также и в годовщину памяти любимого национального героя. Это все равно. Моя беда лишь в том, что судьбе было угодно пригнать все, что я сейчас расскажу, почему-то непременно к рождеству, а не к другому сроку.

В эту самую ночь, с 24 на 25 декабря, возвращался к себе домой с рождественской елки учитель гимназии по предмету русской грамматики и литературы, господин Костыка. Был он... пьян не пьян, но грузен, удручен и раздражителен. Давали знать себя: поросенок с кашей, окорок, полендвица и колбаса с чесноком. Пиво и домашняя наливка подпирали под горло. Сердил проигрыш в преферанс: уж, правда, Костыку преследовало какое-то фатальное невезение во весь вечер. А главное, было досадно то, что во время ужина, в споре о воспитании юношества,— над ним, старым педагогом, одержал верх ка-

кой-то молокосос учителишка, едва соскочивший с университетской скамьи, либералишка и верхогляд. То есть нет, верха-то он, положим, не одержал, потому что слова и убеждения Костыки основаны на незыблемых устоях учительской мудрости. Но... другие — мальчишки и девчонки... они аплодировали, и смеялись, и блестели глазами, и дразнили Костыку: «Что, старина? Приперли вас?»

И потому-то, с бурчащим животом, с изжогой в груди, с распухшей головой, проклял он сначала обычай устраивать елки — обычай, если не языческий, то, должно быть, немецкий, а во всяком случае святой церковью не установленный. Потом, прислонившись на минутку к фонарному столбу, помянул черным словом пиво и окорок. Затем он упрекнул мысленно хозяина сегодняшней вечеринки, добродушного учителя математики, в расточительности. «Из каких это, спрашивается, денег такие пиры закатывать? Наверно, женину ротонду заложил!» Детишек, торчавших на улице у магазинной витрины, Костыка обозвал хулиганами и воришками и вздохнул о старом, добром времени, когда розга и нравственность шли ручка об ручку. Добродетельный извозчик (который в святочных рассказах обыкновенно возвращает бедному, но честному банковскому чиновнику портфель с двумя миллионами, забытый накануне у него в санях), этот самый извозчик запросил на Пески «полтора целковеньких, потому как на резвенькой и по случаю праздничка», а когда Костыка предложил ему двугривенный, то извозчик назвал Костыку почему-то «носоклюем», а Костыка тщетно взывал к городовому о своей обиде: извозчик умчался на резвенькой, городовой тащил куда-то вдаль пьяную бабу — и тогда Костыка заодно предал анафеме и русский народ с его самобытностью, и Думу, и отруба, и волость, и всяческие свободы.

В таком-то хмуром и придирчивом настроении он взобрался к себе домой, на пятый этаж, проклянув кстати мимоходом и городскую культуру, в лице заспанного и ворчливого швейцара. Очень долго он балансировал с зажженной лампой, вроде циркового жонглера, притворяющегося пьяным. Разбудил было жену, которая раньше его уехала с вечеринки, но та мигом выгнала его из спальни. Попробовал полюбезничать с «прислугой за все», новгородской каменной бабой Авдотьей, но полу-

чил жестокий отпор, после которого в течение семи секунд искал равновесия по всему кабинету, от двери до стены.

И вот тогда-то он с великими усилиями нашарил в сенях запасную потайную бутылку пива, открыл ее, налил стакан, уселся за стол, вперил мутные глаза в огненный круг лампы и отдался скорбным, неповоротливым, вязким мыслям.

«За что? — горько думал он.— За что, о Лапидарский, ты меня обидел перед учениками и обществом? Или ты умнее меня? Или ты думаешь, что если сорвал несколько девических улыбок — то ты и прав? Ты, может быть, думаешь, что и я сам не был глуп и молод, что и я не упивался несбыточными надеждами и дерзкими замыслами? Погляди, брат, вот они, живые-то свидетели».

Он широко обвел рукою вокруг себя, вокруг стен, на которых висели аккуратно прибитые,— сохраненные частью по скупости, частью по механической привычке, частью для полноты обстановки,— портреты великих русских писателей, приобретенные когда-то давным-давно, в телячьи годы восторженных слов... И ему вдруг показалось, что по лицам этих исполинов, от глаз к глазам, быстро пробегают, точно летучие молнии, страшные искры насмешки и презрения.

Костыка вздрогнул, отвернулся, протер глаза и тотчас же, для собственного успокоения, вернулся к прежней нити мыслей, на которую стал нанизывать свои жалобы, упреки и мелочные счеты. Но стакан все-таки еще дрожал в его руке.

«Нет, Лапидарский, нет! Я, братец, погляжу на тебя лет через пять — десять, когда ты поймешь, что это такое за шуточка бедность, зависимость и власть... когда ты узнаешь, что сто́ит семья, а с ней болезни, роди́ны, крестины, сапожишки, юбчонки... Ты вот кричишь теперь: Маркс, Ницше, свобода, народ, пролетариат, великие заветы... Погоди, милый! Запое-ешь! Будешь, как и я. Скажут тебе: лепи единицы — будешь лепить. Пусть стреляются, травятся и выскакивают из окон. Идиоты. Скажут тебе: будь любвеобилен — будешь; скажут: маршируй — будешь. Вот и все. И будешь сыт и пригрет и начальству приятен. И будешь, как и я, скучать по праздникам о том, что некого изловить в ошибке, некому по-

ставить «един», некого выключить с волчьим паспортом».

И опять он невольно обернулся к стенам, на которых симметрично висели фотографии человеческих лиц — гневных, презрительных, божественно-ясных, прекрасно-мудрых, страдальческих, измученных, гордых и безумных.

— Смеетесь? — закричал вдруг Костыка и ударил кулаком по столу.— Так? Хорошо же! Так вот, я заявляю вам, что все вы — дилетанты, самоучки и безграмотны. Это я говорю вам — профессионал и авторитет! Я, я, я, который сейчас произведу вам экзамен. Будь вы хоть распрогении, но если ваша жизнь, ваши нравы, мысли и слова преступны, безнравственны и противозаконны — то единица, волчий паспорт и — вон из гимназии на все четыре стороны. Пускай потом родители плачут.

Вот вы, молодой человек! Хорошего роду. Получили приличное образование. К стихам имели способность. К чему вы ее употребили? Что писали? Гаврилиаду? Оду к какой-то там свободе или вольности? Ставлю нуль с двумя минусами. Ну, хорошо. Исправились... Так и быть — тройка. Стали на хорошую дорогу. Нет, извольте: камер-юнкерский мундир вам показался смешным. Ведь нищим были, подумайте-ка. Еще нуль. Стишки писали острые против вельмож? Нуль с двумя. А дуэль? А злоба? За нехристианские чувства — единица.

А вы, господин офицер? Могли бы служить, дослужились бы до дивизионного командира, а почем знать, может быть, и выше. Кто вам мешал развивать свой гений? Ну... там оду на случай иллюминации, экспромт по случаю полкового праздника?.. А вы предпочли ссылку, опалу. И опять-таки умерли позорно. Верно кто-то сказал: собаке — собачья смерть. Итак: талант—три с минусом, поведение — нуль, внимание — нуль, нравственность — единица, закон божий — нуль.

Вы, господин Гоголь. Пожалуйте сюда. За малорусские тенденции — нуль с минусом. За осмеяние предержащих властей — нуль, за один известный поступок против нравственности — нуль. За то, что жидов ругали,— четыре. За покаяние перед кончиной — пять.

Так он злорадно и властно экзаменовал одного за другим безмолвных исполинов, но уже чувствовал, как в его душу закрадывался холодный, смертельный страх. Он похвалил Тургенева за внешнее благообразие и хороший стиль, но упрекнул его любовью к иноземке. Пожалел об инженерной карьере Достоевского, но одобрил за полячишек. «Да и православие ваше было какое-то сектантское,— заметил Костыка.— Не то хлыстовщина, не то штунда».

Но вдруг его глаза столкнулись с гневными, расширенными, выпуклыми, почти бесцветными от боли глазами,— глазами человека, который, высоко подняв величественную бородатую голову, пристально глядел на Костыку. Сползший плед покрывал его плечи.

— Ваше превосходительство...— залепетал Костыка и весь холодно и мокро задрожал.

И раздался хриплый, грубоватый голос, который произнес медленно и угрюмо:

— Раб, предатель и...

И затем пылающие уста Щедрина произнесли еще одно страшное, скверное слово, которое великий человек если и произносит, то только в секунды величайшего отвращения. И это слово ударило Костыку в лицо, ослепило ему глаза, озвездило его зрачки молниями...

...Он проснулся, потому что, задремавши над стаканом, клюнул носом о стакан и ушиб себе переносицу. «Слава богу, сон! — подумал он радостно.— Слава богу! А-а! Так-то вы, господин губернатор? Хорошо же-с. Свидетелей, благодаря бога, нет...»

И с ядовитой усмешкой дрожащими руками он отцепил от гвоздя портрет Салтыкова, отнес его в самый укромный уголок своей квартиры и повесил там великого сатирика на веки вечные, к общему смеху и поруганию.

ИЗУМРУД

Посвящаю памяти несравненного пегого рысака Холстомера

I

Четырехлетний жеребец Изумруд — рослая беговая лошадь американского склада, серой, ровной, серебристо-стальной масти — проснулся, по обыкновению, около полуночи в своем деннике. Рядом с ним, слева и справа и напротив через коридор, лошади мерно и часто, все точно в один такт, жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым звукам храпа знал, что это — Василий, молодой малый, которого лошади не любили за то, что он курил в конюшне вонючий табак, часто заходил в денники пьяный, толкал коленом в живот, замахивался кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, сиплым, угрожающим басом.

Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем деннике молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка Щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светился на несколько секунд красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго потянул в себя воздух, услышал чуть заметный, но креп-

кий, волнующий запах ее кожи и коротко заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым ржанием.

Тотчас же рядом с собою направо Изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут помещался Онегин, старый, норовистый бурый жеребец, изредка еще бегавший на призы в городских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг друга, но, приложившись храпом к правому краю решетки, Изумруд ясно учуял теплый запах пережеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина... Так жеребцы некоторое время обнюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами.

— Бал-луй, черт! — сонно, с привычной угрозой, крикнул конюх.

Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга, но теперь, как три дня тому назад в ту же конюшню поставили грациозную вороную кобылу,—чего обыкновенно не делается и что произошло лишь от недостатка мест при беговой спешке,— то у них не проходило дня без нескольких крупных ссор. И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали друг друга на драку. Но Изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь перед этим длинным самоуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым верблюжьим кадыком, мрачными запавшими глазами и особенно перед его крепким, точно каменным костяком, закаленным годами, усиленным бегом и прежними драками.

Делая вид перед самим собою, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, Изумруд повернулся, опустил голову в ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими губами. Сначала он только прикусывал капризно отдельные травки, но скоро вкус жвачки во рту увлек его, и он по-настоящему вник в корм. И в то же время в его голове текли медленные равнодушные мысли, сцепляясь воспоминаниями образов, запахов и звуков и пропадая навеки в той черной бездне, которая была впереди и позади теперешнего мига.

«Сено»,— думал он и вспомнил старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено.

Назар — хороший старик; от него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином; движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и приятно слушать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса с ласковой укоризной и все кряхтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного, и во время прикидки чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны.

В Ваське тоже этого нет, и хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус, и не боятся его. И ездить он не умеет — дергает, суетится. Третий конюх, что с кривым глазом, лучше их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив, и руки у него не гибки, точно деревянные. А четвертый — Андрияшка, еще совсем мальчик; он играет с лошадьми, как жеребенок-сосунок, и украдкой целует в верхнюю губу и между ноздрями,— это не особенно приятно и смешно.

Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки,— о, это совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь — мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно-страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить Изумруда до того счастливого гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко.

И тотчас же Изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром и почти каждый дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей, зелень травы и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг караковый трехлеток, который на днях вывихнул ногу на проминке и захромал. И, думая о нем, Изумруд сам попробовал мысленно похромать немножко.

Один клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время еще слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки. Смутное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме лошади. Это было похоже на то, что

бывает иногда у курящих людей, которым случайная затяжка папиросой на улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный коридор с старинными обоями и одинокую свечу на буфете, или дальнюю ночную дорогу, мерный звон бубенчиков и томную дремоту, или синий лес невдалеке, снег, слепящий глаза, шум идущей облавы, страстное нетерпение, заставляющее дрожать колени,— и вот на миг пробегут по душе, ласково, печально и неясно тронув ее, тогдашние, забытые, волнующие и теперь неуловимые чувства.

Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее и одна за другою вздыхали тяжело и мягко. На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще долго и далеко кругом разливалось в разных местах, не прекращаясь, очередное пение других петухов.

Опустив голову в кормушку, Изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятного воспоминания. Но оживить его не удавалось, и, незаметно для себя, Изумруд задремал.

II

Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него на несколько секунд легкой чуткой дремотой, но недолгие минуты сна были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа.

Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий ароматный луг. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно-прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В легком редком воздухе всевозможные запахи доносятся удивительно четко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который сине и прозрачно вьется над трубой в деревне, все цветы на лугу пахнут по-разному, на колеистой влажной

дороге за изгородью смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным навозом, и пылью, и парным коровьим молоком от проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей забора.

Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит их. Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!

Но вот он слышит короткое, беспокойное, ласковое и призывающее ржание, которое так ему знакомо, что он всегда узнает его издали, среди тысячи других голосов. Он останавливается на всем скаку, прислушивается одну секунду, высоко подняв голову, двигая тонкими ушами и отставив метелкой пушистый короткий хвост, потом отвечает длинным заливчатым криком, от которого сотрясается все его стройное, худощавое, длинноногое тело, и мчится к матери.

Она — костлявая, старая, спокойная кобыла — поднимает мокрую морду из травы, быстро и внимательно обнюхивает жеребенка и тотчас же опять принимается есть, точно торопится делать неотложное дело. Склонив гибкую шею под ее живот и изогнув кверху морду, жеребенок привычно тычет губами между задних ног, находит теплый упругий сосок, весь переполненный сладким, чуть кисловатым молоком, которое брызжет ему в рот тонкими горячими струйками, и все пьет и не может оторваться. Матка сама убирает от него зад и делает вид, что хочет укусить жеребенка за пах.

В конюшне стало совсем светло. Бородатый, старый, вонючий козел, живший между лошадей, подошел к дверям, заложенным изнутри брусом, и заблеял, озираясь назад, на конюха. Васька, босой, чеша лохматую голову, пошел отворять ему. Стояло холодноватое, синее крепкое осеннее утро. Правильный четырехугольник отворенной двери тотчас же застлался теплым паром, повалившим из конюшни. Аромат инея и опавшей листвы тонко потянул по стойлам.

Лошади хорошо знали, что сейчас будут засыпать овес, и от нетерпения негромко покряхтывали у решеток. Жадный и капризный Онегин бил копытом о деревянную настилку и, закусывая, по дурной привычке, верхними зубами за окованный железом изжеванный борт кормушки, тянулся шеей, глотал воздух и рыгал. Изумруд чесал морду о решетку.

Пришли остальные конюхи — их всех было четверо — и стали в железных мерках разносить по денникам овес. Пока Назар сыпал тяжелый шелестящий овес в ясли Изумруда, жеребец суетливо совался к корму, то через плечо старика, то из-под его рук, трепеща теплыми ноздрями. Конюх, которому нравилось это нетерпение кроткой лошади, нарочно не торопился, загораживал ясли локтями и ворчал с добродушною грубостью:

— Ишь ты, зверь жадная... Но-о, успеишь... А, чтоб тебя... Потычь мне еще мордой-то. Вот я тебя ужотко потычу.

Из оконца над яслями тянулся косо вниз четырехугольный веселый солнечный столб, и в нем клубились миллионы золотых пылинок, разделенных длинными тенями от оконного переплета.

III

Изумруд только что доел овес, когда за ним пришли, чтобы вывести его на двор. Стало теплее, и земля слегка размякла, но стены конюшни были еще белы от инея. От навозных куч, только что выгребенных из конюшни, шел густой пар, и воробьи, копошившиеся в навозе, возбужденно кричали, точно ссорясь между собой. Нагнув шею в дверях и осторожно переступив через порог, Изумруд с радостью долго потянул в себя пряный воздух, потом затрясся шеей и всем телом и звучно зафыркал. «Будь здоров!» — серьезно сказал Назар. Изумруду не стоялось. Хотелось сильных движений, щекочущего ощущения воздуха, быстро бегущего в глаза и ноздри, горячих толчков сердца, глубокого дыхания. Привязанный к коновязи, он ржал, плясал задними ногами и, изгибая набок шею, косил назад, на вороную кобылу, черным большим выкатившимся глазом с красными жилками на белке.

Задыхаясь от усилия, Назар поднял вверх выше головы ведро с водой и вылил ее на спину жеребца от холки до хвоста. Это было знакомое Изумруду бодрое, приятное и жуткое своей всегдашней неожиданностью ощущение. Назар принес еще воды и оплескал ему бока, грудь, ноги и под репицей. И каждый раз он плотно проводил мозолистой ладонью вдоль по шерсти, отжимая воду. Оглядываясь назад, Изумруд видел свой высокий, немного вислозадый круп, вдруг потемневший и заблестевший глянцем на солнце.

Был день бегов. Изумруд знал это по особенной нервной спешке, с которой конюхи хлопотали около лошадей; некоторым, которые по короткости туловища имели обыкновение засекаться подковами, надевали кожаные ногавки на бабки, другим забинтовывали ноги полотняными поясами от путового сустава до колена или подвязывали под грудь за передними ногами широкие подмышники, отороченные мехом. Из сарая выкатывали легкие двухколесные с высокими сиденьями американки; их металлические спицы весело сверкали на ходу, а красные ободья и красные широкие выгнутые оглобли блестели новым лаком.

Изумруд был уже окончательно высушен, вычищен щетками и вытерт шерстяной рукавицей, когда пришел главный наездник конюшни, англичанин. Этого высокого, худого, немного сутуловатого, длиннорукого человека одинаково уважали и боялись и лошади и люди. У него было бритое загорелое лицо и твердые, тонкие, изогнутые губы насмешливого рисунка. Он носил золотые очки; сквозь них его голубые, светлые глаза глядели твердо и упорно-спокойно. Он следил за уборкой, расставив длинные ноги в высоких сапогах, заложив руки глубоко в карманы панталон и пожевывая сигару то одним, то другим углом рта. На нем была серая куртка с меховым воротником, черный картуз с узкими полями и прямым длинным четырехугольным козырьком. Иногда он делал короткие замечания отрывистым, небрежным тоном, и тотчас же все конюхи и рабочие поворачивали к нему головы и лошади настораживали уши в его сторону.

Он особенно следил за запряжкой Изумруда, оглядывая все тело лошади от челки до копыт, и Изумруд, чувствуя на себе этот точный, внимательный взгляд, гор-

до подымал голову, слегка полуоборачивал гибкую шею и ставил торчком тонкие, просвечивающие уши. Наездник сам испытал крепость подпруги, просовывая палец между ней и животом. Затем на лошадей надели серые полотняные попоны с красными каймами, красными кругами около глаз и красными вензелями внизу у задних ног. Два конюха, Назар и кривоглазый, взяли Изумруда с обеих сторон под уздцы и повели на ипподром по хорошо знакомой мостовой, между двумя рядами редких больших каменных зданий. До бегового круга не было и четверти версты.

Во дворе ипподрома было уже много лошадей, их проваживали по кругу, всех в одном направлении — в том же, в котором они ходят по беговому кругу, то есть обратном движению часовой стрелки. Внутри двора водили поддужных лошадей, небольших, крепконогих, с подстриженными короткими хвостами. Изумруд тотчас же узнал белого жеребчика, всегда скакавшего с ним рядом, и обе лошади тихо и ласково поржали в знак приветствия.

IV

На ипподроме зазвонили. Конюхи сняли с Изумруда попону. Англичанин, щуря под очками глаза от солнца и оскаливая длинные желтые лошадиные зубы, подошел, застегивая на ходу перчатки, с хлыстом под мышкой. Один из конюхов подобрал Изумруду пышный, до самых бабок хвост и бережно уложил его на сиденье американки, так что его светлый конец свесился назад. Гибкие оглобли упруго качнулись от тяжести тела. Изумруд покосился назад и увидел наездника, сидящего почти вплотную за его крупом, с ногами, вытянутыми вперед и растопыренными по оглоблям. Наездник не торопясь взял вожжи, односложно крикнул конюхам, и они разом отняли руки. Радуясь предстоящему бегу, Изумруд рванулся было вперед, но, сдержанный сильными руками, поднялся лишь немного на задних ногах, встряхнул шеей и широкой, редкой рысью выбежал из ворот на ипподром.

Вдоль деревянного забора, образуя верстовой эллипс, шла широкая беговая дорожка из желтого песка, который был немного влажен и плотен и потому приятно пружинился под ногами, возвращая им их давление. Острые

следы копыт и ровные, прямые полосы, оставляемые гуттаперчей шин, бороздили ленточку.

Мимо протянулась трибуна, высокое деревянное здание в двести лошадиных корпусов длиною, где горой от земли до самой крыши, поддержанной тонкими столбами, двигалась и гудела черная человеческая толпа. По легкому, чуть слышному шевелению вожжей Изумруд понял, что ему можно прибавить ходу, и благодарно фыркнул.

Он шел ровной машистой рысью, почти не колеблясь спиной, с вытянутой вперед и слегка привороченной к левой оглобле шеей, с прямо поднятой мордой. Благодаря редкому, хотя необыкновенно длинному шагу его бег издали не производил впечатления быстроты; казалось, что рысак меряет не торопясь дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притрогиваясь концами копыт к земле. Это была настоящая американская выездка, в которой все сводится к тому, чтобы облегчить лошади дыхание и уменьшить сопротивление воздуха до последней степени, где устранены все ненужные для бега движения, непроизводительно расходующие силу, и где внешняя красота форм приносится в жертву легкости, сухости, долгому дыханию и энергии бега, превращая лошадь в живую безукоризненную машину.

Теперь, в антракте между двумя бегами, шла проминка лошадей, которая всегда делается для того, чтобы открыть рысакам дыхание. Их много бежало во внешнем кругу по одному направлению с Изумрудом, а во внутреннем — навстречу. Серый, в темных яблоках, рослый беломордый рысак, чистой орловской породы, с крутой собранной шеей и с хвостом трубой, похожий на ярмарочного коня, перегнал Изумруда. Он трясся на ходу жирной, широкой, уже потемневшей от пота грудью и сырыми пахами, откидывал передние ноги от колен вбок, и при каждом шаге у него звучно ёкала селезенка.

Потом подошла сзади стройная, длиннотелая гнедая кобыла-метиска с жидкой темной гривой. Она была прекрасно выработана по той же американской системе, как и Изумруд. Короткая холеная шерсть так и блестела на ней, переливаясь от движения мускулов под кожей. Пока наездники о чем-то говорили, обе лошади шли некоторое время рядом. Изумруд обнюхал кобылу и хотел было

заиграть на ходу, но англичанин не позволил, и он подчинился.

Навстречу им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец, весь обмотанный бинтами, наколенниками и подмышниками. Левая оглобля выступала у него прямо вперед на пол-аршина длиннее правой, а через кольцо, укрепленное над головой, проходил ремень стального обер-чека, жестоко охватившего сверху и с обеих сторон нервный храп лошади. Изумруд и кобыла одновременно поглядели на него, и оба мгновенно оценили в нем рысака необыкновенной силы, быстроты и выносливости, но страшно упрямого, злого, самолюбивого и обидчивого. Следом за вороным пробежал до смешного маленький, светло-серый нарядный жеребчик. Со стороны можно было подумать, что он мчится с невероятной скоростью: так часто топотал он ногами, так высоко вскидывал их в коленях, и такое усердное, деловитое выражение было в его подобранной шее с красивой маленькой головой. Изумруд только презрительно скосил на него свой глаз и повел одним ухом в его сторону.

Другой наездник окончил разговор, громко и коротко засмеялся, точно проржал, и пустил кобылу свободной рысью. Она без всякого усилия, спокойно, точно быстрота ее бега совсем от нее не зависела, отделилась от Изумруда и побежала вперед, плавно неся ровную, блестящую спину с едва заметным темным ремешком вдоль хребта.

Но тотчас же и Изумруда и ее обогнал и быстро кинул назад несшийся галопом огненно-рыжий рысак с большим белым пятном на храпе. Он скакал частыми длинными прыжками, то растягиваясь и пригибаясь к земле, то почти соединяя на воздухе передние ноги с задними. Его наездник, откинувшись назад всем телом, не сидел, а лежал на сиденье, повиснув на натянутых вожжах. Изумруд заволновался и горячо метнулся в сторону, но англичанин незаметно сдержал вожжи, и его руки, такие гибкие и чуткие к каждому движению лошади, вдруг стали точно железными. Около трибуны рыжий жеребец, успевший проскакать еще один круг, опять обогнал Изумруда. Он до сих пор скакал, но теперь уже был в пене, с кровавыми глазами и дышал хрипло. Наездник, перегнувшись вперед, стегал его изо всех сил хлыстом вдоль спины На-

конец конюхам удалось близ ворот пересечь ему дорогу и схватить за вожжи и за узду у морды. Его свели с ипподрома мокрого, задыхающегося, дрожащего, похудевшего в одну минуту.

Изумруд сделал еще полкруга полной рысью, потом свернул на дорожку, пересекавшую поперек беговой плац, и через ворота въехал во двор.

V

На ипподроме несколько раз звонили. Мимо отворенных ворот изредка проносились молнией бегущие рысаки, люди на трибунах вдруг принимались кричать и хлопать в ладоши. Изумруд в линии других рысаков часто шагал рядом с Назаром, мотая опущенною головой и пошевеливая ушами в полотняных футлярах. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось все глубже и свободнее, по мере того как отдыхало и охлаждалось его тело,— во всех мускулах чувствовалось нетерпеливое желание бежать еще.

Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие Изумруду привязанность и страх.

Англичанин неторопливо выехал на ипподром, откуда одна за другой съезжали во двор лошади, окончившие проминку. На кругу остались только Изумруд и тот огромный вороной жеребец, который повстречался с ним на проездке. Трибуны сплошь от низу до верху чернели густой человеческой толпой, и в этой черной массе бесчисленно, весело и беспорядочно светлели лица и руки, пестрели зонтики и шляпки и воздушно колебались белые листики программ. Постепенно увеличивая ход и пробегая вдоль трибуны, Изумруд чувствовал, как тысяча глаз неотступно провожала его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного напряжения сил, могучего биения сердца,— и это понимание сообщало его мускулам счастливую легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, скакал укороченным галопом рядом, справа.

Ровной, размеренной рысью, чуть-чуть наклоняясь телом влево, Изумруд описал крутой заворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Англичанин едва заметно поправился на сиденье, и руки его вдруг окрепли. «Теперь иди, но береги силы. Еще рано»,— понял Изумруд и в знак того, что понял, обернул на секунду назад и опять поставил прямо свои тонкие, чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. Изумруд слышал у себя около холки его свежее равномерное дыхание.

Красный столб остался позади, еще один крутой поворот, дорожка выпрямляется, вторая трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым шагом. «Еще! — позволяет наездник,— еще, еще!» Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. «Можно ли?» — думает он. «Нет, еще рано, не волнуйся,— отвечают, успокаивая, волшебные руки.— Потом».

Оба жеребца проходят призовые столбы секунда в секунду, но с противоположных сторон диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый разрыв ее на мгновение заставляют Изумруда запрясть ушами, но он тотчас же забывает об этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного! Не горячиться! Идти ровно!» — приказывает наездник. Черная колеблющаяся трибуна проплывает мимо. Еще несколько десятков сажен, и все четверо — Изумруд, белый жеребчик, англичанин и мальчик-поддужный, припавший, стоя на коротких стременах к лошадиной гриве,— счастливо слаживаются в одно плотное, быстро несущееся тело, одухотворенное одной волей, одной красотой мощных движений, одним ритмом, звучащим, как музыка. Та-та-та-та! — ровно и мерно выбивает ногами Изумруд. Тра-та, тра-та! — коротко и резко двоит поддужный. Еще один поворот, и бежит навстречу вторая трибуна. «Я прибавлю?» — спрашивает Изумруд. «Да,— отвечают руки,— но спокойно».

Вторая трибуна проносится назад мимо глаз. Люди кричат что-то. Это развлекает Изумруда, он горячится, теряет ощущение вожжей и, на секунду выбившись из общего, наладившегося такта, делает четыре капризных скачка с правой ноги. Но вожжи тотчас же становятся

жесткими и, раздирая ему рот, скручивают шею вниз и ворочают голову направо. Теперь уже неловко скакать с правой ноги. Изумруд сердится и не хочет переменить ногу, но наездник, поймав этот момент, повелительно и спокойно ставит лошадь на рысь. Трибуна осталась далеко позади, Изумруд опять входит в такт, и руки снова делаются дружественно-мягкими. Изумруд чувствует свою вину и хочет усилить вдвое рысь. «Нет, нет, еще рано,— добродушно замечает наездник.— Мы успеем это поправить. Ничего».

Так они проходят в отличном согласии без сбоев еще круг и половину. Но и вороной сегодня в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел бросить его на шесть длин лошадиного тела, но теперь Изумруд набирает потерянное и у предпоследнего столба оказывается на три с четвертью секунды впереди. «Теперь можно. Иди!»—приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит острым, решительным, прицеливающимся выражением, бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно! — приказывают вожжи в высоко поднятых руках.— Еще, еще!» И англичанин вдруг кричит громким вибрирующим голосом, повышающимся, как звук сирены:

— О-э-э-э-эй!

— Вот, вот, вот, вот!..— пронзительно и звонко в такт бегу кричит мальчишка-поддужный.

Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовом порваться. Та-та-та-та! — ровно отпечатывают по земле ноги Изумруда. Трра-трра-трра! — слышится впереди галоп белого жеребца, увлекающего за собой Изумруда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу подымается и опускается на седле мальчик, почти лежащий на шее у лошади.

Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу летит тысячеголосый рев, который

пугает, волнует и радует Изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают: «Милый, не скачи!.. Только не скачи!.. Вот так, вот так, вот так». И Изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый!» — говорит Изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне, семью секундами позже.

Англичанин, с трудом подымая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину Изумруда попоной и уводят на двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов.

Через несколько минут Изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого Изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахару. Англичанин стоит тут же, в толпе, и улыбается, морщась и скаля длинные зубы. С Изумруда снимают попону и устанавливают его перед ящиком на трех ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и что-то там делает господин в сером.

Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они тесно обступают лошадь со всех сторон, и кричат, и машут руками, наклоняя близко друг к другу красные, разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока Изумруду, взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом. «Поддельная лошадь, фальшивый рысак, обман, мошенничество, деньги назад!» — слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами.

«О чем они? — думает он с удивлением.— Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон.

VI

Изумруда отвели домой, через три часа дали ему овса, а вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас.

А потом пошли скучные дни.

Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно приходили незнакомые люди, много людей, и для них выводили Изумруда на двор, где они рассматривали и ощупывали его на все лады, лазили ему в рот, скребли его шерсть пемзой и всё кричали друг на друга.

Потом он помнил, как его однажды поздним вечером вывели из конюшни и долго вели по длинным, каменным, пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции его выгрузили из вагона и долго вели незнакомой дорогой, среди просторных, голых осенних полей, мимо деревень, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали от других лошадей.

Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое, прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от бездействия. То и дело подъезжали новые, незнакомые люди и снова толклись вокруг Изумруда, щупали и теребили его и сердито бранились между собою.

Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле,

и тогда он кричал им, негодуя и жалуясь. Но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время.

Главным в этой конюшне был большеголовый, заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас.

И вот однажды, ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно,— подумал Изумруд,— я никогда не пробовал такого овса».

И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась и опять пришла сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами, от внезапной слабости все его тело стало мокрым и дряблым, ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился набок. Гудящий вихрь закружился у него в голове; проплыл англичанин, скаля по-лошадиному длинные зубы, Онегин пробежал мимо, выпятя свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла Изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться.

Судороги вдруг свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной.

Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло — навсегда.

МЕЛЮЗГА

I

В полутораста верстах от ближней железнодорожной станции, в стороне от всяких шоссейных и почтовых дорог, окруженная старинным сосновым Касимовским бором, затерялась деревня Большая Курша. Обитателей ее зовут в окрестностях Куршей-головастой и Литвой-некрещеной. Смысл последнего прозвища затерялся в веках, но остался его живой памятник в виде стоящей в центре деревни дряхлой католической часовенки, внутри которой за стеклами виднеется страшная раскрашенная деревянная статуя, изображающая Христа со связанными руками, с терновым венцом на голове и с окровавленным лицом. Жители Курши — коренные великороссы, крупного сложения, белокурые и лохматые. Говорят по-русски чисто, хотя нередко мешают ч и ц: вместо винцо — произносят винчо, вместо человек — целовек.

При въезде в деревню стоит земская школа; при выезде, у оврага, на дне которого течет речонка Пра, находится фельдшерский пункт. Фельдшер и учитель — единственные люди нездешнего происхождения. Обоих судьба порядочно помыкала по белу свету, прежде чем свела их в этом углу, забытом богом и начальством и отдаленном от остального мира: летом — непроходимыми болотами, зимою — непролазными снегами. Суровая жизнь по-разному отразилась на них. Учитель мягок, незлобив, наивен и доверчив, и все это с оттенком покорной,

тихой печали. Фельдшер — циник и сквернослов. Он ни во что на свете не верит и всех людей считает большими подлецами. Он угрюм, груб, у него лающий голос.

Оба они из духовного звания, неудавшиеся попы. Фамилия учителя — Астреин, а фельдшера — Смирнов. Оба холостые. Учитель служит в Курше с осени; фельдшер же — второй год.

II

Установилась долгая, снежная зима. Давно уже нет проезда по деревенской улице. Намело сугробы выше окон, и даже через дорогу приходится иногда переходить на лыжах, а снег все идет и идет не переставая. Курша до весны похоронена в снегу. Никто в нее не заглянет до тех пор, пока после весенней распутицы не обсохнут дороги. По ночам в деревню заходят волки и таскают собак.

Днем учитель и фельдшер занимаются каждый своим делом. Фельдшер принимает приходящих больных из Курши и из трех соседних деревень. Зимою мужик любит лечиться. С раннего утра, еще затемно, в сенях фельдшерского дома и на крыльце толпится народ. Болезни все больше старые, неизлечимые, запущенные, на которые летом во время горячей работы никто не обращает внимания: катары, гнойники, трахома, воспаление ушей и глаз, кариоз зубной полости, привычные вывихи. Многие считают себя больными только от мнительности, от долгой зимней скуки, женщины — от истеричности, свойственной всем крестьянским бабам.

Смирнов знает в медицине решительно все и по всем отраслям. По крайней мере сам он в этом так глубоко убежден, что к ученым врачам и к медицинским авторитетам относится даже не с презрением, а со снисходительной жалостью. Лечит он без колебаний и без угрызений совести, ставит диагноз мгновенно. Ему достаточно только, нахмуря брови, поглядеть на больного сверх своих синих очков, и он уже видит насквозь натуру его болезни. «По утрам блюешь? На соленое позывает? Как ходишь до ветру? Дай руку... раз, два, три, четыре, пять, шесть... Ладно. Раздевайся... Дыши... Сильней. Здесь

больно, когда нажимаю? Здесь? Здесь? Одевайся. Вот тебе порошки. Примешь один сейчас, другой перед обедом, третий через час после обеда, четвертый перед ужином. Пятый на ночь. Так же и завтра. Понял? Ступай». И все это занимает ровно три минуты.

Он с невероятной храбростью и быстротой рвет зубы, прижигает ляписом язвы, вскрывает тупым ланцетом ужасные крестьянские чирьи и нарывы, прививает оспу и прокалывает девчонкам ушные мочки для сережек. Он от всей души жалеет, что медицинское начальство не разрешает фельдшерам производить, например, трепанацию черепа, вскрытие брюшной полости или ампутацию ног. Уж наверно он сделал бы такую операцию почище любого петербургского или московского профессора! Асептику и антисептику он называет чушью и хреновиной. По его мнению, бактерии даже боятся грязи. Главное дело в верности глаза и в ловкости рук. Крестьяне ему верят и только лишь в самых тяжких случаях, когда фельдшер велит везти недужного в больницу, обращаются к местным знахаркам.

В это время учитель занимается в тесной и темной школе. Он сидит в пальто, а ребятишки в тулупах, и у всех изо рта вылетают клубы пара. Оконные стекла изнутри сплошь покрыты толстым белым бархатным слоем снега. Снег бахромой висит на потолочных брусьях и блестит нежным инеем на округлости стенных бревен.

— «Мартышка в старости слаба глазами стала...» Ванюшечкин, что такое мартышка? Кто знает? Ты? Расказывай. А вы, маленькие, списывайте вот это: «Хороша соха у Михея, хороша и у Сысоя».

Ноги даже в калошах зябнут и застывают. Крестьяне решительно отказались топить школу. Они и детей-то посылают учиться только для того, чтобы даром не пропадал гривенник, который земство взимает на нужды народного образования. Приходится топить остатками забора и брать взаймы охапки у фельдшера. Тому — житье. Однажды мужики попробовали было и его оставить без дров, а он взял и прогнал наутро всех больных, пришедших на пункт. И дрова в тот же день явились сами собой.

III

В три часа Астреин на лыжах идет к фельдшеру обедать. Они столуются вместе, а водку покупают поочередно. Иногда для запаха и цвета фельдшер впускает в бутылку с водкой рюмку ландышного экстракта, и от этого у обоих после обеда долго колотятся и трепыхаются сердца. За обедом присутствует собака фельдшера Друг, большой, гладкий, рыжий, белогрудый пес дворовой породы. Он кладет голову то одному, то другому на колени, вздыхает, моргает глупыми голубыми глазами и стучит по ножкам табуреток своим прямым, крепким, как палка, хвостом. Прислуживает им старуха бобылка.

После обеда спят около часу, фельдшер на кровати, Астреин на печке. Просыпаются, когда уже стало темно и когда старуха приносит самовар. За чаем Астреин просматривает ученические тетрадки, а Смирнов приготовляет лекарства. Он делает их оптом, в запас, пакетов по пятидесяти каждого средства, преимущественно хины, салицилового натра, соды, висмута и доверова порошка. Он близорук и низко нагибается над столом при свете лампы. Его прямые, плоские волосы свисают со лба по обеим щекам, точно бабий платок. С этими волосами, в синих очках и с редкой, беспорядочной бороденкой, он похож на нигилиста старых времен.

Учитель встает и ходит вкось избы из угла в угол. Он высок, тонок и голову на длинной шее держит наклоненной набок. У него маленькое, съеженное лицо с старообразным малиновым румянцем, косматые брови и голубые глаза, волосы над низким лбом торчат стоймя, рот западает внутрь под усами и короткой, выступающей вперед, густой бородой. Лет ему под тридцать.

Вот он останавливается посреди комнаты и говорит мечтательно:

— Как это дико, Сергей Фирсыч, что мы с вами уже три месяца не читаем газет. Бог знает, что произошло за это время в России? Подумайте только: вдруг случилась революция, или объявлена война, или кто-нибудь сделал замечательное открытие, а мы ровно ничего не знаем? Понимаете, такое открытие, которое вдруг перевернет всю жизнь... например, летающий корабль, или

вот... например... читать в мыслях у другого, или взрывчатое вещество такой удивительной силы...

— Ха! Фантазии! — говорит Смирнов презрительно.

Астреин подходит к столу и длинными, нервными, всегда дрожащими пальцами перебирает разновески.

— Ну что ж, что фантазии, Сергей Фирсыч? Что тут плохого? Я, знаете, иногда сижу в школе или у вас вечером, и вдруг мне кажется, что вот-вот произойдет что-то совершенно необыкновенное. Вдруг бубенцы под окнами. Собака лает. Кто-то входит в сени, отворяет дверь. Лица не видать, потому что воротник у шубы поднят и занесло снегом.

— Жандарм? — насмешливо говорит Смирнов, пригибая лицо еще ниже к столу.

— Нет, погодите, Сергей Фирсыч. Он входит и спрашивает: «Не вы ли местный учитель Клавдий Иваныч Астреин?» Я говорю: «Это я-с». И вот он мне объявляет какую-то счастливую, неожиданную весть, которая меня всего потрясает. Я не могу себе даже вообразить, что он именно скажет, но что-то глубоко приятное и радостное для меня.

— Что вы выиграли двести тысяч на билет от конки? Или что вас назначили китайским богдыханом?..

— Ах, в том-то и дело, что я всегда стараюсь себе представить и не могу. Это не деньги, не должность — ничего подобного. Это будет какое-то чудо, после которого начнется совсем новая, прекрасная жизнь... начнется и для вас, и для меня, и для всех... Понимаете, Сергей Фирсыч, я жду чуда! Неужели этого с вами никогда не бывает?

— За кого вы меня считаете? Конечно — никогда.

— А я жду! И мне кажется, вы неправду говорите. Вы тоже ждете. Это ожидание чуда — точно в крови у всего русского народа. Мы родились с ним на свет божий. Иначе невозможно жить, Сергей Фирсыч, страшно жить! Поглядите вы на мужиков. Их может разбудить, расшевелить и увлечь только чудо. Подите вы к мужику с математикой, с машиной, с политической экономией, с медициной... Вы думаете, он не поймет вас? Он поймет, потому что он все способен понять, что выражено логично, просто и без иностранных слов. Но он не поверит от вас ничему, что просто и понятно. Он

убивал докторов в оспенные и холерные эпидемии, устраивал картофельные бунты, бил кольями землемеров. Изобретите завтра самое верное, ясное, как палец, но только не чудесное средство для поднятия его благосостояния — и он сожжет вас послезавтра. Но шепните ему, только шепните на ухо одно словечко: «золотая грамота!», или: «антихрист!», или: «объявился!» — все равно, кто объявился, лишь бы это было нелепо и таинственно,— и он тотчас же выдергивает стяг из прясел и готов идти на самую верную смерть. Вы его увлечете в любую, самую глупую, самую смешную, самую отвратительную и кровавую секту, и он пойдет за вами. Это чудо! Пусть нынче его же сосед Иван Евграфов вдруг откашляется и начнет говорить нараспев и в нос, зажмуря глаза: «И было мне, братие, сонное видение, что воплотися во мне древний змий Илья Пророк»,— и мужик сегодня же поклонится Ивану Евграфову, как святителю или как обуянному демоном. Он восторженно поверит любому самозванцу, юродивому, предсказателю, лишь бы слова их были вдохновенны, туманны и чудесны. Вспомните русских самозванцев, ревизоров, явленные иконы, ереси, бунты — вы везде увидите в основе чудо. Стремление к чуду, жажда чуда — проходит через всю русскую историю!.. Мужик верит глупому чуду не потому, что он темен и неразвит, а потому, что это дух его истории, непреложный исторический закон...

Смирнов вдруг теряет терпение и начинает кричать грубо:

— Черт бы побрал ваши исторические законы. Вы просто ерунду порете, милый мой, а никакая не история. У русского народа нет истории.

— То есть как это нет?

— А вот так и нет! История есть у царей, патриархов, у дворян... даже у мещан, если хотите знать. История что подразумевает? Постоянное развитие или падение, смену явлений. А наш народ, каким был во время Владимира Красного Солнышка, таким и остался по сие время. Та же вера, тот же язык, та же утварь, одежда, сбруя, телега, те же знания и культура. Какая тут к черту история!

— Позвольте, Сергей Фирсыч,— мягко возражает учитель,— вы не о том...

— О том о самом, батенька. Да если хотите знать, и никакого русского народа нет. И России никакой нет!.. Есть только несколько миллионов квадратных верст пространства и несколько сотен совершенно разных национальностей,— есть несколько тысяч языков и множество религий. И ничего общего, если хотите знать. Вот я сейчас закрываю глаза и говорю себе: Рос-си-я. И мне, если хотите знать, представляется все это ужасное, необозримое пространство, все сплошь заваленное снегом, молчаливое, а из снега лишь кое-где торчат соломенные крыши. И кругом ни огня, ни звука, ни признака жизни! И вдруг, ни с того ни с сего, неизвестно почему — город. Каменные дома, электричество, телефоны, театры, и там какие-то господа во фраках — какие-то прыщи! — говорят: «Позвольте-с, мы чудесно знаем историю русского народа и лучше всех понимаем, что этому народу надобно. Вот мы ему сейчас пропишем рецепт, и он у нас сейчас...» Народ живет в грязи и невежестве, надо ему, значит, выписать персидского порошку, и каждому чтобы на руки азбуку-копейку. О-о! Кто только не знает этот добрый, старый, верный, русский народ. Урядник всыпал мужику туда, откуда ноги растут, выпил рюмку водки, крякнул и хвастается: «Я свой народишко знаю во как!» Становой говорит гордо: «Мой народ меня знает, но и я знаю мой народ!» Губернатор говорит и трясет головой: «Я и народ — мы понимаем друг друга». А тут же рядом торчит этакий интеллигент стрюцкий, вроде вас, Клавдий Иванович, и тоже чирикает: «Кто? Народ? Это мы сейчас, моментально... Вот тут книжка, и в книжке все это объяснено: и всякие исторические законы, и душа великого русского народа, и все такое прочее». И никто ничего не понимает: ни вы, ни я, ни поп, ни дьякон, ни помещик, ни урядник, ни черт, ни дьявол, ни сам мужик. Душа народа! Душа этого народа так же темна для нас, как душа коровы, если вы хотите знать!

— Виноват, Сергей Фирсыч, позвольте...

— Нет, уж вы мне позвольте. Будем говорить поочередно: сначала я, а потом вы, или, наоборот, сначала вы, а потом я. Вместе говорить неудобно. Я только хотел сказать...

— Нет, я хочу только...

И вот между ними закипает тяжелый, бесконечный, оскорбительный, скучный русский спор. Какой-нибудь отросток мысли, придирка к слову, к сравнению, случайно и вздорно увлекают их внимание в сторону, и, дойдя до тупика, они уже не помнят, как вошли в него. Промежуточные этапы исчезли бесследно; надо схватиться поскорее за первую мысль противника, какая отыщется в памяти, чтобы продлить спор и оставить за собою последнее слово.

Фельдшер уже начинает говорить грубости. У него вырываются слова вроде: ерунда, глупость, чушь, чепуха. В разговоре он откидывает назад голову, отчего волосы разлетаются в стороны, и то и дело тычет резко и прямо перед собою вытянутой рукой. Учитель же говорит жалобно, дрожащим обиженным голоском, и ребром ладони, робко выставленной из-под мышки, точно рубит воздух на одном месте.

— Ну да, ладно! — говорит, наконец, с неудовольствием Смирнов.— Начнешь с вами, так и сам не рад. Давай-ка лучше в козла... Угощайте: кому сдавать? Вам.

Они играют с полчаса в карты, оба серьезны. Изредка произносят вполголоса: «крали, бордадым, мирю да под тебя, замирил, фоска, захаживай, крести, вини, буби...» Разбухшие темные карты падают на стол, как блины.

Потом они расходятся. Иногда фельдшер немного провожает Астреина, который побаивается волков. На крыльце им кидается под ноги Друг. Он изгибается, тычет холодным носом в руки и повизгивает. Деревня тиха и темна, как мертвая. Из снежной пелены едва выглядывают, чернея, треугольники чердаков. Крыши слабо и зловеще белеют на мутном небе.

У крыльца, вдоль стены, лежит кверху дном лодка, занесенная снегом. И почти каждый вечер перед прощанием фельдшер говорит:

— Подождите, Клавдий Иваныч, вот придет весна, дождемся половодья — тогда мы с вами спустим лодочку в запруде. У мельницы, батенька, вот какие щуки попадаются!

Иногда же он предлагает, дразнясь:

— А хотите, я подвою?

Он уже делает ладони рупором вокруг рта и наби-

рает воздух, чтобы завыть по-волчьи, и знающий эту штуку Друг уже начинает наперед нервно скулить, но Астреин торопливо хватает Смирнова за руки.

— Ну зачем это, Сергей Фирсыч? Зачем? Что вам за удовольствие доставляет пугать меня? Я не виноват, что у меня нервы.

— А вы не спорьте! — говорит фельдшер смеясь.

IV

Так проходят три месяца, и ничто не изменяется в их жизни. Они живут вдвоем, точно на необитаемом острове, затерявшемся среди снежного океана. Иногда учителю начинает казаться, что он, с тех пор как помнит себя, никуда не выезжал из Курши, что зима никогда не прекращалась и никогда не прекратится и что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, тепло, свет, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки. И тогда лицо фельдшера представляется ему таким донельзя знакомым и неприятным, точно оно перестает быть чужим человеческим лицом, а становится чем-то вроде привычного пятна на обоях, примелькавшейся фотографической карточки с выколотыми глазами или давнишней царапины на столе, по которым скользишь взором, уже не замечая их, но все-таки бессознательно раздражаясь.

К рождеству мужики проторили в сугробах узкие дорожки. Стало возможно ездить гусем. По давно заведенному обычаю, все окрестные священники и дьячки, вместе с попадьями, дьяконицами и дочерями, съезжались на встречу Нового года в село Шилово, к отцу Василию, который к тому же на другой день, 1 января, бывал именинником. Приезжали также местные учители, псаломщики и различные молодые люди духовного происхождения, ищущие невест.

Шилово находилось в двенадцати верстах от Курши. Фельдшер и учитель выехали засветло. Астреин ни разу еще не бывал у отца Василия и немного колебался, ехать ему или не ехать, но фельдшер успокоил его:

— Да уж я вам говорю, будьте покойны. Раз вы приедете со мной — увидите, как вам будут все рады.

Там всем рады. Попадья гостеприимная. Такая будет встреча!

С мороза, с одеревеневшими губами и распухшими пальцами, вошли они из сеней в маленькую гостиную. Было светло и жарко. Вдоль стен сидели девицы в разноцветных платьях, вертя в руках носовые платки. Молодые люди с папиросками ходили тут же взад и вперед, не обращая никакого внимания на барышень, и казались погруженными в размышления. Все они, как на подбор, были долговязы, белобрысы и острижены ежиком, все в длинных черных сюртуках, пахнувших нафталином и одеколоном «Гелиотроп», почти все носили дымчатые пенсне на безусых лицах, но так как глядеть сквозь стекла им все-таки было затруднительно, то они держали головы откинутыми назад с надменным, сухим и строгим видом. У каждого левая рука была заложена за спину, а правая с растопыренными пальцами засунута за борт сюртука.

Фельдшер двинулся первым, а учитель шел следом за ним, вдоль ряда сидевших барышень; фельдшер кланялся, шаркал ногой, стукал каблуком о каблук, встряхивал волосами и говорил, выворачивая левую ладонь по направлению учителя:

— Позвольте вам рекомендовать...

А учитель произносил:

— Учитель Куршинской земской школы Астреин.

Если же встречалось новое, незнакомое лицо, фельдшер и сам представлялся.

— Местный фельдшер Смирнов. Сын священника. А вот позвольте вам рекомендовать...

Покончив с барышнями, они представлялись таким же порядком молодым людям в сюртуках. Молодые люди, знакомясь, называли себя сдержанно и веско:

— Преображенский. Окончивший.

— Фолиантов. Окончивший.

— Меморский. Окончивший.

— Попов. Окончивший.

И тотчас же отходили в сторону, чтобы продолжать свою глубокомысленную прогулку.

Звание же «окончивший» было в некотором смысле ученой степенью и означало то, что молодой человек кончил в этом году курс семинарии, а теперь подыски-

вает себе невесту и священнослужительскую вакансию.

В другой комнате попы играли на трех столах в преферанс и на одном в стуколку. Придерживая одной рукой рукав рясы, они тянулись волосатыми руками за прикупкой, а карты свои рассматривали под столом, закрывая их сбоку полой рясы.

Время от времени раздавались солидные возгласы:

— Стучу.

— Четвертая.

— Моя.

— Семь первых.

— Моя.

— Кушайте на здоровье. Пасс.

— Позвольте.

— Вот так купил отец Афанасий. Вот купи-ил.

— Говорят, вы водку пили, отец Афанасий?

— Отец Евлампий, вы уже того... вы у меня в картах не ночуйте, пожалуйста.

— Хе-хе-хе! Меня еще дедушка учил. Свои карты всегда успеешь поглядеть — ты погляди у соседа.

— Своя. Что светит?

— Пики. Пикендрясы.

— Мне, пожалуйста, три.

— Куплю.

— Темная!

— Откройтесь!

За спинами у некоторых из игроков сидели их пожилые матушки. Они волновались, учили, советовали, упрекали, шипели на мужей и, заглядывая в карты налево и направо, выдавали с милой игривостью чужие тайны. Ссоры еще не было.

В третьей комнате чинно беседовали, поглаживая бороды, два почтенных священника, а сама шиловская попадья, старая, высокая, полная, еще красивая женщина, с властным большим лицом и черными круглыми бровями—настоящая король-баба!—хлопотала около стола, приготовляя закуски.

— Здравствуйте, молодые люди,— приветствовала она вошедших.— С холоду? Да, да, послал бог нынче морозы. Не хотите ли настойки, согреться? Вас-то я знаю, господин фершал, а вот молодого человека, кажется, в первый раз вижу.

— Позвольте вам рекомендовать...— вывернул ладонь Смирнов.

— Учитель Куршинской земской школы Астреин.

Потом начались в гостиной танцы под гармонию, на которой прекрасно играл шиловский псаломщик. Окончившие танцевали с полным пренебрежением к своим дамам, глядя им поверх головы или даже совсем не глядя в их сторону, точно они были сами по себе, а дамы сами по себе, и сохраняя на своих лицах и в осанке выражение суровой озабоченности и холодного достоинства. Может быть, это просто была известная светская манера, которую какой-нибудь сын соборного протопопа занес к ним в семинарию, и она стала общей благодаря подражательности? Дамы же старались изображать полнейшую безучастность к тому, что с ними делали кавалеры, и танцевали — некоторые, впрочем, с легким оттенком обиженности — как деревянные.

Зато невысокий плотный фельдшер летал по гостиной самым победоносным и развязным образом, и его длинные волосы тряслись и прыгали вместе с его движениями. Он более всего увивался за дочерью отца Василия, хорошенькой вдовой-попадьей, Александрой Васильевной. Надо было видеть, как он лихо танцевал с ней модные танцы, па-д'эспань, па-де-патинер, краковяк и лезгинку, как, оставив свою даму на одном конце комнаты, он ловко скакал вокруг самого себя, держа руку над головой и живописно изогнувшись, как уже на другом конце, отделенный от дамы другими парами, он выделывал, щелкая каблуками, соло, как потом он стремительно мчался, кружась и толкая других танцоров, к покинутой даме, как он встряхивал плечами и округленными локтями в такт музыке и как, геройски полуобернувшись направо к Александре Васильевне, он наступал на чужие каблуки и платья.

Он же дирижировал кадрилью на чистом французском языке: гра-ро, болянсе, кàвале, рон-да-дà, шерше во дам, агош налево, агош направо, шен-да-да! «Мерррси во даа-ам!» Он даже искренно рассмешил всех, когда вдруг, в середине шестой фигуры, скомандовал: «Альфонс Ралле, Луи Буис, Генрих Блок!» — и вдруг, точно спохватившись, весело воскликнул: «Пардон, это не из той оперы». Положительно, он был львом бала, и

Александра Васильевна отчаянно кокетничала с ним, то есть капризничала, надувала губки, хлопала его платком по руке, делала вид, что ей ужасно противно его ухаживание, и, вся розовая, звонко хохотала, откидываясь назад и блестя свежими темными глазками. Фельдшер ураганом носился по комнатам за водой для Александры Васильевны, со всех ног кидался подымать уроненный ею платок и выхватывал для нее стулья у других, более застенчивых кавалеров.

Астреин не умел ничего танцевать, кроме польки, да и ту танцевал, вытянувшись как можно прямее, на цыпочках, маленькими шажками, благообразно, плавно и равнодушно, сохраняя в полной неподвижности свою длинную, склоненную набок шею и покатые плечи; при этом он старался не выходить на середину и скромно вертелся в углу. Он облюбовал себе тихонькую даму, дочь козлинского дьякона, маленькую, толстенькую Олимпиаду Евгеньевну, и танцевал только с ней. Она была бедно одета в старенькое, даже короткое голубое шерстяное платье, выцветшее и обзеленевшее под мышками и вот-вот готовое лопнуть или расстегнуться спереди под напором ее крепких, круглых грудей. Но она была так свежа, что казалось, от нее пахнет арбузом или парным молоком. У нее было круглое лицо, голубые глаза и неровный мраморный румянец. Когда они кружились с Астреиным, ее толстая коса, с голубым бантиком на конце, иногда ударяла учителя по плечу. Она часто краснела и поминутно так наклонялась вперед и поворачивала голову, точно хотела убежать. Астреин все только откашливался. Он не слышал своего голоса из-за звуков гармонии и в десятый раз говорил девушке, что она, наверно, страшно скучает у себя в деревне.

В промежутках между танцами кавалеры выходили на улицу, на мороз, курили и охлаждались, обмахиваясь платками. Пар валил от них, как от почтовых лошадей.

После небольшого неизбежного карточного скандала, вследствие которого один из батюшек совсем было собрался уезжать, говоря, что нога его больше не будет под этой кровлей, и даже покушался отыскивать в сенях свою шубу и шапку, в чем, однако, ему помешали, шиловская попадья позвала ужинать. Мужчины сели на

одном конце стола, дамы — на другом. Фельдшер поместился рядом с Астреиным.

— Видел, брат, видел, — сказал Смирнов, покровительственно хлопая учителя по спине.— Видел, видел... Настоящий ухажер. Вполне можно дать браво.

— Тсс.. Бросьте... Сергей Фирсыч.

Ужин вышел шумный и веселый. Даже окончившие разошлись, говорили поздравительные речи с приведением текстов и, сняв свои дымчатые стекла, оказались теплыми ребятами с простоватыми, добродушными физиономиями и не дураками выпить. Новый год встречали по-старинному, с воззванием: «Благослови, господи, венец лета благости твоя на 19** год». Хотели гадать, но отец Василий воспрепятствовал этому.

Немножко пьяный и немножко влюбленный Астреин, по примеру фельдшера, скатал два шарика из хлеба, поймал глазами взгляд голубой девушки и, нагибаясь над столом, крикнул ей среди общего шума:

— Что вы желаете этим шарикам?

Она же, вся пунцовая, благодаря трем рюмкам наливки, перекинула назад движением головы свою толстую светлую косу и крикнула, прыская от смеха и тоже наклоняясь к столу:

— Мышь за пазуху!

В три часа учитель и фельдшер, выпившие на «ты», поцеловавшиеся и, по обычаю, обругавшие друг друга свиньей и скотиной, ехали домой. Фельдшер был совсем пьян. Он клялся Астреину в дружбе, целовал его, холодя его щеку обмерзлыми колючими усами, и все упрашивал его не губить Липочку и не срывать цветка невинности.

— Я т-тебя зна-аю. Ты специалист! — говорил он многозначительно.

Не доезжая Курши, он заснул и даже тогда не проснулся, когда собака Друг, вскочив в сани, облизала ему все лицо. Учителю пришлось вместе с мужиком и старухой бобылкою втаскивать его в комнату.

V

Этот вечер был, как мгновенный свет в темноте, после которого долго еще мреют в глазах яркие плыву-

щие круги. На целую половину января хватило у фельдшера и учителя вечерних разговоров о новогодье у отца Василия.

Своих шиловских дам они сначала называли заочно по именам-отчествам, потом—твоя Липочка, моя Сашенька и, наконец, просто твоя и моя. Было особенно щекотливо-приятно каждому из них, когда не он, а другой вспоминал за него разные мелочи — и те, которые были на самом деле, и созданные впоследствии воображением.

— Ей-богу, это все заметили,— уверял Астреин.— Когда ты танцевал с другой, она от тебя глаз не отводила.

— Ну вот! Брось... Глупости,— махал фельдшер рукой и не мог удержать на толстых губах самодовольной улыбки.

— Ей-богу! Даже отец Василий сказал: «Посмотрите, эскулап-то наш... каково? А?» Я, брат, даже удивился на тебя, так ты и сыплешь, так и сыплешь разговором. А она так и помирает со смеху. И потом я видел, брат, как ты ей шептал на ухо, когда вы шли от ужина. Я видел!

— Оставь, пожалуйста. Ничего подобного,— сладко скромничал фельдшер.— А ведь действительно шикарная женщина эта Сашенька, а?

— Красавица! Что и говорить. Царица бала!

— Н-да, но и твоя в своем роде... Ведь это, конечно, дело вкуса, не правда ли? Вкусов ведь нет одинаковых?.. Моя — она больше бросается в глаза, этакая светская, эффектная женщина, ну, а у твоей красота чисто русская... не кричащая, а, знаешь, тихая такая. И какие роскошные волосы! Коса в мою руку толщиной. В голубеньком платье... одна прелесть. Такой, понимаешь ли... в глуши расцветший василек. Как ты ей с шариком-то? Злодей Злодеич!..

— А она вдруг отвечает: мышь за пазуху!..

— Да. И вся вспыхнула. Ты думаешь, это так себе, на ветер сказано? Никогда. Я уж, брат, женщин знаю достоканально, ничего не скажут без цели. Липочка этим дала тебе намек, если ты хочешь знать.

Учитель блаженно улыбался.

— Перестань, Сергей Фирсыч... Какой там намек...

— Очень простой. Хочу быть у вашего сердца — вот какой намек. Честное слово, она премилая. Свежа, как роза. И какой цвет лица!

— Чудный, чудный... У твоей Сашеньки тоже ведь цвет лица...

Но прошли две недели, и как-то само собой сделалось, что эти пряные разговоры стали реже и короче, а там и совсем прекратились. Зима, подобно смерти, все сглаживает и уравнивает. К концу января оба — и фельдшер и учитель — испытывали чувство стыда и отвращения, если один из них случайно заговаривал о Шилове. Прежняя добродушная услужливость в воспоминаниях и маленькая невинная сладкая ложь теперь казались им издали невыносимо противными.

А бесконечная, упорная, неодолимая зима все длилась и длилась. Держались жестокие морозы, сверкали ледяные капли на голых деревьях, носились по полям крутящиеся снежные вьюны, по ночам громко ухали, оседая, сугробы, красные кровавые зори подолгу рдели на небе, и тогда дым из труб выходил кверху к зеленому небу прямыми страшными столбами; падал снег крупными, тихими, безнадежными хлопьями, падал целые дни и целые ночи, и ветви сосен гнулись от тяжести белых шапок.

Теперь даже и фельдшеру казалось временами, что зиме не будет и конца, и эта мысль оковывала ужасом его трезвый, чуждый всякой мечтательности, поповский ум. Он становился все раздражительнее и часто говорил грубости земскому доктору, когда тот наезжал на фельдшерский пункт.

— У меня не тысяча рук, а две,— бурчал он глухим басом, тряся волосами и выбрасывая вперед руку с растопыренными пальцами.— А если вам моя физиономия не нравится, так так и заявите в управе. Я не илот вам дался.

Часто, оставаясь один, он быстро ходил по комнате и воображал себе свою бешеную ссору с доктором. Иногда он давал ему пощечину, иногда стрелял в него. При этом он бледнел от волнения, и губы у него белели, сохли, холодели и дергались.

Перевалило за февраль. Дни стали длиннее, но зима держалась еще крепче.

Фельдшер и учитель тяготились друг другом. Все было изучено друг в друге, и все надоело до тошноты: жесты, тон голоса, привычные словечки. Маленькие стеснительные недостатки возбуждали дрожь ненависти, той острой, мелочной, безумной ненависти, которую люди чувствуют друг к другу во время продолжительного и невольного заключения вдвоем и которая так часто бывает в браке. Разговоры всегда оканчивались взаимной обидой.

По старой привычке, они иногда спорили,— спорили подолгу, стараясь оскорбить друг друга: фельдшер — грубостями, учитель — тонкими, смиренными, незаметными уколами самолюбию, и, сами сознавая противную сторону этих споров, они все-таки въедались в них и не могли их прекратить.

Волки, которые теперь от голода совсем обнаглели и забегали в деревню даже днем, вероятно, с любопытством и со злобой следили издали в длинные лютые вечера, как в освещенном окне на краю деревни рисовалась нагнувшаяся над столом человеческая фигура и как другая фигура, тонкая и длинная, быстро шныряла по комнате, то пропадая в темных углах, то показываясь в освещенном пространстве. И они, должно быть, слышали, как высокий, вздрагивающий голос учителя нервно частил: «ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды...», а фельдшер перебивал его глухим, недовольным тягучим басом: «бу-у, бу-у, бу-у...»

Однажды, перебирая одной рукой аптекарские разновески на столе, а другой, по обыкновению, разрезая воздух на мелкие кусочки, Астреин стоял возле фельдшера и говорил:

— Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою, хоть самую малюсенькую пользу. Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные — я радуюсь его славе, и я совсем не завидую ему. Но ведь незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю,

что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным...

— Оставьте! Читали! — крикнул сердито фельдшер и отмахнулся рукой.— Я не хочу варить щей, которых мне никогда не придется хлебать. К черту будущее человечество! Пусть оно подыхает от сифилиса и вырождения!

Астреин вдруг побледнел и сказал, заикаясь:

— Но ведь это ужасно, что ты говоришь, Сергей Фирсыч. Ведь жить больше нельзя, если так думать. Значит, что же?.. Значит, остается только идти и повеситься!..

— И вешайся! — закричал фельдшер, трясясь от злости.— Одним дураком на свете меньше будет!..

Астреин молча надел пальто, взял шапку и ушел. Он не появлялся к обеду два дня. Но они не могли уже обойтись друг без друга, не могли жить без этих привычных, мелочных взаимных оскорблений, без этой зудящей, длительной ненависти друг к другу. К концу второго дня фельдшер пришел в школу мириться, и все пошло по-старому.

Такие ссоры повторялись часто. Надевая дрожащими руками пальто, торопясь и не попадая в рукава, ища в то же время ногами калоши, а глазами — шапку, Астреин говорил плачущим голосом:

— Я уйду, Сергей Фирсыч, я уйду, бог с вами. Но клянусь вам, что это в последний раз. И прошу вас не приходить больше ко мне! Да, прошу об этом вас покорнейше.

— И черт с вами! И не приду! Очень вы нужны мне! С богом по гладенькой дорожке. Дверь сами найдете.

Но они все-таки мирились, ибо уже до болезни вжились друг в друга.

Скука длинных ночей, которую нельзя было одолеть даже сном, толкала их на ужасные вещи.

Однажды среди ночи фельдшер проник в кухню к старухе бобылке, и, несмотря на ее ужас и на ее причитания, несмотря на то, что она крестилась от испуга, он овладел ею. Ей было шестьдесят пять лет. И это стало повторяться настолько нередко, что даже старуха привыкла и молча подчинялась.

Уйдя от нее, Смирнов каждый раз бегал по комнате, скрежетал зубами, стонал и хватал себя за волосы от омерзения.

Учителя же одолевали ночные сладострастные грезы во время бессонниц. Он худел, глаза его увеличивались и стекленели, и под ними углублялись черные синяки. И его нервные тонкие пальцы дрожали еще сильнее.

Как-то фельдшер предложил Астреину попробовать вдыхание эфира.

— Это очень приятно,— говорил он,— только надо преодолеть усилием воли тот момент, когда тебе захочется сбросить повязку. Хочешь, я помогу тебе?

Он уложил учителя на кровать, облепил ему рот и нос, как маской, гигроскопической ватой и стал напитывать ее эфиром. Сладкий, приторный запах сразу наполнил горло и легкие учителя. Ему представилось, что он сию же минуту задохнется, если не скинет со своего лица мокрой ваты, и он уже ухватился за нее руками, но фельдшер только еще крепче зажал ему рот и нос и быстро вылил в маску остатки эфира.

VI

Была одна страшная секунда, когда Астреин почувствовал, что он умирает от удушья, но всего только одна секунда, не более. Тотчас же ему стало удивительно покойно и просторно. Что-то радостно задрожало у него внутри, какая-то светящаяся и поющая точка, и от нее, точно круги от камня, брошенного в воду, побежали во все стороны веселые трепещущие струйки. Лежа на спине, он ясно увидел, как прямая линия, образованная стеною и потолком, вдруг расцветилась радугой, изломалась и вся расплылась в мелких, как Млечный Путь, звездочках. Потом задрожало все: воздух, стены, свет, звуки — весь мир. И ему казалось, что каждый атом его существа превращается в вибрирующее движение, слитое с общим неуловимо-быстрым, светлым движением. Все его тело растворялось и таяло; оно сделалось невесомым, и это ощущение легкости и свободы было невыразимо блаженно. И вдруг его сознание полетело по бесконечной кривой — куда-то вниз, в темную пропасть, и угасло.

Он очнулся с головной болью и с противным вкусом эфира во рту. Этот вкус преследовал его целую ночь и весь следующий день.

Фельдшер попросил Астреина оказать ему такую же услугу — подержать над лицом ватную маску, и учитель подчинился. Они проделали этот опыт несколько раз, но не успели сделаться эфироманами, потому что весь запас волшебной жидкости вышел, а нового им не присылали.

А зима все лежала и лежала на полях мертвым снегом, выла в трубах, носилась по улицам, гудела в лесу. Куршинские мужики кормили скот соломой с крыш и продавали лошадей на шкуры заезжим кошатникам.

Астреин совсем опустился. Он не только целый день ходил в пальто и калошах, но и спал в них, не раздеваясь. С утра до вечера он пил водку, иногда пил ее, даже проснувшись среди ночи, доставая бутылку из-под кровати. Воспаленный мозг его одиноко безумствовал в сладострастных оргиях.

В школе, в часы занятий, он садился за стол, подпирал голову обеими руками и говорил:

— Пусть каждый из вас, дети, прочитает «Мартышку и очки». Все по очереди. Наизусть. Валяйте.

Ребятишки уже давно приспособились к нему и говорили, что хотели. А он сидел, расширив светлые сумасшедшие глаза и уставив их всегда в одну и ту же точку на географической карте, где-то между Италией и Карпатами.

Фельдшер же во время приемов кричал на мужиков и нарочно, с дикой злобой на них и на себя, делал им больно при перевязках. Когда он оставался один и думал о докторе, то глаза его наливались кровью от долго затаенного бешенства, ставшего манией.

Казалось, они оба неизбежно подходили к какому-то страшному концу. Но что-то странное и таинственное есть в человеческой природе. Когда физическая боль, отчаяние, экстаз или падение достигают высочайшего напряжения, когда вот-вот они готовы перейти через предельную черту, возможную для человека, тогда судьба на минутку дает человеку роздых и точно ослабляет ему жестокие тиски. Иногда она даже на мгновение улыбнется ему. Так бывает при тяжелых, смертельных родах у

женщин, на войне, во время непосильного труда, при неизлечимых болезнях, иногда при сумасшествии, и, должно быть, бывало во время пыток перед смертью. Потом судьба холодно и беззлобно успокаивает человека навсегда.

VII

Вдруг случилось чудо, в которое так наивно верил учитель Астреин. Пришла весна!

Сначала, несколько дней подряд, воздух стоял неподвижно и был тепел. Тяжелые сизые облака медленно и низко сгруживались к земле. Тощие горластые петухи орали не переставая по дворам в деревне. Галки с тревожным криком носились по темному небу. Дальние леса густо посинели. Людей клонило днем ко сну.

Потом сразу пошли дожди, подули южные ветры. Ветер и дождь прямо на глазах ели снег, который стал на полях ноздреватым и грязным, а там, где под ним бежала вода, зернистым и жидким. Деревенская улица обнажилась, доверчиво размякла, и коричневые болтливые ручейки побежали по ней во всю ее ширину вдоль уклона.

Весенний беспорядок — шумный, торопливый, сорный — воцарился в лесах, полях и на дорогах — точно дружная, веселая суета перед большим праздником происходила в природе. Как чудесно пахли по ночам земля, ветер и, кажется, даже звезды!

Вскрылась Пра. Фельдшер все хлопотал около лодки. Однажды вечером он сказал Астреину, потирая намозоленные руки:

— Теперь все готово. Завтра приходи пораньше. Пообедаем и айда. Нам некогда терять времени. Через неделю Пра обмелеет, и тогда придется тащить лодку на плечах. А теперь мы как раз ее пригоним к мельнице.

На другой день после раннего обеда они сволокли легкую, плоскодонную лодку по откосу оврага к реке, спустили ее в воду и поплыли по течению вниз. Так как река бежала необыкновенно быстро, то фельдшер пустил Астреина на гребные весла, а сам сел на корму с рулевым веслом. Смирнов взял с собой на всякий случай шомпольную одностволку и даже зарядил ее. Друг, увязавшийся за лодкой, бежал по берегу и весело лаял.

Сейчас же, сажен через тридцать, был мост между крутыми берегами. Теперь он висел над поднявшейся водой, почти касаясь ее. Оглянувшись назад, учитель спросил с беспокойством:

— Пройдем ли?

— Глупости! Пройдем! — ответил уверенно фельдшер.— Нагнемся и проедем.

Чтобы войти под мост, им пришлось не только лечь ничком на банки, но и защищать руками лица от мостовых бревен. Под мостом было темно, сыро и гулко. Вырвавшись из-под него, лодка точно прибавила ходу и теперь плыла со скоростью хорошей почтовой лошади.

По небу опрометью неслись круглые, пухлые облака. Совсем неожиданно пошел дождь. Фельдшер обвязал замок у своего ружья носовым платком, чтобы пистоны не отсырели. Но дождь сейчас же и перестал, и снова засмеялось весеннее непостоянное солнце. Берега понижались постепенно, а река все расширялась. Вода бурлила, разрезаемая носом лодки; она была по-весеннему грязно-коричневая и на изломах струек поблескивала голубым отражением неба. Все чаще и чаще попадались льдины — круглые, покрытые сверху грязным снегом. Они кружились, подгоняемые течением, и терлись, шурша о борта лодки, которая их обгоняла.

Навстречу лодке рос приближающийся лес. Издали было слышно, как вода клокотала в нем вокруг затопленных деревьев. Лодка, не умеряя скорости, вошла в него, и вдруг берега реки разбежались и пропали. Куда бы ни глядел глаз, всюду — налево, направо, впереди, позади — расстилалась бегущая, говорливая, плоская вода, из которой кое-где торчали верхушки кустов. Но главное течение все-таки легко можно было определить по быстроте струй и по широкому расстоянию между деревьями. Фельдшер правил молодцом, зато несколько раз искупавшийся в лужах Друг остался на берегу. Он попробовал было плыть, но испугался и вернулся назад. Он долго еще отряхивался, трепеща шеей и ушами, и скулил, глядя вслед лодке. Начинало темнеть.

— Господи! Что же может быть на свете лучше русской весны! — говорил Астреин.— Знаешь, Фирсыч, она точно любимая женщина. Отчаялся ее дождаться, про-

клинаешь ее, готовишь ей гневные слова,— а вот она пришла, и какая радость!..

— Ну ладно, ладно,— бурчал с ласковой грубостью фельдшер.— Держись крепко, старик, не кисни.

Река так же внезапно, как расширилась, так и сузилась. Впереди виднелся второй мост, как будто перехватывающий реку узким горлом; за ним она опять расширялась.

— Послушай, друже,— сказал фельдшер,— я думаю, лучше нам пристать у берега, не доходя моста, а лодку уж мы проведем волоком. Мы здесь не проскочим.

— Э, чепуха, проскочим! Держи прямо! Штир-бомбим-брам-штреньгу! — крикнул задорно Астреин.

— Ну, ну! — сказал фельдшер в знак согласия.

Но они не рассчитали. Вода была слишком высока. Лодка ударилась носом о мостовую настилку, течение тотчас же повернуло ее боком, прижало к мосту, и вдруг Астреин с ужасом увидел, как вся река хлынула в лодку.

Фельдшер успел вовремя ухватиться за настилку и выкарабкаться почти сухим. Но Астреин по горло погрузился в воду. Он достал ногами дно, здесь было вовсе не глубоко, но течение с такой силой тянуло его под мост, что он едва-едва успел уцепиться за столб. Лодка, переполнившись водою, перевернулась вверх дном, легко скользнула в пролет и на той стороне моста сейчас же запуталась в кустах. Фельдшер стоял наверху и хохотал во все горло.

— Это свинство,— мрачно сказал Астреин из воды.— Сам перевернул лодку, когда выскакивал, и сам смеешься. Давай руку.

— Подожди. Притяни сначала лодку. Тебе все равно заодно мокнуть. Иди смело. Здесь мелко.

— Да, хорошо тебе сверху.

Пока фельдшер вытаскивал учителя на мост, пока он обжимал на нем набухшую от воды одежду, стаскивал с него сапоги и выливал из них воду, незаметно настала ночь.

Снег на берегу, казавшийся вечером светло-фиолетовым, сразу побелел и сделался прозрачно-легким и тонким. Деревья почернели и сдвинулись. Теперь ясно было слышно, как вдали ровно и беспрестанно гудела вода на мельничной плотине.

— Все равно надо ехать,— сказал фельдшер,— выберемся на заворот, а там вытащим лодку куда-нибудь на берег и пойдем ночевать на мельницу. Назад уж невозможно.

Они опять сели в лодку. Прямо от моста река расширялась воронкой перед запрудой. Левый берег круто загибал влево, а правый уходил прямо вперед, теряясь в темноте.

Неожиданное течение вдруг подхватило лодку и понесло ее с ужасной стремительностью. Через минуту не стало видно ни левого, ни правого берега. Рев воды на мельнице, которому до сих пор мешала преграда из леса, вдруг донесся с жуткой явственностью.

— Куда гребешь? Куда? Черт! Левым загребай, правым табань. Левым, левым, дьявол, черт, сволочь! Да левым же, левым, черт бы тебя побрал. Черт, свинья!..

— Дрянь, сволочь! Сидишь на руле. Чего смотришь? Собака, сволочь! Клистирная трубка!

Астреин выбивался из сил, стараясь направить лодку к левому берегу, но она неслась неведомо куда. И в это время фельдшер и учитель яростно ругали друг друга всеми бранными словами, какие им попадали на язык.

— Стой, стой! Куст! Держи! Куст! — вдруг закричал радостно фельдшер.

Ему удалось схватиться руками за ветки куста, торчавшего из воды. Лодка стала, вся содрогаясь и порываясь вперед. Вода бежала вдоль ее бортов слева и справа с гневным рокотом. Теперь видим стал правый берег. Снег лежал на нем, белея слабо и плоско, как бумага в темноте. Но фельдшер знал местность. Этот берег представлял собою огромное болото, непроходимое даже летом.

Несколько минут оба молчали. Большие льдины, крутясь, быстро проплывали мимо лодки и казались легкими, как вата. Иногда они сталкивались, терлись друг о друга, и шуршали, и вздыхали с коварной осторожностью.

Астреин чувствовал, как у него волосы холодеют и становятся прямыми и твердыми, точно тонкие стеклянные трубки. Рев воды на мельнице стоял в воздухе ровным страшным гулом; и было ясно, что вся тяжелая масса воды в реке бежит неудержимо туда, к этому звуку.

— Надо двигаться! — сказал фельдшер.— Пусти-ка меня на весла.

Они переменились местами, и теперь уже Астреин держался за ветки. Оба старались казаться спокойными.

— Дело в том, что о правом береге нам нечего и думать. Там мы увязнем и не выберемся до трубы архангельской. Послушай, Клавдий Иванович.— Голос фельдшера вдруг задрожал теплым, глубоким тоном.— Послушай, ты не сердишься на меня, что я потащил тебя сегодня в эту дурацкую поездку?

— О, что ты, родной мой. Не думай об этом, ради бога,— ласково ответил учитель.

Он наклонился, чтобы увидеть лицо Смирнова, но увидел только слабое темное очертание его плеч и головы.

— Видишь ли, нам надо, если ты хочешь знать, выбиваться к левому берегу,— опять заговорил фельдшер.— Попробуем пересечь течение? а? Как ты думаешь?

— Давай,— тихо сказал учитель,— судьба так судьба.

— Ничего... Может, и выгребу, а не выгребу — наплевать...

— Конечно,— сказал учитель.

Опять наступило молчание. Вода плескалась и роптала вокруг лодки, кружились и вздыхали со свистом льдины, ревела вдали мельница.

— Пускать? — спросил учитель с тоской.

— Прости меня за все, Клавдий Иванович,— вдруг просто и серьезно, даже точно деловито, сказал фельдшер.— Я был к тебе так несправедлив эту зиму.

— Брось, милый, что уж тут. Я тебя люблю, мало ли что бывает между близкими? Ну, держись. Я пускаю.

Он разжал руки, и лодка, точно обезумев от свободы, понеслась вперед. И тотчас же Астреин увидел свет на мельнице. Он, как красная булавка, торчал среди черной ночи.

Фельдшер греб, нагнув вниз голову, упираясь ногами в переднюю скамейку, шумно и коротко выдыхая воздух. Ему казалось, что лодка быстро подается вперед при каждом взмахе весел, но это был обман: ее несло только течением, и сам Смирнов хорошо это знал.

Учитель ничего не говорил, но он видел, как с каждым мгновением увеличивался огонь на мельнице. Можно было уже разобрать переплет окна.

Воздух дрожал от рева воды под шлюзами. Вдруг Астреин увидел впереди лодки длинный белый гребень пены, который приближался, как живой. Он со слабым криком закрыл лицо руками и бросился ничком на дно лодки. Фельдшер понял все и оглянулся назад. Лодка боком вкось летела на шлюзы. Неясно чернела плотина. Белые бугры пены метались впереди.

— Конец! — сказал фельдшер вслух.— Астреин, Астреин! — крикнул он,— держись за борта, держись!

Но его тотчас же сбило со скамейки. Он упал грудью на уключину и судорожно вцепился обеими руками в борт. Огромная тяжелая волна обдала его с ног до головы. Почему-то ему послышался в реве водопада густой, частый звон колокола. Какая-то чудовищная сила оторвала его от лодки, подняла высоко и швырнула в бездну головой вниз. «А Друг-то, пожалуй, один не найдет дорогу домой»,— мелькнуло вдруг в голове фельдшера. И потом ничего не стало.

Река долго влекла их избитые, обезображенные тела, крутя в водоворотах и швыряя о камни. Труп фельдшера застрял между ветлами. Учителя потащило дальше.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том вошли произведения, написанные Куприным в 1905—1907 годах, в пору его творческого расцвета. Воодушевляющее воздействие революции, близость к передовому искусству подняли его реализм на новую ступень. Посвященная Горькому повесть «Поединок» (1905) — «главный, девятый вал» Куприна — одна из самых правдивых и волнующих книг русской литературы начала века.

Общественное значение «Поединка» для его времени объяснялось тем, что в буднях одного из бесчисленных армейских полков Российской империи Куприн увидел и заклеймил черты разложения и упадка, характерные для всего отжившего самодержавного строя. Накануне Цусимы, в дни тяжких поражений царской армии на русско-японских фронтах монологи Назанского об отсталом, опустившемся офицерстве, забывшем о нуждах страны и народа, звучали как политические воззвания.

Но, ненавидя и отрицая старое, Куприн сумел по-своему увидеть и отразить и то новое, что несла с собой приближавшаяся революция: пробуждение простого человека, стремящегося сбросить с себя классовый, сословный, кастовый гнет. В «Поединке» воплотились не только типические стороны русской общественной жизни начала века, но и внутренние, глубинные процессы индивидуального бытия: «распрямление» личности, «психологическая подготовка» революции в широких демократических слоях.

История подпоручика Ромашова, которого казарменная неволя заставила задуматься о социальном неравенстве, о страданиях угнетенных, о смысле и цели жизни, завершается его гибелью. Но финал «Поединка» не звучит пессимистически, как это было в «Молохе», где герой остается жить, сломленный силами социального зла. Ромашов гибнет, успев вступить на путь сопротивления старому миру, и это сообщает повести, несмотря на ряд мрачных картин, оптимистическую перспективу.

Действительность революционной эпохи отразилась и в других произведениях данного периода. В последовавшем за «Поединком» рассказе «Штабс-капитан Рыбников», произведении, замечательном по мастерству психологического анализа, правдиво воссо-

здана атмосфера «дней Цусимы», трагического и позорного конца русско-японской войны. Орудующий среди бела дня в столице японский шпион — «вещественное доказательство» разложения и паники, охвативших правящие круги. Добровольные слуги реакции — чиновник, мечтающий о всероссийской порке, и злобствующий педагог-реакционер — изображены в рассказах «Механическое правосудие» и «Исполины». Примечательны оптимистические концовки этих произведений: заклеймен ретроградный педагог, учинивший суд над исполинами русской литературы, а чиновник, придумавший механическую розгу для учащихся, солдат и бастующих рабочих, сам становится жертвой своего изобретения. Анекдотический по сюжету рассказ «Обида», в котором профессиональные воры протестуют, когда их отождествляют с погромщиками, проникнут, по словам В. Воровского, «боевым настроением 1905 года, с характерным для этого времени ростом чувства человеческого достоинства, уважением к общественному мнению, нравственным оздоровлением всей атмосферы, которое дала революция» (В. Воровский. А. И. Куприн, 1910. В кн.: В. Воровский. Литературно-критические статьи, М., 1956, стр. 278).

Отзвуками революции полон и яркий рассказ «Гамбринус». Рисуя мужество и стойкость маленького человека, портового музыканта еврея Сашки, ставшего жертвой черносотенного террора, Куприн впечатляюще отразил политическую обстановку 1904—1906 годов, недолгие «ликующие дни свободы» и наступление реакции с казнями и погромами.

О растлевающем влиянии контрреволюционного террора на человеческую психику рассказал Куприн в «Реке жизни». На фоне написанных сочной реалистической кистью картин мещанского быта здесь развертывается драма участника революционной организации, совершившего невольное предательство. Осуждение предательства как страшного зла, которое «заживо умерщвляет человека», звучит и в аллегории «Демир-Кая».

Свои раздумья о роли художника в революционную эпоху Куприн высказал в притче «Искусство». Истинная красота и правда там, говорит писатель, где искусство внушает «радость борьбы», подобно статуе освобождающегося раба, изваянного гениальным скульптором. Цель художника — не услаждать невежественного мецената (вроде персонажа рассказа «Легенда»), а служить народу («Гамбринус»), воспеть героев освободительной борьбы.

Однако живой реалистический образ революционера писателю создать не удалось. Революционные борцы в рассказе «Тост» — риторически изображенные «люди с горящими глазами, герои с пламенными душами». Царство будущего в «Тосте» выглядит статично и бесперспективно: люди 2906 года томятся в стеклянных дворцах нового мира и тоскуют о досоциалистических временах. В «Тосте» отразились некоторые анархо-индивидуалистические представления Куприна, которые проявились еще в «Поединке». Справедливо критикуя христианский гуманизм, Назанский доходит до отрицания всякого общественного служения, коллективизма, признавая лишь индивидуальный бунт одинокой личности. Непонимание путей социального переустройства сказалось и в ряде других произведений этих лет. Так, в рассказах

о контрреволюционном терроре сильный и искренний протест Куприна против «липкого кошмара реакции» сочетался с утопичными надеждами на то, что палачей революции постигнет моральная кара, тяжкие угрызения совести («Убийца»). В рассказе «Бред» изображение карательной экспедиции против повстанцев становится поводом для морализирования о вреде всякого насилия.

Как и на других этапах своего пути, Куприн в эти годы охотно обращается к теме природы, «естественного» состояния. «От социальной борьбы,— писал Воровский,— его мысль рвется в лесную глушь, на морской простор» (В. Воровский. Литературно-критические статьи, стр. 287). Впрочем, лучшее из созданных в эти годы произведений о природе и животных — «Изумруд» — лишь новый художественный аспект социально важной темы: буржуазное общество с его конкуренцией, борьбой низких страстей губит все естественное, чистое, прекрасное.

Произведения Куприна 1905—1907 годов особенно разнообразны по своим стилевым качествам, художественным формам и средствам. Сложная эволюция «прозревшего» героя изображена в «Поединке» в духе психологического реализма Л. Толстого, с развернутым воспроизведением «диалектики души», борьбы старого и нового в сознании человека. Но тонкий психологизм, а также добротная реалистическая бытопись сочетались в «Поединке» (и это одна из особенностей стиля данной повести) с прямым, декларативным, публицистическим выражением авторских идей. От патетических монологов Назанского берет начало особая струя купринской прозы — повышенно эмоциональная, насыщенная тропами, синтаксическими повторами, тяготеющая к ритмизации. Окрашенные ею «Тост», «Сны», «Бред», «Убийца» представляют собой как бы гражданственную лирику в прозе. Использует Куприн и иносказательные жанры — притчу, аллегорию, легенду («Искусство», «Демир-Кая», «Легенда», «Сказка»), отдает дань сатире. Пером участника сатирических журналов написаны политические «Сказочки» — «О Думе» и «О конституции»,— обличающие куцые свободы, «дарованные» царским манифестом 17 октября. В «Механическом правосудии», «Исполинах», «Сказочках» широко используются пародия, гротеск, эзопов язык. Наряду с этими новыми для него видами рассказа Куприн продолжал развивать нравоописательную новеллу («Как я был актером», «Мелюзга»), художественный очерк («На глухарей»).

Дальнейший путь Куприна не был прямолинейным: в сложных общественно-политических условиях последующих десятилетий художник знал отдельные колебания и срывы. Но вклад, внесенный писателем в 1905 году в демократическое искусство, был непреходящим. Для широких читательских масс Куприн остался автором «Поединка», этого «смелого и буйного» выражения освободительного подъема эпохи первой русской революции.

ПОЕДИНОК

Впервые напечатано в мае 1905 г. в «Сборнике т-ва «Знание» за 1905 год», кн. VI, с посвящением Максиму Горькому «с чувством истинной дружбы и глубокого уважения».

Первые наброски повести были сделаны в 1902 г.; один из них — сценка «В казарме» (см. т. 3 настоящего издания), этюд к XI главе «Поединка»,— был тогда же послан Куприным в «Русские ведомости» (письмо к Л. И. Елпатьевской, лето 1902 г. Отд. Рукописей ИМЛИ), но увидел свет лишь год спустя в сб. «Помощь». В декабре 1902 г. было объявлено о предстоящем печатании «Поединка» («Журнал для всех», 1902, № 12, стр. 1565—1566). Весной 1903 г. в Мисхоре Куприн набросал отдельные главы, но, не удовлетворенный ими, уничтожил рукопись (М. Куприна-Иорданская. Годы молодости. М., 1960, стр. 142, 143, 146). Летом 1903 г., отвечая В. С. Миролюбову на упрек в том, что в его рассказах «гвоздя нет», Куприн писал, что надеется этот «гвоздь» вбить в свою повесть из военного быта («Литературный архив», т. V, М.-Л., ИРЛИ, 1960, стр. 123).

Вплотную к работе над «Поединком» Куприн приступил весной 1904 г., в обстановке русско-японской войны, когда изображение армии приобретало особую актуальность. Повесть предназначалась для журнала «Мир божий» (письмо к Ф. Д. Батюшкову, 1904, 25 авг. Арх. ИРЛИ), но потом автор решил печатать ее в III сборнике «Знания», посвященном памяти А. П. Чехова. «Куприн даст повесть свою, «Поединок» — большая вещь»,— сообщил Горький в середине июля 1904 г. И. А. Бунину, приглашая его участвовать в чеховском сборнике («Горьковские чтения 1958—59 гг.», М., 1961, стр. 29). Тогда же Горький писал Андрееву, что в «Поединке» будет листов восемь («Лит. газета», 1957, 18 июня, № 73). Однако рукопись разрослась более чем вдвое, и работа над ней затянулась. «Я весь ушел в повесть»,— писал Куприн Горькому летом 1904 г., а 5 сентября сообщил из Одессы редактору-распорядителю «Знания» К. П. Пятницкому: «Около ⅔ повести у меня уже имеется в окончательном виде» (Архив А. М. Горького, ф. «Знания»). По-видимому, главы «Поединка» поступали от Пятницкого к Горькому. 15 и 23 октября 1904 г. из Балаклавы Куприн запрашивал Пятницкого о мнении Горького, хотел получить его советы (Архив А. М. Горького, ф. «Знания»). В ноябре 1904 г. в Петербурге Горький слушал в чтении автора отдельные сцены. «Когда я читал разговор подпоручика Ромашова с жалким солдатом Хлебниковым, Алексей Максимович растрогался, и было странно видеть этого большого, взрослого человека с влажными глазами» (А. Куприн. Отрывки воспоминаний. «Известия», 1937, 18 июня, № 142). «Прекрасную повесть написал Куприн»,— сообщил Горький Е. П. Пешковой 14 ноября 1904 г. (М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 28, М., 1954, стр. 337). По мысли Горького, «Поединок» должен был печататься в чеховском сборнике рядом с «Красным смехом» Л. Андреева, так, чтобы заклеймить и войну и военщину (письмо Горького Л. Н. Андрееву от середины ноября 1904. Архив А. М. Горького). Но Куприн опоздал, и «Поединок» был перенесен в VI сборник. Новым препятствием явилась необходимость восстанавливать по памяти XIV главу: рукопись ее в числе других бумаг забрали жандармы во время обыска у Куприна (письмо К. П. Пятницкому, 1905, 11 февраля). Пятницкий требовал закончить повесть в апреле с тем, чтобы срок нахождения сборника в Цензурном комитете

пришелся бы на пасхальную неделю. В этих условиях Куприн вынужден был отказаться от развернутого изображения дуэли и кончить повесть рапортом о поединке (интервью Куприна в «Петербургской газете», 1905, 4 авг., № 203). Версия о том, что конец «Поединка», не дававшийся автору, был якобы написан Горьким совместно с Л. Андреевым и Буниным (см. статьи В. Ставского в газ. «Рабочий край», 1936, 10 сент., № 209 и П. Павленко в альм. «Крым», 1948, № 2 и ж. «Знамя», 1951, № 6), необоснованна. И черновик конца повести (Отдел Рукописей ГПБ им. Салтыкова-Щедрина) и беловой текст последней главы (ЦГАЛИ) совпадают с опубликованным текстом. Это рапорт о поединке, наспех переписанный Куприным из Дуэльного кодекса в апреле 1905 г., когда все остальные главы были уже отпечатаны (М. Куприна-Иорданская. Годы молодости, стр. 200). В то время Бунин был в с. Васильевском, Л. Андреев — в Финляндии. Горький лечился в Ялте; он вернулся в Петербург 16 мая, то есть уже после выхода повести из печати («Летопись жизни и творчества А. М. Горького», т. I, М., 1958, стр. 527 и 532). Именно в Ялту писал Куприн Горькому 5 мая 1905: «Завтра выходит 6-й сборник. Вы его, вероятно, застанете в Петербурге. Теперь, когда уже все окончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился от Вас, и как я признателен Вам за это» (Архив А. М. Горького).

VI сборник «Знания» с «Поединком» вышел в свет в дни разгрома русского флота при Цусиме, обозначившего «полный военный крах царской России» (В. И. Ленин. Соч., т. 10, стр. 251). Возмущение политикой царизма охватило всю страну. Правдивое изображение Куприным отсталой, небоеспособной армии, разложившихся офицеров, забитых солдат приобретало важный общественно-политический смысл: картины «Поединка» словно отвечали на вопрос о причинах дальневосточной катастрофы. «Удивительно ли,— писала 22 мая 1905 г. газета «Слово»,— что полк, жизнь которого описывает автор, окончательно провалился на смотру... Удивительно ли, добавим, что мы проваливаемся на большом кровавом смотру на Дальнем Востоке, хотя и знаем, что смотрит на наши войска не только вся Россия, но и весь свет».

«Поединок» принес Куприну всероссийскую славу. Первый тираж повести — 20 тысяч экземпляров — разошелся в один месяц, понадобился ряд переизданий. Переведенный еще в рукописи на немецкий, французский, а затем на польский, шведский, итальянский языки, «Поединок» уже в 1905 г. стал известен западноевропейскому читателю. Тогда же был сделан и латышский перевод повести, но печатание его в социал-демократической газете «Deenas Lapa» запретила цензура. Не был пропущен и сценический вариант «Поединка», сделанный А. Шевляковым в конце 1905 г.: цензура усмотрела в нем «сплошную пропаганду антимилитаризма» («Первая русская революция и театр», М., 1956, стр. 336—337). Только после того как повесть была переделана в «картину нравов армейского пехотного полка... с интригою романтического характера», она увидела свет рампы (премьера в марте 1906 г. в Петербурге). По данным журнала «Театр и искусство», в 1906 г.

инсценировку «Поединка» поставили свыше 30 провинциальных театров.

Вокруг «Поединка» разгорелась полемика в прессе. На страницах «Русского инвалида», «Военного голоса», «Разведчика» неистовствовала реакционная военщина; повесть Куприна оценивалась как фактор «подпольной пропаганды, в которой простой народ натравливается на войско, солдаты — на офицеров, а эти последние — на правительство» (цит. по кн.: Дрозд-Бонячевский. Поединок с точки зрения строевого офицера. СПб., 1910, стр. 1).

Черносотенцы, атакуя Куприна за его якобы «злостно тенденциозный... памфлет на военных», негодовали против сборников «Знания», которые «вычеркивают у нас из списка жизнеспособных одно сословие за другим» (А. Введенский-Басаргин. Литературная вылазка против военных. «Московские ведомости», 1905, 21 мая, № 137).

«Поединок» вызвал новую волну нападок на Горького. «Герой г. Куприна... мыслит по-горьковски со всеми его специфическими вывертами и радикализмом»,— подчеркивали «Московские ведомости» (в № 137 за 1905 г.), пользуясь случаем приписать Горькому ницшеанские взгляды. По мнению «Русского вестника», близость к «великому» Максиму» испортила «Поединок» «тенденциозными проповедническими страницами», а в основе «злобно-слепой критики армии» лежит «тот же рецепт Максима Горького: «Человек! Это звучит гордо» («Русский вестник», 1905, т. 297, № 6, стр. 689 и 726). Для «августейшего» литератора К. Р. (Константина Романова) Куприн так же «несуразен и расплывчат», как Горький и Чехов («Красный архив», т. I, М., 1931, стр. 133), а Н. Скиф, глумясь над Горьким и Куприным, славу которым даетде «общественное сумасшествие», считал творчество обоих писателей симптомами «нравственного разложения... мыслящей России» («Русский вестник», 1906, т. 306, № 12, стр. 586 и 573).

Предостерегая читателя от «развращающих» картин «Поединка», охранительная печать утверждала, что Куприн не только «заносит секиру над *всеми* военными и именно как над *сословием*», но «вообще пропагандирует какую-то социальную нивелировку с упразднением всяких классовых и сословных различий» («Московские ведомости», 1905, № 151). С другой стороны, либералы пытались всячески ослабить остроту выступления Куприна, уподобив его повесть роману «Из жизни маленького гарнизона» немецкого беллетриста Бильзе, стоявшего за частичные реформы в армии при сохранении ее основ.

Демократическая общественность и критика, приветствуя «Поединок», стремились прежде всего раскрыть его революционный смысл. «Военное сословие — лишь часть огромного бюрократического сословия, заполонившего русскую землю...» При чтении повести «...вы начинаете интенсивнее ощущать гнет окружающей жизни и искать из нее выхода»,— писал «Вестник и библиотека самообразования» (1905, № 28, стр. 888 и 887).

Отмечая реализм повести, обнажившей «всю жалкую подкладку военного дела», газета «Наша жизнь» указывала, что иная армия немыслима «в бюрократическом государстве, где связана воля и мысль народа» («Наша жизнь», 1905, 30 июля, № 186).

«Вся суть («Поединка».— *И. К.*),— подчеркивал демократический журнал «Образование»,— не в картинках быта.., а в том соре, который накопился с годами в жизни общества, остановил его развитие и должен быть выброшен прочь» («Образование», 1905, № 7, стр. 86). Социал-демократический литературный журнал «Правда» приветствовал освободительный дух повести, в которой «трепещет и бьется пульс целой эпохи, рвущейся из мрака безличия и покорности — к свету...» (Журнал «Правда», 1905, сентябрь — октябрь, стр. 421). Даже либеральная «Русская мысль» должна была признать радикализм разоблачений «Поединка»: «...его бич и его удары... направлены... не в Леха, не в Агамалова и Осадчего, а бьют и казнят проклятый строй, систему, общую машину, общий дух и рабский склад всей жизни» («Русская мысль», 1905, № 11, стр. 67). Повесть оценивалась как смелый шаг в борьбе с «гидрой милитаризма», в антивоенном движении («Родная нива», 1905, № 32). «...Идея мира становится все популярнее и популярнее, она уже входит, правда понемногу, в практику разрешения некоторых вопросов, возникающих между государствами»,— писал журнал «Вестник знания» (1905, № 12, стр. 126), солидаризируясь с протестом Ромашова против войны как «позорного всечеловеческого недоразумения». Несмотря на пацифистскую окраску, антивоенный заряд повести Куприна имел важное общественное значение, подобно выступлениям в защиту мира Л. Толстого, разоблачавшего в массах зло милитаристской пропаганды.

Горький оценивал «Поединок» в свете событий русско-японской войны и подъема революционных настроений в армии. «Великолепная повесть» Куприна содействовала, по мнению Горького, росту политической сознательности армии, разбуженной «тяжелой ценой войны» («Из беседы с Максимом Горьким». «Биржевые ведомости», веч. вып., 1905, 22 июня, № 8888). «Обращением к армии» назвал лучшие страницы «Поединка» А. В. Луначарский, считавший, что красноречивая критика царской армии в повести Куприна пробудит в офицерстве «голос *настоящей чести*», то есть революционные стремления (А. Луначарский. О чести. «Правда», 1905, сентябрь — октябрь, стр. 174). Этот голос прозвучал в приветственном адресе Куприну от группы петербургских офицеров, в котором говорилось: «Язвы, поражающие... офицерскую среду, нуждаются не в паллиативном, а в радикальном лечении, которое станет возможным лишь при полном оздоровлении всей русской жизни» («Петербургские ведомости», 1905, 21 июня, № 149).

Летом — осенью 1905 г. Куприн неоднократно выступал с публичным чтением глав «Поединка». 30 июля 1905 г. он читал монолог Назанского на большом литературно-художественном вечере в Териоках, устроенном Горьким и М. Ф. Андреевой в пользу бастующих рабочих Путиловского завода. Выступления Горького, Куприна, Л. Андреева вызвали энтузиазм аудитории, насчитывавшей более 800 человек. «Все стихотворения, декламации и мелодекламации носили явно тенденциозный характер,— доносили агенты финляндского жандармского управления в департамент полиции,— и публика сильно волновалась, выражая свои одобрения исполнителям. После вечера особенно чествовали Горького,

который на вечере прочел свое произведение «Человек». Часть сбора поступила в пользу Петербургского комитета РСДРП. Во время антракта шли сборы: 1) в пользу семейств сестрорецких рабочих, 2) социал-демократического комитета, 3) на «активное действие и пр.» («Красный архив», 1936, т. 5, стр. 66—67). «Программа сплошь революционная,— вспоминал один из участников взволнованную атмосферу этого вечера-митинга, на который собрались революционеры, рабочие, ученые и писатели «гвардии «Знания».— Громадная зала. Настроение взвинчивается с каждым номером... «Вперед — и выше! Вперед — и выше!»... «Настанет время, когда обер- и штаб-офицеров будут бить!..— Зала гудит» (Ив. Рукавишников. Мои встречи с Максимом Горьким. В кн.: «О Горьком — современники», М. [1928], стр. 41). Можно предполагать, что автор «Поединка» стремился тогда установить связи с революционными элементами флота. «...Куприн... на-днях едет на Кавказ, ему охота поступить командиром на «Потемкина»,— писал Горький Чирикову в июне 1905 г. (М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 28, стр. 376). В Севастополь Куприн попал уже после подавления потемкинского восстания, но он принял участие в очаковских событиях осенью 1905 г. (см. примечания к рассказу «Гусеница» и к статье «События в Севастополе» в 7 и 9 тт. настоящего издания). Выступление Куприна в революционном Севастополе в октябре 1905 г. с чтением глав «Поединка» приветствовал лейтенант Шмидт. Во время второго публичного чтения повести в Севастополе произошло резкое размежевание аудитории: реакционное офицерство пыталось устроить обструкцию Куприну, обвинило его в оскорблении армии, а моряки заходили к автору за кулисы, выражали ему свое сочувствие и солидарность.

Воздействие «Поединка» на умы и сердца современников определялось тем, что общественно-значительное содержание повести, ее передовые идеи были облечены в прекрасную художественную форму. В признании высоких литературных достоинств «Поединка» сошлось большинство писавших о нем критиков (А. Богданович, Д. Овсянико-Куликовский, Ф. Батюшков, К. Чуковский, А. Редько и мн. др.). Исключением было мнение символистского журнала «Весы», не раз выступавшего против сборников «Знания». В рецензии на VI сборник Пентаур (В. Брюсов) пытался представить «Поединок» как художественно слабую, написанную по «старым шаблонам» вещь; «самые лучшие сцены,— писал он,— не более, как... анекдоты из солдатской и офицерской жизни...» («Весы», 1905, № 5, стр. 46). «Жрецы блаженной памяти теории самодовлеющего искусства боятся просвета жизненной правды»,— отвечала эстетам из «Весов» газета «Наша жизнь» (в № 282 от 24 сентября 1905 г.).

В. В. Стасов восторженно встретил «Поединок», назвал его «жемчужиной», «поэмой о русском офицерстве» (письма К. П. Пятницкому, июль 1905. Архив А. М. Горького). Реализм картин повести Куприна, тонкость психологического анализа ценил Л. Н. Толстой. Чтение «Поединка» в VI сборнике «Л[ев] Н[иколаевич] слушал внимательно, каждое слово, которого не расслышал, переспрашивал. «Мне интересно описание военной жизни, он (Куприн) хорошо ее знает, сам военный»,— сказал Л. Н. ...

Л. Н. похвалил выговор полковника пьянице-капитану, обремененному семьей, сначала начальнически строгий, а потом человеческий, мягкий. Вошла Александра Львовна... Л. Н. спросил ее о «Поединке»: — «Ты читала? До конца? — и прибавил: «Хорошо, весело... Полковой командир — прекрасный положительный тип» (Из дневника Д. П. Маковицкого, 1905, 8 окт. В кн.: Н. Н. Апостолов. Лев Толстой и его спутники. М., 1928, стр. 249—250). Однако идеи Назанского и критика христианского гуманизма в повести вызвали резкую отповедь Толстого. «Жалкое это рассуждение Назанского. Это — Ницше»,— говорил Толстой Д. П. Маковицкому («Голос минувшего», 1923, № 3, стр. 15). «Что за мерзость речь Назанского»,— писал он М. Л. Толстой-Оболенской 15 октября 1905 г. (Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 76, стр. 43). Сцену Ромашова — Хлебникова Толстой счел «фальшивой». Черты вульгаризованного ницшеанства в речах Назанского не раз отмечались критикой. Развернутый анализ идей Назанского как «типичного в своем роде индивидуалиста» дал в 1905 г. А. В. Луначарский. Но, осуждая «внешне красивую, мнимо-ницшеанскую теорию Назанского» как «типичнейшее мещанство», Луначарский отстаивал общественное и художественное значение «Поединка»: «...если премудрость мудрейшего из офицеров плоха, то повесть г. Куприна все же очень хороша...» Куприн «очень наблюдателен, правдив, превосходный рассказчик» (А. Луначарский. О чести. «Правда», 1905, сентябрь — октябрь, стр. 174). Горький считал «Поединок» этапом в развитии мастерства Куприна. Советуя К. Треневу упорно совершенствовать язык, изучая «лексикаторов» и «формовщиков» слова — Лескова, Чехова, Короленко,— Горький писал: «Многим этот совет был дан, и многими оправдан. Возьмите язык Куприна до «Поединка» и после,— вы увидите, в чем дело и как вышеназванные писатели хорошо учат нас» (М. Горький. Собр. соч. в 30 тт., т. 29, стр. 212).

Вскоре после выхода «Поединка» офицеры 46-го Днепровского полка направили протест своему бывшему сослуживцу. Опровергая упреки в портретности, Куприн писал: «...Я не имел в виду исключительно свой полк. Я не взял оттуда ни одного живого образа» («Neue freie Presse» (Wien), 1906, 8 Sept.). Однако проскуровские впечатления оставили заметный след в повести. Исследователями найден ряд прототипов «Поединка» из армейского окружения Куприна 90-х годов. Известно также, что в образе корпусного командира выведен «либеральный» генерал М. И. Драгомиров, в то время командовавший Киевским военным округом. Сцена между Ромашовым и полковником Шульговичем в «Поединке» весьма близка к эпизоду из жизни Куприна-офицера, не стерпевшего грубости полкового командира (письмо к А. А. Измайлову, 16 марта (1913). Архив ИРЛИ). Как справедливо отметил В. Воровский в своей статье о Куприне (1910), «...военная среда оставила в нем немало сильных впечатлений, давших ему материал для целого ряда работ», предоставила ему «богатое поле для изучения «порочности» и «уродства» современного... общества».

Идеи и образы «Поединка» продолжали владеть Куприным и в последующие годы. В 1907 г. в письме к И. А. Бунину Куп-

рин упоминал о «ненаписанной главе из «Поединка»» — сцене дуэли, то есть, по-видимому, об одном из неиспользованных вариантов конца повести (письмо И. А. Бунину, ЦГАЛИ). В 1908 г. Горький осведомлялся, не вышел ли второй сборник альманаха «Земля» с «Нищими» Куприна (письмо С. П. Боголюбову. Архив А. М. Горького). Роман «Нищие» был задуман Куприным еще в процессе создания «Поединка» как продолжение истории Ромашова, который, выздоровев от дуэльной раны, уходил из армии и начинал жизнь, полную скитаний и нужды (М. Иорданская. Годы молодости, стр. 203 и 205). Но, «убив» Ромашова, Куприн продолжать «Поединок» не мог. Не удалась и попытка превратить «Нищих» в автобиографический роман про киевские «годы репортерства..., страшной бедности и веселой молодости», о котором Куприн упоминал в одном интервью 1908 г. («Биржевые ведомости», веч. вып., 1908, 17 июня, № 10557). Замысел «Нищих» не был воплощен.

В ЦГАЛИ хранится беловая рукопись «Поединка» — оригинал набора VI сборника «Знания», часть которой написана рукой Куприна. Черновая рукопись последней, XXIII главы повести находится в Отделе рукописей ГПБ имени Салтыкова-Щедрина.

Помимо переизданий в составе VI сборника «Знания», повесть вошла во II том «Рассказов» Куприна, изданных «Знанием» в 1906 г. Подготавливая текст для собрания сочинений, издаваемого товариществом А. Ф. Маркс, Куприн снял в XXI главе наиболее резкие суждения Назанского об офицерстве: («...настанет время.., *когда нас, господ штаб- и обер-офицеров, будут бить по щекам в переулках, в темных коридорах, в ватер-клозетах, когда нас*,... наконец, перестанут слушаться *наши преданные* солдаты. И это будет... *не за то также, что мы, начальственные дармоеды, покрывали во всех странах и на всех полях сражений позором русское оружие, а наши же солдаты выгоняли нас из кукурузы штыками*...» (исключенные слова даны курсивом.— *И. К.*). С теми же изменениями XXI глава печаталась в последующих изданиях.

В 1927 г. вышло первое советское отдельное издание «Поединка» (М.-Л., ГИЗ). В 30-е годы был сделан ряд инсценировок повести (И. Всеволожский, «Поединок», М., Цедрам., 1935; В. Голичников и Б. Папаригопуло, «Господа офицеры», М., Цедрам, 1938, и др.), шедших с успехом на сценах советских театров. В 1957 г. народный артист Вл. Петров поставил кинофильм «Поединок» с Ю. Пузыревым в роли Ромашова.

Стр. 8. *«Знаем мы, как вы плохо в шашки играете!»* — неточная цитата из «Мертвых душ» Гоголя.

...сказал генерал Дохтуров...— Дохтуров Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — герой Отечественной войны 1812 г.

Стр. 9. *Драгомиров... кричит...*— Драгомиров Михаил Иванович (1830—1905) — генерал, военный историк и педагог. В период службы Куприна в 46-м Днепровском полку Драгомиров командовал Киевским военным округом.

Стр. 38. *...сейчас же после разрешения поединков.*— Запрещенные указом Петра I, поединки были введены специальным

распоряжением военного ведомства 13 мая 1894 года для «разбирательства ссор, случающихся в офицерской среде».

Стр. 57. *«Владеть кинжалом я умею.*
Я близ Кавказа рождена»—
неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

Стр. 59. *...записками о войне карлистов...*— Войны карлистов — гражданские войны в Испании 30-х и 70-х годов XIX века между феодальными и буржуазными элементами, развязанные клерикалами, сторонниками претендента на испанский престол дона Карлоса-младшего.

Стр. 108. *Люнет... барбет* — виды военно-инженерных сооружений.

Стр. 116. *Гверильясы* (герильясы) — испанские партизаны начала XIX века, боровшиеся против войск Наполеона.

...шуаны — контрреволюционные отряды, восставшие против Французской республики в 1793 году.

Стр. 121. *...шутя, ...звали полковником Бремом.*— Брем, Альфред (1829—1884) — немецкий зоолог.

Стр. 201. *...аккорды панихиды Иоанна Дамаскина...*— православный надгробный гимн, автором которого был византийский богослов Иоанн из Дамаска (конец VII — середина VIII в.)

ШТАБС-КАПИТАН РЫБНИКОВ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1906, № 1.

Рассказ был написан осенью 1905 года в Балаклаве.

При подготовке третьего тома в издании «Мира божьего» (СПб., 1907) Куприн снял в первой главе журнального текста после слов: «... очень близком сердцу штабс-капитана» (стр. 235) следующие строки: «Словом, поведение штабс-капитана Рыбникова все более и более оправдывало меткое замечание одного блестящего морского адъютанта об его ненормальности. Вероятно, поэтому-то штабс-капитан и позабыл послать в Иркутск те деньги, которые у него так настоятельно требовали». В финале рассказа, после слов Рыбникова «...я сломал себе ногу» следовало: «Щавинский никогда не узнал конца этой истории. Через несколько дней, когда вернулась с дачи его жена, он рассказал ей очень красочно и трогательно об японском шпионе.

— Ах, как жаль, что меня не было,— сказала актриса. Тогда Щавинский вспомнил об автографе штабс-капитана и рассказал об этом жене. Она засуетилась.

— Пойдем, милый, посмотрим.

— Неловко,— замялся Щавинский,— я ведь дал слово посмотреть только через три месяца..

— Ну вот еще, глупости! — рассердилась жена.— Какие это слова. И, главное, кому слово — японскому шпиону.

Они вместе вынули кнопки, сняли четвертушку белой бумаги и прочли слова, написанные тонким, четким, изящным почерком:

«Хоть ты Иванов седьмой, а все-таки дурак».

— Ну, и ничего нет остроумного,— сказала актриса.— Чепуха какая-то!

Но Шавинский вдруг с необычной яркостью вспомнил лицо, голос, движения штабс-капитана Рыбникова и сказал со вздохом:

— А все-таки, это — самый удивительный и непонятный для меня человек, какого только я видал в своей жизни».

Подготавливая рассказ для третьего тома Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, Куприн в пятой главе (где идет речь о посетителях публичных домов) после слов «штатские, военные...» снял слова «... и переодетые попы».

А. М. Горький относил «Штабс-капитана Рыбникова» к числу лучших произведений Куприна. В 1919 году он включил рассказ в проспект «Серии русских писателей» библиотеки «Жизнь мира»; в 1928 — в редакционный план Госиздата по выпуску русских классиков; в 1935 году — в план издательства «Academia» (Архив А. М. Горького; газ. «Советское искусство», 1936, № 29, 23 июня). Сам Куприн считал рассказ своим лучшим произведением (Беседа с А. И. Куприным, «Одесские новости», 1909, № 7934, 8 октября).

Стр. 250. ...*камперов угол его лица.*— Голландский анатом XVIII века Петр Кампер (1722—1789) использовал для определения характерных особенностей профиля головы лицевой угол.

ТОСТ

Впервые — в сатирическом журнале «Сигналы», 1906, 18 января, выпуск 2, с посвящением Скитальцу (С. Г. Петрову).

Заглавие «Тост», выполненное в этом журнале в виде виньетки стиля «Модерн», терялось среди линий орнамента и не было замечено. Поэтому в примечаниях к сочинениям Куприна (в 3 томах, М., 1953 и в 6 томах, М., 1958) для первой публикации был указан лишь подзаголовок: «Рассказ А. И. Куприна».

В. В. Воровский считал рассказ характерным для воззрений Куприна, склонного возвеличивать «самопожертвование отдельных героев, не замечая работы... безыменных средних величин...». «Воспроизводить картины новой социальной борьбы, совершающейся на глазах у Куприна, мешает ему...— писал Воровский,— то, что его аполитическая психология *чужда* жизни тех слоев народа, которые выносят на своих плечах эту грандиозную борьбу и мостят своими телами путь к тому счастливому состоянию 2906 года, о котором с такой любовью говорит Куприн» (В. В. Воровский. Литературно-критические статьи, стр. 285—286).

СЧАСТЬЕ

Впервые — в журнале «Литературные вечера» (Москва), 1906, № 3 с подзаголовком «Сказка».

УБИЙЦА

Впервые — под названием «Убийцы» в журнале «Освободительное движение», 1906, № 1.

В шестой том Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, рассказ вошел под названием «Убийца».

Журнальный текст рассказа начинался вступлением, которое было снято автором при включении рассказа в третий том сочинений в издании «Мир божий».

РЕКА ЖИЗНИ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1906, № 8.

Рассказ был написан летом 1906 года в Даниловском.

2 июля 1906 года М. К. Куприна писала Ф. Д. Батюшкову: «Александр Иванович кончил для М[ира] б[ожьего] и второй рассказ, спешно переписывает оба, чтобы скорее уехать. Этот рассказ «Жизнь» мне нравится больше...». 16 июля 1906 года она сообщила тому же адресату: «Одновременно посылаю рассказ «Река жизни», заглавие несколько пышное, но рассказ удачен.. Александр Иванович просит скорее набрать и выслать корректуры для правки» (ИРЛИ).

Первоначальным наброском к рассказу можно считать очерк «Квартирная хозяйка» (1895) из цикла «Киевские типы».

Редактируя для Полного собрания сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркс, журнальный текст рассказа, Куприн внес отдельные исправления, вызванные изменением политической обстановки в условиях наступившей реакции. Так, в письме студента слова: «В теперешнее великое, огненное время...» — были заменены словами: «В теперешнее страшное бредовое время». Вместо слов об «орлятах» революции: «Пусть-ка кто-нибудь удержит их полет!» — Куприн вставил фразу: «Как недолог, но как чудесен и героичен был их полет к пылающему солнцу свободы!» В письме студента были заменены следующие слова (выделены курсивом): *«Я положительно уверен, что теперешний гимназист-шестиклассник в присутствии всех монархов и всех полицмейстеров Европы, в любой тронной зале, твердо, толково и даже, пожалуй, несколько дерзко заявит о требовании своей партии. Он, правда, чуть-чуть смешон, этот скороспелый гимназист, но в нем уже растет* священное уважение к своему радостному, гордому, свободному «я»...»

В. В. Воровский писал по поводу рассказа «Река жизни»:

«Кого редко встретите вы в произведениях Куприна, так это типичного русского интеллигента, фигурирующего обычно — в той или другой обстановке — у всех наших писателей. Есть, впрочем, один рассказ, в котором в пошлую, грязную мелко-мещанскую среду Куприн умышленно, ради контраста, вставил одинокую фигуру такого интеллигента. Это жилец в номерах в рассказе «Река жизни». Безвольный, дряблый русский интеллигент нарисован здесь в чисто чеховских тонах». «...на этого «размагниченного интеллигента» повеяло «новыми молодыми словами, буйными мечтами, свободными, пламенными мыслями». Но, увы, они оказались ему не под силу... И, поняв весь ужас своего положения... он решает покончить расчеты с жизнью» (В. В. Воровский. Литературно-критические статьи, стр. 282).

Великий русский физиолог И. П. Павлов высоко оценивал психологическое мастерство рассказа. В беседе с А. М. Горьким

он говорил: «Понравился мне рассказ Куприна, «Река жизни» называется, что ли. Я тогда много думал о рефлексе цели, о рефлексе свободы. Куприн хорошо описал самоубийство студента, которого заела совесть. По оставленному самоубийцей письму было ясно, что он сделался жертвой рефлекса рабства... Понимай он это хорошо, он, во-первых, справедливее бы осудил себя, а, во-вторых, мог бы... развить в себе успешное задерживание, подавление этого рефлекса» (Архив А. М. Горького).

ОБИДА

Впервые — в газете «Страна», 1906, №№ 163 и 169, 17 и 24 сентября.

Рассказ написан был летом 1906 г. в усадьбе Даниловское, Новгородской губернии (письма М. К. Куприной Ф. Д. Батюшкову 2 и 13 июля 1906 г. и от сентября 1906 г. ИРЛИ).

Редактируя текст для третьего тома своих сочинений, изд. «Мира божьего», Куприн снял ряд деталей в начале рассказа, значительно сократил описания внешности воров и дописал конец, начиная со слов: «Адвокаты расходились из театра...» и кончая словами: «...он быстро вышел на улицу».

Стр. 309. *...как поет Джиральдони в прологе из «Паяцев».*— С итальянским певцом Эугенио Джиральдони (1871—1924) Куприн встречался в Одессе в начале девятисотых годов у редактора газеты «Одесские новости» П. Т. Герцо-Виноградского (Л. В. Никулин. Об одном очерке А. И. Куприна, «Огонек», 1957, № 34).

НА ГЛУХАРЕЙ

Вошло в четвертый том Собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства».

Рассказ был написан в Крыму осенью 1906 года и предназначался для первой книги «Современного мира» (письмо М. К. Куприной Ф. Д. Батюшкову 23 сентября 1906 г. ИРЛИ). Однако в журнале рассказ не был напечатан.

ЛЕГЕНДА

Впервые — в журнале «Жизнь» (СПб), 1906, № 1, ноябрь, с подзаголовком: «слова к «Легенде» Венявского».

Венявский, Генрик (1835—1880) — известный польский скрипач и композитор; «Легенда» — одно из наиболее популярных его скрипичных произведений.

ИСКУССТВО

Впервые — в газете «Свобода и жизнь» (СПб), 1906, № 12, 12 ноября.

Притча была написана в ответ на просьбу газеты к деятелям искусства высказаться «в краткой афористичной форме» на тему «Революция и литература». В дискуссии, которую открыла одноименная статья К. Чуковского (в № 9 газеты от 22 октября 1906), участвовали И. Репин, В. Брюсов, А. Луначарский, Е. Чириков,

И. Ясинский, Н. Минский, А. Каменский, А. Кугель и др. Во многих ответах варьировались идеи «чистого искусства», говорилось, что «литературе вредна тенденциозность», что «художник и революционность — антиподы». А. В. Луначарский в статье «Искусство и революция» (в № 11 от 5 ноября) ратовал за связь искусства с жизнью народа, с освободительной борьбой. «Не потому ли,— писал он,— художник так беспомощен в области, которая так волнует сердца его нации, что он слишком предан... одному маленькому фрагменту мира, выводит фиоритуры на одной коротенькой струнке?» Луначарский звал писателей «почувствовать революцию, а не только облака» и «говорить об искусстве в связи с задачами, надеждами и горестями сознательного человечества».

ДЕМИР-КАЯ

Впервые — в журнале «Современный мир», 1906, № 12.

В. В. Воровский относил рассказ «Демир-Кая» к тем произведениям Куприна, где «прорывается активное отношение к политическим вопросам», хотя это отношение «облечено в расплывчатую художественную форму» (В. В. Воровский. Литературно-критические статьи, стр. 277).

Стр. 340. *Наргиле* — восточный курительный прибор.

Стр. 341. *Вилайет* — единица территориально-административного деления в Турции.

КАК Я БЫЛ АКТЕРОМ

Впервые — в журнале «Театр и искусство», 1906, № 52 (юбилейный), 22 декабря.

Рассказ был начат Куприным в Даниловском в июле 1906 года и закончен в Гельсингфорсе в ноябре 1906 года (письмо М. К. Куприной Ф. Д. Батюшкову 13 июля 1906 года, письмо А. И. Куприна Ф. Д. Батюшкову, ноябрь 1906 г. ИРЛИ).

Изображенный в рассказе «город С» — Сумы, Полтавской губернии, где весной — осенью 1898 года Куприн служил в местном театре актером «на выходах». «Среда, в которой я тогда играл,— рассказывал он впоследствии,— была до невероятности некультурная, и все вместе взятое наложило безусловно свой отпечаток на мое отношение к театру...» («Биржевые ведомости», вечерний выпуск, 1913, № 13764, 21 сентября).

А. П. Чехов ценил актерские способности Куприна и советовал ему поступить в труппу Художественного театра. В декабре 1901 года Куприн сообщал Чехову, что не решился держать экзамен из-за большого наплыва желающих (Отдел Рукописей Гос. библиотеки имени В. И. Ленина). В переписке Куприна и в прессе есть упоминания о том, что для любительских спектаклей он готовил роли Хлестакова в «Ревизоре» Н. Гоголя, Астрова в «Дяде Ване» и Ломова в «Предложении» А. Чехова, повара в «Плодах просвещения» Л. Толстого, пса в «Шантеклере» Э. Ростана и др.

Стр. 348. *Кута* — род одежды.

Стр. 352. *...из отряда Марка Великолепного.*— Марк Виниций — римский полководец, персонаж романа польского писателя

Генрика Сенкевича (1846—1916) «Quo vadis» («Камо грядеши», 1894—1896) о борьбе языческого Рима против первых христиан.

Стр. 357. *Тигеллин* (ум. в 69 г. н. э.) — временщик римского императора Клавдия Нерона (37—68 гг. н. э.); здесь — персонаж романа Г. Сенкевича «Камо грядеши».

...И диким зверем завывал
Широкоплечий трагик —

строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Провинциальная партия» (1852).

Стр. 362. *«...насвисти, пожалуйста, этот вчерашний мотив из «Паяцев»*.— Данный эпизод был рассказан Куприным в начале девятисотых годов А. П. Чехову; частично приведен в очерке Куприна «Памяти Чехова» (т. 9).

Стр. 363. *Чарский, Любский*...— Чарский (Чистяков) Владимир Васильевич (ум. 1910), Любский Анатолий Клавдиевич — актеры-трагики, популярные в русской провинции в конце XIX — начале XX века.

Иванов-Козельский, Митрофан Тимофеевич (1850—1898) — трагический актер, много игравший в провинции.

ГАМБРИНУС

Впервые — в журнале «Современный мир», 1907, № 2.

Рассказ был написан в Гатчине в декабре 1906 года (письмо Куприна Ф. Д. Батюшкову от 5 декабря 1906 года. ИРЛИ).

Журнальный текст рассказа почти не подвергался правке. Отметим лишь два случая исправлений, сделанных Куприным при подготовке рассказа для четвертого тома собрания сочинений, изд. «Московского книгоиздательства»: в четвертой главе в описании посетителей «Гамбринуса» были сняты слова о свойственной ворам скупости; в восьмой главе в характеристике Митьки Гундосого после слов «сутенер и сыщик» было добавлено «крещеный еврей».

Л. Н. Толстой находил язык рассказа «прекрасным», читал его своей семье (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., том 58, стр. 468).

Стр. 374. *Анатолийские кочермы* — распространенные в Анатолии (Турция) большие одномачтовые палубные лодки.

Стр. 374—375. *Трапезондские фелюги* — беспалубные одномачтовые парусные суда из турецкого порта Трапезунд (Трабзон).

Стр. 386. *...франко-русские торжества*.— По-видимому, речь идет о празднествах по случаю приезда в Россию президента французской республики Э. Лубэ и десятилетия франко-русского военно-политического союза.

«Куропаткин-марш» — марш в честь генерала А. Н. Куропаткина (1848—1925), командовавшего сухопутной армией России во время русско-японской войны до марта 1905 г.

Стр. 397. *Окарина* — духовой музыкальный инструмент.

СЛОН

Впервые — в детском журнале «Тропинка», 1907, № 2.

БРЕД

Впервые — в альманахе «Шиповник», 1907, книга 1.

«Бред» является переработкой более раннего произведения А. Куприна — рассказа «Убийца», опубликованного в газете «Одесские новости» 1 января 1901 г. Написанный на тему событий шедшей в то время англо-бурской войны, рассказ «Убийца» был проникнут протестом против несправедливых войн и сочувствием национально-освободительной борьбе буров с английскими захватчиками, хотя Куприн и не избежал здесь абстрактно-гуманистических рассуждений о вреде всякого кровопролития.

В рассказе «Бред» автор сохранил фабулу и композицию рассказа «Убийца», отдельные его эпизоды (лихорадочный бред офицера, монолог старого повстанца, расстрел заложников), но перенес действие рассказа в современную ему Россию и тем самым придал произведению совершенно иную историческую и политическую окраску.

Стр. 415. *...рукоплескала Сансону, когда он показывал ...окровавленную голову Людовика.*— Сансон, Шарль-Анри — палач, гильотинировавший в 1793 г. французского короля Людовика XVI Бурбона, осужденного во время Великой Французской революции Конвентом за измену нации.

...кормили мурен.— Мурена — крупная хищная рыба из семейства угрей.

СКАЗОЧКИ

I. О Думе

Впервые — в иллюстрированном приложении к газете «Русь», 1907, № 12, 20 марта. При жизни писателя рассказ не переиздавался. Включен в шеститомное собрание сочинений (ГИХЛ).

Печатается по первой публикации.

II. О конституции

Впервые — в иллюстрированном приложении к газете «Русь», 1907, №13, 30 марта. При жизни писателя рассказ не переиздавался. Включен в шеститомное собрание сочинений (ГИХЛ).

Печатается по первой публикации.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ

Впервые — в сатирическом журнале «Серый волк», 1907, № 3, 22 июля.

Стр. 421—422. *Вспомним... Гоголя, сказавшего устами простого, немудрящего крепостного слуги: мужика надо драть, потому что мужик балуется...*— Имеются в виду слова кучера Селифана из III главы I части романа Н. В. Гоголя «Мертвые души»: «Почему ж не посечь, коли за дело? на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется...».

90 коп.